АХМЕДХАН АБУ-БАКАР

ИЗ НЕОПУБЛИКУВАНОТО



АХМЕДХАН АБУ-БАКАР



ГУП
"Дагестанское книжное издательство"
Махачкала 2001

ББК: 84.4 (Дарг.)

Абу-Бакар Ахмедхан

А-17 Из неопубликованного. – Махачкала: ГУП «Дагестанское книжное издательство», 2001. – 584 с.

В книгу вошли не изданные при жизни произведения народного писателя Дагестана Ахмедхана Абу-Бакара: повести, рассказы, сказка, сценарии.

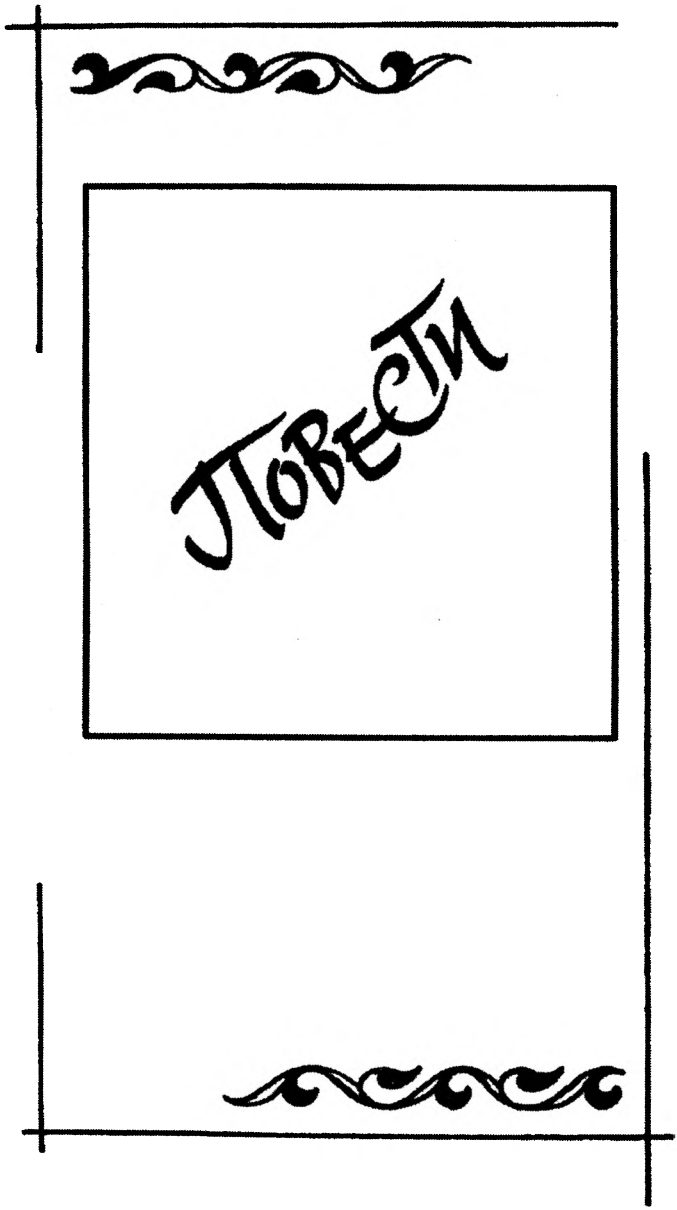
Нет сомнений, самобытное, опоэтизированное творчество талантливого дагестанского прозаика не оставит никого равнодушным.

ББК: 84.4 (Дарг.)

А $\frac{4702180201 - 54}{M\,123(02) - 2001}$ без объявлен.

© Абу-Бакар А., 2001 г.

ISBN 5-297-0589-2


Повести

АНИДА

Повесть

«Мама, зажги солнце,
чтоб день настал».

Дитя обращается к своей всемогущей матери

Глава первая

Как раз на том самом месте, где помутневший в последние дни от назойливых дождей горный поток, сбежавший с гор на плоскость под самым железным мостом, покорно замедляет свой неистовый бег, получивший название Уллу-чай, что значит на языке жителей этой местности Большая река; где недалеко от моста, прямо у мощенной камнем широкой дороги, которая отсюда начинает свой подъем в горы и по которой днем и ночью проезжают машины, которым послушно уступают дорогу скрипучие арбы и навьюченные ишаки, стоит привлекательный родник под аркадой с желобами из коры орехового дерева; отсюда можно увидеть крытые оцинкованным железом и охраняемые, как стражей, могучими тополями несколько домов на самой макушке обрывистой горы. Это только часть аула Конгожи, а основная его часть ступенями спускается по ту сторону горы, и увидеть ее можно лишь проделав от моста двухчасовой путь вверх по извилистой дороге, которая то пропадает, то появляется в горных закоулках.

Сюда, в этот аул, почуяв свободу, вчера темной ночью привела меня моя лошадь, темная, как сама ночь. А свободу лошади я дал, вспомнив наставления своего покойного отца, к которому я всегда мысленно обращался за советом, когда мне бывало трудно. Отец учил меня, да будет не забыто его имя людьми: «Если ты в темную ночь и в неважную погоду окажешься в пути и не сможешь положиться на себя, то положись на своего скакуна, отпусти уздечку и он

сам приведет тебя туда, куда тебе необходимо». Мне ничего не оставалось, кроме как послушаться совета отца, но лошадь моя обманула мои ожидания, о чем я и узнал, когда постучался в первые же ворота.

Кстати, хочу отметить, этот месяц я посвятил тому, что ездил к приятелям – друзьям, с которыми учился в институте. Правда, с одним из них я не был близко знаком, даже имени его не помнил, а только прозвище, которое мы ему дали – Дага. Это прозвище было двусмысленным, оно значило в одном случае «петух», а в другом – «осел», и оба смысла как нельзя лучше подходили к его характеру. Вот он и жил где-то здесь в ауле Шилаги. А я оказался совсем в другой стороне, в ауле Конгожи.

«Неужели ошибался мой отец? – подумал я. – Не может этого быть, а с другой стороны, не мог же отец быть в ответе за все породы лошадей. Даже среди людей из тысячи встречается один, на которого нельзя положиться». Эти мои сомнения были разрешены утром.

Утро обещало ясную погоду. Туман, который уже неделю окутывал горы, словно послушное существо опускался все ниже в ущелье и рассеивался. Ветер своей невидимой метлой разгонял по небу тучи и разрывал их на клочки. На востоке, где светлел над предгорьем небосклон, еще мерцала одинокая утренняя звезда, свидетельница всех пробуждений на земле. У окна снаружи ворковал голубь, на спине буйвола сидела сорока. По всему было видно, что сегодня будет погожий день, так как всем: и людям, и животным – надоело месить на дорогах грязь. Первые же лучи солнца были теплыми, они заглядывали в окна, играли на цинковых крышах. Становилось тепло.

Хозяин мой, у которого я нашел ночлег и добрый завтрак, был мужчина, проживший на свете не менее полувека, широкоплечий, высокого роста и, может, от этого немного сутулый с грубыми чертами лица, которых нельзя было не запомнить сразу. Немного скривившийся влево плоский, будто с рождения держали его в тисках, нос, толстые губы, которые не оставили под носом места для усов,

большие искривленные папахой уши и глядящие из-под нависших бровей маленькие глаза не внушали доверия к этому человеку. Такие черты лица были бы несомненными достоинствами разбойников, которые до двадцатых годов довольно часто встречались в здешних местах. И если бы я разглядел его ночью, я ни за что не остановился бы у него. Описанные выше черты лица отталкивали, хотя они еще не являются определением тому, каков этот человек внутренне. Когда я вышел на террасу, он любезно обхаживал мою лошадь.

– Ну, ну, ты же меня помнишь…

Заметив на террасе меня, он обернулся и сказал, что лошадь, которая привела меня к нему в дом, его лошадь. На мой недоуменный вопрос: «Как твоя?», он объяснил мне, хлопая по крупу лошадь своей натруженной мозолистой рукой с толстыми короткими пальцами, на которых нельзя было увидеть ни одного нормального ногтя, что всю свою жизнь он провел с лошадьми, даже родился на лугу в загоне табуна. «И как же мне не узнать своих лошадей из колхозного табуна?»

Оказывается, действительно моя лошадь, которую любезно предоставили мне в районном центре в Маджалисе отделом культуры, родилась и выросла в этих местах. Родные места, знакомые дороги и запах родимых трав свернули ее ночью сюда. Да, от такого соблазна не удержался бы и человек, не говоря уже о животном. Теперь, когда мне это стало известно, могу ли я обвинять в чем-либо своего коня или считать, что отец мой ошибался? Нет. Я не стану благодарить отца за этот добрый совет, лошадь моя действительно привела меня туда, где мне необходимо было быть в первую очередь. Этому несомненное подтверждение мое дальнейшее повествование, которое я с благоговением представляю моему читателю. Не ошибись в ту ночь моя лошадь, было бы упущено и не нашло бы свое отражение на бумаге одно необычное, поучительное событие, случившееся с обыкновенными людьми, жителями горного аула Конгожи и не стало бы оно достоянием многих. Забылась

бы эта история, как забывается в богатой событиями жизни горцев многое другое. Спасибо и моему хозяину Осману из рода Хартумовых, так, я помню, его звали, за то, что он не отпустил в то утро меня в Шилаги, благодарю и тот случай, из-за которого я не мог покинуть так быстро этот запомнившийся мне надолго аул.

Осман оказался дома, а не с табуном, по той важной причине, что он выдавал свою единственную «голубоглазую», как он гордо выразился, дочь замуж. За завтраком об Османе у меня сложилось мнение, как о человеке, не претендующем на оригинальность, он не был замкнутым, как это могло показаться вначале, в нем было что-то медвежье – неуклюжее, слова он выговаривал медленно, словно из него тянули их. И черты его лица действительно не соответствовали его характеру, он не был настолько грубым и мрачным, как это показалось на первый взгляд. Он не прочь был пошутить и в разговоре заметить откровенно, что плохо и что хорошо. Не был он навязчив, не был и лишен суеверия, может, жизнь, проведенная им под открытым небом, и те ощущения, пережитые им ночью, в непогоду, в одиночестве, которые он не мог объяснить, оставили в нем неизгладимые впечатления, и в своем воображении он связывал их с божественным миром.

Дождь во время свадьбы, так же как и слезы, он считал к добру, так как, мол, это предвещает счастье в дальнейшей совместной жизни. Он много говорил о своей дочери и особенно о ее голубых, как бирюза, глазах. По всему было видно, что он очень любит свою дочь, и ему было больно с ней расставаться. Он понимал, что это когда-нибудь должно было случиться и что это неизбежно. Но что-то тревожило его, может, боялся того, что люди могут обидеть его дочь, которая очень рано лишилась матери и воспитывалась своенравной, отсталой, невежественной тетей. То ли ему трудно было согласиться, что она скоро выйдет замуж, то ли не нравилось, как справляют свадьбу, словом, чем-то он был недоволен, ворчал про себя, ругал себя.

Явился празднично одетый представитель жениха при-

гласить отца невесты. Он с достоинством поклонился Осману, пожал ему руку и передал приглашение. Заметив меня, он добавил, что Осман может взять с собой и гостя. Я поблагодарил его, хотя знал, что и без его приглашения Осман взял бы меня с собой, для этого он и задержал меня. Осман переоделся, надел галифе из темно-синей диагонали и военную гимнастерку, видимо сохраненные им как память с войны, начистил до блеска сапоги. Гимнастерку не заправил в брюки, а сверх подпоясался серебряным поясом.

– Не бритый я, не беда, не я женюсь, а дочь выдаю! Пошли, – сказал он.

Сакля, в которую нас пригласили, была за двумя кварталами. Солнце уже успело подняться достаточно высоко, когда мы вышли со двора. Теплые еще, хотя и осенние, лучи успели высушить после дождя улицу, листья на деревьях весело шуршали. Видно было, что затвердевшая под летним зноем земля не так-то легко поддавалась осенней влаге.

Как только мы зашли в саклю, куда на свадьбу стекались люди, Османа поспешно вызвали по каким-то делам, он не успел представить меня хозяевам. Мне это нисколько не помешало, с этой самой минуты никому не известный я был не столько участником, сколько наблюдателем происходящего вокруг. На первый взгляд, в том, что происходило здесь на свадьбе, не было ничего необычного. Но это только на первый взгляд.

Глава вторая

На свадьбу не забыли пригласить и завсегдатаев сельских торжеств – музыкантов, но от имени Нури, – а кто такой Нури, мы узнаем позже, – их попросили не брать с собой инструменты, инструменты веселья, кующие задорными звуками самый стремительный на свете танец. Барабанщик пришел на свадьбу без своего деревянного цилиндра, обтянутого с обеих сторон телячьей кожей, на поясе, зур-

нист – без своей пропитанной жиром от свадебных пирогов деревянной зурны с запасными к ней пищиками в нагрудном кармане, а певец собрался на свадьбу первый раз в жизни без своего неразлучного сладкозвучного из тутового дерева чугура.

Гостей у крыльца дома встречал Мустафа, отец жениха, болезненный старик с проседью, нередко его лицо искажала боль в суставах, видно, ревматизм его был запущен или перешел в хроническую форму, но он как мог скрывал это. С первого же взгляда можно было сказать, что это человек, любящий порядок, он был аккуратно одет в черный костюм из недорогого материала, среднего роста, плотный, с продолговатым бледным лицом, выдающимся немного вперед подбородком, с аккуратно стриженными усами под носом с горбинкой, без головного убора, что было заметно, так как все остальные мужчины были в папахах. Он не оказывал гостям излишних любезностей, держался с достоинством и от других требовал того же. Придерживался правила: «Честь и достоинство свои человек не должен ронять нигде». Он был суров, как сурова сама природа в этих местах.

Хозяйкой дома была женщина средних лет с большими грустными глазами на худощавом продолговатом лице с еле заметной улыбкой на бледных губах. Не вызывало сомнения, что грустные миндалевидные глаза украшали в молодости ее немного смуглое с правильными чертами лицо, как умело подобранные златокузнецом драгоценные камни украшают серьги или кольцо. Можно ли представить красоту без грустных и задумчивых глаз, кажется, невозможно, ведь глаза передают и внутреннюю красоту человека. Вглядитесь в произведения великих живописцев: изображая женщину, они делают ее обладательницей именно подобных глаз. И грусть, если вдуматься, присуща ей со времен Адама.

Известно, что грустные женские глаза всегда привлекают к себе внимание мужчин, которые пытаются окунуться в это море неразгаданных тайн. И мы часто, не отдавая

себе отчета, всеми способами стремимся разгадать эту тайну, отвлечь обладательницу таких глаз от грустных мыслей. И как только в глазах женщины исчезает грусть, она теряет свою привлекательность и остается в ней лишь отвратительное пустое кокетство, которое невольно отталкивает нас.

Обладательница подобных глаз, хозяйка дома, была одета просто в свое любимое платье из черной саржи, голову ее покрывала легкая белая накидка, разновидность сари, в которую окутывают себя женщины ближнего Востока. В руке она держала небольшой букет поздних цветов. Поздние цветы – скрытая улыбка природы. Глядя на эти цветы, невольно загрустишь, складывается впечатление, что они понимают состояние хозяйки и не меньше окружающих удивлены тем, что происходит в этом доме. Букет поздних цветов принесла ее знакомая Айша, которая только что вернулась с летних пастбищ, откуда уже снимались стоянки чабанов и отары овец, чтобы перекочевать на зимовку в далекие ногайские степи. Видно было, что весть о свадьбе ошеломила ее.

– Да как же это? – заглянув в грустные глаза хозяйки, сказала Айша.

– Что поделаешь, подруга… – пожала плечами обладательница грустных глаз. – Рада была бы я вот так пригласить всех на свадьбу нашего сына… но, увы… Так надо, Айша.

Из всех присутствующих только Айша могла по достоинству оценить происходящее в доме, так как лучше всех знала хозяйку дома и понимала, что эта женщина не могла поступить иначе. Они давно дружили, хотя у обеих были свои тайны, но эти тайны не мешали им быть лучшими подругами. Айша в отличие от этой женщины с грустными глазами была невысокого роста, круглолицая с красными щеками, она из тех горянок, которые часто встречаются в горных аулах.

Обладательница грустных глаз понюхала цветы, то ли эти поздние цветы альпийских лугов были лишены арома-

та, то ли она была настолько простужена, что не почувствовала их запаха. Да, ведь всю ночь, а ночи осенние в горах всегда бывают прохладные, она провела одна в большой комнате с открытыми окнами. Она хотела закрыть окна, но какая-то неведомая сила удержала ее, было холодно, она осознавала, что может простудиться, но странное чувство обреченности и пустоты овладело ею.

Днем она пыталась отогнать от себя мрачные мысли, не дающие сердцу покоя, которые неотступно преследовали, томили ее, которые могли свести человека с ума. Но она держала себя в руках, не давая им управлять собой.

На землю падали и падали сорванные ветром то желтые, то коричневые, то еще зеленые, но уже отжившие свой век осенние листья. Наступали на них тяжелые безжалостные сапоги и туфли, и мягкие золотой нитью вышитые губденские мачайти (чувяки). Со всего аула шли и шли гости:

– В добрый час!

– Да будет в этом доме веселый детский смех!

– Пожелаем же им счастья!

Говорили они, обращаясь к Мустафе, пожимая его руку.

– Разве кто думал, что так будет. Не повезло тебе, – сочувственно тихо говорили некоторые, проходя мимо женщины с грустными глазами и глядя на ее улыбающееся сквозь слезы лицо.

Она приглашала их в комнаты, подавала им подушки, сажала их на ковры на террасе под открытым небом. Приветствовала, стараясь как можно глубже упрятать боль и свои личные волнения, неотступно сверлящие душу мысли и подступающие к горлу слезы. Улыбалась она всем, протягивая изящную, холодную руку:

– Добро пожаловать! Спасибо. Ничего, ничего… Так мы сочли необходимым. Заходите, заходите, да не снимайте здесь обувь. Заходите, дорогие гости, обрадуйте своим присутствием Мустафу…

– От души желаем им дюжину детей!

– Заходите. А где же ваша музыка? – удивилась жен-

щина с грустными глазами, глядя на музыкантов. – Почему вы пришли на свадьбу без инструментов… или думаете у нас некому будет танцевать… так я первая спляшу…

– Нури не велел, – сказал певец.

– Нури?

Нури – виновник сегодняшнего торжества, жених, мужчина лет сорока с мужественными хаджимуратовскими чертами лица, без бороды с небольшими густыми и черными, как смоль, усами. Он высок и статен, но немного худощав. Прихрамывая на левую ногу, он вышел из кунацкой, которая была выделена для почетных гостей не только из этого аула, но и прибывших из соседних сел. С почтенными гостями сидел отец невесты – Осман. Сюда же зашел и отец Нури – Мустафа, которому сын уступил место. Жених вышел на террасу, где сидела молодежь. Огляделся, желая сесть куда-нибудь. Угадав его желание, некоторые более учтивые гости поднялись и предложили жениху свои места. Нури жестом руки сделал знак, чтоб те не беспокоились, и, перешагнув через подушку, вошел в круг и опустился, скрестив ноги, рядом со своим давнишним другом Омаром, мужем Айши, который приехал в этот аул по направлению. Из всех друзей Нури Омар был, можно сказать, самым близким. С первых же дней Нури увидел в этом человеке много положительного. Омар был всесторонне эрудированным человеком, мог свободно беседовать с людьми на самые разные темы, будь его собеседник образованным или малообразованным человеком. За большое доброе сердце, за то, что он всего себя без остатка отдавал школе, воспитанию сельских детей, его всем сердцем полюбили жители Конгожи. Он не был красавцем, ростом был такой же, как и Нури, только Омар не хромал, его слегка простоватое лицо казалось излишне продолговатым, так как он не носил усов; по выражению его лица трудно было понять его внутреннее состояние, был весьма сдержан.

– Давно тебя не видел, все такой же… – Нури взглянул на Омара и пожал его руку.

– Ты же знаешь, время не отражается на мне, – улыб-

нулся Омар. – Даже не знаю, друг, как и поступить: поздравлять тебя или нет…

Нури махнул рукой: «Не надо, мол, ничего говорить, лучше помолчать». И усевшись удобно рядом с другом, засучил рукава белоснежной вьетнамской сорочки. Постарался улыбнуться, сжав колено Омара правой рукой. И эта улыбка, как показалось Омару, стоила ему больших усилий. Нури оглядел всех, многих из гостей он знал, а многих впервые видел. «Да, время идет, люди растут, вчерашние дети, которых я лечил от кишечных заболеваний и рахита, сегодня сидят уже в кругу взрослых. – подумал Нури. – О чем, интересно, все они сейчас думают? Конечно же, обо мне. Смеются они в душе надо мной, войдя в мое положение, сочувствуют мне». Безусловно, все присутствующие не могли одинаково думать.

Хороший выдался сегодня день. Под чистым голубым небом в теплых лучах солнца резвились на улице козлята и телята, словно к весне дело – дети играли в прятки, гоняли воздушного змея.

По лестнице на второй этаж поднимались пестро одетые женщины и девушки, прикрывая краем шали лицо и хихикая между собой, уходили в отведенную женскую половину дома, где готовились кушанья и где сидела охваченная непонятным волнением невеста. Это Хадижа – дочь колхозного табунщика Османа из рода Хартумовых. Краснощекая, белозубая, с прекрасными голубыми глазами. Только сейчас я понял гордость отца, назвавшего ее «голубоглазой». Да, этими глазами в горах можно было гордиться, и не зря бирюзу золотом обрамляют в горах мастера. Немного стеснительная, она сидела и на приветствия подруг и гостей отвечала кивком головы. Хотя по обычаю ей следовало плакать, она не могла выдавить из себя слезу. «Как это без причины можно плакать? – думала она. – Это же обман». Ей хотелось сейчас шутить и смеяться, обнять подруг и пощекотать их. Моментами что-то беспокоило ее, наверно, думала о том, что некогда беззаботно проводила время в отцовском доме, а теперь она входит в новую се-

мью, что у нее появятся другие права и обязанности по отношению к тем людям, с которыми ей придется делиться своими радостями и горестями. И еще что-то беспокоило ее, видимо, то, о чем никто из присутствующих не осмеливался откровенно заговорить.

Хадижа очень хорошо знала того человека, за которого дала согласие выйти – да будет замечено здесь, что отец ее, Осман, уверенный в том, что его дочь ни за что не согласится, когда к нему пришли люди от Мустафы, обратился к ней с вопросом, согласна ли она выйти за этого человека замуж, но ее ответ ошеломил его и сжег все мосты к отступлению. Хадижа согласилась: как она могла отказать такому доброму человеку, как ее сосед, который с самого детства ей дарил, возвращаясь с работы, конфеты, завернутые в самые яркие фантики. Она не только уважала его, но и любила такой любовью, какая может быть у младшей сестры к брату, может быть потому, что у Хадижы не было ни сестры, ни брата, и не знала она материнской ласки, а отцы в горах к дочерям не особенно ласковы. С самого детства ей казалось, что если есть на земле добрые люди, то все они должны быть похожи на Нури. И когда в кругу подруг доходила до нее очередь рассказывать сказку, то герой сказки обязательно был похож на него, она говорила всегда «точь-в-точь такой, как наш Нури». И в эту свою любимую поговорку она вставляла слово «наш», сама не зная почему, хотя Нури не приходился даже самым дальним родственником.

Когда ей сделали такое предложение, она не только согласилась, но и радостно запрыгала и, удивляя всех, сказала:

– Я давно его люблю.

– Как? – возмутился отец.

– Он очень хороший. Я все фантики от его конфет сохранила, я покажу ему их.

И эта девушка в одежде невесты сидит сейчас среди женщин и помогает скатывать тесто для горских пельменей.

Хадижа была охвачена непонятным чувством ожидания, и к супружеской жизни ее влекло любопытство – «что будет?». После окончания школы она осталась работать на вновь организованной молочнотоварной ферме дояркой не из патриотических побуждений, а потому что ей нравилась эта работа, здесь она чувствовала себя уверенно.

Кто хочет попробовать горских пельменей, тот должен приехать именно сюда, ибо как в Конгожи, их нигде не приготовят. Весной здесь популярны пельмени с начинкой из крапивы, из пахучей травы «шумаре» или «ддизра», травы, похожей на ландыш, летом здесь готовят пельмени с начинкой из кислых слив или кизила, а осенью с мясом. И сейчас приятно пахнет рубленым мясом, заправленным пахучими травами.

Гости перешептывались так тихо, что было слышно тиканье настенных часов и жужжание мухи. Не было слышно громкого слова ни в кунацкой, ни на террасе. Разговор не клеился, люди оглядывались, не зная о чем говорить, находили, что сегодня выдалась очень хорошая погода: «смотрите – ни одной тучки на небе», «в этом году, говорят, урожай персиков большой – это к богатой жизни», «вы слышали, что в жарких странах растет хлебное дерево, если хотите, даже колбасное дерево». Но разговор этим исчерпывался. Даже шутки не находили отклика. И в этом было что-то настораживающее, тревожное, хотя многим из сидящих было обо всем известно, известно так, как может знать сосед о соседе. Знающие молчали, а незнающие не спрашивали. И среди присутствующих самой разговорчивой и веселой казалась женщина с грустными глазами. Она оживленно хлопотала, была возбуждена, шутила:

– Там ложки для усатых и для неусатых, – сказала она, положив на середину круга на террасе связку деревянных ложек разной формы, изделия аула Катанги: обычные ложки для неусатых, а узкие и приплюснутые, называемые «супелтар», для усатых. – Сами разбирайтесь, мне некогда глядеть на ваши усы.

Когда общий тамада Али, председатель сельского со-

вета, толстый, как бочка, и красный, как морковь, со своими помощниками выкатил, пыхтя, бочонок чахира (сухого вина колхозного производства) и поставил на подставку, чтоб можно было лить из крана вино в малые чарки, то глаза многих сидящих радостно заблестели, у некоторых гостей указательные пальцы рук потянулись к усам. Увидев, что нет музыки на свадьбе, все подумали было, что и хмельных напитков не будет, но это оказалось ошибочным предположением.

– За хороший урожай этого года и выпить не грех! – сказал Али, оставляя здесь для обслуживания своих помощников. Он это сказал, словно здесь была не свадьба, а пиршество в честь урожая.

И вот засуетились с подносами женщины. Они подавали приглашенным любимое кушанье горцев – хинкал с чесночной подливкой, и из бочки в чарки, а из чарок в граненые стаканы побежал яхонтовый чахир. Стаканы пошли по кругу, развязывая языки, и люди стали соревноваться в произношении мудреных тостов. После первых же стаканов доброго виноградного вина, захмелев, молчание было нарушено, и завязался разговор, которого раньше боялись коснуться. И женщины, словно захмелевшие от хмеля мужчин, стали более словоохотливыми. И на угольях красноречия и мудрости и в кунацкой, и в женской половине, и на террасе загорелись костры бесед.

Женщины с грустными глазами больше не было видно. Незамеченная никем она ушла в свою комнату и устало опустилась в кресло, она тяжело вздохнула. «Да, трудно пришлось бы мне, если бы в молодости не увлекалась театром… – подумала она. – Нет, нет, неужели это была игра, нет, это была я в жизни, да, да». Она крепко сжала голову обессилевшими руками. Она ушла, дав гостям возможность говорить о том, о чем они хотели говорить, не оглядываясь и не ища ее глазами. Она закрыла глаза и стала нюхать поздние цветы, настойчиво пытаясь почувствовать их аромат, но они не пахли. До нее доносились обрывки разговоров с террасы и кунацкой.

Теперь на террасе и в кунацкой завязалась жаркая беседа. Одни задавали вопросы, другие отвечали на них, рассказывали подробно о давно минувших днях, без которых это дело могло быть не очень ясным, с чего, по их мнению, началось, даже некоторые рассказчики заглядывали вперед, говорили о том, что будет дальше. Словом, до того самого момента, когда опустела вторая бочка чахира на террасе, и до того, как зажглись на темно-синем небе звезды, всем все стало понятно, но, боюсь, недостаточно правильно, как будет рассказано дальше, так как из всех возможных вариантов я постарался выбрать более убедительный.

Глава третья

Хороший хозяин не должен оказывать гостю излишнее внимание. Иначе его добрые намерения могут показаться гостю не совсем уместными и вместо того, чтобы благодарно думать о своем хозяине, гость поспешит поскорее покинуть его дом. Видно, по этому поводу и родилась в горах поговорка «плохой хозяин далеко провожает». Гостя надо не только уметь принять, но и повести себя так, чтобы он не чувствовал себя путником, оказавшимся в пути в новых ботинках, уметь дорожить его свободой и временем. Это мне очень понятно, так как мне больше приходится быть гостем, чем хозяином, может, в этом есть и моя вина, но я ее отношу целиком к своей профессии. Мысль о любезных хозяевах, которые прилипают к гостям, как дубовые листья к ежу, встревожила меня. Мне надо было сегодня ночью ехать, мой конь, оседланный, давно ждал меня во дворе под звездным небом, когда мы с Османом пришли со свадьбы домой, я беспокоился, а вдруг Осман окажется именно таким прилипалой, тогда мне не сдобровать, и я потеряю драгоценное время. Я дорожил каждой минуткой не только потому, что меня ждал человек, которому я послал телеграмму и которого я не видел около пятнадцати лет, а еще и потому, что хотелось поскорее уединиться и

спокойно, пока еще свежи в памяти события сегодняшнего дня, запечатлеть их на бумаге. А это я мог сделать, как мне казалось, только у моего приятеля в Шилаги. Итак, я думал о скором отъезде, когда Осман, внимательно посмотрев на меня, сказал:

– Гм, ты можешь ехать! Утром ты не мог… теперь, пожалуйста, не задерживаю, потому что ты хочешь ехать… – говорил он, седлая моего коня. – Провожать тебя я не буду, ты прости меня…

– Конечно! – сказал я, видя его состояние: он нуждался в отдыхе. Настроение у него было приподнятое, веселое, видно было, что вино подействовало на него и подавило в нем всякие тревоги за свою «голубоглазую» дочь. Верхняя толстая губа его подергивалась, глаза сверкали из-под бровей. Он хлопал при каждом удобном случае меня по плечу, видимо, так привык хлопать лошадей в табуне, что мне было больно, но этого он не замечал.

– Харчи на дорогу еще вечером я велел, чтоб обновили в твоем хурджине, а хурджин, как видишь, уже на коне, – сказал он, положив еще раз на мое плечо свою свинцовую руку.

– Спасибо! – сказал я, почувствовав боль в плече.

– Надеюсь, ты не забудешь ко мне дорогу, а я к тебе непременно приеду, не за тем, чтобы вернул ты мне долг за мое гостеприимство, а за тем, чтоб посмотреть, что ты за человек.

– Пожалуйста, – сказал я, – в любое время. Счастливо оставаться, идите, отец, отдыхайте.

– Что ты, молодой человек, какой там отдых, мне сейчас надо к табуну, машина ждет. Ну, в добрый час, если в Шилаги встретишь старуху Ашуру, скажи ей, что я еще холост и надеюсь…

И Осман громко расхохотался, да так, что моя лошадь, выросшая под его рукой, навострила уши. Я сел на нее и, не смея почему-то сдвинуться с места, встал как вкопанный, ожидая чего-то.

– Ну, поезжай, что ли, а то передумаю отпускать! – Осман ударил ладонью по крупу лошади.

И меня поспешно, словно при выходе из загона, вынесла лошадь со случайного, но запомнившегося мне двора. Хотя я и не оборачивался, но долго еще чувствовал на себе жаждущий собеседника взгляд Османа. Он в это время, по-моему, сожалел, что отпустил меня, не рассказав о своих переживаниях, которые переполняли его.

Надо мной было звездное небо, по которому плыла полная луна. Лошадь осторожно ступала по каменистой дороге. А вокруг были видны причудливые очертания гор, освещенные лунным светом скалы и темные ущелья в тени.

Я должен был спуститься в ущелье, проделав не менее семидесяти поворотов по серпантину вниз и подняться на противоположный склон горы к освещенной лунным светом ложбине, где расположился аул Шилаги, который, по рассказам моего приятеля, утопал в зелени садов. В ночной тишине можно было услышать шум Уллу-чая, и в этом шуме отчетливо слышался цокот копыт моего коня, но вдруг к этому цокоту присоединился шум мотора. Я не сомневался, что это Осман спешит к табуну, к своим друзьям – табунщикам, которые помогут ему освободиться от тяжелых мыслей. Там, на альпийском лугу, у костра под открытым небом он чувствовал себя более свободным, чем в стенах сакли.

Кто-то может удивиться, почему коневодству уделяется в наше время столько внимания, когда оно потеряло былую славу. Когда машины во всех отраслях вытеснили из хозяйства вьючных животных, когда машины быстрее доставляют человека туда, куда ему надо, когда горец, считавший коня лучшим другом, изменив ему, ныне ухаживает за легковой машиной. Но я этим товарищам должен заметить, что какие бы изменения ни произошли в жизни, горы остаются горами, и конь необходим там, где не проедет машина.

Аул еще спал, когда я подъехал к нему. Учуяв чужака, собаки на окраине села, залаяв, разбудили всех собак аула.

Рассвет только что забрезжил, и, обманутые преждевременным лаем собак, запели петухи. В одном из дворов протяжно затрубил осел, самое мирное, послушное и трудолюбивое животное в горах, незаслуженно порицаемое и склоняемое в беседах на годекане. И умей он разговаривать, то обязательно бы возмутился, когда какого-нибудь тунеядца-бездельника, папиного сынка называют ослом, какое же между ними сходство! Захныкал где-то буйвол, самое равнодушное, безразличное ко всему животное, его излюбленное место – грязное болото, которое я объехал.

Я сошел с коня, мне нужно было найти дом моего приятеля Даги. Я хорошо помню, что он часто хвастался тем, что его сакля находится в самом живописном месте. Вот я и решил разыскать такую саклю и оказался у двухэтажного дома с небольшим двором, огороженным каменным забором. Стояла эта сакля действительно на живописном месте, на невысоком холме, под угрожающе нависшей скалой, в утренних сумерках походившую на огромную жабу. Два отверстия, пробитые в верхней части скалы, через которые виднелся светлеющий небосклон, казались выпученными глазами. По бокам скалы стояли, устремившись ввысь, пирамидальные тополя. И, как мне стало известно позже, скала эта с давних времен считалась священной, вокруг нее рождались невероятные легенды, одна из них гласит, будто бы этот камень служил главным бисером в ожерелье прилетевшего на землю из другого мира великана и что под ним находится все остальное ожерелье из драгоценных камней. Но человек не должен пытаться их отыскать, так как этим может вызвать гнев небес. Вот почему в засушливые годы в старину горцы шли сюда с кирками и лопатами, чтобы потревожить небеса, в надежде, что польет дождь.

Сакля моего приятеля под этой скалой казалась приплюснутой, неказистой и сжавшейся в вечном страхе, и хвастаться, мне показалось, здесь было нечем. Но мой приятель был не из тех, которые стесняются и неловко себя чувствуют, когда хвастаются, мой приятель был из тех, кто без зазрения совести прямо в лицо говорит такие слова: «В

Дагестане, друг, три храбреца есть: один из них двоюродный брат мой по отцу, второй – двоюродный брат мой по матери, а третий – о нем мне неудобно говорить, он перед тобой». Он всегда преувеличивал факты, любил ошеломить легковерных людей, если таковые попадались ему, какой-нибудь новостью, чаще выдуманной, вроде того, что «на вокзале нашли голову». «Чью голову?» – удивлялись легковерные, а тот больше не отвечал, а потом выяснялось, что голова эта была от тарашки у пивного павильона. Не знаю, искал ли он в этом оригинальность, но он был мастером преувеличения, мог легко горошину раздуть до величины арбуза, а арбуз до величины буйвола. И мы удивлялись, когда девушки увлекались им, человеком, который распутно и никчемно проводил свою жизнь. Интересно, каков он сейчас, пятнадцать с лишним лет прошло с тех пор. Наверняка он стал другим, жизнь не могла не изменить его. И я постучал в старинные дубовые ворота железным кольцом в зубах дракона.

Долго ждать мне не пришлось. Ворота мне открыла женщина, примерно лет сорока, она была худощава, как все горянки; несмотря на свои годы, она хорошо выглядела. Вот к кому обращены были слова Османа «скажи ей, что я еще холост и надеюсь...» – об этом я узнал позже, – это была вдова Ашура, тетя моего приятеля. Она ловко выхватила из моих рук уздечку и сказала:

– Заходите. Он ждет вас!

– Разве он не спит? Я думал, застану его в постели.

– Он в постели, но не спит. Поднимитесь к нему в кунацкую. Он вчера еще ждал вас.

– Откуда же вы узнали, что он меня ждет?!

– Вы разве не врач?

Я не стал ей объяснять, кто я такой, и поднялся по лестнице на второй этаж. Она увела моего коня под навес к стойлу, сняла хурджин и седло, дала коню корм. Над нависшей над домом скалой показалось солнце, необыкновенно оранжевое, лучи его проникали и в кунацкую через решетчатые окна. В этом еще неопределившемся свете на

тахте я заметил старика. Старик со страшно исхудалым бледным лицом, на котором торчал заостренный нос, седые волосы почти сливались с подушкой, глаза впали, и в них не теплилось ничего – это было лицо человека, безнадежно впавшего в отчаяние. Я долго смотрел на него, на его костлявые руки, пока он не повернулся в мою сторону. Он попытался улыбнуться, раздвинув бледные губы, от яркого солнечного света зажмурил глаза. Я стоял и смотрел на него: неужели это мой приятель, бесшабашный кутила и «беззаботный соловей». Я оглянулся, в комнате больше никого не было, и он не узнавал меня, это затрудняло мое положение. Неужели он не получил мою телеграмму или, получив, порвал и выбросил, сославшись на свое состояние?! Эту напряженную тишину первым нарушил больной:

– Я думал, вы провалились в ущелье! Ненавижу, доктор, медицину, но вы должны спасти меня, если хотите иметь еще одного пациента.

– Вы… – я хотел ему объяснить, что он ошибся, что я не врач, но он меня перебил:

– Не хочу… я знаю, вы начнете оправдываться и извиняться, не хочу слышать. Я не могу ничего простить, вчера вы должны были быть здесь, доктор. Что бы вы сделали, если бы я умер этой ночью? А, а!

Мне, хотя я не был доктором, не понравились его упреки. Я поставил себя на место доктора и сказал:

– Умерших обычно хоронят.

Эти хладнокровно и ясно сказанные слова привели в чувство больного, его глаза удивленно округлились, и в голосе появились жалобные нотки.

– Вот-вот, поэтому я ненавижу медицину. Вам безразлична моя жизнь… – у больного в глазах блеснули слезы. – Может, и верно не нужна моя жизнь, потому что до сих пор кроме зла я ничего не сделал, но я, клянусь, постараюсь отныне стать другим… Спасите меня, прошу Вас, я хочу жить. Почему мои ровесники, вот такие, как этот, – он достал из-под подушки телеграмму, – мало знакомый мне наглец, прочтите, что он пишет… – он протянул мне теле-

грамму; прочитав ее, я понял, что это моя телеграмма и что передо мной мой приятель. – Какая фамильярность: встречай, буду вечером... Меня даже не удостоил чести назвать по имени, а пишет «Дага» – это проклятое прозвище на всю жизнь прилипло ко мне. Я рад, что он не приехал и не видит, в каком я состоянии, иначе бы это обрадовало его ... все они из одного теста, я хорошо знаю их ... значит, они могут радоваться жизни, а я должен умереть? Нет! Спасите меня, доктор!

И кто мог подумать, что он, такая беззаботная певчая пташка с разноцветными перьями, докатится до такого состояния; если бы ему посмели такое сказать раньше, он бы вспорол тому человеку живот. Не сделал он ничего в жизни хорошего, и цену жизни он понял лишь тогда, когда недуг уложил его в постель. Раньше бывали минуты, когда я даже завидовал этому человеку в том, что он был одет всегда с иголочки, в том, что у него всегда водились деньги (отец его, ныне покойный, был директором винзавода), сейчас он мне показался страшно жалким и беспомощным, вызывая неприятные чувства. Я был готов плюнуть ему в лицо, но в это время за моей спиной раздался голос в ответ на обращение больного «Спасите меня, доктор».

– Сейчас, сейчас, потерпите, отец, немного!

Я обернулся и увидел вошедшего в комнату в белом халате врача, с плеткой, свисающей на руке. Это был Нури, человек, который вчера только женился. Он тоже принял больного за старика.

– Какой же я отец, когда я, может быть, моложе вас!

– Тем лучше, тогда молодое сердце легко перенесет болезнь.

Врач приступил к осмотру. Больной не заметил даже присутствия двух человек в комнате, он думал только о себе.

– Мне сегодня ночью только сообщили о том, что к вам из райцентра не сможет приехать скорая помощь, потому что река размыла дорогу, и попросили меня, вот я и явился.

– К черту подробности, спасите меня!

Я не мог больше слышать его жалкий, гнусавый голос и вышел. На террасе я встретился с его тетей Ашурой. Она пригласила меня в другую комнату на чай и по ходу чаепития откровенно, даже с некоторой иронией, рассказала о больном, о том, что он давно захворал и вот уже три года ноет и ноет, как охваченный ревматизмом сустав. И за последние три дня, после обострения болезни, он резко поседел – думаю, не столько от болезни, сколько от страха. Очень капризен, не выносит присутствия посторонних людей, видеть никого не хочет – странная болезнь. Она говорила с возмущением, с видом человека, который устал и которому надоел больной. «И меня, наверное, терпит лишь для того, чтобы не умереть с голоду».

Я в свою очередь рассказал о себе, о своих намерениях.

– А чем же он занимался здесь все эти годы? – спросил я, удивленный одиночеством больного. – Неужели у него нет друзей?

– Не было у него определенного занятия, – махнула рукой Ашура и с злобной улыбкой добавила: – Всю жизнь он бездельничал: то был учителем, то агрономом, не знаю, что он в агрономии понимал, но вот что инжир растет на деревьях, не знает, то был в лесхозе кем-то, то охотником…

– А где его семья?

– Не было у него семьи.

– Никогда?

– Никогда.

– Неужели он так и не женился?

– Как-то приезжала из города к нему одна девушка. Она такое наговорила ему, так оскорбляла, дала ему хорошую пощечину, плюнула в лицо и уехала. Другой бы ни за что не потерпел бы к себе такого отношения. В тот день я узнала, что мой племянник – не мужчина. С тех пор он говорил о своей жизни с сожалением… говорил о том, что он очень сильно любил ту девушку… и не хотел слышать ни о ком другом. Он не пытался вернуть ее, видимо, знал, что

невозможно. Что-то терзало его душу... Словом, не было в нем здорового духа, словно не из нашего теста.

– Да... – многозначительно произнес я, допивая вторую чашку чая.

Словно в шутку я при ней вспомнил слова Османа. Она покраснела, как девушка, как будто я затронул ее самые сокровенные чувства, зарделась и стала глядеть на меня исподтишка, прикрывая платком лицо.

– Он в ауле еще? – спросила она.

– Нет, выехал к табуну, торопился.

– Вот робкий человек, в логово медведя один заходил, а ко мне боится заехать. Я же ждала, пока он дочку выдаст замуж.

– А как же больной? – почему-то спросил я.

– Не сегодня, так завтра он умрет, – не задумываясь, ответила она, как будто говорила не о человеке, а о каком-то низшем существе.

– С чего вы взяли, что он умрет?

– Он сам сказал, вчера вот завещание написал, чтоб похоронили на самом видном месте, хотя кладбище нашего рода расположено в неприметном месте.

В это время вошел к нам врач Нури и попросил, чтобы ему полили на руки. И как бы между прочим заметил, видимо, услышав последние слова Ашуры.

– Могилу ему готовить еще рано, по-моему...

Я посмотрел на Ашуру, слова доктора заметно разочаровали ее. Вот до чего дошел мой приятель, тот самый, с которым мы вместе учились в институте и который, недоучившись, уехал с какой-то женщиной неизвестно куда по своей глупости. Даже родственникам он стал обузой, они готовы были с удовольствием избавиться от него.

– Вы, видимо, его родственники, – сказал врач, имея в виду и меня. Ашура стала лить на руки врача воду. – Вам надо убедить его, что он не умрет, надо вытрясти из него страх. Подобного страха я не встречал. Этот страх сделал его седым. А страшиться ему нечего... пока... у него атеросклероз. Это одна из разновидностей психического заболе-

вания. Лечение пока, исходя из наших возможностей, – пиявки за уши. Подумайте, где и как вы их раздобудете.

– Пиявки-то раздобудем, – сказала Ашура, – в нашем болотистом озере они есть.

– А как их поймать, не на удочку же...

– Насчет этого не беспокойтесь, залезу по колено в воду на двадцать-тридцать минут, они пристанут к моим ногам, и я вылезу. – Она говорила об этом так, как будто это было обычным для нее делом.

– Вы храбрая! – заметил я.

– А что делать, родственник все же, – сказала она, глубоко вздохнув, – не бросать же его одного, что люди скажут!

А задумывался ли мой приятель над словами «что люди скажут», наверное, нет, человек должен дорожить мнением окружающих его людей, чтобы не пришлось потом краснеть за свои поступки.

Нури вышел во двор, где под навесом стояли его белый в яблоках конь и моя лошадь. Он собирался уезжать. Ашура вынесла из своей комнаты несколько больших груш и положила в хурджин доктора, сказав: «Из нашего колхозного сада». Доктор ничего не ответил, видимо, понял, что все равно эту женщину не переубедишь и не заставишь взять обратно из хурджина груши. Я стоял в нерешительности на ступеньках дома, уставившись на то, как Нури подтягивал подпруги: что делать – остаться здесь или отправиться вместе с доктором. И я решил уехать. Я многое узнал о нем на свадьбе и теперь мне просто необходимо было познакомиться с ним поближе. Материал, который накопился у меня, лучше было привести в порядок в ауле Конгожи, в сакле приветливого Османа, чем здесь у «умирающего» приятеля.

– Это ваша лошадь? – спросил Нури у меня, садясь на своего белого в яблоках коня.

– Да, погодите, и я с вами, – быстро набросив седло на коня, я подтянул подпруги.

Нури никак не отреагировал на мое решение, видимо,

ему было все равно: ехать ли одному или с попутчиком. Только Ашуру разочаровало мое решение.

– А я хотела, чтоб вы побольше рассказали об Османе, – с сожалением сказала она.

– Что ему передать?

– Пока он не выздоровеет... – кивнула она в сторону кунацкой, где лежал и уже звал к себе Ашуру больной, – ничего не выйдет. Лучше ничего не говорите.

Заметив, что Нури ждет меня, я вскочил на коня.

– Поехали.

Глава четвертая

Полуторамесячного отдыха было достаточно, чтобы отключиться от городской суеты и вернуться к размеренной жизни в родном ауле после долгой и трудной учебы, чтобы восстановить силы и освежить память. И вот первый день самостоятельной работы в сельской больнице закончен. Элегантно одетый в черное трико молодой человек высокого роста с гордо вскинутой головой, с довольным лицом вешает у двери кабинета белый халат, учтиво прощается с медсестрой и выходит. Это двадцатичетырехлетний Нури – сельский врач.

На небе ясно так же, как и на душе молодого человека. Улетали треугольниками на юг птицы. Раздевались под ветерком деревья от разноцветной листвы, чтоб в скором времени одеться в белые шубы. Было прохладно.

Под бурными впечатлениями проведенного дня молодой человек, немного прихрамывая на левую ногу, направился домой. Сельская больница находилась в ореховой роще, а дом Нури двумя кварталами дальше. «Эх, с кем бы мне сейчас поделиться? Где вы, друзья мои, однокашники? Разъехались по всей стране. Встретимся ли мы еще, где и когда? Надо встречаться, нехорошо забывать студенческие годы». Первые встречи сегодня, первые беседы с пациентами, первые и поэтому много раз проверенные самостоя-

тельные диагнозы, первые радости, что ты – первый врач за всю историю этого аула, что ты стал полезным человеком для своих сельчан и что у тебя есть родители, которые гордятся сейчас тобой, но вместе с тем и первые разочарования в том, что на селе часто не соблюдаются элементарные правила гигиены. И мечтает молодой врач устранить все эти недостатки, создать в ауле такие условия уюта и чистоты, чтобы глаза радовались, чтобы простой труженик не боялся за свое здоровье, чтобы каждый человек от мала до велика стал на защиту порядка и чистоты... Это, в первую очередь, зависело от него как от врача. Много чего нужно успеть сделать молодому сельскому врачу, и о себе подумать, ведь он еще не женат.

Во время учебы в городе у Нури были легкие увлечения, которые он вначале принимал за любовь, но потом понял, что это все равно, что туман на ветру: исчезает без осадка. В ауле ему приглянулась было одна девушка, но она была уже засватана, и он ограничился тем, что первым станцевал на ее свадьбе. С тех пор ни один образ девушки не волновал его, если не считать Айши, при виде которой он робел.

По поводу женитьбы он мог не тревожиться, так как решение этого вопроса взяли на себя его родители. Мать Нури – Хамис – одна из тех горянок, которые порвали со старым миром, сбросили с себя паутину неписаных законов адата и свободно вздохнули, но еще не полностью поняли права, данные им конституцией. Женщина честная, добродушная, готовая пожертвовать собой, старалась вести такой образ жизни, чтобы в колхозе ее не считали отсталой и забитой. Работала она в новой для этого аула отрасли сельского хозяйства – овощеводстве. Земля здесь плодородная, дает хорошие урожаи капусты, моркови, редиски, которые раньше, кроме белой редиски, жители этих мест не выращивали. Отец Нури – Мустафа – был бухгалтером колхоза, он всегда при случае вспоминает, как учился на бухгалтерских курсах в те трудные тридцатые годы в городе, «мерку вареной или жареной, кто как хотел, кукурузы на неде-

лю...». Да, нелегкой была его жизнь, часто подводили его доверчивость и откровенность. Но со временем он изменился, стал более замкнутым, с недоверием относился к людям. Как бы ни было трудно, Мустафа оставался всегда преданным порученному делу. Где надо не лез он за словом в карман. В годы войны, будучи бухгалтером трех колхозов и ревизором района, руководил истреботрядом, направленным против диверсантов, шпионов и бежавших с фронта трусов, которые прятались в лесах и грабили мирных людей. Короче говоря, это человек с незаурядной биографией, заслуживающий большого внимания и уважения...

Родители гордились своим сыном. Они часто стояли на балконе и ждали его возвращения с работы. Это их сына приветствуют на улице почтенные люди, это их сыну они уступают место и приглашают побеседовать, это их сыну высказывают пожелания доброго здоровья, больших успехов и хорошей невесты, которая бы подарила ему дюжину детей. А ровесники их сына рады были встать рядом с ним, с образованным, воспитанным человеком. Мало рождал таких уважаемых людей еще этот аул.

– Как изменился наш сын! – говорит Хамис, наблюдая за сыном с балкона.

– Как это понять? – спросил Мустафа с вечной трубкой в руке. Трубка из слоновой кости с серебряными колечками, уже пожелтевшая от никотина, была подарена ему одним кубачинцем, с которым он учился на первых бухгалтерских курсах. С тех пор он курит свой тютюн.

– Ну какой-то такой... взрослый, интересный, – пыталась Хамис найти в сыне те изменения, которые произошли в нем за годы пребывания в институте, и трудно было их передать. – Раньше я ругала его, кричала на него, называла даже «хромым шайтаном», теперь жалею об этом, боюсь даже слова молвить: а может, не так скажу, может, слишком отстало прозвучит... очень уж вежлив он со мной, даже на горца не похож...

– Учеба в городе, хачбаб[1], все равно что вторая мать, – заметил Мустафа, крепко затянув дым тютюна из сжавшей в ладони трубки.

– Нет, я одна у него мать... – ответила, нахмурившись, Хамис, прижимая к груди руки, словно не желая никому уступать право быть матерью такого сына, подчеркивая, что она, именно она, а не другая его вскормила. – Я всех девушек перебрала в памяти... неужели в нашем ауле уже не стало невест, а ведь раньше, помнишь, – улыбнувшись, она задела локтем мужа, – помнишь, говорили: «с каждого аула по одной красавице, а из Конгожи первую встречную». Почему они перевелись?

– Откуда мне знать, чего у меня спрашиваешь, словно я виноват в том, что нет в ауле красавиц.

– А может, это мне так кажется потому, что наш сын другим стал...

– Может быть…

– Наверное, так и есть, ведь когда всходит луна – звезды меркнут.

– А что если засватаем Зейнаб? – вставил отец, чтоб жена не сочла его безучастным в судьбе сына. Но он не был сторонником навязывания своей воли детям, он понимал, что сын лучше разберется в своих чувствах и сам решит, на ком ему жениться.

– Зейнаб? Это о которой ты говоришь?

– Да дом у них у родника, не знаю, чья она дочь, но она смазливая, и люди хорошего мнения о ней.

– Нет, она ужасно строптивая.

– Раз хочешь покорную, тогда возьми Лейлу.

– Да ты что, отец своему сыну или враг... Нашему сыну такую вареную морковку, подумай... – возразила мать.

– Тогда возьми Белу луноподобную.

– Она отрезала косы. Какие были косы, я бы их на золото не променяла, а она... Теперь ходит с коротко стри-

---

[1] Обращение к жене, жена.

женными волосами, как овечка, стриженная старыми ножницами...

– Тебе трудно угодить. Тогда возьми длиннокосую Зулейху.

– Она хромает... – сказала мать, даже не подумав о том, что и ее любимый, единственный сын тоже хромает.

– Ну и хорошо. Будет кстати, и наш сын хромой... – сказал, улыбаясь исподтишка, Мустафа.

– Мужчине хромота как красота, но женщине это... – Хамис махнула рукой и добавила: – И как ты смеешь на сына нашего наговаривать такое?!

– А что? Разве это неправда, разве наш сын скрывает свою хромоту?

– Пусть хромой он, все равно лучше всех.

– Разве я сказал, что он плохой?

– Женить его хочу на небывалой красавице.

– Тогда красивее Айши нет никого...

– Да, но она с детства засватана...

Мустафа смотрел, не отрывая глаз от приближающегося к сакле сына. Нури у самой сакли поднял на руки маленькую девочку в грязном ситцевом платье и дал ей, найдя в кармане, конфету. Затем усадил на деревянного самодельного конька и погрозил пальцем, чтоб не садилась больше на сырую землю. Он также и остальных детей вывел на сухое место, на песок и объяснил им, что они, если будут садиться на сырую землю, простудятся и заболеют. Дети послушались его. У девочки, которую Нури посадил на конька, были необыкновенно голубые глаза, что бывает редко в горах.

– Тогда, – сказал Мустафа, обращаясь к жене и отходя от перил, желая этим закончить разговор о невестах для сына, – подождем, пока подрастет соседская девочка – голубоглазая Хадижа.

Мустафа говорил как раз о той девочке, которую только что Нури поднял на руки. Появление у детей такого цвета глаз люди объясняют тем, будто в давние времена недалеко от них была русская крепость, и горцы общались с

русскими солдатами, словом, русские уронили голубые глаза, а горцы их подобрали.

Родители вошли в комнату, чтобы сын не застал их на террасе и не заметил, как они за ним наблюдали. Комната была с камином. Горел огонь, весело трещали дрова, подкладываемые в камин слева и справа, у огня в горячей золе стоял котел, а в котле был ужин для сына. В горских домах камин считают необходимостью. Камин находится обычно справа и занимает добрую половину стены, его красиво украшают резными каменными наличниками, каждый из которых является произведением искусства, их делают искусные мастера из аула Сутбун. Знают горцы, что пламя костра в камине не только для тепла, но и для здоровья необходимо. Раздвинул отец поленья в камине, взял одно горящее полено и прикурил свою пожелтевшую трубку из слоновой кости.

Раздались шаги на лестнице, затем на террасе, и вот вернулся домой с работы их сын. Он подошел к родителям, сел между ними, поджав под себя ноги, и весело посмотрел на них.

– А я знаю, о чем вы думали... – сказал Нури.

– Как же не знать, когда ты у нас один-единственный, – сказала мать.

– Нет, вы не обо мне думали, а о невесте для меня.

– Угадал, – сказал отец. – Но я бы сначала покушал.

– Отец, ты прав, проголодался я сегодня. Правда, я обедал на работе.

Мать засуетилась, поставила перед ним низкий столик на трех ножках, постелила скатерть, похожую на маленький цветастый платок, принесла хлеб буханочный из пекарни и испеченный дома в золе из пшеничной муки, молотой на сельской мельнице – такой хлеб, с особенным вкусом, в котором нередко чувствуется, что в муку попал помол каменных жерновов, любит Мустафа, да и сама Хамис. Поставила Хамис в глиняном горшке горячий еще пити и принесла вино.

– Ешь, сынок, ешь на здоровье, невеста не к спеху... – сказала мать.

– Правильно... – отец поймал ее на слове, – пусть она сама ищет нас, пусть сама и явится к нам!

– А вы почему не ужинаете?

– А мы покушали, сынок.

Больше никто ни слова не вымолвил. Нури с аппетитом ел, а родители, исподтишка поглядывая на сына, думали про себя.

Разве не вчера это было, думал отец, что мои родители подбирали мне невесту, а сейчас я должен думать так о своем сыне... Вот он сидит передо мной с бритым возмужалым лицом, на котором красуются лоснящиеся усы. Вот колесо жизни катится по дороге времени, только все совершенствуется, развивается и идет вперед. Дед мой был нищим, отец тоже до того как стать красным партизаном, я вот служащий, а сын мой – врач, а сын его... Но об этом еще рано думать. Но это колесо могло застрять в грязи, мой сын не был бы врачом, я не был бы грамотным, отец мой не был бы красным партизаном, и может наш род закончил бы свое существование в нищете, оставив после себя лишь памятник при дороге, если бы в те годы не засияла заря с «севера». Радость одного – это еще не радость, она должна еще родиться. Поэтому-то горец всегда спешит поделиться с друзьями, чтоб понять: действительно ли тому чувству, что у него на душе, название – радость. Прежде чем узнать содержимое кувшина, надо его вылить. Радость может стать радостью лишь тогда, когда она признана.

А мать думала о своем: что сын ее врач и сможет помочь ей избавиться от болезней, которые стали одолевать последнее время. Очень уж не хотелось ей доверяться этим невежественным и лживым лекарям-самозванцам, которые пытаются лечить больного, не зная, чем страдает больной, не дотрагиваясь до его тела, да и вообще не зная и не видя больного. Давно бы мать объявила шарлатанам войну, но не могла ничего им противопоставить, хотя знала, что больного надо лечить не колдовством, а с помощью ле-

карств и лекарственных трав. Но ничего, за это она родила такого сына, который сможет не только противостоять знахарям, но и подорвет их авторитет.

Не желая больше смущать проголодавшегося сына, родители ушли в свою комнату. В горах люди рано ложатся спать, чтобы рано встать. И это хорошо: встречать утро, которое будит в человеке самые добрые намерения, вдыхать свежий бодрый воздух и любоваться зарей. Уходя, отец захватил с собой недочитанную им сегодняшнюю почту.

– Отец, если можно, оставь, я посмотрю журнал «Вокруг света», – попросил Нури.

– Возьми, меня заинтересовала там статья о наших предках, завтра дочитаю... – сказал отец и, вернувшись, положил журнал на полку камина. – Спокойной ночи!

– Надеюсь, будет спокойной, после первого трудового дня, – сказал Нури, с удовольствием запивая сухим полусладким вином острое блюдо.

Нури поел. Убрал все за собой, вспомнив студенческую жизнь. Достал из ниши три подушки, разложил их у камина, разделся, поправил огонь в камине и лег, накинув на себя клетчатый шерстяной плед. Задремал с журналом в руках, журнал медленно выпал из его рук, и он заснул спокойным сном, забыв выключить свет. Свет в комнате выключила мать. По комнате забегали тени от огня в камине. Однажды во время практики на его глазах умирала девушка – первокурсница какого-то техникума, изумительной красоты. Она умоляла молодого дипломника спасти ее, Нури очень хотелось ей помочь, но медицина оказалась бессильна против болезни несвертывания крови. И вдруг эта девушка приснилась ему, бледная, хрупкая, беспомощная, пожала своей похудевшей рукой руку Нури и сказала: «Спасибо!» – «За что?» В это время раздался чей-то стук, и образ девушки исчез. Нури проснулся и услышал стук, но не смог встать, он был еще в сонном состоянии.

Из внутренней комнаты вышла мать, ворча про себя

«кого это несет к нам в такой поздний час». Она, проходя мимо сына, поправила на нем плед.

– Да простудишься ты так, сынок, холодные же осенние ночи. Сейчас, сейчас!

Хамис открыла дверь и на фоне звездного неба на пороге увидела темный силуэт. Это была женщина. Одета была она во все черное, и если бы не звезды, она полностью слилась бы с темной ночью. На мгновение они обе застыли в нерешительности. Хамис пришла в себя от оцепенения и впустила в дом незнакомку. В комнате, слева от двери, она зажгла торшер, который осветил маленький газетный столик и два стареньких кресла. Мать Нури глянула при свете на ночную гостью. Перед ней стояла не знакомая ей молодая женщина с большими глазами. Хамис она показалась очень красивой. Лицо незнакомки выражало отчаяние, губы дрожали, она пыталась начать разговор.

– Что вам нужно? – спросила Хамис, пытаясь скрыть внезапно нахлынувшее волнение, но голос ее невольно сорвался, и слова прозвучали сердито, будто перед ней стояла преступница.

– Мне нужен ваш сын, – сказала незнакомка, наконец-то разжав губы, стараясь быть спокойной.

– В такой поздний час?

– Да.

– Зачем?

– Это он? – спросила незнакомка, заметив у потухающего камина свернувшегося на подушках человека.

Хамис подошла к сыну и вновь поправила на спящем плед, встав у его изголовья, словно приготовилась защищать.

– Не будите его, – сказала она, обращаясь к незнакомке, и в этом обращении было что-то умоляющее. – Скажите, что вам нужно от него?

– Прошу вас, не задавайте мне вопросы, все равно я на них не отвечу. Как зовут вашего сына?

– Вы с ним не знакомы? – с облегчением спросила Хамис.

– Я сегодня впервые узнала о нем, – голос незнакомки звучал теперь более спокойно.

– Его зовут Нури, – торопливо сказала Хамис, и руки ее жестом пригласили незнакомку сесть в кресло. У нее отлегло от сердца. Но что-то тревожило ее. Она подумала о том, что ее сын натворил что-то будучи на учебе, и она не была поставлена в известность. Неужели она может сомневаться в своем сыне? Да, она все же мать, и доля матери всегда беспокоиться о своих детях.

– Да, меня зовут Нури, – сказал спящий, приподнимаясь, он был еще под впечатлением сна. – Если позволите, я оденусь.

Женщины отвернулись. Нури быстро вскочил, накинул на себя халат, тот самый теплый пушистый полосатый халат, который привез ему из Средней Азии его однокашник, и подошел к ним.

– Что случилось? – спросил он, обращаясь к незнакомке, которая пыталась спрятать свои грустные глаза. Она была сильно взволнована, и это отражалось на ее красивом лице.

– Умоляю выслушать меня и постарайтесь понять, – сказала она, опускаясь перед ним на колени.

Нури не дал ей опуститься на пол. Прикоснувшись к ней, он почувствовал, что она дрожит, то ли у нее была лихорадка, то ли она озябла в пути в осеннюю ночь, так как была очень легко одета, то ли страх довел ее до такого состояния.

– Говорите, я вас слушаю... – сказал Нури, приглашая ее сесть. – У вас лихорадка.

– Нет.

– Вы озябли?

– Нет, доктор.

– В чем же дело?

Незнакомка глянула на мать, и Нури понял, что она смущается или не хочет говорить при матери. Хамис тоже поняла это и ушла к себе, сказав:

– Потом не забудь, сынок, двери закрыть на крючок.

Это было сказано с подтекстом, что, мол, не думай ты оставлять ее на ночь дома, но на это Нури не обратил внимания.

– Хорошо, мама.

Мать ушла, а незнакомка чувствовала себя так, словно за ней наблюдали из окна и через стены тысячи любопытных глаз, что-то ей мешало и не давало возможности говорить.

– Если здесь неудобно, пойдемте в мою комнату, – сказал Нури и повел ее в смежную комнату, зажег свет. При этом ярком свете лицо ее показалось ему еще более прекрасным. Ее большие миндалевидные, грустные, наполненные, как горные колодцы, глаза умоляюще глядели на него:

– Нельзя ли не зажигать свет?

Возбужденный тем, что он, самый ярый реалист, столкнулся с таким романтическим случаем, который охвачен таинственным туманом, и немного встревоженный вопросом, сможет ли он помочь этой трепетной горянке, Нури потушил свет в комнате. Темнота поглотила все в комнате: и оригинальный дубовый шкаф, вделанный в стену, и дорогой шахбагдадский ковер, занимающий всю стену и спускающийся на диван-кровать, и картину, на которой маслом был изображен их дальний родственник, который еще в прошлом столетии покинул родину и выехал в Стамбул, где стал знатным человеком. Это даргинец Махмудбей, переведший впервые на турецкий язык бессмертное произведение Грибоедова «Горе от ума», великий историк и писатель, сделавший много для чужих, но не сделавший ничего для своего маленького народа. Все это потонуло в темноте. Слышалось тиканье больших часов в тишине. Кто же она, эта таинственная незнакомка, внезапно вторгшаяся в его жизнь?

– Так, я вас слушаю... – сказал Нури и подумал: «Хорошо было бы, если бы я смог помочь ей».

Наступило долгое тягостное молчание, глухо послышалось первое пение петухов, бой часов оповестил о том, что уже два часа. Она долго не могла начать разговор, что-

то мешало ей. Мысли ее путались, она тихо села на диван, потом поднялась и опять села. Долго искала в душе начало нити, чтоб размотать клубок. И вот наконец кувшин молчания разбился об острый угол долгой напряженной тишины и хлынула из него вода – слова – бурным потоком. Клубок быстро стал разматываться, хотя кое-где нить рвалась и путалась, и ей приходилось прикладывать большие усилия, чтобы найти концы нити. После долгих хождений вокруг до около, после многих иносказаний, после многих стонов сквозь слезы она дошла до главного, и главное она выразила так непонятно, что было трудно понять цель ее визита. Но внимательный Нури из этого хаоса мыслей и фраз выяснил себе одно: незнакомка хочет во что бы то ни стадо избавиться от плода, который она носила под сердцем от ненавистного ей человека. Из головы Нури романтические мысли после этих объяснений улетучились как легкий туман в раннее утро. Внимательно выслушав ее, спросил, правильно ли он понял.

Постепенно темнота рассеялась, Нури мог спокойно разглядеть силуэт стоявшей перед ним женщины в черном. Она в ответ на его вопрос молча кивнула головой.

И первое, о чем подумал он, было то, «какое же это чудовище» заставило женщину-горянку в такой поздний час притащиться в наш аул и умолять избавить ее от ребенка, связывавшего ее с тем человеком, которого она не называла по имени, кроме как презрительно хайван (скотина). И хайван этот представился ему в образе разъяренного зверя с окровавленной пастью, он не рычал, а хохотал, рассказывая подобным себе о своем «геройском» поступке.

По всему было видно, что она стала жертвой обмана, что над ней посмеялся самый ничтожный человек, и поэтому ей необходимо поступить именно так, как она решила. Она просила сохранить все это в тайне, поэтому пришла ночью. Да, действительно, только безысходное отчаяние, ненависть к тому, кто надругался над ее честью, кто растоптал грязным сапогом первый цветок весны, могло заставить горянку решиться на такой шаг и обратиться к врачу-

мужчине с подобной просьбой. Она не желала иметь ребенка от него и умоляла поскорее избавить ее от этого позора, который с каждым днем давал о себе знать, будто тот же самый изверг кричал: «Никуда ты не убежишь от меня, я в тебе сижу!»

Нури попытался утешить ее самыми нежными, добрыми словами, пытался убедить ее не делать этого, но она и слышать об этом не хотела.

– Если ты не окажешь помощь горянке, которая, может, впервые в истории страны гор обращается к горцу с такой просьбой, то я наложу на себя руки и этим прекращу его существование.

– Но ты женщина, пойми, рассуди о возможных последствиях этого шага. Подумай.

– Я уже подумала.

– Опрометчивость в этом деле может оказаться непоправимой ошибкой. Ты, может быть, будешь обречена на бездетность.

– А это разве хуже смерти?

После этих слов Нури прекратил все попытки убедить ее отказаться от подобного шага. И он удовлетворил ее просьбу. Она хотела отблагодарить его, сняв с себя бриллиантовые серьги, но Нури остановил ее, дав понять, что этим она задевает его честь и может глубоко обидеть его.

– Но мы больше не встретимся и я вряд ли смогу отблагодарить вас, – сказала она.

– Ну что же...

Она ушла, так и не назвав своего имени, хотя для Нури это было бы гораздо дороже, чем бриллиантовые серьги. Уходя, она еще раз попросила его, чтоб все осталось в глубокой тайне даже для матери, единственной свидетельницы их встречи. Нури дал слово. Как только она вышла и растворилась в серой темноте ночи, Нури закрыл двери, как велела мать, вытер пот со лба и, лежа на диване, думал: «Первый день работы, он в утробе матери задушил жизнь, какой же он врач и где эта граница, отделяющая врача от живодера. Чем же он лучше того хайвана, который заложил

в нее жизнь, а он эту жизнь умертвил, – жестоким упреком звучала мысль в его голове. – И кто из нас прав? А может, я уничтожил такого же негодяя, как и его отец. Но часто бывает так, что у отъявленного негодяя рождается славный сын... Прекрасна была она, я не мог наглядеться на нее, может, это от жалости к ней? Нет, я не мог ее жалеть, такая красота не вызывает жалости, а вызывает лишь восхищение, и я восхищен ею...»

Она ушла, оставив после себя тайну и глубокий след в сердце Нури. Тайну ее Нури сохранил, а образ ее все время стоял у него перед глазами. «Человек, который может так сильно ненавидеть, будет и любить так же сильно». Днем и ночью, во сне и наяву отныне перед Нури возникали ее большие грустные глаза.

Глава пятая

Нури казалось, что со временем он забудет незнакомку с грустными глазами на бледном лице. Время – лучший лекарь. Но оно оказалось бессильным, оно не могло стереть из памяти воспоминания о ней. Все его существо было объято волнением при мысли о незнакомке, все женщины перестали для него существовать. Даже Айша, к которой у него начинало пробуждаться чувство любви, ушла на второй план. Влюбленная, как могут влюбляться только горянки, Айша не могла не заметить неожиданную перемену в нем. Хотя она была засватана и не должна была любить другого, она всем девичьим сердцем полюбила молодого врача. Айша не могла ему признаться в своих чувствах, она опоздала занять место в твердом сердце Нури, сердце горца всецело принадлежало прекрасной незнакомке в черном. Айша поняла, что он увлечен другой, но кто она, не могла догадаться. Она злилась, грубила ему, сразу начинала плакать, этим лишь отдаляла его от себя. Наконец Айша решила ему открыться, лучше позор, чем терпеть душевную муку. Она пришла к нему на работу:

– Нури, не могу без тебя, хоть гони палкой. Я люблю тебя, – пав на колени, Айша прижала к груди сложенные ладони.

– А разве этого достаточно? – Нури поднял ее и сразу решил положить всему конец. – Ведь в своей любви, красавица, ты не будешь счастлива.

– Пусть, пусть!

– И я не буду счастливым.

– Пусть, пусть!

– Я не люблю тебя.

– Полюбишь потом, узнаешь меня ближе и полюбишь. Я хорошая, Нури, буду еще лучше.

– Знаю, знаю, что ты хорошая, но в мыслях у меня другая.

– Кто она? В ауле такая не может быть, скажи, что в ауле такой нет.

– Ты права, нет ее в ауле. И не знаю я, где она.

– Ты шутишь, правда, Нури?

– Нет, Айша.

– Я ничего не могу с собой поделать, я хуже, чем больная. Вылечи меня, доктор... – всхлипывая, упала она на грудь Нури.

– Айша, будь сильной. Вот увидишь, найдется человек, который полюбит тебя. Вернется со службы жених, и ты будешь счастлива! Забудь меня!

– Не могу я забыть, – заплакала Айша.

– А навязывать свою любовь ты можешь? – сердито сказал Нури, отстраняя ее от себя. – Ты же горянка!

Айша очнулась. Убитая горем и терзаемая стыдом, она ушла и больше не показывалась на глаза Нури. Весть о возвращении ее жениха со службы обрадовала родителей, и они стали готовиться к свадьбе. Айша была согласна, ей теперь все было безразлично. И вот в самый разгар подготовки к пышной свадьбе вернулся со службы домой солдат, но не один, а со смуглой широколицей азиаткой, на которой он женился будучи на службе, и с чемоданами с домашним скарбом. Это был еще один жестокий каприз судь-

бы по отношению к Айше, она и здесь отступила. Она была в отчаянии и готовилась покинуть аул, не случись так, что в их аул учительствовать приехал пылкий юноша по имени Омар, он очень скоро подружился с Нури. Айша решила выйти если не за Нури, то хоть за его друга, и Омар в свою очередь полюбил ее. Он в этой беспокойной, похожей на маленькую лодку в бушующем море, душе нашел что-то очень близкое своему мятежному, ищущему сердцу. После этого и Нури облегченно вздохнул, так как был спокоен за судьбу этой девушки.

Прошел почти год с той таинственной ночи. Но чем больше проходило времени, тем глубже и четче всплывали в памяти ее черты. Так углубляются узоры на цинке в ванной с кислотой – чем больше времени, тем глубже. Нури как сегодня видит перед собой ее грустный, трепетный облик. Ее глаза нарушили его покой, он стал задумчивым и забывчивым, выйдя из сакли он останавливался у калитки, вспоминая, не забыл ли чего-нибудь, так было и когда он уходил с работы. Ему чего-то не хватало и казалось, что он что-то где-то потерял. Стал рассеянным, любил оставаться наедине с самим собой. А мать выбирала ему невесту, одну лучше другой. Но у них был один-единственный недостаток: у них не было таких глаз, как у таинственной незнакомки.

Наступило время отпуска. Нури решил отправиться в туристический поход по родному краю, надо было немного нервы привести в порядок, познакомиться поближе с родным краем, говорил он, хотя в глубине души преследовал другую цель: надеялся в пути повстречаться с ней и увидеть еще раз эти необыкновенные, как ему казалось, глаза. Как говорится, если ты влюблен, то скитайся по горам. О том, что свой край надо хорошо знать, считал и друг его Омар со своей молодой подругой Айшой. Прежде чем отправиться в поход, они поклялись пройти вдоль и поперек местность и аулы от Сирагинских гор, начиная с Чихруги, до Салаватских гор, кончая аулом Хунзах.

Да, можно сказать, клятву они сдержали, весь свой от-

пуск они провели в походе, то шли пешком, то, когда очень уставали, верхом, но на машины не садились. Омар и Айша интересовались историческими памятниками, собирали легенды и сказания. Омар охотился на куропаток и зайцев, а Нури охотился за глазами незнакомки. Ночью на стоянке у костра, любуясь звездами, Нури думал все о тех же глазах. Немало по горным дорогам женщин в черном догонял влюбленный юноша и заглядывал в их лица, но каждый раз отделывался шуткой, понимая, что ошибся, чтобы спутники его не догадались ни о чем. Одни женщины в черном считали его ненормальным, другие принимали за беззаботного весельчака, а третьи сердито поносили. Он терпел все это ради одной цели. Омар и Айша возвращались домой отдохнувшими, бодрыми, а Нури был похож на очень уставшего и больного скитальца. Он не встретил ее. Не было ее нигде. И Нури потерял всякую надежду и, может, отчаявшись в тщетных розысках и ожиданиях, забыл бы ее, если бы не случилась неожиданная беда. Сразу же по приезде Нури с похода в аул им сообщили печальную весть: в автомобильной катастрофе погиб Рапи, дядя Нури, родной брат Мустафы.

Почти всю сознательную жизнь Рапи жил в районном центре – Маджалисе, который находится недалеко от аула Конгожи. Последние десять лет он занимал пост секретаря райисполкома и был всеми уважаем. Нури хорошо знал своего дядю-кавалериста, который обучал молодых горцев джигитовке, доброго человека, похожего на Чапаева и поэтому носившего прозвище Чапай. Когда в ауле впервые показали фильм «Чапаев», все расспрашивали его о том, действительно ли это он, ведь и он был героем гражданской войны, и он, улыбаясь, отвечал: «Какая разница, я ли это или не я, вы же видите: храбрец настоящий, и дело его правое».

Дурная весть о его гибели на черных крыльях облетела весь район, да и не только район, люди приехали и из столицы республики, чтоб отдать последний долг товарищу и

другу. Сразу же по получении такого известия Мустафа собрался в путь:

– И тебе, сынок, надо ехать, ты уже взрослый, люди будут тебя осуждать. Рождение, свадьба, смерть – вот три события в горах, на которые необходимо откликаться, – сказал отец, обращаясь к осунувшемуся сыну, который стоял поодаль. Отец оседлал коня и заменил уздечку.

– Я плохо себя чувствую, отец, – сказал Нури, перебрасывая через седло хурджин. Он просто не хотел лишний раз показываться людям, отвечать на их вопросы и расспросы, как да почему. Да и себя он после скитания действительно чувствовал скверно.

– Некрасиво будет, – сказал Мустафа, показывая плетью на ворота других саклей, откуда выезжали верхом горцы. – Гляди, совсем чужие люди оседлали коней, чтоб выразить семье покойного соболезнование.

– Что делать, отец?

– Ехать надо, сынок. Надо отдать последний долг, мне он брат, тебе – дядя. Ушел, оставив трех дочерей и ни одного сына. В нашем роду ты один продолжатель рода – это на тебя глядят предки, достойный ли ты продолжатель их или нет. Надо ехать, традиции эти в горах бессмертны, да будут они и сохранены, так как в них, кроме уважения к человеку, ничего плохого нет...

Нури согласился ехать. Если бы он в этот день остался дома и не поехал с отцом отдать последний долг дяде и принести соболезнование семье погибшего, нам бы дальше нечего было рассказывать, так как события могли быть иными и, может быть, менее интересными. Долгое время Нури со страхом вспоминал, что он мог не поехать тогда и всегда благодарил отца, который смог уговорить его...

Маджалис – аул с большим будущим, расположен он между двумя высокими вершинами на берегу Уллу-чая, и не зря это место названо воротами в горы. Также как спускающиеся со всех Сирагинских и Кайтагских гор ручейки сливаются в Уллу-чай, так и жители гор проходят по нуждам в окружающий мир через эти единственные ворота,

если не считать воздушных дорог, соединяющих районные центры с Махачкалой. Ровная асфальтированная дорога ведет на станцию железнодорожного вокзала, расположенного в десяти километрах от Маджалиса. Маджалис – аул, который со временем может стать городом, об этом говорят такие крупные предприятия, как мощные автоматизированные консервные заводы, расположенные прямо в центре колхозных и совхозных садов в Маджалисской долине, кирпичный завод, гончарная мастерская, где работают спустившиеся с гор сулевкентцы. В Маджалисе в летнюю погоду температура достигает сорока градусов, и если бы дома не утопали в зелени садов и высоких тополей, люди не выдержали бы такую жару.

Жаркая была погода и сегодня. Когда отец и сын подъехали к аулу, пошел крупный град с дождем прямо под солнцем, на небе не было ни одной тучи, крупные градины падали на горячую землю, и дышать стало легче. Когда идет такой дождь, горцы говорят, что лиса сватает своему сыну дочь зайчихи. Нури был рад такому дождю, так как в дороге он устал и тяжело дышал. Людей в ауле не было видно, только около дома, крытого красной черепицей, толпились люди. Люди уступили им дорогу; войдя, Нури привязал лошадей к стойлу. Он следовал во всем отцу, который знал, что в таких случаях делать и говорить. Для Нури это была первая большая потеря, которую он осознал. Весь дом был наполнен плачем – женскими причитаниями. В поющих с рыданием песнях женщины в первой комнате в черных одеяниях рассказывали о доброте и хороших делах покойного ныне человека: это Рапи построил два моста через реку Уллу-чай, это Рапи выстроил в ауле три колодца с питьевой водой, это Рапи мостил улицы, это Рапи в трудную минуту, кто бы ни обратился к нему, находил время с ним поговорить, выслушать, дать совет, помочь будучи в должности секретаря райисполкома.

Как только отец поднялся на крыльцо, жена покойного кинулась с рыданиями к ногам его, обвиняя себя в том, что

не смогла сберечь его брата, отца ее детей. Поодаль плакали дочери. Мустафа поднял ее и сказал:

– Да будут радовать тебя дети твои, теперь они твоя надежда. Им не следует плакать, успокой их.

Затем они прошли в угловую комнату, где на ковре завернутый уже в саван лежал покойный в окружении близких родственников. Нури много раз смотрел смерти в глаза, видел немало покойников, будучи студентом мединститута, да не только видел, и вскрывал трупы, дабы убедиться в правильности диагноза, но всегда его сердце сжималось, когда он видел покойного в саване из бязи, белый саван на него действовал как дурман. «Лицо надо было оставить открытым», – подумал Нури. Отец высказал свое сожаление о потере дорогого брата и сел с почтенными людьми; сидящие, успокаивая его, объяснили, что человек бессилен против смерти. А сыну Мустафа сказал:

– Иди на террасу, там твои ровесники.

Пройдя через комнату, Нури вышел на террасу и, разыскав место, сел среди молодых парней. Здесь было более непринужденно, и Нури почувствовал себя немного свободнее. Вначале ему казалось, что нельзя отвлекаться от мыслей о покойном, нельзя говорить об ежедневных заботах и мелочах жизни, кроме как о страхе смерти, но молодое поколение отходило уже от этих ограничений. Они поприветствовали его, посадили на самое почетное место, начались расспросы. В разговоре о делах, о работе и здоровье, словно морские волны, чередовались у них воспоминания о покойном.

– Нури, дай руку, – протянул один из парней руку, – прости меня, я не узнал тебя. У соседа пришлось спросить. А ведь я хорошо помню, да и ты не мог забыть, как мы всей школой ходили в лес лесхозу помочь и нашли медвежонка.

– Помню... – сказал Нури, еле заметно улыбнувшись, вспомнив его: ведь это же Айгуб, который порвал штаны, когда мы от сторожа колхозного сада бежали.

– Клянусь, и я не узнал, время быстро бежит... – пожал его руку еще один парень, – а в ауле соседи.

– Да, – сказал многозначительно один из соседей Нури, – разбросала нас жизнь в разные стороны, кто в городе, кто в ауле... живем и часто забываем, что жизнь наша... ну вот так вдруг... Вот слушаешь рассказы наших дедов и отцов и завидуешь им, даже в двадцатые и тридцатые годы, очень трудные годы, они и то находили время навещать друг друга и специально месяц посвящали тому, чтобы проведать друзей. А мы что-то оторвались друг от друга, как осенние листья на ветру, то ли потому, что в нашем распоряжении теперь быстроходные самолеты и машины...

– Ты прав, друг, нельзя было забывать эти традиции...

– А на какой машине он ехал? – спросил один.

– На старом лимузине, и, говорят, шофер был из наилучших... Что поделаешь, машина есть машина, отказали тормоза.

– Пятьдесят метров высота обрыва, и, надо же, один из них остался жив.

– Что, остался жив?

– Да, шофер вылетел из машины и упал на ветки дерева, прямо над скалами... сняли, говорят, его с трудом, и как только оказался на носилках скорой помощи, потерял сознание.

– Это я его снимал... Трудно было оторвать его руки от веток, за которые он цепко ухватился.

– Это разве не судьба? – спросил в углу кто-то

– Нет, это случайность, – ответил ему Айгуб, – вот, например, случилось со мной такое: я в своей старой машине ехал из Маджалиса до Уркараха, вы знаете подъем от трисанчинского караван-сарая, где ныне стоит колхозная мельница, вот..

Нури поймал себя на мысли, что все его внимание обращено на вошедшую к ним с подносом женщину в черном. На подносе были куски халвы, самодельной халвы из меда, сливочного масла и муки из таркаманской пшеницы – вкусная халва. В горах и рождение, и свадьба, и смерть отмечается сладкой халвой. Женщина в черном стояла спиной к Нури и начала по кругу раздавать халву. По телу Ну-

ри пробежала дрожь, он еще не видел ее лица, но почувствовал, как слепой чувствует присутствие знакомого человека. Халвы на подносе становилось все меньше и меньше. Горянка приближалась к нему и последний кусок передала, не поднимая головы, соседу Нури. Заметив, что одному не хватило халвы, она подняла голову, черный шарф слегка прикрывал ее лицо. Взгляды их встретились, и они некоторое время изучающе смотрели друг на друга.

Нури уставился на нее, не в силах вымолвить слова. Он забыл обо всем, где он находился и зачем он здесь сидит в окружении стольких людей. Люди обратили внимание на их пристальный взгляд, так как это продолжалось дольше, чем положено. Не было сомнения – это была она, вот они эти большие грустные глаза. Она растерялась, и Нури заметил, как порозовели ее щеки.

– Вам не хватило халвы... я сейчас принесу, – сказала она и выскочила.

«Не надо, не уходи...» хотел крикнуть Нури, и вслед за взглядом потянулись было руки в сторону двери, куда ушла она, но удержался, заметив на себе недоумевающие взгляды присутствующих. Через минуту беседа вновь закипела, но Нури их не слушал. Он ждал ее появления с халвой и думал: «Почему она здесь и какое отношение имеет к этой смерти? Знала ли она моего дядю? Или просто с подругами зашла сюда... но как бы то ни было, я рад этому, мы второй раз встретились». И мыслям своим он не отдавал отчета, то они окутывались мрачным туманом, из которого он не находил выхода и блуждал в нем, то они становились ясными как ясные весенние дни и перед ним открывался ясный горизонт счастья. Не слушал он продолжения рассказа, хотя Айгуб подсел к нему и стал тыкать в него пальцем. Есть у некоторых дурная привычка, когда они рассказывают что-нибудь или просто беседуют, то берут собеседника за ворот или тычут в него пальцем, начинают стряхивать с плеч несуществующие пылинки.

Нури хотел было вскочить и побежать за ней, но он самый близкий родственник покойного из всех сидящих и

должен был остаться. А она больше не появилась, и Нури остался без халвы.

Глава шестая

Кладбище – священное место в горах. Его покой и неприкосновенность оберегают старожилы, потому что оно является не только местом, где покоятся наши предки, но и историческим памятником. Кладбище – это летопись горцев, это нераскрытые страницы истории в виде изображения на надгробных плитах, надписей на камнях склепов и мавзолеев. Надгробные плиты – это произведения искусных каменотесов, где мастерски запечатлены сведения о покойном в замысловатые линии узоров и в арабески. Даже и сейчас, когда заказывают такой памятник, мастер-каменотес подробно расспрашивает о покойном, словно он собирается вылепить скульптуру, но нет, ему эти сведения необходимы для того, чтобы увековечить память о покойном в этих мудрых узорах. Богато украшенный памятник не всегда говорит о достоинствах покойного, вчитайтесь в узоры, и вы узнаете отношение народа к нему. Немало в горах легендарных могил, которым необходима реставрация, время безжалостно и к ним, великолепным историческим памятникам. Об этом думал Нури на кладбище, вместе с другими рассматривая надгробные плиты, пока рыли могилу.

И вот положили покойного в двухметровую глубину, поставили ему высокую каменную плиту с великолепными узорами и завиточками, в которых, чередуясь, распускались цветы, похожие на ромашки, узоры и завиточки – дороги жизни покойного, а цветки – его добрые дела, о которых помнят люди. Ни служители мечети, ни старожилы не подумали о том, чтоб прочитать обычные молитвы по той причине, что он был атеистом. Они пришли отдать ему долг как люди, а не священники.

Как только вернулись с похорон, женщины встретили

их неистовым плачем, словно они ждали, что мужчины вернут с кладбища покойного воскресшим, и, не найдя его среди них, стали рвать на себе волосы. Унесенного на кладбище назад не приносят. Плач постепенно затих, слезы улеглись, и Нури стал искать ее, таинственную незнакомку, среди женщин, суетившихся во дворе, готовя обед мужчинам. Он нашел ее, и вдруг мелькнула в голове мысль: она ли это, но это было мимолетное сомнение. Она попрощалась с женой покойного, поцеловала ее детей, вытерла слезы черным платком и пошла догонять поджидавших ее в переулке подруг. Нури последовал за ней, словно бычок, привязанный к арбе.

Нури побежал за ней, но в узком переулке она с подругами исчезла из виду. А он остался один посреди сгрудившихся каменных двухъярусных саклей. Со всех сторон глядели на него калитки, двери и ворота, и, казалось, они кричали: попробуй найди ее. Куда она могла исчезнуть? Нури стал бегать от калитки к дверям, а от дверей к воротам, заглядывая сквозь щели, но ее нигде не было, будто она в воду канула.

А она была недалеко. Вот она стоит с подругами, успевшая уже снять с себя траурное одеяние и надеть простое цветастое платье; с непокрытой головой она стояла на балконе второго этажа, облокотившись на железные узорчатые перила. Рядом стояли ее подруги. Она наблюдала за молодым человеком, который, как ей показалось, пристально смотрел на нее и который сейчас пытался найти их, не догадываясь поднять голову и посмотреть вверх. Он искал ее на земле, а не на небе. Она смеялась.

– Ты знаешь его? – спросила одна из подруг, заметив в ее поведении некоторое возбуждение.

– В первый раз вижу... – сказала она, скрывая от подруг, что она видела его и раньше, еще до того, когда раздавала халву. – Смотрите, сейчас он побежит к тем воротам.

– Неужели влюбился... – разговаривая шепотом, подошла к подругам третья, самая неинтересная, толстенькая, с веснушками и красными волосами. – Интересно, в кого?

– В тебя, конечно, – сказала с иронией одна из подруг. – Как же не влюбиться в тебя, в красавицу с кривым, как ятаган, носом, на посыпанном чечевицей лице.

– Смотрите, и он, выходит, не без недостатков, хромает... – заметила она; вдруг ее осенила какая-то мысль. – Девочки, несите ведро воды, там, в коридоре, я живо приведу его в чувство...

– Давайте посмеемся над безумным...

– Надо потушить в нем пожар любви.

Только ведро холодной воды и могло оторвать его взгляд от ворот и дверей, от земли и поднять взор к небу. И он увидел ее смеющуюся на балконе в ярком цветастом платье, розы на платье тоже казалось смеются вместе с ней. Она была прекрасна, лоснящиеся волосы падали на плечи, на вздрагивающую от смеха грудь. Она не была кокетлива, как ее подруги, и интерес этого молодого человека к себе принимала не с тупостью, а сознавая, что это неспроста. Она в эту минуту была похожа на великое сияние, словно тысячи солнц собрались в ней одной.

А он стоял внизу весь мокрый, будто его окунули в море. Стоял довольный и ослепленный ею и улыбался, словно не водой облили его, а угостили конфетами. Вдруг улыбка с его лица исчезла, и, глядя на ее жемчужные ряды зубов, у него промелькнула в голове такая мысль: «А может это не она?» Но сомнения рассеивались, стоило ему посмотреть в ее глаза, в которых, как бы она ни смеялась, оставалась скрытая грусть, которые говорили: «Это я?» «Если это она, то неужели она могла так смеяться в моем присутствии? Неужели она могла меня так легко забыть? А зачем ей было меня запоминать, ведь в ту ночь ни разу она не задержала на мне взгляда? А почему ей нельзя смеяться, что она такого сделала? Она ничего... а вот я... Нет, надо с ней поговорить, узнать мне надо, много-много надо мне узнать о ней».

Под смех девушек он кинулся к дубовым воротам и только открыл, как из ворот вышел лохматый волкодав, уверенный в себе и поэтому медлительный; он оскалился и

гавкнул. Нури отпрянул, раздался оглушительный хохот на балконе и хлопки в ладоши.

– Смотрите, смотрите... Так его, Арслан! – крикнула одна из подруг.

– Хватит, – сказала хозяйка, сердито глянув на подруг, поняв, что их шутка зашла далеко. – Арслан может растерзать его!

Нури посмотрел на нее, пренебрегая близостью опасной собаки. Горянка, сжавшаяся в страхе, стояла, закусив носовой платочек. Злая собака, которую держали на цепи и которая сегодня почему-то оказалась свободной, готова была накинуться на Нури, на человека, желая вцепиться ему в горло.

– Берегись! – крикнула она с балкона. Она предупреждала его об опасности. Ее голос придал ему силы.

Собака успела укусить его за плечо так больно, что даже показалось хрустнули кости. Он с яростью стал отбиваться от нее, но, осознав, что этим не отогнать животное, схватил, улучив момент, обеими руками ее за шею и стал душить. Почуяв беду, собака бешено стала царапать лапами его грудь, пыталась защититься и вырваться из цепких рук. Она изорвала на нем рубашку, оголив местами его тело, загорелое в походе. Собака была зажата словно в тиски, и все слабее становилось ее сопротивление.

– Отпусти, отпусти, ты убьешь ее! – крикнула девушка, выходя из боковых дверей. – Это не наша собака!

– Отпустить? – спросил Нури.

– Да, отпусти, жалко.

– А меня тебе не жаль?

– Сильных не жалеют, – сказала она, не решаясь подойти. – Кто ты?

– Не узнаешь?

– Нет.

Нури не хотел напоминать ей здесь о той таинственной ночи, когда они впервые встретились, потому что он тогда дал ей клятву не вспоминать и не говорить никогда о той

ночи. Он выпустил из рук обессиленную собаку, она упала на землю как мешок.

– Она мертва, ты убил ее, зверь, – крикнула с балкона одна из девушек. – Погоди, вернется отец.

Незнакомка толкнула собаку в бок, та вяло встала, встряхнулась, как будто после купания, и, переваливаясь, ушла восвояси, поджав хвост.

– Не кричи, – крикнула незнакомка подруге, – она жива.

– Она собака, у нее раны легко заживают... – сказал Нури, прикрывая рукой исцарапанную, окровавленную грудь. На лбу и на теле у него выступили капельки пота.

– Она тебя укусила? – незнакомка заметила на груди молодого человека кровь.

– Пустяки, но не мешало бы промыть и перевязать укусы, – сказал врач.

– Надо, пошли, поднимись ко мне.

И незнакомка повела его к себе. Пригласив его в большую светлую и аккуратно убранную комнату, она сказала: «Это моя комната». Из комнаты как раз и выходила дверь на балкон, где еще стояли ее подруги. Пока она готовила таз и воду, пока искала единственное, что оказалось дома: марганцовку и бинты, он, сидя на табуретке, успел не только полюбоваться ею, но и рассмотреть комнату. Слева от балконной двери в углу стоял на трех прямых ножках небольшой стол овальной формы, под стать ему удобные легкие два кресла из пластмассы и бархата, рядом со столиком в углу стоял торшер с блестящим медным колпачком формы колокольчика. На столике стояла недопитая чашка кофе, лежала раскрытая книга и кусочек конфеты карамель. На стене висел эстамп гравюры художника Лансере Хаджи-Мурат, который был очень похож на Нури, если представить его без бороды. Тахта была покрыта трехмедальным ковром, самым известным из всех ковровых изделий Дербента. Справа от двери небольшой секретер из орехового дерева без полировки с полочками для книг, где, как заметил Нури, выделялась книга Ромуло Гальегоса «Донья Барбара», остальные книги были незнакомы Нури. Около две-

ри стоял самый настоящий горский сундук со своеобразным замком, накрытый полосатым паласом, над ним были полочки, украшенные безделушками, балхарскими кувшинами без глазури, сулевкентской керамикой, повыше на стене висели фарфоровые тарелки разных времен. Эти все немые вещи о многом рассказали молодому врачу о ней, о которой он так много хотел узнать, но не нашел среди них ничего, что бы говорило о ее прошлом.

– Больно? – спросила она, промывая раны теплой водой.

– Нет.

– Ничего, потерпи, сейчас перевяжем, и все будет в порядке, – услышав эти слова, Нури почему-то представил свою мать: когда в детстве он после драки возвращался исцарапанный, с синяками, она также с нежностью говорила ему. Девушка и так и этак пыталась перевязать рану на груди, но бинт не держался, сползал, ей стало неловко.

– Нет, не так... а вот отсюда, через плечо... – сказал Нури, не сводя с нее глаз и все больше смущая ее. Щеки ее заалели, и она стала прятать лицо.

– Откуда вы знаете эти подробности?

– Я врач... – сказал Нури и глянул на нее снизу вверх, пытаясь узнать, как она отреагирует на эти слова. Ни один мускул не шевельнулся на ее лице, только румянец сошел с щек, они по-прежнему стали бледными.

– Врач?

– Да.

– А что вы лечите? – спросила, заглянув в комнату с балкона, девушка с веснушками, она подслушивала их разговор. – Вы случайно не зубной врач? У меня часто зубы болят.

– Нет, к сожалению, я терапевт.

– И нравится это вам? – спросила незнакомка, зубами разрывая конец бинта.

– Да, – сказал Нури.

– Ну, долго ты будешь еще возиться... – заворчала одна из подруг, та, которая угрожала пожаловаться отцу за соба-

ку. – Нам тоже надо переодеться, чтобы пойти на репетицию...

– Сейчас, сейчас... – сказала незнакомка.

– А вы действительно не помните меня? – в тревоге, что скоро придется расстаться с ней, спросил Нури.

– Нет, – сказала она, закончив перевязку и поправляя рукав рубашки.

– А глаза ваши говорят мне другое.

– Выходит, я вру, а глаза мои говорят правду? Мне не веришь, а глазам моим веришь.

– Да, только твоим глазам. Это они.

– Что они?

– Эти глаза отняли у меня покой, сон, здоровье, я искал их в горах далеко отсюда, а они оказались здесь совсем рядом.

Она отвела взгляд от него, взяла чашку с кофе, отпила немного и сказала:

– Вам пора уйти. Молодому человеку, сыну почтенных родителей, к тому же ищущему свою любовь, неудобно так долго находиться в чужом доме, начнутся кривотолки и сплетни...

– А я не боюсь...

– Может, я о себе беспокоюсь, молодой человек.

«Да, – твердо сказал в душе Нури, отбрасывая всякие сомнения, которые нахлынули на него как морской прилив, – это она».

– Хорошо... я уйду, но назови мне хотя бы имя свое.

– Зачем это тебе?

– Прошу тебя.

– Девушки, скажите этому молодому человеку, как меня зовут, – обратилась она к подругам, – а то есть угроза, что он не уйдет отсюда.

– А ты забыла свое имя? – Нури вскочил с табуретки, у него было задето самолюбие.

– Мне ты можешь не поверить, так же как тому, что ты обознался. Скажите, девушки.

– Ее зовут Анида, молодой человек, Анида, – сказали

подруги, входя в комнату с решением насильно выпроводить его, если он добровольно не уйдет.

– Спасибо и на том! – сказал Нури и, повторяя в душе ее красивое имя, ушел, оглядываясь, словно прикованный к чему-то и не в силах оторваться.

Глава седьмая

Нури был убежден, что он нашел ту таинственную женщину с большими грустными глазами. И незнакомка, оказывается, жила не в далеком ауле, где Нури в своих скитаниях мог встретить ее: у водопада в Араканском ущелье или в Хаджал-Махинской долине под яблонями, а в районном центре Кайтага, в Маджалисе, недалеко от дома, где жил ныне покойный его дядя Рапи. После встречи с ней Нури постоянно думал, что же она может делать в этой глуши, когда ей место в больших городах. Он перебрал все возможные должности, которые она могла занимать, но то, что она работает директором того самого Дома культуры, строительство которого было закончено в позапрошлом году, и который за это время стал известным в республике своей сплоченной художественной самодеятельностью, мастерство которой часто упоминалось в газетах, сильно удивило его.

Анида немало сил приложила для этого, как об этом узнал позже Нури, она пользовалась здесь авторитетом. Нури использовал любую возможность, чтобы узнать о ней как можно больше. Он расспрашивал ее подруг, знакомых, наводил о ней справки по месту работы. Те сведения, которые ему по крупицам удалось собрать, были весьма скудны. Ее характеризовали как хорошего работника, порядочного человека, а вот о ее прошлом никто толком не мог сказать ничего, так как она переехала сюда всего год назад.

– Мы хорошо знаем ее с прошлого года.

Дальше Нури не стал допытываться, чтоб не навлечь на нее подозрение и не вызвать с ее стороны к себе гнев и

ненависть. Как стало ему известно, многие пытались расположить ее к себе, сделать ее своей любовницей. Но никто из них не смог приблизиться к ней настолько близко, насколько приблизился к ней Нури, когда она перевязывала ему раны. Она не раз и не одного женатого соблазнителя выводила на чистую воду, что многие отступили, не желая обжечься и лишиться чести и работы. За это ее стали уважать и любить, сначала жены тех, которые пытались добиться ее расположения, а затем и все остальные.

Нури в душе был рад тому, что о ее прошлом никто ничего не знает, это и хорошо, значит она хранит свою тайну и эта тайна доверена только ему. Но каждый раз, когда он оставался со своими мыслями наедине, его терзало сомнение, она ли это, не ошибся ли он, не исказился ли в памяти его с тех пор образ незнакомки. Но ее глаза... стоило ему вспомнить их, как всякие сомнения исчезали, и он видел, что это она. Она положила на свое прошлое тяжелый камень, чтобы никто не мог сдвинуть его с места – это еще раз убеждало его в том, что он не ошибается.

Больше ему нечего было мешкать, сразу же по приезде после недельного пребывания в Маджалисе по случаю траура он признался родителям в своих чувствах, объяснив им, что его жизнь не имеет смысла без нее. Мустафа и Хамис были встревожены этой вестью, но, видя, что их сын на глазах тает, словно снежная баба на солнце, согласились пойти к ней, увидеть ее, поговорить с ней, узнать поближе и потом уже завести разговор о сватовстве. Нури был почему-то уверен, что Анида сразу же согласится стать его женой, и эта уверенность, в некотором смысле, и возбуждала его самолюбие.

Анида приняла нежданных гостей как подобает принимать их горянке: с радостью и угощениями, для Хамис у нее нашлись сочные янтарные персики, а для Мустафы – красный чахир в хрустальном графине. Разговор начали издалека, о погоде, о дороге, упомянули о прошедших на днях сильных дождях, которые размыли кое-где дороги, потом перешли к разговору об урожае, не забыли сказать о

небывалом урожае в этом году дикого кизила и мушмулы, затем разговор коснулся работы и ведения хозяйства, и постепенно их беседа перешла к вопросам личной жизни. С первых же минут знакомства у родителей Нури сложилось мнение о ней, не слишком ли раскрепощена она и не много ли она знает для горянки, не слишком ли большого мнения о себе, хотя ее внешностью они были довольны. Именно такая красавица была достойна их единственного сына. Хамис, как хозяйка, обратила внимание на обстановку в комнате, на аккуратность, простоту и чистоту, на ее недорогое платье и умение вести разговор. Мустафа подумал почему-то о том, что не стоило перед ней даже унижаться и просить ее руки, и так видно, что она согласится сразу выйти за их сына.

Но не тут-то было, она с такой же тактичностью, с какой и приняла их, незнакомых ей людей, отказала им и не стала объяснять почему, да и они не требовали у нее объяснения, они были удивлены таким ответом. Ей самой еще не было ясно, почему она так поступает, но внутренний голос требовал поступить именно так.

– А нет ли у вас родных, с которыми мы могли бы поговорить? – спросил Мустафа.

– Если разговор обо мне, то судьбу свою решаю сама! – отрезала Анида.

Для родителей Нури отказ был подобен внезапно разразившемуся грому. Они считала себя смертельно оскорбленными. Человек без рода и племени, человек с неизвестным прошлым не согласилась стать женой их сына. Когда разочарованные неудачной поездкой родители, не желая обидеть сына и задеть его самолюбие, осторожно дали понять ему об отказе, то Нури на удивление воскликнул:

– Иначе и не могло быть! Я рад этому!

– Ничего, и в нашем ауле немало невест. Найдем! – сказала мать, не поняв смысла слов, сказанных сыном.

Хотя он не ожидал такого поворота дел, но был неслыханно обрадован отказом, она в его глазах еще больше возвысилась, стала милей. С этого дня в нем еще сильнее раз-

горелся огонь любви. Да, он хотел жениться не на жалком брошенном всеми существе, а на женщине, которая не потеряла своего достоинства и гордо держит голову на плечах, которая уверена в своем будущем. Изредка подумывал он о том, не приснилась ли ему та ночь, и он мог допустить это, если бы при каждом удобном случае мать его не вспоминала об испугавшей ее таинственной женщине, которая постучалась к ним поздно ночью и которая просила у Нури какое-то лекарство для какого-то больного, так как у нее, хотя и она врач, не оказалось, – так тогда объяснил Нури своей матери этот ночной визит. Как только мать вернулась от Аниды, Нури решил проверить, не распознала ли она в ней ту таинственную женщину, но мать не узнала в Аниде ночную гостью, не запомнила ее лица.

Люди толковали разное; во-первых, они не предполагали, что родители Нури, уважаемые люди, станут на стороне искать себе невестку, когда в их родном ауле столько красивых девушек. Во-вторых, по аулу поползли сплетни. Катились слухи как снежные комья по склону, раздуваемые сельчанами. И вот огромный снежный шар ударился о выступ терпения Мустафы и разлетелся на куски. И родители Нури, которые никогда бы не согласились, чтобы их сын женился на женщине из чужого аула, вынуждены были сказать своему сыну:

– Ты не мужчина и не будешь достоин называться нашим сыном и носить папаху, если не женишься на ней.

Долго искал Нури встречи с ней, но она всегда была немногословна и чем-то занята. Она чего-то боялась и однажды при народе оскорбила его, да так, что любой другой горец не потерпел бы. После этого Нури почти два месяца не показывался ей на глаза. И вот настал день, когда он решил всему положить конец, хватит, терпеть эти муки он не в силах, или она должна согласиться выйти за него, или один из них должен покинуть эти места навсегда. Он ворвался к ней среди ночи и увидел, что она сидит в одиночестве, раньше она никогда не оставалась одна, с ней всегда были ее подруги. Анида сидела в кресле, освещенная

лунным светом. Она не оглянулась, словно ждала именно его.

– Я знала, что ты придешь, но просить прощения у тебя не буду... Садись, поговорим о чем-нибудь другом, только не о нас, – сказала она, и ее обращение смыло с сердца Нури весь его гнев и раздраженность. Слова «просить прощения у тебя не буду» для него прозвучали как прости. За возможность сидеть около нее в такую ночь он готов был пожертвовать чем угодно.

– Почему ты одна? – спросил он.

– Я так захотела! Такой ответ удовлетворяет тебя? – улыбаясь, взглянула она на него.

– Вполне. – Нури опустился в кресло рядом с ней.

Долго разговор их не клеился, и поняли они, что невозможно говорить о другом. И искусственная плотина не выдержала, поток чувств разрушил ее, и разговор их стал свободно литься. Анида как никогда в этот вечер была разговорчива, даже не прочь была пошутить. Она рассказала о том, что ее подругам родители запретили ходить к ней, т.к. она будто уговаривает их не выходить замуж никогда. И вот сегодня она одна, но призналась, что не чувствует одиночества, потому что он рядом с ней. Нури все больше убеждался в том, что ее пугает одиночество, что одиночество ее угнетает и наводит на страшные мысли, она ищет человека, с которым могла бы разделить это чувство. Она призналась, что тоже интересовалась им после случая с родителями. В эту необыкновенную ночь она была в самом добром расположении духа и даже, прощаясь, пригласила его на смотр художественной самодеятельности в воскресенье. Нури радостно принял приглашение. В эту ночь он возвращался домой окрыленный, как заметили мать и отец, которые ждали его возвращения, но, как только он вернулся, захрапели, сделав вид, что они беззаботно спят.

– Знаю, что не спите, мать, собери что-нибудь поесть, проголодался я! – попросил он.

– Там в кувшине ягурт (простокваша), сынок, на ночь полезно, – вышла мать поухаживать за сыном.

Долго тянулись два дня в ожидании, как говорится, иной год как день пройдет, а иной день как сто лет тянется. И вот Нури явился в Дом культуры, куда был приглашен ею. Она ждала его. Прекрасное платье салатового цвета с левосторонним декольте, которое еще больше подчеркивало ее стройность и грациозность, было на ней в этот день. Сегодня был ее праздник, она стояла в окружении опрятно одетых женщин и чисто выбритых мужчин. Зал был заполнен до отказа, занавес еще был опущен, и все взоры сидящих были обращены на нее, одни смотрели с восхищением, вторые с завистью, третьи с недовольством.

– Чего она не начинает? – возмущенно спросила дородная женщина с китайским веером в первом ряду, около нее сидел солидный мужчина с лысиной в чесучовом костюме, вероятно муж. Она возмущалась не столько тому, что не начинался концерт, а тому, что ее муж все время ерзал на месте, желая обратить на себя внимание Аниды. Но Анида заметила высокую и мужественную фигуру Нури и, не веря самой себе, радостно вздохнула и бросилась навстречу ему.

– Она ждет, говорят, кого-то... – шепнула соседка с вязаньем в руках дородной женщине.

– А мы здесь в духоте... – заворчала дородная особа, еще больше размахивая веером .

И Нури сегодня в элегантном темном костюме, в красной рубашке со светлым галстуком достойно мог занять место рядом с ней.

– Можно начинать! – сказала Анида, беря под руку Нури и приглашая его сесть рядом.

По залу пронесся скрип стульев, все повернули головы в сторону сцены, где медленно поднимался занавес.

– Это его она ждала? – пожала плечами женщина с вязаньем. – Он же хромой...

В блестящих сапогах, в зеленой черкеске с газырями, с белым башлыком и папахе, похожей на маленький стог се-

на, с кинжалом на поясе на сцену вышел молодой горец – ведущий. Держа кинжал обеими руками, он раскланялся и объявил первый номер. Нури не слушал его, он был охвачен вдруг нахлынувшими на него тревожными мыслями, рождающими в нем сомнения: «Неужели она пригласила меня сюда, чтоб посмеяться надо мной, сделать из меня посмешище для народа? Нет, почему я должен плохо думать, я должен верить в то, что она этого никогда не сделает, но тогда?.. Верить, верить надо... А чем лучше меня все сидящие в этом зале, чтоб смеяться надо мной? А почему тогда она так переменилась, может, она хочет всем сказать, что у нее есть человек, верный ей и готовый на все ради нее, но ради чего это?» Он посмотрел на нее, она на него, и их взгляды встретились, как неведомые лучи солнца, и они улыбнулись друг другу, так распускаются бутоны тюльпана на рассвете, стряхивая с себя росу. Такой искренней улыбки Нури никогда не удостаивался, она моргнула глазами, говоря «посмотри на сцену, видишь, как танцуют».

По залу распространялись и вылетали из открытых окон на волю звуки барабана и зурны, которые исполняли на сцене своеобразный кубачинский танец. Топот ног танцоров в такт музыке воедино сливался. На сцене было шестеро джигитов в средневековых доспехах и вооружении, на них были то железные, то самодельные войлочные маски, перед ними плыли стройные кубачинки в дорогой одежде, поверх которой были надеты парчовые шубы, окаймленные собольим мехом. Танец называется «Проводы джигитов» и родился, видать, этот танец еще во времена походов Тамерлана (вернее Тимурлана, не даргинцы ли дали ему такое прозвище: ланг (ланк) – по-даргински значит хромой), этого коварного завоевателя, недаром свидетельствует об этом дорога хромого Темира в горах «Аксак Темир-йолы». И вот джигиты, вернее рыцари, берут за руки своих невест и кружат их в лихом танце. Танец этот и поныне исполняется на кубачинских свадьбах, но Анида постаралась восстановить танец таким, каким он был раньше.

Как только закончилось первое отделение смотра,

Анида извинилась перед Нури, сказав, что ей придется оставить его одного, так как во втором отделении она принимает участие, и поспешно прошла за кулисы. После небольшого перерыва все с шумом уселись на свои места, и конферансье рассказал короткий айту (анекдот) о том, как ему досталась его жена. «Когда она была девушкой, – начал он, Нури запомнил потому, что это заинтересовало его, – к ней сваталось много женихов, все они были богаты, а я беден. Родители девушки, имевшей много поклонников, по обычаю потребовали, чтобы женихи прислали ей подарки. И чей подарок понравится ей, тот и должен был готовиться к свадьбе. Все готовили подарки, а лучшим считался букетик из разноцветных драгоценных камней и золота. Откуда у бедняка такие букеты! Пошел я в поле, чтобы остаться наедине со своим горем, но вдруг пришла мне в голову идея послать девушке букет полевых цветов. Я так и сделал. Каково же было мое удивление, когда через день сообщили мне, чтобы я готовился к свадьбе. Девушка выбрала именно букет живых полевых цветов потому, что в этом букете аромат!» Конферансье объявил после айту следующий номер программы: сатирическую сцену из пьесы местного автора с длинным названием «Давай не будем похожими на осла в огороде, который закрывает глаза и думает, что никто его не видит».

Поднялся занавес, и перед взором предстала часть зала народного суда. Это так задумано, что зал Дома культуры как бы превращен в зал суда, на сцене судья и первый ряд – это скамья подсудимых. На возвышении сидит судья в очках с двумя народными заседателями. Как позже узнал Нури, роль судьи играл действительно судья. На скамье подсудимых сидят муж и жена. В роли жены совсем преобразившаяся Анида. В наступившей тишине судья объявляет о слушании дела и приступает к обсуждению.

Судья. Мы ознакомились с заявлением гражданки... (*сняв очки, смотрит на жену*) вашим. Вы настоятельно просите расторгнуть брак с гражданином... (*показывает пальцем на мужа*) с ним?

Жена (*не раздумывая*). Да, и немедленно.

Судья. Вы как на это смотрите (*показывая на заявление*), гражданин?

Муж. Какой же муж откажется удовлетворить просьбу жены? Со своей стороны я прошу, не пытайтесь примирить нас.

Судья. Мы должны установить мотивы подачи заявления о расторжении брака... Скажите, умоляю вас (*судья вытирает платком выступившие на лбу капельки пота*), только коротко, что послужило причиной такого решения?

Жена. Кто вам сказал, гражданин судья, что мы расходимся в характерах?

Муж. Это клевета!

Жена. Клевета. Дело обстоит иначе.

Муж. Совсем наоборот, уважаемый судья, у нас характеры стали слишком похожими... (*Смех в зале*).

Жена. А по занимательной физике вам должно быть известно, что одинаково заряженные частицы отталкиваются друг от друга.

Судья. Непонятно.

Жена (*показывая на судью*). Вот невежда, не знает таких элементарных вещей, а мы судимся у него... Как же непонятно (*она встает*), когда этот (*тычет пальцем в грудь мужа*) сын неизвестного отца отталкивает меня, как футболист мяч (*под оглушительный смех зрителей она бросает на пол папаху мужа и ногой отбрасывает ее в угол*), вот так.

Муж (*сердито*). Это уже слишком, эй, жена, это же моя папаха!

Жена. Твоя говоришь?! А знаешь ты, что папаху носит тот, у кого голова, а есть ли она у тебя?

Муж. Вот, гражданин судья, вы сами видите, как она быстро уподобляется негашеной извести в холодной воде.

Жена. Ты это про меня «негашеная известь»? А знаешь ли кто ты? Ты гнилое болото «Ква-ква! Ква-ква!!»

Муж (*вскакивает и кулаками размахивает над головой*). Не потерплю!

Судья. Прекратите шум. Давайте попытаемся добраться все-таки до корня зла, с чего и разгорелся этот семейный сыр-бор.

Жена. Какой сыр-бор? Сыр-боры бывают у мужчин! Какой же он мужчина?

Муж (*рассвирепев и не находя, что сказать*). Разве же я могу не удовлетворить ее просьбу?!

Жена. Он зверь!

Муж. Бешеная волчица!

Жена. Да выклюет ворон бесстыжие твои глаза!

Муж. Да вырастет крапива в твоем камине!

Жена. Да вылезут твои усы, может быть, тогда ты перестанешь хвастаться, что сделал мне подарок.

Муж. Да поглотит тебя земля, разве же я не сделал тебе подарок, да еще какой подарок. А ты его потеряла, если бы любила меня, то не потеряла бы! Какое ты имела право терять?! Я тебя спрашиваю?!

Жена. Ты на меня не кричи, сын петуха! Что я могу сделать, если она потерялась, и я нигде не могла ее найти (*плачет*).

Муж. Хорошие любящие жены не теряют подарки мужей!

Судья. Погодите, погодите... давайте разберемся. Нам стало очевидным одно обстоятельство: что муж ваш сделал вам подарок, а вы его где-то потеряли... Садитесь! Садитесь, пожалуйста, и объясните, что это было?

Жена достает из сумки платок, вытерев им глаза, расстилает, дабы не испачкать платье, и только садится, как тут же вскакивает с ужасом на лице, с криком, будто кто-то ее резал тупым ножом. Муж не выдержал и подбежал к ней.

Муж. Что с тобой, родная?

Жена. Проклятая, нашлась!

Муж. Что?

Жена. Иголка!

Муж. Где?

Жена (*вырывает из ягодицы иголку и показывает*). Вот она нашлась, нашлась, родимая.

Судья. Что нашлось?

Муж. Как что? Корень зла – иголка.

Жена. Нашлась, уважаемый судья, иголка, которую он купил мне в подарок.

Судья (*удивленно*). И из-за этого...

Жена. Чего удивляться? Это не простая игла, а от примуса.

Муж (*надевая папаху*). Я же знал, что ты заботливая хозяйка, что ты ничего никогда не теряешь.

Жена. Мой дорогой, разве же я могла потерять твой подарок к Восьмому марта?

Глубоко вздохнув, словно большая тяжесть свалилась с плеч, муж берет под руку радостную жену и уводит.

Судья. Граждане, в чем дело, куда вы?

Жена. Как куда? Домой!

Судья. А как же заявление?

Муж. Какое заявление?

Судья. О расторжении брака.

Жена. Вы что, против того, чтобы мы сошлись? Вы что, хотите развести нас? Не выйдет, гражданин судья! Мы любим друг друга!

Они уходят. Под громкие аплодисменты занавес закрывается. Многие из сидящих в зале смеялись от души, потому что они были не раз очевидцами таких заседаний в народном суде. Такие горе-супруги со своими мелкими семейными ссорами отнимают массу времени у занятых серьезными делами людей, выносят обыденные каждодневные мелочи на обозрение и позорят самих себя – это еще полбеды, главная беда в том, что подобные супруги не могут стоять выше этих мелочей, их мир ограничен, и узок их кругозор, они похожи на слепышей, которые живут под землей, они теряют и смешивают с грязью человеческие достоинства. «Нет, не должен человек опускаться так низко, человек по натуре своей должен стоять выше собственного эгоистического мира. Любовь – высокое чувство, и оно не должно терять свое высокое назначение» – вот что хотела сказать в представленной сцене Анида. Так понял Нури,

увлеченный ее игрой. До этого он не мог представить себе, что она может так мастерски перевоплощаться в пустую, с мелкой душонкой мещанку.

О том, что смотр прошел удачно, говорила оценка, данная комиссией из города. После смотра Анида подошла к мужчине в чесучовом костюме и попросила освободить ее от занимаемой должности в связи с отъездом. Это была новость для всех, а для Нури тем более. «Как, она уезжает? Куда?» – сразу мелькнула мысль у него в голове.

– Покидаете нас? – спросил мужчина в чесучовом костюме.

– Да.

– Жаль.

– Что поделаешь, надоедает человеку одиночество. Выхожу замуж.

Это было еще одной неожиданностью, и Нури стоял сам не свой, то краснея, то бледнея. Ему казалось, что весь зал смотрит на него и смеется над ним. Он не был уверен в себе даже тогда, когда, собирая дома вещи, Анида сказала ему:

– Чего же ты замолчал, словно у тебя язык отнялся, помоги же мне собрать вещи.

– Ты уезжаешь?

– Да.

– Куда?

– Как куда? К тебе. Или ты раздумал?

Глава восьмая

Как один за другим собирается в ажурные кружочки жемчуг на обшлагах кубачинской невесты, так дни их совместной жизни собирались в недели, и как жемчужные кружочки образуют собой цветок, так недели собирались в месяцы, и время стало нанизывать годы, подобно тому, как каждый цветок на обшлаге украшается драгоценным камнем. Слово за словом, случай за случаем пробуждали в них

воспоминания за воспоминанием и все больше они стали узнавать друг о друге, но каждый из них оставался еще недочитанной интересной книгой. Разговор их не касался той ночи и что было с ней до тех пор, с ней, которая согласилась стать женой и другом Нури – это все оставалось нераскрытой тайной. Стоило дотянуться или даже мысленно приблизиться к этой тайне, как сразу обжигало пламенем и отталкивало. Нури терзал себя в душе каждый раз, когда она проявляла особую доброту и обаяние, терзал, словно он был виноват в том, что пришлось пережить ей до встречи с ним: «Мы ведь рождены были друг для друга, но сейчас кто-то третий, который поиздевался над ней, смеется... почему я не знал ее раньше, почему я не оказался рядом с ней, когда ей угрожала опасность, наложившая отпечаток на всю ее жизнь. Все это время ты был на учебе... объясняла ему другая мысль. – К черту такую учебу! Как к черту? Без диплома я не был бы врачом и тогда вряд ли бы встретился с ней... Все-таки где-то что-то я не предусмотрел, не сберег то, что предназначено было мне на всю жизнь..."

Нередко в минуты раздумья охватит, бывало, его сомнение: «А вдруг это не она?», но как об этом спросить, как разрешить эти сомнения? Он не хотел нарушать клятву, да кроме того он мог упасть в ее глазах, даже если это и не она вовсе. А она была довольна им и радовалась как дитя, только в глазах у нее оставалась все та же грусть и задумчивость, а сделать их другими Нури был не в силах, так как для этого надо было поднять неимоверно тяжелый камень, что лежал на ее прошлом. Одному этот камень был не под силу, а вдвоем... нельзя. Когда двое близких людей владеют одной тайной, то такая тайна перестает существовать. Так, им казалось, уходило в забвение все, что было связано с прошлым, потому что радостным и счастливым было их настоящее. «Не смотри, какие под тобой были пеленки, – говорится в неписаной книге мудрости, – а смотри, какой сегодня день».

И каждый день их совместной жизни был наполнен счастьем. Нури безумно любил ее, и нередко она высказы-

вала опасение, что любовь такая недолговечна. Но Нури считал, «лучше жить месяц орлом, чем годы вороном». А любила ли она своего мужа? Уважала. И уважение ее граничило с любовью, но бывали у нее минуты, когда границы эти нарушались, и чувство уважения и любви сливались воедино, и получалось нечто большее, чем только любовь. Родители Нури обожали невестку и находили правильной поговорку: «Дом не дом, пока невестка его домом не сделает».

Какая-то большая радость наполнила их дом с тех пор, как она появилась в нем. Казалось, именно с ней и отношение к этому дому изменилось. Люди стали более почтительны к ним, старались во многом подражать им и в сдержанном вежливом разговоре, и в быту. Нури работал с удвоенной энергией на своем месте – врачом больницы, за это время его трехкоечная больница стала двадцатикоечной и обслуживала три близлежащих аула, увеличили штат, дали еще акушерку, словом Нури отдавал себя работе, а работа давала свои плоды – больных становилось все меньше и меньше не только потому, что их лечили, но и потому, что принимали меры, предупреждающие болезнь. Анида перевелась с райцентра и работала учительницей в начальной школе. Ей было труднее завоевать авторитет, потому что она была из другого аула, но, как говорится, дело не в том, откуда ты, а в том, как ты будешь вести себя, сумеешь ли понять людей и дать им понять себя.

В Конгожи знали теперь Нури не только как врача, но и как депутата райсовета, встречались с ним и на собраниях правления колхоза. Вначале сельчане думали о нем как о пустослове, но когда он, засучив рукава, стал бороться против антисанитарии в ауле, люди зауважали его и старались в свободное время принимать активное участие в решении этой проблемы. Нури и его жена были примером для подражания, они не ограничивали себя мелкими домашними заботами, а интересовались и колхозной работой, и учебой детей. Их радовала радость других, и горе соседей они готовы были разделить, их примеру следовала и другая се-

мья: Омар и Айша. Сельчане часто размышляли над тем, были ли в старину в ауле такие люди. Люди сравнивали их с героями, которые погибли за общее дело, с тружениками, которые после разрухи стали поднимать страну, вот, например, дорога в этот аул была проложена под руководством такого человека, как Сунгур, и имя его аул не забывает. Вначале многие в ауле относились скептически к тому, что надо было общими усилиями построить кому-то саклю, но постепенно они стали смотреть на это иначе. По инициативе Нури там, где были забытые всеми сероводородные источники с грязью, в которых большей частью «лечились» буйволы, построили общественную колхозную баню. Да, было очень трудно, нередко строительство приостанавливалось из-за отсутствия стройматериалов, но строили сообща, и поэтому трудности было легче преодолеть. Вспоминали опять-таки Сунгура: в тридцатые годы, когда бывшему красному партизану пожаловалась молодежь, что для турника им не хватает столба, Сунгур вытащил, говорят, из-под собственной крыши сакли балку и отдал – вот у кого надо было учиться не жалеть личное на благо общества. Новым добровольным строителям помогал и колхоз, и сельский совет, а построили они не только баню, но и прекрасный родник с аркадой, проложив четырехкилометровый водопровод с горы Медвежья лапа.

Люди поняли, что хоть и маленькие муравьи, но холмы строят, потому что они это делают сообща. Радуются матери, выходя с детьми из бани, черпая воду из родника. Им завидовать стали жители других аулов. Вот почему и избрали горцы депутатом райсовета своего врача. Теперь, если что надо сделать или кому помочь, то обращались к Нури. Если у кого-нибудь после проливных дождей обваливалась часть сакли, сельчане дружно помогали в восстановлении жилища. И эти перемены радовали Нури и Аниду, так же как и окружающих.

То, что зарабатывал Нури, хватало им на домашние расходы, а зарплату Анида откладывала на сберкнижку, – так захотел Нури. А родители их не нуждались ни в чем,

наоборот, они сами имели возможность помочь им. Они работали в колхозе, в доме всегда были брынза, сушеное мясо, горская колбаса, картошка и вино. Вино, производимое в этом колхозе, славилось далеко за его пределами. Мустафа не забывал и о семье покойного брата Рапи, которая жила еще в Маджалисе, выделяя им некоторую часть своего дохода, небольшая часть уходила на общественные работы: ремонт мостовых, дорог и мостов. Словом, в сакле Мустафы всегда можно было найти, чем попотчевать неожиданно нагрянувшего гостя. Дом без гостей – это все равно, что озеро, куда не прибывает вода. Даже грязь на обуви гостя – прибыль для хозяина, чем больше гостей, тем почетнее сакля. Люди, окружающие тебя, ценители твои, ты – для них, они – для тебя. Одинокие люди, оторванные от общества, от соседей и друзей, не могут быть счастливыми, так как их счастье так же одиноко, как и они сами. Мы упустили еще одну деталь, делающую жизнь Нури и Аниды прекрасной, – это живописная местность, где расположен аул: снежные вершины, которые можно было увидеть в ясную погоду; река Уллу-чай, где в жаркое лето жители могут поплавать и позагорать; древняя башня – крепость на горе Каш, с которой горцы этих мест в былые времена выстрелом из пушки оповещали остальные аулы о приближении неприятеля; альпийские луга, во время сенокоса наполненные опьяняющим ароматом трав.

И казалось бы, чего не хватает им для полного счастья? Вроде бы все есть! Но так ли это? Человек, чтоб быть вполне счастливым, требует от жизни очень многого, нередко даже невозможного. Послушаем о чем разговаривают в своей спальне в эту летнюю лунную ночь родители Нури:

– Не верю я в это... – говорит Мустафа, приподнявшись в постели. Он подкладывает под спину еще одну подушку, чтоб облокотиться, откладывает, не дочитав, свой любимый журнал «Вокруг света» и начинает заполнять тютюном свою трубку. – Я своего сына знаю.

– Люди так говорят... – сказала Хамис.

– Рваные стали языки... пусть болтают.

– Сегодня у нового родника... намекая опять на это же самое, наступая на эту мозоль... бабы начали разговор о том, что многие молодые нынче так поступают, принимают разные лекарства.

– Но не моя невестка... – сказал Мустафа. Он после того, как узнал поближе Аниду, сильно привязался к ней, полюбил, как родную дочь. – Оставь, жена, эти сплетни... сплетни дом не строят, сплетни дом разрушают.

– Ты бы поговорил с сыном... – все же настаивала Хамис.

Да, их не могли не тревожить подобные слухи, хотя долгое время они не обращали на них внимания. Люди болтали о том, будто Нури и Анида не желают иметь детей и применяют противозачаточные средства. Четыре года для них пролетели как четыре месяца, Нури и Анида так и не обзавелись детьми. Они понимали, что время не воротишь, и радость не будет полной, если нет детей. Это понимали не только Нури и Анида, но и его родители. Особенно переживал Мустафа, хотя и старался не подавать вида и все время успокаивал свою жену, тревожился, потому что его единственной мечтой теперь было иметь внука – надежду на то, что их род не оборвется на Нури, что будет еще продолжатель рода.

– Ты поговори с сыном, убеди его, может, он действительно заблуждается. Я хочу нянчить внука или внучку. Я выучила новую колыбельную, – настаивала все мать, припоминая слова колыбельной, которую сочинила сама. И, несомненно, большинство колыбельных песен в устном творчестве нельзя назвать безымянными, их автор – мать, и слово Мать с большой буквы.

– И я хочу, очень хочу пройтись по улице села, держа за ручку внука... – задумчиво сказал отец и вспомнил, как маленьким любил пройтись по аулу со своим дедушкой... – Дело не в нашем хотении, жена. Спи, будут и внуки и внучки.

Мустафа молча выкурил трубку, положил ее, вытрях-

нув в пепельницу на тумбочке, что стояла у изголовья кровати, и потушил свет.

А теперь давайте перенесемся со спальни, где потушили свет и наступила сонная тишина, в спальню, где еще воркуют голуби – слышится тихий разговор мужа и жены.

На широкой тахте, покрытой белой простыней с голубыми и желтыми полосками, у открытого окна, под верблюжьим одеялом лежат Нури и Анида, положив на пуховые подушки головы. Из окна виден живописный пейзаж, залитый молочным светом луны, горы похожи на спящие существа, которые вот-вот проснутся, выпрямят свои сгорбленные спины и грозно зашагают; доносится глухой шум горной реки, которая убаюкивает этих грозных каменных нартов; ночные птицы кажутся их стражами, они перекликаются друг с другом.

Шуршит за окном посаженный ими в свой медовый месяц стройный тополь, который уже вырос и, просунув в окно свою ветку, слушает их разговор. Тополь – единственный свидетель их бесед, как много он знает!

– Ты любишь меня? – спрашивает Нури, наклонившись к ней. Она смотрит на него, улыбается и молчит. – Ты молчишь?

– Угу! – сказала она, задумчиво кивнув головой.

– Почему?

– Молчу. Молчу, дорогой, потому что слово «люблю» слишком обыденное слово, чтоб этим выразить мое чувство к тебе, – говорит Анида, положив на его плечо свою голову.

– А есть ли на свете счастливее нас человек? – спросил Нури, чувствуя рядом приятный запах ее волос и прижимая правой рукой ее гладкое, бархатистое и нежное тело. И тут же Нури в душе сам себе ответил: «А чем не счастливее нас Омар и Айша? У них трое детей – два сына и дочь. Дети – вот смысл жизни и счастье. Дети – живой букет в доме, смех и здоровье».

– Есть, – сказала Анида, поглаживая голову мужа.

– Кто?

– Омар и Айша, – сказала она, неожиданно для него.

– Почему? – удивленно спросил Нури. «Как она могла подумать о том же, о чем подумал и я?» И подобное, как замечал Нури, было не в первый раз, много раз их мысли совпадали, и каждый раз он убеждался в том, что она и он духовно очень близкие люди. На многие вещи и события у них были одинаковые взгляды, даже в мечтах они одинаково стремились к одному и тому же.

– Почему? – повторила она вопрос и, обняв мужа, взглянула ему в глаза. – У них есть дети... трое детей, два сына и одна девочка. Только вот Айша – неряха, разве так завязывают бантики девочкам?

Да, Нури понял, что, выходит, не он один мучительно переживает отсутствие детей, что и она не менее встревожена этим. И опять возвращаются мысли к той таинственной ночи. «Неужели опять я виноват? Неужели после той ночи она обречена на бездетность? Нет, ужасно это. Ужасно подумать об этом. Что может быть страшнее, чем быть похожим на бесплодное дерево, страшно родиться, жить и умереть, не оставив после себя наследника, когда ты знаешь, что ты – продолжатель рода». Чем глубже рылся Нури в этих мыслях, тем страшнее становилось ему. Почему именно он обречен на это или это временно? И не хочет ли Айша задеть его мужское самолюбие, являясь к ним с детьми. «Трудно мне видеть детей, а разве ей, Аниде, легко каждый день быть с чужими детьми, а своих не иметь... Нет, это временно, все уладится, надо немного потерпеть», – успокаивал он себя.

– Сегодня в магазине такой красивый детский костюмчик был, никогда таких не видела... – мечтательно сказала Анида. – А ты видел?

– Нет.

– Я тебе покажу, – встала Анида.

– Куда ты?

– Я сейчас. Я не могла его не купить, – она достала из ящика гардероба шерстяной костюмчик с зайчиком на груди, жующим морковь. Нури в нем не нашел ничего необыкновенного, если не считать множества пришитых кар-

манов и на пиджаке, и на брюках, в детстве он так мечтал о таком костюме. – Правда, красивый?

– Да, очень... – сказал Нури, думая про себя о чем-то другом.

Анида легла, прижимая к груди детский костюмчик. Она не говорила о своих переживаниях, не хотела лишний раз раздражать мужа и родителей. «Разве я не хочу? Я очень хочу иметь детей. Как бы я любила твоего сына, мой дорогой Нури! Разве я не вижу, что родители твои тоже с нетерпением ждут внуков. Что мне делать, может, необходимо поехать на лечение?»

– Анида, хочешь, мы поедем на курорт? – вдруг спросил Нури.

– На курорт? Очень хочу, куда? – Анида обняла его и поцеловала.

– Туда, где есть иловая грязь, в Саки может быть, санаторий Саки славится.

– Конечно. Вот посмотришь, мой дорогой, я перегоню Айшу. Давай лучше поедем в Ессентуки, ближе и дешевле обойдется, а в Саки поедем потом, – сказала она.

– Ты о деньгах не думай.

– Пока у нас нет возможности разбрасываться трудовыми деньгами... Ты же хотел купить машину, зачем же тогда я закончила водительские курсы?

– Да, было бы хорошо на своей машине, но... это надо отложить, – твердо сказал Нури. – Надо ехать на курорт, отдохнуть, а если очень захочешь водить машину, возьмем напрокат. Хорошо?

– На курорт? Значит машину не будем покупать? А я хотела родителей твоих покатать по горным дорогам. Помчаться...

– По нашим дорогам не помчишься. Давай спать. Утро вечера мудренее.

– На курорт, на курорт! – радостно сказала Анида, целуя мужа.

Она заснула со сладкой мечтой, а Нури не мог заснуть. «Надо обязательно ехать полечиться, с покупкой машины

можно повременить, да и вообще стоит ли ее иметь и тягаться с теми, у кого частнособственническое нутро. Ведь государство предоставляет любому машину напрокат, ходят поезда и автобусы». Так Нури постепенно убедил себя в том, что в машине нет необходимости, да к тому же дороги в горах плохие, плохие в том смысле, что они очень крутые и множество поворотов, в туманную погоду вовсе не проедешь. Поедет он с женой на лечение, пойдут дети – вот вся радость их и их родителей. Ближе к рассвету и Нури заснул.

Утром Нури попросил Аниду сообщить родителям о поездке на курорт. А родители в это утро встали озабоченные, охваченные тревогой, они решили поговорить с детьми о том, о чем вчера ночью разговаривали. Но их опередила Анида и обрадовала тем, что открыла им глаза. Детей у них не было не потому, что они не хотели, а просто не было, и на слухи можно было не обращать внимания.

– Я же тебе говорил, что моя невестка и мой сын этого себе не позволят, – облегченно сказал Мустафа, намазывая на хлеб черный урбеч с медом.

Родители отдали все свои сбережения невестке, пусть она там покупает, что ей понравится, пусть она будет одета не хуже, а лучше других, она достойна этого, она достойна большого счастья и радости.

Глава девятая

Нередко случается, что женщина, не имеющая долгое время детей, вдруг оказывается в положении. Что поделаешь, природа разнообразна, одни цветы распускаются в мае, другие в августе, а есть и совсем поздние цветы. Разве вы не слышали о жене Хамзата Мариам, у которой двадцать лет не было детей... Сколько раз уговаривали люди Хамзата бросить эту бесплодную женщину, предлагая ему в жены своих дочерей и сестер. Но Хамзат был непоколебим, он не расстался со своей Мариам, объяснив это тем,

что любит ее и без нее не представляет свою жизнь, многим это объяснение казалось смешным. И теперь, спустя двадцать лет, она ждет ребенка, разве это не счастье?! Раньше Хамзат носил папаху прямо, а теперь одевает набекрень и ходит, гордо вскинув голову, ходит так, будто Чирюртовскую гидроэлектростанцию один построил. К нему словно вернулась молодость, он говорит о своей жене так, словно они вчера поженились. Нури и Анида не отчаивались, надежда иметь ребенка не покидала их. Они побывали на многих курортах, израсходовали кучу денег на лечение, но безрезультатно.

Перед каждой поездкой они питали надежду, уверяли друг друга, что все будет хорошо, да мало ли таких случаев. Но годы шли. Пошел 15-ый год их совместной жизни... Им частенько становилось страшно. Тревожное состояние, которое незаметно вкралось в их души, угрожающе росло и теперь стало перетягивать чашу весов на свою сторону. Отношения между ними заметно изменились, хотя внешне все оставалось по-прежнему. Было время, когда они не могли наговориться друг с другом, как будто время остановилось.

На лечение и поездки было потрачено много денег, да к черту деньги, лишь бы был результат. Состояние, в котором находились супруги, не могло не отразиться и на работе. Любой намек на отсутствие детей мог испортить им настроение. По месту работы, в больнице и в школе, они каждый день сталкивались с детьми. И все свои тревоги и переживания по этому поводу они таили в душе.

Случилось так, что в республику прибыли конголезские дети. Говорили, что их будут отдавать на воспитание в семьи дагестанцев. Об этом от представителя районо первой узнала Анида и сразу побежала к мужу.

– Усыновим одного из них, а? – с надеждой обратилась она к нему.

– Почему одного, возьмем двоих, только двоих, – радостно воскликнул Нури. – Надо узнать, когда они прибывают, нельзя упускать этот шанс.

– Я узнаю, это я беру на себя... – слова Нури очень обрадовали ее.

– И я с тобой, возьмем совсем маленьких, будут они у нас чернявые, кудрявые, постараемся воспитать их достойными сыновьями своей родины, а потом, когда они вырастут, все вместе поедем к ним в гости, в Конго. – Нури, казалось, обо всем теперь забыл, увлеченный этой идеей. Он стал более любезным со своими пациентами, все заметили в нем перемены. Нури стал таким же жизнерадостным, каким был раньше.

Усыновление Нури принял восторженно, Анида радовалась вместе с мужем. Но тревожные мысли, словно туча, затянули чистое небо:

– А родители согласятся?

– Немного поворчат, ничего... согласятся.

Нури тут же стал звонить по всем инстанциям, которые могли быть в курсе этого дела. Три дня сладостного ожидания, и все тщетно. Конголезские дети, лишенные своих родителей и крова во время катастрофы в Конго, не доехали до Конгожи, их разобрали жители других близлежащих районов. Опять горькое разочарование, опять сверлящие душу мысли. Пятнадцатый год их совместной жизни – немалое терпение, но они готовы терпеть еще столько же и каждый из них не скажет обидного слова другому, но если бы можно было вернуть ту радость, которая была в первый год их женитьбы.

Не дождавшись внука, не покачав его в люльке и не спев ему припасенную и не раз тайком спетую колыбельную, умерла Хамис. Она ни разу не упрекнула невестку в этом, так как не только видела, но и как женщина чувствовала, как переживает Анида. Даже умирая, она утешала невестку, уверяла ее, что все будет в порядке, надо ждать, у Мариам ведь двадцать лет не было детей.

После смерти матери и отец стал неважно себя чувствовать, он ушел с работы и содержать теперь его больного приходилось молодым. Над семьей, казалось, нависла беда. А между тем, как назло им, Айша, жена Омара, у которой

уже было трое детей, родила еще четверых и была награждена, об этом писали в газете, орденом «Материнская слава», который она никогда не носила, стараясь не задеть самолюбие Нури и Аниды. Как бы ни было Нури тяжело, но он ни разу не пожалел о том, что не женился на Айше, которая могла подарить ему детей и сделать счастливым человеком.

– Возьмите, двоих я вам отдам! – шутила Айша за чашкой кофе, а в душе говорила: «Нет, никому я вас не отдам, мои маленькие».

– Спасибо, Айша. Надеемся, и у нас будут... – отвечала Анида, прижимая к себе чужих детей.

Но стоило им уйти, как тут же дома становилось пусто и мрачно. В отсутствие Нури грустила она, не было ее, грустил он. А когда вместе они, сказав несколько утешительных слов, брались за книги, в комнате наступала мертвая тишина. Поужинав без особых восторгов, как бы Анида ни старалась угодить, они молча уходили спать. И это угнетающее молчание когда-нибудь должно было прекратиться. Они, любящие друг друга два человека, лежат рядом, чувствуют тепло своих тел, а над ними нависло тяжелое, страшное молчание. Тяжело переносить минуты молчания, особенно, если это касается близкого человека, которого ты считаешь виновным в своих неудачах, и нет ничего, кроме упрека, который сжимает сердце и причиняет неимоверные страдания. И вот однажды Анида не выдержала.

– Ты виноват, ты! – вырвалось у нее вместе с рыданием, она впервые за все время зарыдала так громко и впервые вернулась к той таинственной ночи. – В ту ночь...

– Какую ночь? – удивился Нури, словно он и не помнил той ночи. Да, он не предполагал, что она когда-нибудь заговорит об этом, так как пятнадцать лет она молчала. Ему стало не по себе от ее рыданий, и он попытался успокоить ее.

– Почему ты не отказал мне тогда в моей просьбе? – оттолкнула она его, и упрек этот прозвучал как гром среди ясного неба над головой Нури. Анида, всхлипывая, уткну-

лась в подушку, хотя понимала, что упрек этот напрасный и что он не был виноват. «Так разве я виновата? – спросила она себя и, подняв голову, еще раз спросила у него: – Почему?»

– Анида! Анида! Успокойся, что с тобой! – он приподнял ее за плечи и вспомнил ее такую же дрожащую, испуганную в ту далекую ночь. – Ты была тогда в отчаянии и могла себя погубить.

– А может осталось бы... – Анида приподнялась и вытерла слезы.

– Вряд ли человек в таком состоянии, в каком ты была...

– Не знаю, не знаю что делать, кого винить... – прошептала Анида. – Всегда у меня перед глазами лицо твоей умирающей матери. Она была добра, очень добра ко мне, и я не смогла осчастливить ее, чтобы она спела внуку свою колыбельную. Она ни разу не упрекнула меня и даже перед смертью утешала меня, говорила, все уладится, все будет хорошо. Где тут хорошо? С каждым днем все хуже и хуже, тяжелее на душе. Лучше бы ты отказал мне в ту ночь, пусть бы я умерла... не было бы этих переживаний.

– Анида, подумай, о чем ты говоришь. – Нури взял ее похудевшую, легкую и уложил в постель. – Успокойся. Все будет хорошо!

– Все это из-за меня, да... почему я должна быть причиной страданья других, страдала мать, страдает отец, да и ты... и все это из-за меня. Нет, это невыносимо. Я люблю вас и не хочу, чтобы вы страдали. – Излив всю горечь своего положения, Анида, всхлипывая, заснула. Утром небольшая радость ждала ее во дворе – ночью заблудившийся бедный олененок в страхе метался по двору.

Нури поймал его, и Анида стала кормить малыша из бутылки молоком, долго олененок не мог привыкнуть. Вскоре стал единственным увлечением Аниды и Нури после работы. Любовался олененком и Мустафа. Но однажды Анида заметила, что вокруг дома ходит мать олененка, это повторилось несколько раз. Не выдержав, как бы ей ни бы-

ло жаль, Анида выпустила олененка. Олененок сначала застыл не месте, увидев мать, посмотрел последним, прощальным взглядом на Аниду и помчался в горы с матерью. Как была рада мать и как гордо бегал вокруг нее легкий, веселый олененок!

Анида посетила Каякент, где лечебная грязь не уступала по своим качествам зарубежным аналогам. Но и это не давало результатов, и все старания оказывались тщетными. Время уходило, как песок из-под ног.

У отца обострились приступы, так называемые атаки хронического ревматизма. Нетопленое помещение на работе, сырые камни на годекане, где он за беседой проводил часами время, не могли не сказаться на его организме. Много раз Нури рекомендовал почтенным людям вместо камней использовать дерево. «Деды наши на камнях проводили досуг и мы», – говорили старики, но когда некоторых из них стали беспокоить неприятные боли в суставах, они признали правоту Нури. Любые перемены погоды отражались на самочувствии Мустафы. Для него, который много времени проводил на террасе, откуда можно было любоваться природой и переговариваться с соседом, туман, поднимающийся из ущелья, то оказывался другом, то колющей болью. Больным, страдающим подобным недугом, Нури советовал принимать сероводородные ванны, которые можно принимать, не выезжая из аула. И отец за последнее время стал чувствовать себя лучше, на него благоприятно действовал и внимательный, заботливый уход Аниды. Она решила хотя бы этим отплатить им, чувствуя себя виноватой, что из-за нее они лишены детского смеха в сакле. Но однажды она невольно подслушала разговор отца с Нури. Она несла отцу кислое молоко с сахаром и, услышав их разговор, застыла у двери.

– Да, сынок, – говорил, лежа в постели после приема ванны, отец. – Плохо дело. Дядя твой до меня ушел и не оставил после себя сына. А дочери не считаются продолжателями рода. У меня ты один. И если у тебя не будет сына, тогда выходит – конец. Род наш, сынок, известен был не

богатством и княжескими чинами, а храбростью в борьбе с иноземцами за родину, они были воинами и тружениками, поливающими своим потом и слезами родную землю... вот такого рода ты, сын мой, Нури. Ушла твоя мать и унесла с собой колыбельную. Единственной надеждой ты был у нас, но мы не хотели обидеть и Аниду, она для нас как родная и не заслуживает упреков...

– Мы не ценим ее, отец, она заслуживает большей любви.

– Для меня она стала как родная. Но у меня есть мечта, единственная мечта... Мне хочется пройтись по улице села с внуком. Неужели это не сбудется, сын мой?

– Что делать, отец? – Нури беспокойно шагал по комнате, и вопрос его прозвучал напрасно, так как ему было ясно, что скажет отец.

– Тяжело это будет, но мой совет, сын мой, разойдись с ней, по-доброму... поговори с ней, убеди ее... да, ее убеждать не надо, она и так хорошо понимает нас... Я ждал той минуты, что она сделает такой шаг, но, видно, ей тяжело признаться в своем бессилии. Тебе надо жениться на другой, чтоб не уподобиться бесплодному дереву...

Из рук Аниды, стоящей у двери, выпал поднос, со звоном разбилась сахарница и глиняный кувшин с молоком. Она со всхлипыванием бросилась к себе, стараясь сдержать крик, сжав зубы. Есть же на земле такая несправедливость – одна жалуется на то, что не может не рожать, а другая на то, что не может рожать. Сразу же вслед за Анидой вошел в комнату встревоженный Нури. Она была словно в приступе лихорадки, все ее тело вздрагивало, она стонала.

– Успокойся, да что с тобой... успокойся. Этого никогда не будет. Разве это мыслимо? Нет.

Анида села, спокойно вытерла глаза, взяла руки мужа и сказала, как бы ей ни было тяжело в эту минуту:

– Отец твой прав. Я должна была давно понять это.

– Что?

– То, что сказал отец. Почему бы нам не поступить так?

– Подумай, да разве же это возможно?

– Да, это трудно, но надо.

– Нет.

– Нури, друг мой, хватит таиться друг от друга и уверять друг друга в том, чего никогда не будет. Поэтому самое разумное будет то, что мы перестанем быть мужем и женой.

– Я не могу!

– И я не могу больше терпеть, чтоб из-за меня страдали другие. Если ты хочешь, чтоб я осталась другом, товарищем твоим, то ты сделаешь это... если же нет... – в голосе Аниды прозвучала твердая решимость.

– То что... – недоумевая, спросил Нури.

– То я должна покинуть аул. Но я надеюсь, ради нашей любви, ради наших чувств, ты не заставишь меня бежать отсюда, бросив школу... – Анида в душе боялась другого, что ей очень тяжело будет перенести такую разлуку с ним. – Я останусь здесь с твоим отцом, ему нужен уход. И я буду иметь возможность быть согретой твоим счастьем, когда у тебя родится сын, пусть он будет от другой женщины...

Эта решимость придала ей какую-то уверенность, она все больше чувствовала прилив сил. Чем больше увеличивалась решимость в ней, Нури становилось страшно, ему трудно было в это поверить.

– Ты, Анида, шутишь?

– Нет, Нури. Я это сделаю теперь, хотя бы для того, чтоб твой отец прошелся по улице села, держа за руку внука.

Мустафа был в своей комнате; лежа в постели, ерзал, охваченный тревогой, не случилось ли чего с Анидой. Возникли непонятные мысли, от них ему становилось страшно, он пытался встать, но заныли его суставы, и он не смог подняться, позвал Нури.

– Почему я терзала до сих пор вас и себя, ведь оказывается можно было давно это сделать. Мне теперь вдвое стало легче, потому что я избавилась от тяжести, которая давила мне сердце. А теперь я одна, одна буду со своим

горем, и это легче... – Нури хотел ей возразить, но она ладонью прикрыла ему рот. – Не говори мне больше ничего. Иди, отец тебя зовет! Иди!

Нури вышел и прежде, чем пройти к отцу, задержался в проходной комнате, где в камине после смерти матери ни разу не горел огонь, некому было его разжечь, так как все были очень заняты. «Неужели у меня хватит смелости разойтись с любимой, с которой прожил более пятнадцати лет, разойтись, чтоб иметь детей от другой? Сблизиться с другой женщиной, привыкать к ней и всю жизнь думать о своей Аниде. Нет, это ужасно». Его мысли прервал зов отца, и он вошел к нему, отбросив обломок чашки у двери. Как только Нури вошел, Мустафа с тревогой спросил:

– Что с ней?

– Ничего, отец.

– Она здорова?

– Да. Она поняла нас, отец, как ты хотел. Она согласилась и сказала, что это единственный выход в сложившейся ситуации.

– Другого я не ждал от нее. Она слишком человечна, чтоб не понять нас. Я бы не хотел, чтоб она уезжала, она, видимо, хочет уехать?

– Нет, отец, – сказала, входя решительно в комнату, Анида, – если ты не против, я останусь жить в той маленькой комнате, буду очень одинокой, если уеду. Я хочу остаться.

– Спасибо, дочка. Спасибо за все. Я буду всегда очень рад видеть тебя рядом. Я рад тому, что понял: поистине женщина всемогуща. Спасибо!

Нури вышел. Ему надо было побыть одному. Он еще не осознал своего положения, он был в таком состоянии, словно от него отказался родной отец. Ему надо было взвесить все и решиться на такой шаг, на который бы он без сомнения ответил отказом, если бы не отец и не желание иметь собственных детей.

Глава десятая

На этом я надолго прервал свое повествование – все, что я знал и что хотел донести до читателя, было исчерпывающе изложено. Но публиковать в таком виде не решился, потому что чувствовал его незавершенность, а незавершенное произведение похоже на кольцо, у которого не спаяны концы. Четыре года рукопись лежала в ящике стола. Четыре года прошло с тех пор, как я расстался со своими героями, с которыми свела меня судьба в Конгожи. Много воды утекло с тех пор, но мысленно я часто возвращался к ним. Из газет я узнал о том, что мой кунак Осман участвовал в съемках фильма о гражданской войне в эпизоде кавалерийской атаки красных партизан в Араканском ущелье и что он блестяще справился со своей ролью борца за советскую власть; о том еще, что его дочь Хадижа добилась рекордного удоя молока от коров местной породы, это сообщение было напечатано в газете вместе с ее портретом; о том, что пенсионер Мустафа в один день убил на охоте двух волков; о том, что Анида удостоена звания заслуженной учительницы Дагестана и о том, что пожелавший остаться неизвестным врач из аула Конгожи спас двоих пионеров из бурлящего потока, рискуя собственной жизнью. Даже эта самая скупая газетная информация радовала меня. Я знал, что они живы и здоровы, и что каждый из них на своем месте предан своему делу. И всякое упоминание о них, о моих героях, будило во мне желание побывать обязательно еще раз в запомнившемся мне ауле Конгожи и завершить свое повествование.

И вот сегодня я вновь в этом ауле. Приехал сюда на колхозной легковой машине. Она привезла меня во двор сельского совета, куда очень спешил шофер, словно без него там не могли решить какое-то срочное дело. Оказывается, сюда спешил не он один.

Пишу я эти строки в шумном, заполненном людьми кабинете, среди которых я сразу приметил и героев своего повествования, где с удовольствием предоставил мне свой

стол председатель сельского совета добрый толстяк Али, с которым мы встречались на свадьбе, где он был тамадой. Все были празднично одеты и охвачены одним чувством – чувством огромной радости.

Сегодня в горах необыкновенно чистое, голубое небо, кажется, таким ясным оно не было еще никогда. Даже почти всегда скрытые легкой завесой тумана далекие горные цепи отчетливо видны, будто нарисованные умелой кистью художника. Солнечный свет наполнил все, радуясь вместе со всеми. И я вспомнил разговор бабушки и внука в день, когда человек впервые вышел в открытый космос, эту историю рассказал мне Али. Прибегает, запыхавшись, к бабушке внук, поправляя на ходу красный галстук на груди, и восторженно сообщает:

– Бабушка, человек в космосе! Я же говорил... – слова «я же говорил» школьник произнес, напоминая бабушке, видимо, недавно состоявшийся между ними разговор.

– Какой человек, чей человек? – удивленно спросила бабушка, застигнутая врасплох.

– Как чей? Конечно же, наш, советский человек, Юрий Гагарин. Теперь-то ты убедилась, что аллаха не существует, а? – запрыгал от радости внук, будто он одержал победу в чем-то важном, будто Юрий Гагарин – это он сам.

– Да... Ну, ты погоди, внук, он ведь еще не вернулся на землю... – сказала бабушка и быстро стала что-то шептать про себя.

Космонавт благополучно приземлился.

– Ну, бабушка, видишь, нет аллаха?

– Не знаю, право, сынок... Может и нет. Но я не могу это утверждать.

– Почему? – удивился внук.

– Очень просто, внучек, я молилась, чтоб наш Юрий приземлился.

«Наш Юрий», да, это наша гордость, гордость всего советского народа и всего человечества. Именно наш человек первым мог совершить такой подвиг. В этом подвиге –

частица каждого советского труженика: и доярки, и учительницы, и врача, и табунщика.

И я еще раз убедился в том, что, несмотря на некоторые недостатки и пережитки прошлого, в своих целях и стремлениях горцы решительны и уверены в своей победе – будет построен на земле счастливый мир для человека.

– И все это будет сделано, да, да... – с озабоченной уверенностью сказал Али, говоря о грандиозных стройках. И в этих словах его не было ни единой тени сомнения. Не это ли новое в человеке: простой горец думает в масштабе государства, думает как хозяин. – Друзья мои, – обратился он к присутствующим, – в честь сегодняшнего праздника моя жена приготовила хинкал из грудинки. Приглашаю всех, кто желает со мной отобедать, и гостя нашего непременно, – сказав, подошел ко мне, похлопал по плечу, забрал из рук моих ручку и листы бумаги.

– Пошли, возьми их, за обедом допишешь!

– У меня есть кунак, он может обидеться, – возразил я ему.

– Кто?

– Осман, – сказал я, зная, что хозяин в горах будет обижен, если без его позволения гость пойдет к другим обедать или ночевать.

Али попросил разрешения у Османа. Мне казалось, что он не разрешит, но старик такое приглашение встретил даже с некоторым удовлетворением. Почему такое случилось, мне стало понятно за обедом. Оказывается, к Осману переехала на днях его старая любовь Ашура, да, та самая тетя моего «приятеля», которую я видел в Шилаги. Что случилось с моим «приятелем» и куда она его дела, осталось не выясненным, так как до него не было дела никому, да и я не прилагал особых усилий, чтобы узнать что-нибудь. Бесследно исчез человек, и никто этого не заметил, видимо, не был он достоин внимания.

За добрым обедом у Али присутствовал и Мустафа, я узнал многое о своих героях за время моего отсутствия. Без них наше повествование действительно выглядело бы неза-

вершенным. О них я и хочу поведать вам в последующих главах.

Глава одиннадцатая

Между Нури и Хадижой была большая разница. Она была слишком молода, а его виски посеребрила седина. От нее всегда пахло свежим молоком, сразу же после школы она стала работать дояркой в колхозе и старалась как могла. С первых же дней совместной жизни Нури относился к ней как к ребенку, а по-другому и быть не могло, слишком разные они были с Анидой. Общаясь с Хадижой, он подбирал слова, пытался быть с ней непосредственным, таким, каким она его знала с детства, ведь она росла у него на глазах, но это выходило фальшиво. И он отказался от этого, потому что она теперь была его женой, а не соседкой. Тяжело и порой невозможно привыкнуть к одному человеку и сделать его близким себе, когда в сердце навсегда занял место другой человек. Нури тяжело переживал разлуку с Анидой, это угнетало его, хотя Анида не уехала и жила рядом. Хадижа привыкла к нему, как ребенок привыкает к отчиму. Став женщиной, она поняла свое положение, поняла, что тревожит ее мужа, и старалась отвлечь его от этих мыслей, пыталась развеселить его и для этого прилагала все усилия, какими она обладала – молодостью, свежестью, своей беззаботностью, и ей это иногда удавалось. На глазах Нури она взрослела, расцветала.

Жили они отдельно от отца и Аниды. Нури и ход пристроил себе отдельный, чему очень обрадовалась Хадижа, потому что в этом она видела заботу мужа по отношению к себе, и еще потому что в ее душе росла неприязнь к Аниде и пробуждалось чувство ревности. А Нури поступил так совсем по другим соображениям, ему не хотелось лишний раз травмировать сердце Аниды. Он не хотел, чтоб своенравная, несдержанная Хадижа словом или делом могла бы обидеть дорогого ему человека. Хотя Нури и Анида жили

отдельно, но мысленно они всегда были рядом. Они думали, что со временем смогут забыть друг друга, но этого не случилось, они чувствовали, что совершили непоправимую ошибку.

Изредка им приходилось встречаться и садиться за один стол – это происходило, когда в гости приходили почтенные люди. Но все же, как бы они ни старались показать свое благополучие, их беспокоили и тревожили всякого рода сплетни женщин у родника, а мужчин на годекане, хотя многие добропорядочные люди там и тут пытались прекратить разговоры, защищая эту семью. Злые языки не молчали, зубоскалы говорили: «Да, у них все нормально, сын женился на молодой, а отцу-вдовцу сын оставил свою бывшую жену», мол, у нас двоеженство законом запрещено, а возьмите его, вроде бы Нури и образованный и культурный человек, а имеет двух жен. Но все эти разговоры не имели под собой почвы, и поэтому они тут же улетучивались, как пар с котла, в котором варилась акушинская картошка в мундире. Анида и Нури не обращали внимания на сплетни, они знали себя, и их совесть была чиста, только Хадижа все время надоедала мужу своими упреками и расспросами: «Ты вот меня не слушаешь..., а у родника люди говорили то-то, а у пекарни – то-то...». Нури старался не обращать внимания на упреки жены, а когда она ему начинала надоедать, уходил к друзьям, чтобы сыграть в шахматы или послушать новую пластинку.

Любовь и ревность переполняли душу Хадижи. Она старалась завоевать его любовь любыми способами. Порой она теряла над собой контроль, в такие минуты безудержная ревность поглощала ее полностью. В минуты припадка ревности Хадижа становилась похожа на разъяренную волчицу. Его истерзанное сердце истекало кровью. Но он человек воли, проклиная в душе те минуты слабости, когда он дал согласие оставить Аниду и жениться на другой, молчал, напрягая нервы.

Глядя на молодую жену своего бывшего мужа, Анида завидовала ей чисто по-женски и мечтала о невозможном:

«Как бы было хорошо, если человеку было дано хотя бы один раз за всю жизнь вернуть молодость и пройти свой путь, уже имея опыт и зная, где какой поворот впереди и что следует за этим поворотом: первый раз считать репетицией, а во второй раз пожить по-настоящему, учитывая и исправляя допущенные прежде ошибки». Нури, глядя на Хадижу, думал о том, что у него могла быть уже такая дочь, но только не такая дерзкая и непослушная. А Мустафа не заговаривал уже о наследнике, он с каждым днем все больше убеждался в том, что допустил ошибку: «Не надо было их разлучать. И зачем была такая необходимость, во что бы то ни стало оставить за собой продолжателя рода? Со смертью нашего рода жизнь что ли на земле прекратится? Нет, неправильные были у меня мысли, и что за дурацкая такая мечта, взяв за руку внука, пройтись с ним по селу...»

Мустафа чувствовал себя глубоко виноватым перед Анидой и всячески старался помочь ей: когда здоровье позволяло, он ходил на охоту и потом, с добычей возвращаясь домой, всегда заходил в школу и окруженный любопытными детьми ждал, пока Анида освободится, чтобы вместе пойти домой. А иногда ждал ее дома с билетами в кино, а в день, когда вышел указ о присвоении Аниде звания заслуженной учительницы Дагестана, он по такому случаю собрал у себя дома сельчан отметить это. Поздравлять ее с этим званием приехали даже из Маджалиса.

Анида жила в маленькой комнате, которая была рядом со спальней Мустафы. Долгие зимние вечера Анида и Мустафа, как отец и любящая дочь, проводили у камина в передней. Мустафа научил Аниду разжигать огонь в камине, и она, как ребенок, радовалась этому. Невольно задумываешься над смыслом жизни, наблюдая за языками пламени, за тем, как горят и трещат дрова, как они сначала превращаются в уголь, а затем в золу. Игра пламени и тепло древесного огня на Аниду действовали успокаивающе.

Со школы она возвращалась поздно, уставшая, к ее возвращению горец Мустафа, пусть останется это между

нами, ибо горцу не желательно, чтоб об этом знали посторонние, готовил ужин, и она всегда находила теплую еду в горячей золе камина. Мустафа некогда работал чабаном и знал, как готовить хинкал и горские пельмени, а яичница у него получалась даже лучше, чем у Аниды. После ужина и небольшого отдыха Мустафа развлекал ее у камина воспоминаниями из своей жизни, о былых событиях в этих местах, о горцах, обо всем о том, о чем до сих пор, сколько бы ни жила в этом ауле, Анида не могла знать. И она с интересом, увлекательно слушала его рассказы. Если пригласить стенографистку и дать ей возможность записать то, о чем говорил Мустафа, то получилась бы целая книга увлекательных рассказов из жизни горцев, разных сословий и профессий: о гончарах и златокузнецах, о мастерах резьбы по дереву и по камню, об оружейниках, чабанах и землепашцах.

Провели они так у камина не одну и не двадцать, а «тысячу и одну ночь», и эти рассказы не уступили бы по содержанию и объему знаменитым арабским сказкам. Шло время, но и Хадижа не смогла их обрадовать рождением ребенка. Те, кто любил совать свой нос в чужие дела, теперь начали наговаривать на Нури, будто не жены виноваты, а виноват он сам. Терзаемый сомнениями он проверялся не раз у врачей, и каждый раз результат был один: он не должен жаловаться и как мужчина вполне состоятелен. Хадижа мечтала стать матерью, это была единственная возможность навсегда привязать к себе мужа и заставить забыть Аниду. Она скрыла от всех, что будучи в Махачкале прошла медицинское обследование. Врачи ей тогда сообщили страшную весть, что она никогда не будет матерью, что это связано с инфекционной болезнью, которую она перенесла в детстве, что и обрекает ее на абсолютное бесплодие. Такой диагноз ошеломил ее. Постепенно Хадижа пришла в себя и нашла силы вести обычный образ жизни. Она была еще очень молода и надеялась, что все обойдется. Ей трудно было смириться с этим, ведь она частенько упрекала Аниду в бездетности, говоря, что сама она родит для

Нури семерых сыновей. Хадижа за последнее время очень привязалась к мужу, ей нравилось, что он не обижал ее, не повышал голоса, не сердился. Тогда как некоторые ее подруги жаловались именно на тяжелый характер своих мужей, которые могли позволить себе ударить жену. Молодая горянка поставила перед собой цель – во что бы то ни стало удержать Нури около себя, в ней заговорила женщина: «Чем я хуже Аниды? Нет, ты должен полюбить меня... ты полюбишь меня».

– Ты любишь меня, Нури? – спросила она, обнимая его.

– Да, люблю! – отвечал Нури, как ученик отвечает у доски вызубренный урок.

Но такой ответ не удовлетворил Хадижу, она хотела чего-то большего, но чего сама не знала. Она часто нервничала, но Нури не обращал на это внимания. Нури стал похож на человека, над которым только что совершили насилие. Он не знал, от кого исходило это зло. Как будто его ограбили, и он остался ни с чем. Он думал: «Что делать? Если я сейчас стану посылать ее к врачам и возить по курортам, то люди непременно подумают и скажут, видите, сам виноват, но не признается, а жен мучает подозрениями и посылает к врачам, да еще по санаториям разъезжает... наши жены не в санаториях рожали детей. А Осман, отец Хадижы, человек суеверный и очень доверчивый, он уже раз пытался увести дочь из этой семьи, когда пошли сплетни, что у Нури две жены, а теперь может поверить и в эту глупость». Осман не меньше Мустафы хотел иметь внука, он тоже посылал дочку в Маджалис к врачам. Но Хадижа, уже зная заранее, что ей скажут врачи, решила не проводить обследования. С каждым днем Хадижа все больше понимала, что Нури удержать около себя ей не удастся. Она непроизвольно стала завидовать своим подругам, чьи мужья пусть и жестокие, но любят своих жен. А ее Нури не замечает, не обращает на нее никакого внимания.

– Вот если я дам тебе пощечину, что ты со мной сдела-

ешь? – спросила она, уставившись ему прямо в лицо, словно перед ней не муж, а убийца отца.

– Сначала попытаюсь узнать причину, что побудило тебя сделать это, – спокойно сказал Нури.

«А действительно, что побуждает меня ударить его? Разве он не замечает меня, если бы он не замечал меня, то не разговаривал бы со мной. Что делать?»

– Как ты говорила, что тебе сказали врачи? – как бы между прочим спросил Нури.

– Надо лечиться... – ответила Хадижа.

Хадижа обрадовалась внезапной мысли, возникшей у нее, почему она не подумала об этом раньше. Уехать с ним из аула, а там в санатории или по пути в каком-нибудь городе уговорить его остаться. Там врачи тоже нужны, там будет спокойнее. Об этом она не сказала мужу, она скажет об этом в городе. И Хадижа стала готовиться к отъезду.

– Значит, надо лечиться... – сказал Нури.

Да, для Нури все начиналось снова, все в точности повторялось. Сели они на попутную машину и выехали. Отъезжая от аула, Хадижа радовалась, как коза своим рогам, ее провожать пришли подруги. Нури даже удивился тому, что она может пользоваться такой симпатией среди колхозниц. Но им не суждено было далеко отъехать: на встречной машине ехал ее отец. Осман, видимо, спустился с альпийских лугов, узнав об отъезде дочери и зятя. Страшным было его лицо, когда он бывал злым: сжатые зубы, зажмуренные брови, из-под которых свирепо смотрят острые глаза. Он попросил остановить машину, забрал свою дочь и сказал, обращаясь к Нури, который тоже вышел на дорогу:

– Ты болен, ты и езжай лечиться, а ее оставь!

После этих громко, во всеуслышание сказанных слов нервы Нури не выдержали, его терпение лопнуло, как туго натянутые струны чугура. Хадижа билась в могучей руке отца, как куропатка в когтях орла.

– Ну и оставлю!! – неистово заорал Нури, желая перекричать Османа.

– Оставь, можешь ехать на все четыре стороны, – еще

злее сказал Осман, показывая на дорогу. – Хромой ты человек не только физически, но и душой!

До сих пор ни один человек не смел упрекнуть его в телесном недостатке. Он сам это болезненно переносил и не раз в душе сожалел, что он не такой как все. Он был готов схватить Османа за горло, за его небритое, морщинистое горло и задушить, как ту собаку у дома Аниды, но чем же он виноват. Хадижа умоляла отпустить ее, оставить их в покое, но старик был неумолим, и перед его страшным взором дочь смирилась. Осман решил забрать свою дочь у человека, который не способен иметь детей: «На что мне такой зять? Она у меня единственная дочь, и я хочу понянчить своих внуков, приходить к ним с подарками и радовать их». Он увел свою дочь.

Шофер долго оглядывался и звал их, но, видя, что они не реагируют, прощально загудел. Уехала машина, оставляя за собой клубы дорожной пыли. И вот Нури остался на дороге один, как единственный плод на дереве после сбора урожая, который, раскачиваясь на ветке, размышляет падать ему или нет. Нури присел на свой чемодан, сжал обеими руками голову и ничего не соображающим взором уставился на бесхвостую цвета дорожной пыли одинокую ящерицу, которая глядела на него, как на какое-то большое, непреодолимое препятствие.

Вдруг вихрем налетели на него тревожные мысли: «Что делать? Бежать, бросить все и бежать! Куда? От себя самого далеко не убежишь. Что делать? Скажи мне...» – мысленно обратился он к ящерке. Ящерица, словно испугавшись, что ей долго придется ломать голову над этим вопросом, прошмыгнула в щель между камнями. И в таком отчаянном состоянии он вдруг увидел перед собой протянутую руку. Он поднял голову и увидел перед собой свою Аниду. Ее большие глаза выражали грусть и тоску, на бледных губах была еле заметная улыбка. «Она пришла вернуть меня домой, – подумал Нури, – значит, когда я уезжал, она была дома и не вышла провожать... а почему у нее в руке рюкзак?»

– Прощай, Нури! – тихо сказала она, как будто прочла его мысли.

При этих словах из взбудораженного мозга его вылетели все мысли, связанные с Хадижой и ее родителем, и молотом стала стучать в груди одна мысль: «Что ты сидишь? Она же уезжает от тебя навсегда, этого нельзя допустить».

– Нет, нет! – сказал он, хватая ее руку.

– Так будет лучше, – ответила она.

– Нет, нет! – повторил он, вкладывая в эту частицу все, что он хотел ей сказать.

– Да, Нури! Я больше не могу, я терпела, мне было тяжело! Меня не понимают. Сегодня бросили мне в лицо: «Ты не можешь воспитывать в школе наших детей, ты не достойна этого!» Как это бесчеловечно! Ведь я всю себя отдавала работе! – всхлипывая, сказала она.

– Тогда возьми и меня с собой?

– Это невозможно, у тебя здесь любимая работа, отец, жена твоя здесь.

– Нет, нет у меня иной жены. Нет! Не будь жестокой...

– Я никогда не была жестокой, хотя жизнь обошлась со мной сурово...

Долго бы еще стояли они здесь, уговаривая друг друга, и вряд ли бы им это удалось, если бы к ним с сучковатой палкой в руке не заковылял Мустафа. Он увидел их с террасы сакли и поспешил сюда. Глаза у него были влажные, он их часто протирал платком. Ему очень больно стало, когда сегодня навсегда попрощалась Анида, в ответ ей он ни слова не мог вымолвить на крыльце, так как почувствовал, что теряет что-то очень близкое и дорогое сердцу и не мог ничего сказать, потому что его душили слезы, подступившие к горлу. И самое страшное было в том, что он не смел сказать ей «оставайся». А как только увидел их вместе, поспешил к ним. Но, приблизившись, он сделал вид, что не видит их и направляется к зеленой поляне, а потом будто случайно обернулся и сказал:

– А-а, это вы... дети мои. Да будь неладна, в глаза пылинка попала... Я вот решил на зеленой лужайке кости свои

старые погреть. Смотрите, какой красивый закат, – сказал он, показывая палкой на горный хребет, над которым все больше склонялось красное солнце. – Пойдемте вместе полюбуемся закатом. Одному мне будет скучно...

Нури глянул на озаренное закатом лицо Аниды, она покорно опустила глаза и повернулась в ту сторону, куда приглашал Мустафа.

– Идемте... нам втроем будет очень хорошо, больше нам никто не нужен. Пошли. Тебе, наверное, неудобно с рюкзаком, невестка, – сказал Мустафа, впервые после того дня, как у двери его комнаты из рук Аниды выпала посуда, произнося это слово «невестка» и вкладывая в него новый смысл. – А Нури и не догадается поухаживать.

Нури взял у Аниды рюкзак. И они втроем стояли на зеленой лужайке. Мустафа, глядя куда-то вдаль, стал заполнять тютюном свою трубку. Нури и Анида глядели на закат. Солнце, все больше краснея и увеличиваясь в объеме, будто раздували у огня в камине овечий пузырь, скатилось за снежные вершины, унося с собой мечту Мустафы иметь внука.

Глава двенадцатая

Отец был прав – в своем доме им больше не нужен был никто. Наконец-то ему стало ясно, что бесполезно ждать от жизни невозможного. И вот они снова вместе. Спокойствие вселилось в них, а в саклю вернулось тепло, свет и радость. Вернулись в саклю беседы о труде, о селе. Мать школьника, которая в момент обиды наговорила на учительницу, поняла свою ошибку и нашла в себе силы публично извиниться перед Анидой, впоследствии она стала ее близкой подругой. Звали ее Салима. Салима так же, как и Айша, приходила к ней провести время, поговорить о моде, о национальных блюдах, о хозяйстве. Все стало на свои места. Иногда до них доходили слухи о Хадиже, которая ненадолго, как им казалось, разлучила их. Хадижу отец ее Осман

увез в Ногайские степи и выдал замуж за чабана по имени Эмин, отца троих детей. Хадижа долго не могла примириться со своим положением, но ее увлекли дети мужа, которым не хватало матери, и первое их обращение к ней со словом «мама» стало той искрой, которая разожгла в ней материнское чувство. Она стала уважать и их отца, ее любовь уже была спокойной, потому что она была уверена, что муж любит ее очень сильно.

Ни Мустафа, ни Нури теперь не касались вопроса о детях, о продолжении рода, они заглушили в себе это желание, осознав, что не стоит из-за этого жертвовать своим счастьем, спокойствием. Только договорились, если представится случай, взять на воспитание ребенка. Но на это трудно было рассчитывать. В подобных случаях многие горцы брали на воспитание детей своих родственников. Горцы не забывали думать и о завтрашнем дне, они заботились не только о благосостоянии своей семьи, но и о благоустройстве своего колхоза.

Сегодня в необычно приподнятом веселом настроении был Нури, это заметили даже больные. Закончив вечерний обход, записав в журнале, кому какую процедуру проделать на ночь, он вышел из кабинета. Завернул в газету купленную в магазине редкую книгу, собрался идти домой, когда у выхода столкнулся со встревоженными сестрами, одна из них держала в руках сверток... При виде врача обе растерялись.

– Вот нашли... – сказала одна из них, показывая глазами на скамейку в передней, где они подобрали сверток.

– Что это?

– Ребенок.

– Чей ребенок?

– Не знаем, подбросили.

– Да кто вам сказал, ищите мать, наверное где-нибудь здесь, – сказал Нури, с тревожно бившимся сердцем взяв в руки сверток. Он откинул с лица край одеяла, и на него глянули два детских ничего не соображающих глаза. Ребенок усердно сосал пустую резиновую соску, ни в чем не

похожую на материнскую грудь. Упорное сосание – вот инстинктивное движение самосохранения, которое он мог предпринять в этом возрасте. Что удивительно, этот ребенок еще и плакать не научился. Какое беспомощное существо – младенец, который лишен возможности быть рядом со своей матерью. Ребенок, высунув неокрепшую ручонку, задел второпях сложенный лист бумаги, который был вложен в одеяло, будто хотел сказать: «Вот что мне моя кровная мать оставила на память, возьмите, прочтите».

Тревожно озираясь, тщетно обежав вокруг здания, вернулись медсестры, они недоуменно пожимали плечами.

– Никого вокруг, доктор!

– Ни души! Ну и мать, нашла ведь место подкинуть ребенка!

Нури не слышал их, все его внимание было обращено на коряво исписанный лист бумаги. Карандашом было написано: «Я младшая сестра трех братьев. Они берегли, лелеяли меня, и я не понимала, что они желают мне добра. Как бы меня ни берегли братья, я была обманута человеком, которого братья презирают. Если они узнают, что у меня ребенок от этого человека, они меня убьют. О, вы не знаете, какие у меня братья страшные! Их можно понять. Я опозорила их! Но я хочу жить, пусть живет и мой ребенок, хотя бы вдали от меня. Добрые люди, не обижайте его. Ребенку я дала имя – надеюсь и вы сохраните его. Бэла».

Нури долго стоял в оцепенении. Он думал, как это мать может решиться на такой безумный шаг. О таких случаях он читал в книгах, видел в кино, но никогда не предполагал, что может с подобным случаем столкнуться в жизни. Его привел в себя плач девочки, изо рта ребенка выпала соска. Нури вложил соску в рот, девочка успокоилась и стала сосать ее. Он улыбнулся, посмотрел на сестер. Они тоже улыбнулись, понимая, о чем подумал Нури.

– Хороший ребенок! – сказал Нури.

– Хороший, хороший! – повторили машинально медсестры.

Нури с ребенком пошел домой, а медсестры пошли

кормить больных. Шел Нури домой, оглядываясь вокруг, а вдруг окажется где-нибудь мать и отнимет эту девочку у него. Он еще не разобрался в своих чувствах, то ли радоваться ему, то ли нет. Конечно же, радоваться. Такие находки редки. Еще со двора он кричал, вызывая отца и Аниду выйти.

– Смотрите, у нас есть ребенок!

– Откуда?

– Это разве имеет значение, вот прочти, – сказал Нури, вместе со свертком передавая и записку матери. – А знаете, как ее зовут? Бэла! Лермонтовская Бэла. Мать ее так назвала, вот прочти.

– Девочка, значит? – спросил Мустафа, заглядывая в сверток. – А чем ее кормить, надо молока достать.

В первые дни все они не знали, как и выразить свое отношение, но постепенно в каждом из них росло удовлетворение и радость, что у них оказался ребенок, которому они с удовольствием могут уделить все свое свободное время. Маленькая девочка не сходила с рук Аниды и дедушки. Отсутствие материнского молока сказывалось, но под руководством Нури, который ради этого стал изучать детские болезни, проблем в питании не было.

Жизнь стала иная, словно в них самих что-то переменилось. Их любовь полностью была отдана маленькой Бэле.

Прошла неделя с того дня, когда жаждущая ребенка семья нашла его. Сегодня Анида случайно обратила внимание на молодую женщину в черном с полузакрытым лицом, которая заглядывала украдкой через щель в воротах во двор, она что-то искала. Эту женщину Анида встретила и вчера, но не обратила на нее внимания, мало ли в ауле любопытных людей. Когда же это повторилось, Анида насторожилась, почему-то на сердце у нее стало неспокойно. Но день прошел без приключений. На следующий день повторилось то же, Анида решила выйти и поговорить с ней, но незнакомка ушла в сторону колхозного тока и исчезла за высокой скирдой снопов. А на четвертый день женщину в черном у ворот застали врасплох трое мужчин. Женщина

вскрикнула и с плачем прижалась к одному из мужчин, который выглядел старше остальных. Он успокоил ее, вытер ей слезы, и они все вместе вошли во двор.

Двое поднялись по лестнице на второй этаж и заглянули в комнату в то самое время, когда семья суетилась вокруг ребенка, девочку купали. Анида купала, Нури держал полотенце наготове, а Мустафа развлекал девочку побрякушками. И вдруг Нури заметил две длинные тени у двери и, отдав в руки испугавшейся Аниде полотенце, подошел к ним.

Вошедшие спокойно и сдержанно объяснили, по какому поводу они здесь. Нури почувствовал, как что-то больно кольнуло его в сердце, за последнее время оно часто давало о себе знать. Он не находил, что им ответить, молча вынул помятый листок бумаги и передал им в руки. Старший бегло прочитал бумагу и, улыбнувшись, передал второму.

– А вы не накажите ее? – спросил почему-то Нури.

– Да что вы? Мы любим свою сестру, хотя она не послушалась нас.

– Да мы за волос сестры жизнь положим.

– Конечно, конечно, – пожимая плечами, сказал Нури.

– Что такое, что случилось? – вышла Анида, прижимая к себе аккуратно завернутого в махровое полотенце ребенка; она с тревогой посмотрела на незнакомцев. «Какие они грозные», – подумала она.

– Мать нашлась, вот... – Нури показал на женщину, которая в это время медленно поднялась на террасу.

Незнакомка, увидев своего ребенка, приблизилась к Аниде. Анида не хотела отдавать, она крепче прижала девочку к себе, но разве она имела право это делать – ведь перед ней была родная мать этой девочки. Женщина села на скамейку, оголила ноющую от боли грудь, презрев присутствие мужчин.

– Мне надо ее покормить.

Анида выпустила из рук ребенка. Вышел Мустафа с ванной, вылил воду в каменный желоб, который был направлен с террасы на улицу. Он был крайне встревожен

незнакомцами, но виду не подал, сделав безразличную позу, заметил:

– Ах, мать нашлась, хорошо, я же говорил найдется.

– Пожалуйста, вы извините нас, что так получилось. Спасибо вам! – сказал старший и подошел к сестре. – Трусишка ты наша, так и пишет в записке: «О, вы не знаете, какие у меня братья страшные...» Да, мы страшные, потому что любим тебя, сестренка, разве же мы когда-нибудь давали тебя в обиду. Поехали, братья. Еще раз извините нас, люди добрые, из-за ее дурости все вышло. Если что понадобится, где пособить, мы к вашим услугам, в долгу не останемся, мы из Шилаги.

Беря по очереди на руки маленькую племянницу, они вышли за ворота. Сели на своих коней. Старший брат посадил к себе сестру, и они ускакали. И глядя на них, Анида вспомнила случай с олененком. Все же мать остается матерью, как говорится, как бы ты ни встряхивал руку, пальцы не выпадут.

Все трое долго стояли на террасе, будто у них забрали что-то очень дорогое. В руке Мустафы звенела еще погремушка.

Глава тринадцатая

Вспыхнула в их жизни надежда, как зарница на небосклоне, и погасла, оставив после себя лишь громоподобные тревоги и переживания. Они смирились с тем, что никогда не смогут взять на воспитание чужого ребенка. Случай с Бэлой был тому подтверждением. Жизнь шла своим чередом. Анида работала в школе, воспитывала чужих детей, прививала им любовь к прекрасному, пыталась сделать их духовно богатыми, а Нури не жалел сил и энергии, чтобы уберечь детей от болезней, сделать их здоровыми и сильными, и лучшего себе занятия они не могли найти. Мустафа радовался, наблюдая за всем этим. Вот так втроем про-

жили бы они всю свою жизнь, если бы не случилось самое неожиданное.

Анида забеременела.

Она вначале засомневалась и не решилась открыться мужу и отцу, пока досконально все не проверит. На три дня она уехала в город, чтобы провести обследование, врачи развеяли все ее сомнения, сообщив, что она будет матерью. Она три раза переспросила врача, ответ был один и тот же – она беременна. Она была счастлива, слезы радости блестели в ее глазах. Весь окружающий ее мир стал лучше, светлее. Все вокруг казалось ей прекрасным: туман, который стелется по улице, запах бензина. Она спешила домой обрадовать тех, кто уже не надеялся на подобное. Дома она застала отца и, обняв крепко, сказала ему все.

– Не может быть? – удивился пораженный этой вестью Мустафа. – Трудно поверить.

– Да, отец!

– Радость моя, счастье мое! – Мустафа впервые поцеловал ее нежно в лоб.

И, взявшись за руки, они стали плясать, включив на всю мощь радиолу. Плясал Мустафа, выкрикивая «хайт жан!», кружилась по комнате Анида. В этом ритме их застал вернувшийся с работы Нури.

– Что такое? Что случилось, не мать ли встала из могилы? – удивился он.

– Счастье... – воскликнул отец, – счастье не миновало и нашу саклю, сынок, – говорил он, поднося часто платок к глазам и пританцовывая.

– Скажите же, что?

Анида бросилась на шею мужа, крепко-крепко обняла, как только может любящая женщина, доказывающая мужу, что она права, и шепнула ему на ухо. Он был удивлен, а Анида утвердительно кивала головой, повторяя под такт музыки «да, да, да». Каким-то необыкновенным светом озарилось ее лицо, в глазах исчезла грусть, она улыбалась, смущаясь как девчонка. Нури долго молчал, не смея что-либо сказать.

– Что, я не расслышал.

– То... что я сказала.

– Скажи еще раз.

– Я беременна, Нури... – сказала тихо Анида.

– Погромче скажи, чтоб все слышали! – сказал Нури, ударом руки настежь открывая окна.

– Я беременна уже третий месяц! – громче сказала она.

– Не может быть!?

– Да, может быть, я была у врачей. Да, дорогой Нури, пройдет твой отец по улице села, держа за руку внука...

– А если внучка? – спросил Нури.

– Мне все равно, – сказал Мустафа, – хотя бы внучка, радость-то какая! Внук или внучка – мне все равно, я рад тому, что стану дедушкой, – запел хриплым голосом Мустафа.

– Нет, будет внук, – с твердой убежденностью сказала Анида.

– Такую весть давно не слышала эта сакля, отец! Это надо отметить, есть там у тебя в винном подвале что-нибудь?

– Бутылка «Гуниба» найдется, – сказал Мустафа, доставая из буфета бутылку шипучего вина.

Грянул выстрел, вылетела пробка, и золотистое шипучее вино стало литься в фужеры.

– За внука нашего! Ура!

– Я не буду пить, мне нельзя, – сказала Анида.

– Немного...

– Чуточку.

– Нельзя. Вот посмотри, – сказала она, показывая на книги на газетном столике, – сколько литературы я прочла, беременным употреблять спиртное не рекомендуется.

– Правильно делаешь, дочка, – заметил отец, – нельзя значит нельзя.

– Тогда я выпью, Анида, за твое здоровье! И не обижайся, если я буду сегодня пьян. Будь здорова, звезда моя!

Радость не ограничилась этим маленьким семейным кругом. Вечером за большим столом сидели друзья и сосе-

ди. Весть эта обрадовала всех, особенно Омара и Айшу, которые за последнее время редко заглядывали к ним, чтоб не раздражать их, обрадовалась и Салима. Айше не хотелось признаваться, что и она беременна, что это уже будет восьмой ребенок, но теперь, за этим столом и она похвасталась.

Многие искренне радовались, некоторые староверы даже обратили взоры к небу и поблагодарили всевышнего за то, что он не обделил счастьем этот дом, хотя на годекане посмеивались над обращением верующих к всевышнему, рассказывали о том, как один служитель мечети, обращаясь к сыну, сказал: «Постыдился бы, сын мой, тебя же аллах создал!», на что сын, оказывается, ответил вопросом: «А где же был ты?» Весть летела и знакомым и близким, а знакомых у врача бывает много, Нури знали во многих аулах – все радовались.

Только одна Хадижа, услышав об этом, не знала, что делать, то ли радоваться, то ли завидовать Аниде. Мустафа сильно изменился, будто к нему вернулись его молодость и здоровье. Достал из сарая, куда много лет не входил, свою старую родовую люльку из орехового дерева. Он помнил эту люльку красивой, мастера из аула Катанги гордились работой, но сейчас она выглядела невзрачной. В этой люльке лежал он сам, лежал Нури, и вот теперь Мустафа чинил ее для внука. А Анида тем и была теперь занята в свободное время, что сидела за швейной машиной и шила необходимые для ребенка пеленки, ползунки, трусики и майки. Нури с нетерпением ждал рождения ребенка, ухаживал за женой, помогал ей по хозяйству, не давал переутомляться, читал ей вечерами интересные книги, веселые, смешные, словом, Анида теперь чувствовала себя королевой бала.

Нури стал часто заглядывать в магазины, делать нужные покупки для дома и будущего малыша. Теперь все люди без исключения стали для них добрыми, родными. И удивлялся Нури, почему он раньше этого не замечал. Ведь жизнь вокруг цветущая, прекрасная, люди вокруг добрые,

отзывчивые, их только надо понять. Многие справлялись о его делах, о здоровье Аниды.

– А кого ты ждешь, Нури, сына или дочку? – спрашивали у него.

– Все равно... и от дочки не откажусь, – шутил веселый Нури.

Солнце на ясном небе. «Солнце, почему тебя называют так, разве ты только солнце? Нет, ты больше и дороже, чем солнце, потому что с тобой люди сравнивают свои светлые, счастливые мечты! Вот и сегодня ты радуешься вместе со мной... правда? Ну, дружище, давай же спускайся ко мне в гости, давай же пожмем друг другу руки, иди же, угощу я тебя прекрасным колхозным чахиром яхонтового цвета. Жду тебя в гости... А весна с цветами ко мне пришла... Большая у меня сегодня радость, слишком большая, чтобы поместиться в одном сердце, я разделяю эту радость с вами, люди земли».

Анида чувствовала, как постепенно меняется ее организм с развитием плода. Заметны стали темные пятна на теле, ей теперь хотелось есть то, на что раньше она не обращала внимания, организм требовал кислого.

Со временем она стала ощущать движение плода, и при этом ее охватывало душевное волнение. «Какая это должна быть большая радость, и я наконец стану матерью, и мой ребенок будет говорить мне «мама», как не гордиться тем, что я дала ему жизнь». Мать дает человеку жизнь, и никогда она не пожелает этой жизни дурного. Каждая мать в свои колыбельные песни вкладывает мечту, чтоб ребенок ее вырос умным, честным, храбрым. Анида тоже представляла своего сына похожим на сказочного богатыря, то на Юрия Гагарина, то на Мусу Джалиля. Она думала только о сыне и была уверена в том, что у них родится сын.

Мустафа советовал Нури, если родится сын, чтоб обязательно он выучил его на музыканта-скрипача. «Отец мой, красный партизан, мечтал сделать из меня скрипача, но не вышло, и, умирая, отец завещал, что в нашем роду обязательно должен быть скрипач». Во-первых, дело было в том,

что у них в роду не было талантливых профессиональных музыкантов, а во-вторых, в битве за Советскую власть в горах погиб побратим его отца, парень из Сибири – скрипач. «Ой, как он играл, как он зачаровывал слушателей... человека его музыка делала всесильным, гордым существом. Пробитая вражеской пулей скрипка до сих пор хранится в сакле, висит у камина, а дела скрипача хранятся в сердцах людей». Об этом не раз рассказывал Мустафе его отец, а он в свою очередь своему сыну Нури.

Отец пошел к себе спать. У камина остались Анида и Нури. Комнату тускло освещали языки пламени, и какие-то причудливые тени бегали по стенам, словно в неистовой радости вытанцовывая необыкновенный и непонятный танец. Нури почему-то вспомнил ту первую таинственную ночь, когда он впервые встретил Аниду, женщину с грустными глазами. Весело трещали дрова, так обычно пищат орешник и плакучая ива. Лица сидящих у камина то освещались ярким красным пламенем, то исчезали, как волшебные призраки.

– Дай руку, положи сюда, вот сюда, чувствуешь, он шевелится? – говорила Анида, прикладывая к животу руку мужа.

– Не чувствую... – сказал Нури.

– Вот здесь, но вот он дрыгает... еще раз... интересно, ноги у него здесь или руки?

– Ничего не чувствую.

– Какой ты нечувствительный. – Анида сделала сердитый вид. – А он, Нури, у нас родится к зиме, когда будет холодно, когда не будет цветов и травы, когда все будет под снегом...

– Не беда, не замерзнет... мы его шубой укроем.

Анида обняла мужа. Наступило долгое молчание, они наблюдали за огнем.

– Ты счастлива? – спросил Нури.

– Да, родной.

– Ты любишь меня?

– Разве этим словом можно выразить мои чувства к тебе?

– А есть ли счастливее нас на земле человек?

– Нет, – ответила она.

Они были вдвоем у камина, третий их росток шевелился в утробе матери и давал уже о себе знать.

И вот настал последний месяц, последние недели и дни тревог и волнений. Врач Нури следил за ее здоровьем и был готов вызвать акушерку с медсестрами из больницы. Сам он не решался принимать роды, он чего-то боялся.

Зима пришла в горы, разгулялась метелица, занося тропы и дороги. Мороз нарисовал свои причудливые узоры на окнах домов. Заковал реку в панцирь и шуметь по ночам ей запретил. Повисли сосульки на желобах. Умолкло все... но моторы не боялись мороза. По дорогам гудели машины и автобусы, тракторы и бульдозеры. От работающих моторов мороз отступал, снег таял и превращался в пар. К тому же солнце, хоть и немного, но согревало своим теплом землю, и в такой мороз вместе с трактористами Нури очищал от снега дорогу и подступы к больнице, когда ему сообщили, что требуется врач для его жены, что начались схватки. Тут же на тракторе с акушеркой и медсестрой он помчался домой.

Он хотел остаться в комнате, где, сжав зубы, стонала роженица, но ему посоветовали выйти, и когда он, пятясь назад, шел к двери, на него смотрела Анида, ее глаза были наполнены страданием и болью. Ему показалось, что она хочет что-то сказать, но не может. Он вышел.

В передней комнате собирались люди, шли соседи и друзья, здесь же стоял и тракторист, шли сослуживцы, знакомые, мужчины и женщины. Нури тревожно ходил по комнате, не зная, что делать, куда девать руки, себя. С каждым вошедшим тихо разговаривал Мустафа с дымящей трубкой. И каждый из них подходил к Нури и, хлопая по плечу, подбадривал его. Какой-то старик держал в руке четки из бус, похожие на янтарные капли, Нури стал наблюдать за бусами, он считал время не секундами, а бусин-

ками, вот одна бусинка, вот еще, еще и еще... и, кажется, это бесконечно.

Засуетились медсестры с полотенцами, тазами, теплой водой в кувшинах. И в этом тревожном ожидании, нарушаемом изредка нечеловеческими криками роженицы, Нури думал: и зачем он мечтал об этом, столько боли он причиняет жене, неужели нельзя такую радость дать без этих невыносимых переживаний и боли!

И вот крики роженицы прекратились, запищал новорожденный. «Бежать к нему, к этому зовущему его голосу, быстрей же, быстрей, отец, слышишь, это тебя он зовет». Нури бросился к двери и на пороге столкнулся с дрожащей и возбужденной акушеркой и бледными медсестрами.

– Кто? – спросил Нури.

– Сын! – сказала медсестра, более сдержанная пожилая и видавшая виды женщина.

«Сын», – прокатилось по комнате, все облегченно вздохнули. Радостного Нури стали поздравлять. Люди подходили к нему нескончаемым потоком, жали его руку, а ему хотелось оторваться от них поскорей, броситься с поцелуями к любимой жене Аниде, которая осчастливила его, но поздравлениям казалось не будет конца. Вдруг в этом водовороте поздравлений до Нури дошли тихо сказанные акушеркой страшные слова:

– Она умерла!

«Нет, нет! Этого не может быть!» Нури рванулся в комнату. Здесь на широкой тахте на одной стороне заворачивали в пеленки жизнь, а рядом лежала прекрасная Анида. Она была еще как живая, с ее бледных губ готовы были вот-вот слететь слова: «Я же говорила тебе, родной мой, что пройдет твой отец по улице села, взяв за руку внука. Вот он, я даю вам его». Глаза у Аниды были такие же большие и грустные, очень грустные, и две холодные слезинки, как две капли чистой росы, застыли в них. Нури своей рукой закрыл ее большие грустные глаза, и вырвался у него из израненной груди крик:

– АНИДА!

ОТЕЛЛО ИЗ БАРШАМАЯ

Повесть

Когда у муравья появляются
крылья, он теряет ориентир.

Цандалай

Пролог

Итак, уважаемые, теперь у меня свободного времени предостаточно, а то, бывало, летишь сломя голову, спешишь, позабыв обо всем на свете, будто скачешь наперегонки. Осень подоспела с рыжей подпалиной. И, как говорится, «опали желтые листья» и не спеша ворошит их ветер. В осенней печали нынче моя душа. Безоглядно жил я в поисках света и тепла, пригляделся: полжизни уже прошло. Ни душа, ни сердце не подсказали – куда это я спешил, обгоняя время? Некогда было даже оглянуться, посмотреть на себя. Земляки мои – мастера – говорят, что наковальня – это терпение, молот – стремление, а дело, что творится между ними, – праведное. Простите меня, мастера, за дерзость, что подвергаю ваши слова сомнению. Заблуждаетесь вы – я это на собственной шкуре испытал. Не все, оказывается, зависит от тебя, насколько бы ни был ты терпелив в своем стремлении. Нельзя не считаться со временем, со взглядами джамаата – общества – и вытекающими из этого обстоятельствами, порой – навязчивыми, порой – надуманными, порой – созданными убийственным равнодушием чиновников. Правда и то, что если кто поймет все это, изменить что-либо не в состоянии – для этого мало быть провидцем! Как зависит человек от состояния общественной погоды (а точнее – непогоды, препятствующей нормальному росту и плодоношению)! Эх, мои благие побуждения, где вы теперь? Рассеялись как утренний туман, не способный даже оставить росинки на придорожной траве.

Сижу теперь и перебираю в памяти свою прожитую жизнь, свои взлеты – да, и такое бывало! – и свои падения. И сверлит со скрежетом все мои думы один и тот же вопрос – почему все так обернулось? Ответа нет, лишь эхо опустевшей души умножит этот же вопрос. А ведь когда я вошел в жизнь, был чистым, как этот белый лист бумаги передо мной. Душа трепетала, волновалась, и подспудно родилась мечта, становившаяся явью! Не терять собственного достоинства, быть добрым и отзывчивым, думать не только о себе, но и о других, – учили меня в семье. – Любить родину, свято чтить все советское, – наставляли нас учителя в школе... Я верил в людей, в их неизменную доброту, в светлые деяния с красной строки. Казалось, ко всему я был готов в жизни, однако познал ее иной.

Жизнь... Какой же она предстала передо мной, каков был ее лик? Да ничего привлекательного! Будто спросонья неумытое, с нервным тиком на щеках, помятое, угрюмое лицо, искаженное гримасой, выражающей усилие очнуться и стряхнуть с себя изнеможение и, одновременно, – неспособность это сделать. В глазах – беспокойство и лицемерие, чистота и ханжество, странным образом переплетались в серость. А туловище этой аллегории, казалось, пребывало в прострации, в невесомости, не в силах ни идти, ни лететь. В таких случаях горцы говорят: нет мощи болеть и нет силы жить. Так и хотелось спросить: «Что же тебя так изувечило, измордовало, жизнь?» И в непостижимой суете добро и зло будто примирились и предоставили каждому свободу действий, не потому ли мощи всех пороков обнажились, подобно корням тополя на каменистой почве?!

«Локтями, локтями работай, если хочешь устоять, подняться... При чем тут голова? Силой мощной, чином действуй, а не головой. Жизнь, братец, что пирог с воткнутым в центр ножом: режь и ешь, а если не умеешь – убирайся прочь... Время такое – одни едят мякоть, а другие лижут брызги...» – невидимым гнусом дребезжало в воздухе, что со свистом втягивали задыхающиеся люди. А вокруг, куда ни посмотри, правильные, выцветшие лозунги, потекшие

призывы, оттого, очевидно, беспрестанно умножаемые, что их попросту перестали замечать.

Отсекли у души творческое начало, подавили желание посвятить ее «прекрасные порывы» обществу, народу. Одних прогоняли с порога, их не печатали, даже преследовали, другие отошли сами, занялись нелюбимым делом, зато третьи жили припеваючи, потому что творили уродство уродству же в угоду и захламили страну безвкусицей – от повестей и романов до обуви и брюк. Как говорится, пой песни того, на чьей скрипучей арбе едешь...

Передо мной чистый лист бумаги и карандаш, и пишу я свою изувеченную временем судьбу. Перефразируя известное: если ты не скажешь, если он не скажет, если я не скажу – кто тогда предупредит идущих в жизнь, чтоб они не обольщались надеждой на ее готовность заключить их в объятия.

Мы вышли в жизнь на восходящий свет

Друзья забыли мое настоящее имя. Э-э, да что друзья, я сам не помню, как меня нарекли родители. Ушел я из аула после школы как Марио из рода Хартум, а теперь меня прозвали Отелло из Баршамая или короче Отелло. Только прошу вас, уважаемые, не принимайте меня за страшного ревнивца: избави боже, не убивал я своей жены из-за какого-то там носового платка. На сцене – другое дело: перевоплощался всеми потрохами в Отелло, любил я эту роль так, что иной раз забывал вне сцены, что я – не мавр. Играл – и как играл, спросите у людей! – самозабвенно, душой и сердцем перебравшись из обыденного нашего сегодня в те далекие романтические времена великих страстей.

Да, друзья, есть что вспомнить мне...

Не подумайте, уважаемые, что я хвалюсь своим великолепным исполнением роли Отелло – а я играл и в Ереванском художественно-театральном институте, и в театрах Дагестана. Зрители восторгались и кричали «Браво». Обо

мне писали в газетах, даже в центральных. Однажды в газете «Литература и жизнь» была помещена моя физиономия в мантии мавра. В то время, если помните, и был брошен клич: «Быть ближе к жизни!» Право же, смешно такое возводить в лозунг! Мы ведь варимся в самой жизни, а оторванным от нее может быть разве что мертвец.

Мне могут возразить: дескать, этот клич был брошен, дабы оградить общество от потока халтуры, но должно быть ясно, что и халтуру породила она же, жизнь. Впрочем, не об этом речь, и простите меня, братья, если я по ходу своего повествования буду заглядывать, как говорится, и в чужие хурджины, чтобы сочнее выразить мысль...

Постановки «Отелло» с моим участием непременно завершались овациями. Выигрывал я еще тем, что меня не надо было гримировать: таким вот смуглым я уродился. Говорят, давний мой предок был женат на негритянской принцессе из Судана, поэтому наш род называется Хартум, а почему назвали меня Марио, одному богу известно. Пусть вас не удивляет, в нашем ауле есть род Шам (что значит Дамаск), Мисри – Египет, Акка – Палестина, Ливинд – Ливия, Канна – Канны и многие другие, свидетельствующие о далеком общении наших предков. У даргинцев прежде не было своего театра – первым актером стал я, первым же для даргинцев сыграл Отелло. С тех пор на улице прохода мне нет, слышу со всех сторон:

– Эй, Отелло, пошли с нами: пиво свежее!..

– Эй, Отелло, присядь с нами, расскажи что-нибудь.

– Браво, Отелло из Баршамая!

– Салам, Отелло. И сегодня будешь душить свою жену?

– Как настроение, Отелло?

Однажды даже сын назвал меня: «Отелло, мама зовет – пельмени остывают»... Пришлось шлепнуть легонько малыша. А пельмени вышли на славу: такие вкусные, сочные. И приправлено мясо пахучими альпийскими травами. Умеет моя жена готовить, дай бог ей здоровья, славная она у

меня. Меседу – дочь пасечника. Сколько, бедняжка, натерпелась со мной и ни разу не возроптала...

Театр стал моей усладой и моей болью. А с какой радостью, душевным порывом записался я, когда объявили о наборе в первую даргинскую театральную группу для учебы в Ереванском художественно-театральном институте. Группа наша состояла из пятнадцати человек, трое – уроженцы нашего района. Узнав о том, что я еду учиться, отец посмотрел на меня с укором и спросил:

– Ты едешь учиться, сын мой?

– Да, отец.

– И куда же, если не секрет?

– В Ереван.

– Ереван – это хорошо. А что за институт?

– Театральный, отец.

– И кого же он выпускает, может быть театральных строителей, архитекторов?

Отец мой, сколько я себя помню, мечтал иметь небольшой домик, собирал вырезки из журналов, каждый проект, рисунок с изображением дома вырезал и вклеивал в альбом. И, понятное дело, мечтал, чтобы я стал инженером-строителем, кроме того я часто помогал ему возводить стены, когда он строил чужие дома. О хорошем мечтал отец. В самом деле, разве плохая профессия – строитель? Разве я мог винить отца за его мечту... Но душа моя тянулась к другому поприщу – актера. И я тихо, но не без гордости сказал:

– Не строителей, отец, а актеров.

– Актеров? А разве театр уже построили? – усмехнулся он.

– Прежде чем его построить, отец, надо подготовить актеров, – сдерживая обиду, молвил я.

– Стало быть, мой сын будет шутом, со сцены будет потешать людей! Лучшего ничего не мог придумать?.. – встал отец и прошелся по веранде. Видно было, что он очень огорчен, я это предвидел и поэтому не делился с ним до последнего своими намерениями.

Люди в горах тогда еще пренебрежительно относились к певцам, актерам, сочувствовали, говорили: не повезло, судьба посмеялась. А разве мог, к примеру, наш сосед, сельский механизатор, почтенный Багаудин, предположить, что его сын Загид, вопреки отцу, желавшему сделать из него отменного механизатора, станет просто певцом и будет выступать на свадьбах, сценах, на рубленных подмостках, голубых экранах, распевая на потеху всем песни. «Не было и нет у меня сына! Судьба жестоко покарала меня», – заявлял Багаудин на годекане. Сельчане как-то рассказывали, что три телевизора разбил Багаудин: всякий раз, как только на экране покажется Загид, он швыряет в него все, что ни попадется под руку. Потом вызывает мастера. У него пятеро сыновей. Что станет с ними?

Но я не думал, что мой отец, человек уважаемый и достойный, уподобится отсталой части населения.

– Сынок, я же твой отец, послушай меня, родной, я не раз заглядывал в твои глаза. Помнишь, как-то мы с тобой клали стену...

– Мы не раз, отец, клали стену...

– И каждый раз, сынок, у тебя светлели глаза, камень ты подавал мне, будто горячий чурек... Ты трепетал... Помнишь?

– Помню, отец... Но ведь я хочу положить первый свой камень в первый даргинский театр... Это такое будет здание, отец, его издалека будет видно.

– Подумай, сын мой, то, о чем ты говоришь, – призрачное, невидимое здание. А вот построишь родник под аркадой на привале – тысячи лет будет стоять, как стоял родник Мурмуч, пока его не разрушил один новоявленный, самонадеянный хаким. Я, сын мой, многим строил дома, а своего дома до сих пор не имею... Хочу, чтобы ты помог мне возвести стены нашей сакли.

– Я помогу, отец.

– Ты не просто помоги, а как настоящий устаз-строитель.

– Я всегда слушался тебя, отец, но пойми и ты меня. Нет другого такого отца... дай же мне достичь свою мечту.

– Эх, сын мой, из твоей мечты бог знает что получится! А вот моя мечта – пользу принесет и тебе и людям. Послушайся меня.

Я не знал, что делать: не мог отказать отцу и не мог отказаться от своей мечты.

– Шутом, значит, хочешь быть?! – вдруг строгим тоном и каким-то чужим голосом произнес отец.

– Нет, отец, актером.

– А какая разница? – не унимался он.

– Актеры, отец, жизни своей не щадят, чтобы нравственно возвысить людей, очистить их от прилипшей дури, воспитать в них лучшие человеческие качества, – сумбурно объяснил я.

Он удивленно посмотрел на меня, будто не узнал во мне своего сына, нахмурил брови.

– Эх, сынок, убил ты мою мечту. Ну, да ладно: не хочешь быть строителем, будь хотя бы сельским пастухом и очищай себя нравственно на свежем воздухе сколько угодно. Но чтобы мой сын был посмешищем – я не потерплю! И позорить себя я не дам. Пока что я ношу на голове папаху, а не... – уже почти кричал он.

– Отец, ты заблуждаешься, у всех народов есть свой театр, только вот даргинцы почему-то до сих пор не удосужились...

– Не было, нет и не надо!

– Теперь понятно, почему не было, – тихо, как бы про себя, проговорил я, не желая раззадорить отца. Страх, осевший в глубинах души, сдерживал меня.

– Я сказал свое слово! Не потерплю, и все!

Да, отец из тех, кто зря кинжала не вынимает.

Я был озадачен, поведал об этом Наврузу – другу детства, который решился поехать со мной на учебу в театральный институт. Он немного выше меня ростом, полнее и солиднее. Есть люди, которым с рождения даже внешность предопределяет будущее хакима – таким и был Навруз: с

детства верховодил он во всем. А в жизни нашей, уважаемые, начальников стало так много, иной раз не знаешь, кому в первую очередь подчиниться. Даже горянки у колыбели своего малыша распевают песенки, выражающие желание, чтоб дитя непременно стало большим хакимом.

О мое чадо! Ты чист, как алмаз,
Ты как роса на альпийских цветах,
Скоро начальник в отставку подаст –
Ты его место займешь, дай аллах!

Радость, услада, бальзам моих глаз,
Звезды зажглись, и пора тебе спать,
Ты с погремушкой играешь сейчас,
Вырастешь – получишь в руки печать.

Ах, в колыбели качаться ты рад!
Станешь большим, сядешь ты в «Кадиллак»,
Бери, сынок, как конфеты, «рушбат»[1],
На славу построишь себе особняк.

Отец Навруза оказался куда более жестоким: ей-богу, я застал Навруза у сарая с железными путами на ногах, которыми обычно треножат у нас необъезженных жеребцов. Друг мой смущенно отвернулся, увидев меня, даже разговаривать со мной не захотел, ерзал, стонал. Понятное дело: передо мной ему стало неловко.

– Ты что насупился, будто это я надел на тебя кандалы?!

– Смеешься, да? Смейся, радуйся...

– Не вижу ничего смешного, – подсев, сказал я. – И мой отец не хочет, чтобы я ехал в Ереван.

– Что будем делать?

– Не знаю.

– Надо бежать! – неожиданно крикнул Навруз и с силой ударил кулаком по двери сарая, да так, что с крыши слетел кирпич и чуть не угодил в голову друга.

– Как же мы убежим?

---

[1] Рушбат – взятка.

– Очень просто, сними с меня эти вериги! – зло пробурчал он.

– Без ключа?

– Гвоздем попробуй...

Да, друзья, нам пришлось бежать из родного аула, без благословения родных, а с нами бежала Исида – дочь почтенных родителей, сестра семи братьев. Ее заточили на сеновале, а мы ее вызволили. Исида – кроткое хрупкое существо, безмерно скромная, целомудренная, еще бы: воспитывалась на суровых пуританских устоях. Однако у нее была затаенная мечта – стать актрисой. Она об этом с нами поделилась, а дома – ни-ни, боже упаси заикнуться! Прекрасна была в своей одержимости эта девушка, которая, я уверен, вслух еще не произнесла ни разу слов «поцелуй», «люблю». У нее необыкновенно белая, почти флюоресцирующая кожа, и загар ее не берет. Голова красиво посажена, но она кокетливо клонит ее к левому плечу. У нее семеро бдительных братьев. Они стерегли ее, как говорится, не давали сесть на нее даже мухе. Не раз пела Исида свою грустную песню для подруг у родника:

Охая ложусь, охая встаю я,
Долго ли мне охать, люди?
Мать лелеет и говорит:
«Ты роза белая, очень нежная».
Отец бережет и говорит:
«Ты сокровище мое бесценное».
А братья говорят, что никому
Сестру свою в обиду не дадут.
Мать моя родная, пойми ты меня,
И роза – цветок до поры красива,
Отец мой, береги же ты сундук свой.
А меня отпусти на волю-волюшку...
Братья мои, вы лелейте коней своих,
А меня отдайте милому,
Я уже выросла, велика стала.
И любить хочу и жить.

Да, мы знали, что она безнадежно влюблена в одного нашего земляка, исправно возвращающегося в аул из Из-

бербаша каждое лето. Зовут этого парня Мустафа, говорят он – сын очень богатого человека (странно было такое слышать: мы верили, что богатых у нас нет с семнадцатого года). Однажды подруга Исиды – хохотунья Хадижа, моя дальняя родственница, поведала нам о случае, который, видимо, приключился с ней самой, хотя она уверяла, что в нем замешана Исида. Мы, парни, остро воспринимали тогда все, что касалось наших сверстниц. О, какое превеликое любопытство обуревало нас! Так вот, однажды Исида оказалась в Долине Женихов (есть у нас такая на спуске в ущелье Мельника). Как она там оказалась – одному богу известно. Щеки ее – кровь с молоком, косы – чернее ночи, глаза – родник, губы – две вишенки с капельками росы, диву даешься: как их не целуют птицы?! Платье на ней – оперение павлина, и шаровары видны из-под платья, окаймленные золотой вышивкой, а на голове легкий платок гюльменди. Шла, значит, молодица по тропинке через альпийский луг и размечталась. Вы, наверное, уже догадались, о чем могла мечтать молодая сестра строгих братьев в Долине Женихов, сердце которой уже созрело для чувств. И так углубилась она в раздумье, что даже не заметила, как легкий платок с головы ее сполз и волочится по траве. Шла, шла красавица Исида, и вдруг кто-то ее потянул... Вы понимаете, что это немыслимо в горах, да к тому же в те наивные времена, когда еще не проник туда беспардонный телевизор?! О, как спешила девушка! Казалось, прикоснись к ее щекам – пальцы обожжешь. Боясь обернуться, дрожащим голосом взмолилась она: «Не надо, джигит, не надо!» – и пошла дальше красавица Исида. Но вдруг ее кто-то одернул – губы девушки затрепетали, как лепестки на ветру, на миг она застыла и уже немного строже сказала: «Что же ты делаешь, джигит, люди могут увидеть, не надо, перестань!»

И вновь не осмелилась оглянуться, стыдливо опустив голову, пошла красавица. Вот впереди – родник. Велико же было любопытство девушки. И хотя она недавно утолила жажду, девушка склонилась над родником и незаметно ог-

лянулась: вокруг во всей Долине Женихов – ни одной живой души, зато колючка крепко прицепилась к краю ее платка. И с досадой промолвила девушка: «Размечталась! Откуда мне, бедной девушке, счастье такое!»

Нет, не с Исидой случилось такое, а с самой хохотуньей, сумасбродной Хадижей... Это она ходила на ферму через Долину Женихов, где работала ее мать. Как бы там ни было, наши баршамайские девушки, могу сказать с уверенностью, – утонченные натуры. Из своих чувств они плетут тонкие, почти невидимые кружева любви, и не сдобровать тому, кто запутается в них.

В отличие от Хадижы, Исида бесхитростна и доверчива. Хитра и лукава, пышна, будто дрожжевое тесто, Хадижа, училась кое-как и, мечтая только о замужестве, хотела родить семерых сыновей и одну дочку.

Итак, мы дали стрекача: я, Навруз и Исида, которая воспринимала нас не иначе, как братьев. На станции Мамедкала встретился нам известный в нашем районе поэт Алекси – весельчак и балагур. Ехал он в Москву в качестве абитуриента Литературного института имени Горького. Алекси – худой, небольшого роста с горящими глазами, в которых уже тогда было заметно высокомерие, надменность: «Я-де крылатый поэт, а вы кто такие?»

Да, он уже печатался в районных газетах. Наблюдательные критики хвалили романтическую сторону его поэзии.

Он не был гением. А хлеб растил –
Для гения и путника земли.
Он был поэтом поля –
Его предчувствий и его тепла.
И время знал – когда пахать и сеять.
Он не был гением, а был первоначалом
И гения, поля и судьбы.
Он был поэтом поля.
Вот могила. Скупая надпись –
Имя и число.
Крестьянин жизни был поэтом поля.
Питает землю легкий прах его.

Мы завидовали ему, его одержимости и самонадеянности. Кто знает, может быть, так и надо жить! Мы, наивные и доверчивые, еще многого не понимали! Оставив родной порог, мы уходили в жизнь, в неизвестность!

Алекси угостил нас обедом, предложил выпить, но мы тогда не пили и в вине еще ничего не смыслили. Сам он выпил рюмку коньяка, процитировав Омара Хайяма. Честно говоря, мы не знали тогда, кто такой Омар Хайям, в школе о нем нам никто не рассказывал. С некоторой завистью и восторгом мы попрощались с Алекси, и, пожимая нам руки, он сказал:

– Настанет час, и я напишу для вашего будущего театра пьесу. Так и быть, окажу вам честь! Для Исиды напишу главную роль. Желаю, чтобы сбылись все ваши надежды, а то, что они светлые, не сомневаюсь.

Мы разъехались: он в Москву, а мы – в Ереван. И застучали вагоны в унисон с нашими молодыми сердцами, полными великих надежд:

Мы вышли в жизнь –
На восходящий свет.
Дорога –
Развернулась, точно свиток.
Вот белый лист,
Вот красная строка.
Дорога – ввысь.

Жизнь – игра прекрасная

Легендарный город в Араратской долине! Горное плато облеплено домами из знаменитого фиолетово-розового армянского туфа. Город, рассеченный рекой Раздан! Мы в столице народа, у которого еще две тысячи лет тому назад был свой театр. Представляете, две тысячи! К нам было проявлено великодушное внимание всеми преподавателями, профессорами. Вместо экзаменов – задушевное собеседование, и мы, пятнадцать юношей и девушек, которые

встретились здесь и подружились, объединились в даргинскую студию. Руководителем стал профессор Вартанян, старшим преподавателем, режиссером – Рафаэль Джарбикян. Началась нелегкая учеба, утомительные актерские будни. Вскоре обнаружилось, что без преподавателя родного даргинского языка ничего путного у нас не выйдет. Настолько разнятся диалекты, еще не сложившиеся в единый литературный язык, что мы часто не понимали друг друга.

Да что там говорить, возьмите хотя бы Кубачи: в одном этом ауле существуют два диалекта. Жители нижнего аула говорят медленно, растягивая слова, будто с ношей за плечами поднимаются в гору, а жители верхнего аула ведут речь быстро, скороговоркой, будто без ноши стремглав спускаются вниз.

Так вот, наша студия состояла из пятнадцати представителей всех даргинских районов: Кайтагского, Дахадаевского, Акушинского, Сергокалинского, Левашинского. Ныне наши писатели пишут произведения на общедоступном языке, а раньше при встрече, на сцене в диалогах актеры говорили с явно выраженными диалектизмами. На сцене происходило нечто такое, что не могло не вызвать у нас улыбки и смеха, даже в самых печальных и трагических моментах. Это вызвало недоумение наших преподавателей. Я для себя отметил: на кайтагском наречии лучше выражается смешное, озорное, например: «Я цинни абирули, я бираи авалтан» («Сам не способен сделать, и умельцу не дает сделать дело») или «Абиран баралли – абикан бикур» («Сделаешь несвойственное, получишь нежелательное»); на цудахарском лучше выразить возвышенное, героическое, вроде: «Вари чархара ибле хабал хархара акур четти пясли арякун кумухла Мук-Махамад» («Будь здоров! – сказав, три пули в живот послал и через труп врага переступил Мук-Махамад из Кумуха!»), на урахинском диалекте лучше объясняться в любви, петь о любимой:

Склон горы, огнем опаленный,
Обновляется весной,

А душе, сожженной страстью,
Никогда не стать живой...
О, рассейся, злая туча,
Солнышко впусти в окно:
Несогретого любовью
Пусть согреет хоть оно!

В основу же литературного языка даргинцев ученые лингвисты положили акушинский диалект – наречие степенное, спокойное. Недаром говорят, что акушинец на арбе зайца поймал. Народ невозмутимый, непринужденный. Рассказывают, что однажды сирагинец привез на акушинский базар два мешка муки и просидел целый день, не смог сбыть свой товар. Рассердился сирагинец, набросил на ишака мешки и, поднявшись на холм, стал клясть на чем свет стоит акушинцев и даже пригрозил: я вас, мол, голодом уморю. А акушинцы, окружившие его, благодушно слушали. Один заметил:

– Смотри, Махмад, какой у него рот! На печать сельсовета дуть удобно!

Оказавшегося на базаре цудахарца так возмутило сквернословие сирагинца, что, схватившись за рукоять кинжала, он протиснулся вперед и спросил акушинцев:

– О цудахарцах он что-нибудь сказал?

– Нет.

– Тогда это ваше дело, – махнул рукой горячий цудахарец. – Разбирайтесь сами.

На сцене у нас получалось нечто невообразимое, лингвистическое, и как там у Крылова: каждый тянет в свою сторону, а воз и ныне там.

Для начала мы сами сочинили небольшую пьеску: «Любовь от смерти спасает» – на историческую тему. Вот ее содержание вкратце. Жестоким прослыл четвертый эмир Дербента Кара-Хамза. За любые малые и большие провинности он отсекал голову. Задержали пастуха Саида за то, что он позволил себе взглянуть на дочь эмира, и тотчас подготовили его к казни. Терпение народа лопнуло, и возмущенная толпа окружила дворец, угрожая разнести его,

если эмир не отменит приговор. Не только жесток был эмир, но и хитер. И он ответил: «Хорошо! Судьба пастуха, за которого вы соизволили заступиться, в его руках. Вот две бумажки, на одной из них написано – обезглавить, а на другой – помиловать. Пусть жребий свой и вытянет он завтра на площади».

Народ разошелся. Дочь Кара-Хамзы любила пастуха, и она решила спасти его от жестокости отца. Подкупив стражу, она пришла к узнику. «Я уверен, – говорил узник, – что вытяну бумажку, на которой написано «помиловать». Иначе быть не может, ведь я люблю тебя».

– Не знала я, что ты такой наивный.

– Почему? Твой отец сказал перед народом, что решит мою судьбу жребий.

– Нет предела коварству правителей. Ведь у них на обеих бумажках написано «обезглавить».

– Как? Не может быть!

– Делай то, что я тебе скажу. Когда завтра тебя поведут на площадь и предложат вытянуть жребий, ты вытянешь его и воскликнешь: «Помиловать!» – и сразу проглотишь бумажку. А другую пусть проверяют!..»

Послушался бедняк и выиграл свою жизнь.

Вот в этой нехитрой сценке заняты были первые даргинские актеры...

Никак на сцене не складывался понятный ясный диалог... Снисходительно смотрели учителя на нашу неотесанную самодеятельность.

– Запомните, что вы не армяне, а даргинцы, а даргинцами я вас не чувствую, – ворчал Вартанян. – Ищите же себя!

– Мы ищем, но не находим...

– Очень плохо! Вашему народу эпигоны не нужны... им нужен свой театр. Как это у Пушкина... Здесь даргинский дух, здесь Даргинией пахнет.

– Так Пушкин не говорил.

– Зато природа ваша воссоздала его облик даже до его

рождения[1]. Постигайте мудрость. – Опять заставил нас повторить диалог. – Нет, нет, это из «Суда чести», а не из даргинского духа... Как по-даргински «поцеловать»? – спросил Вартанян.

– А у нас этого слова вслух не произносят, – сказала Исида, покраснев от смущения.

– Вот, вот теперь я вижу даргинку. Мужчины, произнесите это слово!..

– Мужчины не произносят, а целуют молча, – сказал Навруз.

– А ты как думаешь, мудрец? – обратился профессор ко мне.

– Я?! У нас по-разному, – сказал я. – Если собаку – так, если девушку – иначе... если мужчину... впрочем, мужчины у нас не целуются.

– Почему не целуются? – возразил Навруз. – Есть у нас один председатель кругленький, краснолицый такой с носом, зеленоглазый, как ящерица, пожимая руку, он складывает губы бантиком и тянет их для поцелуя... А ты говоришь – мужчины не целуются.

– Так это исключение... – рассмеялся я, вспомнив, о ком говорил Навруз.

– Ничего, тоже характер, – похлопал его профессор по плечу. – Ну, на сегодня хватит...

Он целенаправленно добивался своего, жилы тянул из нас, армянин из даргинцев создавал даргинских актеров. Он даже фольклор наш изучил для этого. А когда узнавал в нас даргинцев – радовался как ребенок.

– Дерхаб! Дерхаб! – кричал он, по-акушински пританцовывая, заложив левую руку за спину, а правую выбросив вперед с растопыренным большим пальцем.

И все же преподаватели решили срочно вызвать из Дагестана для нас учителя родного языка. Вскоре приехал бывший работник радио Сурхай, да вы наверняка знаете его: о нем рассказывают, как однажды он привез радиоре-

---

[1] Имеется в виду силуэт горы, схожей с профилем Пушкина.

портаж о чабанах со станции Инчхе, куда каждую весну в поездах, в так называемых вертушках, привозят из Ногайских степей с зимних пастбищ овец для отправки на летние пастбища в горы. От этого полустанка своим ходом уже перегоняются даргинские, лакские, агульские отары. В редакции репортаж Сурхая одобрили, только высказали одно замечание: чтоб чувствовалось, что все происходит на месте событий, надо передать атмосферу – шум, блеяние овец, одним словом, звуковые эффекты. В тот же день отправили репортера обратно на станцию, чтобы он записал блеяние овец. Передача была запланирована на следующий день. Однако поздно вечером репортер вернулся ни с чем.

– Ну что? – спросил редактор.

– Ждал, ждал... Там сегодня выгружались только лакские овцы, табасаранские... А даргинских не было. Уже перекочевали…

– И ты не записал?

– Я же говорю, даргинские уже перекочевали...

– Проклятье! Какая же разница, даргинское или агульское блеяние? – схватился за голову редактор и тут же услышал недоуменный вопрос репортера:

– А акцент?

Сурхай два года мучился с нами, да так и не научил нас литературному языку, хуже того – он сам забыл все, что знал. Однако нам с ним было хорошо, весело. Мы посещали музеи, театры, древние достопримечательности Армении.

В судьбе этого народа немало ярких и трагических страниц. Как свидетельствует еще Плутарх, царь Армении Артавазу сочинял трагедии и устраивал представления в театре, им же построенном в Арташате. Да, в этом самом театре, где выступала знаменитая труппа актера Язона. Однажды по чистой случайности я, возвращаясь в Ереван из родного аула, взял с собой несколько старинных монет. После дождей мы, дети, находили такие монеты на узких улицах, проулках и удивлялись, откуда же они берутся. А я любил их собирать в коробку. Наш Вартанян, который час-

то посещал нас в общежитии, вдруг заметил их у меня и спросил:

– Откуда они у тебя?

– Из дому...

– Каким образом они к тебе попали?

И я рассказал ему, как мы, несмышленыши, их находили.

– А что, профессор? Есть что-нибудь интересное?

– Да ты представить себе не можешь. Это же бесценные для истории экспонаты, – воскликнул он, рассматривая одну монету с изображением сидящего как бы на троне человека с оливковой ветвью... – Да ты знаешь, что это такое....

– Монета.

– Ну что за монета? Удивительно, поверить в это невозможно... Это же, это же... до нашей эры, это же Язон... В честь этого актера тогда еще отлиты были монеты... до нашей эры. Невероятно! Пошли...

– Куда?

– В музей, в Матенадаран! – воскликнул он, схватив со стола коробку.

Сначала мы зашли в институт, а затем такое случилось, не поверите, всем институтом, кто на чем, поехали в сторону легендарного хранилища древнеармянских рукописей. А там уже с нетерпением ждали журналисты, фоторепортеры, как говорится: «Кони били копытами, высекая искры». Вряд ли собралось бы столько народу, найди я золотой клад. Нам, даргинцам, такое было трудно понять, но армяне, и в этом мы еще не раз убеждались, с превеликой любовью относятся к памяти своих древних предков. На следующий день во всех газетах были опубликованы ошеломляющие сообщения со словами благодарности в мой адрес. «Я-то причем?..» Среди этой моей коллекции оказались монеты Александра Македонского, персидских и армянских царей, и та монета, посвященная актеру Язону, которая была наиболее ценной. Сурхай – наш учитель – воскликнул тогда: «Учитесь, ребята, учитесь у них, как надо любить,

беречь, собирать по крупицам свою историю, свою культуру». И с сожалением вспомнил он тогда о нашей беспечности. Историки и археологи обнаружили у нас древнее городище Шам-Шахар, что значит Город Свечей, с мощеными улицами, с руинами какого-то храма, руинами каких-то далеких, древнейших времен, город, сожженный кем-то дотла. Вскрыли это городище и бросили на произвол судьбы. А столько памятных черепков, изделий из камня с резьбой... под ливнями и снегом... И никому до этого дела нет.

Навруза выбрали старостой: этому способствовал опять-таки его внушительный вид. На должность старосты рекомендовал его я (как-никак друг). Кроме всего прочего, я его знаю как внимательного, душевного, щедрого человека. Сразу после того, как мы, даргинцы, в Ереване познакомились друг с другом, Навруз за обедом в столовой признался:

– Ничего наши ребята. Только знаешь что?

– Что?

– Всех можно терпеть, со всеми, может быть, сложатся у нас хорошие, добропорядочные отношения, только вот Салих не нравится мне.

– Почему?

– Какой-то скользкий, неприятный тип.

– Не ошибаешься?

– А ты здоровался с ним?

– Да.

– И ничего не почувствовал?

– А что я должен был почувствовать?

– Рука какая-то влажная, липкая.

– Я не заметил.

– Все равно не нравится он мне. У него рыльце в пуху. Глаза так и бегают по сторонам, ты говоришь с ним, а он все оглядывается... Нет, помяни мое слово, водятся за ним какие-то грехи...

– Я приглядывался к нему, парень как парень, даже показался веселым малым.

– Странно, а мне он сразу не понравился... С ним надо быть осторожным.

Вскоре мне пришлось убедиться в проницательности моего друга. Как-то после репетиции Салих пригласил всех в кафе и щедро «раскололся»: стол накрыл «что надо». Я с укором даже глядел на Навруза, который неловко себя чувствовал. Порой может сложиться ошибочное мнение о человеке. Как-то я взглянул на Салиха, и вдруг меня охватила тревога: такая ухмылка недобрая на его лице, подумал: что-то здесь неладно. Неужели угостит нас, а сам – в кусты. Дескать, делайте, что хотите. Или скажет: «А денег-то, братцы, у меня нет!» К счастью, я ошибся. Когда подошла официантка, Салих ухарским жестом достал пачку денег и на чай «отстегнул» пятерку. Вот тебе раз!..

Как только официантка удалилась, Салих протянул Наврузу оставшиеся в пачке деньги:

– Возьми.

– Не надо, – отказался тот.

– Дают – бери. Тебе что деньги не нужны?

– Деньги всем нужны, – растерялся Навруз, – но только свои, а не чужие...

– Они – твои, бери... – Салих решительно всучил купюры окончательно растерявшемуся Наврузу.

– Мои? – побелел он.

– Да, вот и корешок от квитанции.

Я смотрел на Навруза: казалось, под ним пошатнулся стул. Я вспомнил: на днях он говорил мне, что ждет перевода, – родственники должны были выслать деньги на покупку детской обуви. Навруз схватил корешок и убедился: да, это были ему посланные деньги. Раздался смех Салиха, который, указывая пальцем на Навруза, трясся от злорадства. О, это был смех недоброго человека! Я быстро выхватил из руки обомлевшего Навруза корешок, сунул в карман и тут же ухватил его за локоть, удерживая его от внезапных необдуманных действий. Но друг мой оказался куда сдержаннее и мужественнее, чем я предполагал. Он тоже рассмеялся, вторя Салиху, и сказал:

– А я жду этого перевода... родственники писали, что выслали деньги... Ты что же это, Салих, решил, что я не приглашу вас в кафе сам? Ошибаешься.

– Нет, я так не думал... – обессилел от смеха Салих, пряча глаза от осуждающих взглядов ребят. – Ты прости, Навруз, так уж вышло.

– А как тебе в почтовом отделении деньги выдали?.. И как ты их посмел взять? – строго спросила Ашура. – Какая низость!..

– Там девушка доверчивая оказалась... – неуклюже оправдывался Салих.

Так мы разоблачили Салиха, и с того дня ему никто ни в чем не доверял, более того, его презирали. Салих почувствовал это и решил, что далее его присутствие в стенах института невозможно. К тому же талантом он не блистал. Преподаватели не раз намекали на его плохую память... Не мог он и трех строчек запомнить, даже если сотни раз заставляли его повторять и произносить диалог с партнером. Уехал он, а Навруз кое-как восстановил потраченные в тот вечер деньги, купил детскую обувь и отправил посылкой в аул.

Не все, к сожалению, выдержали до конца учебу, двое парней, бросив институт, уехали домой насовсем, а очень способная, смазливая Ашура, похожая на нашу баршамайскую Хадижу, безумно полюбила Геворка Казаряна (студента нашего института, будущего художника-декоратора и, кажется, дальнего родственника Мартироса Сарьяна), который ответил ей взаимностью.

Геворк нам нравился, он нам помогал в трудные минуты. А вот когда мы узнали о любви его и Ашуры, немного смутились. Как так? Он – армянин, она – даргинка, насчет этого раньше у нас в горах было строго... Запрещались всякие инородные браки... Но когда мы убедились в искренности их отношений, отвергли всякие предрассудки, предубеждения.

Однажды мы застали Ашуру в диком отчаянии, всю в

слезах. Ни сердобольная Исида, ни другие не могли ее успокоить.

– Что случилось? – спросил я, протиснувшись к ней.

– Жить не хочу, мне лучше умереть, – причитала Ашура, заливаясь слезами.

– В чем дело? Объясни...

– Родители Геворка не хотят меня!

– Почему?

– Они сказали, чтоб я отца и маму пригласила. Откуда мне их взять, если я сирота?

– Ты сказала им, что ты сирота?

– Нет, только Геворку.

– Какая же ты сирота! А мы кто?! Мы – твои братья! Отцом твоим будет наш учитель Сурхай, – заявил я. – Тоже мне сирота нашлась!

– А разве так можно?! – уставилась она на меня.

– А почему нельзя?! – воскликнул Навруз. – Или мы тебе не ровня?!

– Что вы говорите?! Вы все – замечательные люди!

– Не просто люди, мы – актеры. Так что, сестра, будь спокойна, эту-то роль мы сыграем как полагается.

Сцена была разыграна блестяще. Геворк и Ашура остались довольными. Свадьбу сыграли в самом респектабельном кафе «Эчмиадзин». Таких люля-кебабов, скажу я вам по правде, никогда и нигде я не ел: с хрустящими румяными корочками, с божественным ароматом, сочные, аппетитные! А вскоре еще один из наших породнился с ереванской красавицей Асмат и увез ее в Дагестан. Так что мы Ашуру отдали, а получили Асмат, как говорят даргинцы: «Ца хушала, ца нушала», одним словом – квиты.

Счастливо живет горец с Асмат. Ашура с Геворком живут, будто только вчера встретились и влюбились. Двух дочерей и сына растят. Изредка навещает Геворк «братьев» своей жены, и меня в том числе. А родители Геворка и по сей день думают, что у их невестки такой богатый братьями род.

В поисках собеседника

На востоке говорят: «Дни идут, месяцы бегут, годы летят». А мой отец добавляет: сменяя бурку ночи на белый бешмет дня. И скажу вам, уважаемые, ничего нет прекраснее в жизни, чем студенческая пора. Пусть худо, бедно, зато одержимо и вдохновенно, хотя потом очень сожалеют, что так беспечно провели эти годы.

Вот, наконец, долгожданные дипломы в карманах, и мы, радостные, довольные судьбой, полные сил и надежд, вернулись в край тысячи ущелий и тысячи вершин – в Дагестан, в сопровождении ставшего почти родным профессора Вартаняна. Порой не всякий отец уделяет столько внимания своим детям, сколько он уделял нам.

За годы нашей учебы этот немолодой уже человек десятки раз приезжал в Дагестан, с завидным упорством вел переговоры с республиканским правительством о судьбе будущего даргинского театра. И каждый раз довольный и окрыленный возвращался, рассказывая о встречах и приемах в обкоме партии и в Совете Министров с людьми, как он говорил, «симпатичными, доброжелательными и отзывчивыми». Но этого воодушевления хватало старику ненадолго. Постепенно он терял веру и начинал выражать беспокойство, сомнения и тревогу, потому что обещания оставались пустым звуком.

И сопровождая нас домой, он знал, что не будет нам обещанных квартир, ведь не построили даже фундамента для театрального здания. Казалось бы, ему какое до этого дело: обучил нас театральному мастерству и отправил с дипломами восвояси. Но какой же он мастер, если не печется о будущем своих подмастерьев. По пути Вартанян на два дня задержал нас в Баку, познакомил со своими театральными друзьями, предоставил возможность посмотреть спектакль. Мы были польщены тем вниманием и уважением, которые выказывали ему азербайджанские театралы. Будущее нам рисовалось радужным, прекрасным, хотя наше настроение не очень-то разделял профессор.

– Жизнь сложна, – говорил он, – не всегда приветлива она. Я учил вас любить свое дело. Быть может, кто-то из вас споткнется – не отчаивайтесь, учитесь подниматься и продолжайте творить добро. Оно корнями в землю врастает, ветвями к солнцу тянется. Не сдавайтесь... Помните клятву.

– Клянемся! – подхватили мы, вспомнив о своей клятве, данной перед древним Матенадараном.

Правительство Дагестана решило прописать Даргинский театр в провинциальном тихом Избербаше, а не в Махачкале. Но даргинцы не возроптали, потому что тогда Избербаш считался перспективным, были прогнозы о неисчерпаемости нефтяных богатств в этом районе. Город рос не по годам, а по дням и часам, пополняясь переселенцами из близлежащих даргинских сел. Его перспективы пленяли и обнадеживали. Театрального здания как такового не было, был заводской, с позволения сказать, Дворец культуры, куда и внесли первые даргинские актеры свой театральный реквизит и горячие молодые сердца, окрыленные клятвой сделать театр кузницей культуры своего народа, не взирая на трудности и лишения. Ими руководило доброе побуждение, а будущие трудности они воспринимали как непременный удел первопроходцев.

С пятачка на въезде в город Избербаш, неподалеку от автозаправочной станции, видна кряжистая гора с редкой кустарниковой растительностью; если приглядеться, складки нависших скал образуют точный профиль головы Пушкина, о чем напоминал нам в Ереване профессор Вартанян. Природа воссоздала без участия человека этот облик великого поэта, воспевшего Кавказ. Гора стала достопримечательностью города, и, думается, назван город Избербашем не случайно. «Баш» по-кумыкски значит голова, а «Избер», видимо, – святая, и получается «Святая голова». Увы, молодому приморскому городу, можно сказать, не повезло: спустя годы стало ясно, что прогнозы насчет разработок промыслов нефти оказались (как это часто случается) безосновательными. Нефть, которая поначалу фонтанировала,

вдруг иссякла и, как объяснили трепачи, из дагестанских подземных резервуаров будто бы потекла в иранские подземные пустоты, другие утверждали, что иранцы тоже научились наклонному бурению и по воле шахиншаха Реза Пехлеви высосали нашу нефть. Какие только вымыслы не рождались на почве нашей неудачи, нашего беспечного благодушия, из-за которого мы безрассудно теряли и теряем миллионы и миллиарды. Недаром говорят: «Семь раз отмерь – один раз отрежь», а мы режем, даже ни разу не отмерив... Эстакаду взорвали – половина пошла на металлолом, а половина осталась в море, кому до этого дело. Город со временем зачах. Тогда-то его и заселили люди, о манерах которых говорят: «Ни к селу, ни к городу». Аулы свои с хозяйством они оставили, а к городскому укладу так и не приспособились: одни пошли шабашить, другие ударились в спекуляцию, третьи – в мошенничество. Это продолжается и поныне (кстати – не только в Избербаше).

Заводской Дворец культуры – приземистое здание на отшибе, приспособленное под кинозал, для театра не годилось. Но все это скрашивало серьезное желание во что бы то ни стало привлечь, приковать к себе внимание неискушенного даргинского зрителя. В репертуаре труппы были уже отработанные во время учебы спектакли: «Коварство и любовь», «Проделки Скопена», «Отелло» и спектакль по пьесе даргинского писателя «На чем держится земля».

Первые афиши порадовали даргинцев, они долго останавливались, вчитывались и радовались: вот настал и на нашей улице праздник! Однако, к глубокому сожалению, первые же наши спектакли разочаровали их, мы не оправдали надежд зрителей. Горько нам стало и обидно, мы стыдливо прятали глаза друг от друга. А такой курьез, видимо, во многом был обусловлен диалектным разночтением, неясностью, скованностью, а может быть, нашим чрезмерным желанием понравиться. Среди зрителей, наверняка, оказались праздные зеваки, которые случайно забрели в театр. Они усмехались, смеялись невпопад. Другие относились к подобного рода зрелищам предвзято, с пренебреже-

нием, делали кислые мины, когда по нашему замыслу следовало смеяться.

Смейся громко, от души,
Если есть над чем смеяться.
Слишком строгим показаться
И серьезным – не спеши.
И того не повторяй,
Кто на жизнь глядит угрюмо.
Унизительную душу
Ты улыбкой отгоняй.
Тот унылый человек
Постарел душой от срока,
Наказал себя жестоко,
У себя украл свой век.
Смех сердечный не души.
Отпусти его на волю.
Коль смешно, так смейся вволю.
Смейся громко, от души.

Досада обезоружила актеров. Обидно было сознавать, что не установили контакта со зрителем. Только и тешили себя тем, что зрители наши еще не подготовлены к восприятию серьезного, они приучены к массовым легкомысленным зрелищам и потому безразличны и равнодушны. В горных аулах, куда мы поедем на гастроли, нас, наверняка, будут принимать теплее.

Но и эти надежды не оправдались, спектакли были встречены с ледяным равнодушием, часто слышались выкрики: «Не надо нам вашей болтовни, лучше играйте музыку, пойте песни!» Горцы свистели, топали, а актеры чуть ли не со слезами прятались за кулисы, актрисы навзрыд плакали.

Что было делать? Приходилось идти на поводу зрителей: мы пели песни, плясали, кривлялись, словом, давали концерты вместо спектаклей, а председатели и директора штамповали путевки, как будто спектакли прошли при аншлаге. Маленькая ложь рождала большой обман. Они обманывали нас, а мы – их. Одним словом – существовали. Одни приглашали нас к застолью, другие забывали о госте-

приимстве. Всякое бывало. Голодали и пировали, мерзли и загорали, мокли под ливнями, даже попадали под обвалы, шли пешком и ездили на лошадях (однажды даже на ишаках). Но самое главное, мне думается, в этих наших скитаниях по горным аулам – это встречи. Для нас было важно понимание того, что люди не похожи друг на друга. Развесив уши, я слушал о забавных случаях с тем или иным земляком. Вначале я не записывал их и очень потом сожалел.

Однажды, сойдя с машины, направился я на годекан, где коротали время почтенные аксакалы.

– Ну, как, отцы, живете-можете? – спрашиваю, обмениваясь рукопожатием со всеми четырьмя.

– Ничего, живем, – сказал первый.

– Живем не тужим, – добавил второй.

– Все в порядке, – поддержал третий.

– Только вот одна у нас беда, – вздохнул четвертый.

– Что за беда, почтенные? – полюбопытствовал я, присаживаясь.

– Понимаешь, сынок, мы в старое время понемногу наперстками пили и теперь не бросили это дело. А разве грех, сынок, в погожий день, когда цветет альпийский луг, в роднике журчит чистая, как детская слеза, вода, расстелить коврик на лугу, да с хорошей закуской пропустить рюмочку–другую? Так вот, сынок, возвращаться теперь от родника домой стало тяжело, видать, постарели мы.

– Да разве это беда, – уточнил второй, – из этой беды мы нашли выход. В хорошую погоду к роднику, на альпийский луг мы ходим не одни, мы берем с собой нашего пастуха. Ты его знаешь – Зулкарнай, чемпион района по борьбе. Мы садимся за трапезу, уверенные, что он обязательно доставит нас в аул. Двоих под одну мышку, двоих – под другую.

– Да, да, это еще не беда, – дополнил третий, – другое дело, когда наш разносчик путает адрес. Представляешь, сынок, какой начинается в ауле тарарам!

– Это тоже не беда, – сказал четвертый, – беда в другом: нередко бывает так, что нам, немощным старикам,

приходится тащить в аул пьяного нашего чемпиона, – вот это, сынок, и есть беда.

«Готовый спектакль!» – подумал я. И, поклонившись седобородым, побрел в бывшую мечеть, превращенную еще в тридцатые годы в сельский клуб (там мы остановились).

Все чаще я стал ловить себя на черной мысли, что театр даргинцам вовсе не нужен. Их равнодушие губительно сказывалось на нас – руки опускались. Серьезным спектаклям они предпочитали концерты с песнями и танцами.

– Знаешь, какой театр самый лучший?.. – обратился однажды ко мне сирагинец в дождливый день в ауле Махарги, когда актеры, не дождавшиеся зрителя, удрученно собирали реквизит.

– Какой? – спросил я, примостившись на камне.

– В такую погоду... расстелить бы на полу лохматую баранью шубу, лечь подле трескучей железной печи и слушать, как в духовке стреляет, лопается акушинская рассыпчатая картошка.

– Еще бы и водочки, да курзе[1], – с сарказмом вставил я.

– Нет, это зелье я почти не употребляю, – усмехнулся он.

– Зато другие...

– Да, люди с ума посходили. Дурманят головы. Зачем? Мне думается, души от бездуховности страдают, и пустоты эти заполняют угаром.., пьют до потери сознания, которого у них и не так уж много.

– Вчера мы в городе кутили, – подсели к нам два махаргинца.

– Что пили? – полюбопытствовал мой собеседник.

– О, всякое было – две тройки, три семерки, пять звездочек... В городе все есть.

– И закусывали?

– После пяти звезд славная была закуска. Жена Салиха расщедрилась. Такой хинкал подала, пальчики оближешь, с

---

[1] К у р з е – пельмени.

ореховой приправой, с чесноком... хинкал по-кубачински называется...

– А я ел хинкал по-лакски... на рожки похож, тоже вкусно. Голову не хочешь вылечить?

– К кому пойдем?

– К Салиху твоему поедем.

– Нет, не годится, он большой хаким, часто беспокоить его нельзя.

– Тоже мне хаким.

– А разве нет?

– Из-за того, что таких хакимов много, жизнь стала суматошной.

– Ты прав, трезвого дня нет.

– Ты хоть раз задумывался, зачем мы пьем?

– А я об этом всегда помню. Приятно с друзьями посидеть, поговорить, забыться.

– А что делать? Бороться? С кем? Со стеной, не пробьешь, даже если лоб твой стальной. А бывало я мечтал, ни о чем не думая, не тревожась, лежать и читать интересную книгу... взвешивая каждое слово, представляя самого писателя, когда выводил он это слово... Следить по ходу чтения за каждым действием героя, за его душевными переживаниями, за ходом мыслей.

– А что мешает?

– Уже сосредоточиться не могу... Разные мысли гнетут: это надо, то надо.

Да, проникла эта проклятая зараза в самые глухие уголки. На альпийских высотах пол-литра – что сто грамм на равнине. Здесь воздух разряженный, при восьмидесяти градусах закипает вода. От пьянства – разлады в семье, скандалы, травмы, болезни, душевное опустошение. Люди перестали вовсе читать... Ни в газеты не заглядывают, ни в журналы, да и подписка повсеместно идет далеко не добровольная, не спрашивая, удерживают деньги бухгалтеры. Был я невольным очевидцем такого диалога:

– Плевал я на ваши газеты и журналы, верните мне мои

деньги! – орал в отделении Союзпечати рабочий совхоза с одутловатым лицом.

– Вы не любите читать? – удивленно уставилась на дядю большеглазая девушка.

– Читать? А что читать, брехню эту несусветную? Надоело!..

Да, нельзя было его винить. Однажды, помню, приехал к нам очень важный представитель из центра. Ему задавали вопросы – он отвечал. Навруз не выдержал и спросил: «Слушай, дорогой, хотелось бы знать, на сколько процентов можно врать?!» Гость ответил так: «Врите, сколько хотите, если на пользу Советской власти!» «И это – авторитетный человек из центра! Неужели вранье может пойти на пользу власти, тем более самой честной Советской власти?» Мы недоуменно пожимали плечами...

Девушка в отделении Союзпечати все же не возвращала денег совхозному рабочему: видимо, знала его и догадывалась, для чего ему вдруг семь рублей понадобились.

– Вас будут обсуждать на партсобрании, – заявила она, желая хоть как-то припугнуть назойливого дядю.

– Ой, ой, ой, напугала... Не так страшен черт, как его малюют. Между прочим, парторг тут ждет меня, голова у него трещит как переспелая тыква... Давай деньги!

– Не могу, не имею права.

– Под суд вас всех! – от отчаяния он затряс головой. – Это насилие, не спрашивая человека удержать его деньги! Под суд!

– Жалуйтесь! – не сдавалась девушка.

– Ты, доченька, не выводи меня из себя, ты, когда учиться шла, я с учебы возвращался. Я отца твоего хорошо знаю. Верни, говорю, мне эти семь рублей, нужны они, понимаешь? Я потом, клянусь честью, подпишусь... Понимаешь?

– Понимаю.

– Умница ты моя...

– Возьмите, мои... – протянула девушка деньги из своего кошелька.

– Вот спасибо, я отцу твоему верну...

Он ушел к друзьям, которые очень нервничали и ждали его за углом. И это потомки тех, кто вкуса вина столетиями не знал, строго соблюдая заповедь Корана. Такое может вызвать только чувство стыда и отвращения. И кощунственно говорить об этом с трибуны, мол, это старые дореволюционные пережитки. Никто теперь никого не боится – ни бога, ни черта, ни начальства. Какое к шайтану им искусство, театр...

– Понимаешь, у меня отбили охоту ходить в театр, – признался на днях мне один из моих соседей.

– Кто? – спросил я.

– Вошел я с супругой в зал, смотрю, все сидят в шубах, не топлено, неуютно. У актеров на сцене зуб на зуб не попадает. Что же это за театр такой?

Да, мне нечем было возразить, он был прав.

– Пошел второй раз – сзади сидел пьяница, ко мне пристал. Он меня вызвал на улицу. Подрались. Это театр?

– Да, случается такое...

– Третий раз пошел, места наши были заняты, я прошу освободить, а мужик ткнул меня увесистым кулаком, жена увела меня домой и поклялась, что больше никогда не пойдет в театр.

– А сегодня?

– А сегодня вот выбрался один и остался доволен, спектакль хороший... Есть, оказывается, у даргинцев таланты и весьма замечательные.

– И на том спасибо, – сказал я и пожал ему руку.

Немало лет пройдет, пока мы воспитаем у зрителей уважительное отношение к театру, еще дольше надо ждать дня, когда мы получим сносное здание, где бы посетитель сидел не в задрипанном кинотеатре, а в настоящем театре. К глубокому сожалению, мы стали постепенно превращаться в самую посредственную самодеятельность. И ради этого мы учились?! Ради этого мы терпим лишения, получая в месяц сто двадцать – сто пятьдесят рублей? Тогда как в некоторых совхозах в честь нашего приезда зака-

тывают такие банкеты, что диву даешься – откуда средства берутся? Становилось ясно: настали времена повсеместного застолья. Если десять гостей, то банкет рассчитан на сто человек. Отсюда и всякие курьезы. Позвонили как-то секретарю райкома, им оказалась благодушная женщина по имени Патимат, попросили достойно принять венгерскую делегацию. Женщина эта с подчиненными была сурова. Так понимала она свою обязанность, командовала и не терпела ослушания. «Не забывайте, с кем вы разговариваете!»

Не дай аллах женщине власть!

– Кто я? – стукнула она об пол кирзовым сапогом.

– Секретарь райкома.

– Какой?

– Первый.

– Вот именно «первый», а слово «первого» должно исполняться беспрекословно, отбросив всякие сомнения, – так она воспитывала свою районную номенклатуру.

Далеко за аул выслала она подчиненных встретить дорогих венгерских гостей завотделом пропаганды и агитации, председателя райисполкома и директора совхоза, который должен был на этот раз накрыть стол. И вот к роднику на привале подходит с музыкой группа ярко одетых людей. Конечно, этих людей они приняли за гостей из Венгрии. Сердечные объятия и приглашения в совхозный сад, где были на лоне природы накрыты столы. До самого позднего вечера веселилось районное начальство с гостями, вернее с небольшой группой цыганского табора, который остановился на Левашинском плато. А гости из Венгрии ждали первого секретаря в его приемной, где секретарша по секрету сообщила им, что первый секретарь занята очень важным делом – она принимает зарубежных гостей.

Однажды нас попросили показать спектакль, вернее дать концерт, чабанам на их стоянке в местности Апраку, где скопились отары трех районов во время перегона их на альпийские луга. Опять же к чабанам понаехало районное начальство – более десятка барашек было зарезано. Пиро-

вало начальство – председатели, парторги, заготовители, а чабаны не очень разделяли их восторг, и к нашему приезду были убийственно равнодушны. Ведь в накладе остались они, потому что вынуждены были выделить для гостей жертвенную овцу из своей баранты. Один из них наотрез отказался зарезать свою овцу и от компании ушел. После первых стаканов водки, как говорится, когда распустили павлиньи хвосты, стали веселыми, решили они наказать «отказника». Силой втащили в круг и протянули ему граненый стакан, полный коньяка. Вот до чего дожили горцы – гранеными стаканами пьют так называемый генеральский напиток... Пили ведь коньяк в редких случаях, к тому же горцам этот напиток раньше и не снился, а теперь – ящиками. Пей – не хочу.

Абдулла – так звали чабана с землистым цветом лица – отказался.

– Не хочу и не буду пить! – заявил он.

– Выпьешь, Абдулла, выпьешь, и еще нальем!

– Оштрафуйте его! – крикнул тамада, краснощекий толстяк, парторг.

– Не буду! – противился Абдулла, с вызовом оглядывая присутствующих.

– Давай, давай, пей без разговора, парторг тебе говорит! – оскалил зубы бригадир.

– Нет! – Абдулла резко оттолкнул руку. Стакан выпал.

Бригадир уничтожающе глянул на Абдуллу. Я решил, что сейчас они сцепятся, поспешил предотвратить драку, но назойливый бригадир протянул другой стакан, тотчас наполненный тамадой.

– Нет! – заорал Абдулла. – Оставьте меня в покое, я больной человек. Будьте вы все прокляты, обжоры и пьяницы.

– Ты не болен, тебе жаль для гостей зарезать ягненка?

– Да, жаль. Ненавижу вас, ничего святого не осталось у вас.

– Скупердяй ты, вот кто.

– Да?! А вы щедрые на чужое добро, живодеры!

– Жадюга. Мечтаешь разбогатеть?

– Прошу вас, оставьте меня в покое! Я болен!

Задетый непокорностью Абдуллы, парторг, как подброшенный мячик, вскочил, помогли ему верные стражи-угодники и насильно влили в рот Абдулле стакан коньяка. Тот поперхнулся, чуть было концы не отдал, хорошо, что среди пирующих оказался опытный врач.

Спустя несколько лет мне поведали о том, что Абдулла подал тогда в суд, а судьи известно – кто.

За клевету Абдуллу осудили. Год бедняга, отец двоих детей, просидел в тюрьме. Вернувшись, вынужден был покинуть аул с семьей, потому что справедливости не добился нигде, а жить с ярлыком клеветника стало невыносимо. И неизвестно теперь, что с этим человеком, что с его семьей стало. Видно, подался бедняга в Ставропольский край, где наших чабанов принимают с объятиями.

И обмакнули мы печаль в студеный ключ удачи...

Не скажу, что о нас не заботились, но делалось все не от души, без видимого желания помочь молодому театру, по расчетливому плану распределения материальных благ, по хотению министра культуры и его заместителей. И шутили люди:

– Знаете, кто у нас лучший актер?

– Кто?

– Министр культуры, великолепно играет свою роль.

По душевному расположению министра его любимцы и среди дирекции театров, и среди актеров находились как бы в привилегированном положении – все блага, какие могли исходить из этого учреждения, в первую очередь получали они, это не определялось особым талантом, особыми отличиями в работе. И денег побольше им на постановку спектакля, и материалы, и повышенные постановочные, командировочные, даже путевки на стажировку в столичные театры в Москву – и такое практиковалось у нас.

Видимо, как-то решили в министерстве, что во всех этих привилегиях незаслуженно опускают самый молодой из театров – даргинский, и, чтобы в докладах затем говорить о неустанной заботе о молодых кадрах, послали меня на стажировку в Москву во МХАТ, хотя любимцем министра я не был. Сел я в поезд. В купе встретился с актером Русского театра имени Горького в Махачкале Честяковым. В свое время, в первые годы Советской власти, наш махачкалинский Руский театр славился на всю страну. В нем выросли Царев, Синельников и другое их окружение, выехавшее вскоре в столичные театры. Позже в стенах этого театра играл и Смоктуновский. В музее Бахрушева целая комната была в свое время посвящена экспозиции этого театра.

В купе мы разговорились о делах. Соседка оказалась общительной, словоохотливой. Москвичка возвращалась из командировки, она прислушалась к нашему разговору, включилась и поведала об известном случае с Максимом Горьким и Шаляпиным.

– Да, случается в жизни такое, – заметил я. – Вы вспомнили о том, что в хор приняли Максима Горького, а Шаляпину отказали. А знаете ли вы, уважаемая наша спутница, что Смоктуновский, как артист, начинал у нас в нашем Русском театре имени Горького?

– Неужели это правда? – искренне удивилась москвичка, нельзя сказать, что она обладала редкой красотой, но была очаровательна в своей непосредственности.

– Да.

– Это же делает вам честь, так почему же в книге о вашем театре ни слова об этом не сказано?

– Стыдно, – заметил Лев Михайлович Честяков.

– За него, что ли?

– Нет, за себя.

– Это почему же?

– Потому, что в нашем театре, – с сожалением пояснил Лев Михайлович, заметно смутившись, – его за профессио-

нальную непригодность из актера перевели в рабочие сцены.

– Не может быть! Ха-ха-ха! – заразительно рассмеялась москвичка. – Какой конфуз. Вот это и называется смешное грустное положение.

– Да, так и было написано в приказе.

– А сегодня Смоктуновский – лучший Гамлет в мире. Каково?!

– Вот вы смеетесь... А я так думаю: коли есть в человеке талант, он все равно проявится, рано или поздно. И я убежден, что наше такое отношение подобно катализатору ускорило выяснение его таланта.

– Э-э, нет, бросьте, – усмехнулась москвичка, – это вы так утешаете себя. Вы хотите сказать, что ваше невнимание к нему обернулось ему же на пользу. Хи-хи-хи, ну и люди. С такой философией недолго и погубить талант, я имею в виду слабовольный талант.

– А слабовольные нам не нужны! – отвернулся к окну обескураженный Лев Михайлович.

– Ах, вот как!

– Да. Быть или не быть – вот в чем вопрос!

– Ха-ха-ха. Клянусь, вы не гамлеты! – воскликнула москвичка, угощая нас тутовником. – Ешьте, ешьте, это мои знакомые на дорогу дали.

Тутовник очень целебен, и вообще говорят, пророк Магомет очень любил тутовое дерево за его раскидистую крону, за вкусные ягоды, за шелк, хорошую древесину для музыкальных инструментов.

Да, всякое бывает, случалось в театре и такое (правда, было это не в нашем театре, слава богу, театрами Дагестан не обделен). В Кумыкском театре режиссер решил открыть сезон спектаклем «Отелло», на роль главного героя выбрали способного актера, а вот над кандидатурой Дездемоны пришлось поломать голову. И режиссер выбрал жену актера, который должен был играть Отелло. Тот возмутился, стал наотрез отказываться:

– Ни за что! Вы с ума сошли! – неистовствовал он.

– Выбора у нас нет! – заявил в сердцах режиссер. – И давайте прекратим дебаты. Гм-гм. Я здесь режиссер, и я решаю кому кем быть! Точка! Вот так!

– Нет, нет и еще раз нет! – замахал руками актер. – Я – Отелло, а жена моя – Дездемона? Ишь, чего выдумали! Бред какой-то! Да вы пошевелите мозгами... – постучал он пальцем по лбу. – А если я по своей дурости в самом деле задушу ее? – кивнул он на свою дородную жену с невероятно размалеванным лицом.

– Это нам и нужно! Души, дорогой, души! Наш лозунг – быть ближе к жизни, – не подумав, бросил режиссер (правда, после он долго потешался над своими словами).

Вернувшись со стажировки, под впечатлением от встреч с крупнейшими московскими актерами, особенно полюбившимся мне Олегом Ефремовым, не без вдохновения я предложил нашему театру возобновить постановку спектакля «Отелло». Исходил я из того, что некоторые идеи этого произведения близки сердцу даргинцев, но надежды на то, что пробудятся мои соплеменники и начнут хотя бы снисходительно, а не враждебно относиться к театру, все равно не было. Режиссер, директор и актеры приложили все усилия и возможности, чтобы для этого спектакля Министерство культуры представило режим наибольшего благоприятствования. К нашему удивлению, работники министерства пошли навстречу, это приятно нас обрадовало. Я – в главной роли, Яго – мой друг Навруз (уже директор театра), Дездемону играла Исида. Декорации – яркие, впечатляющие, костюмы – достойные похвалы. Пьеса «Отелло» была отлично переведена, кое-какие шекспировские длинноты были сокращены. Словом, все было сделано, чтобы понравиться даргинскому зрителю.

И вот настал долгожданный день.

И вы знаете, премьера превзошла все наши ожидания. Такое нам и не снилось. Все воспринималось со всей серьезностью. Такой напряженной тишины и всплесков восторга актеры не испытывали ранее никогда. Спектакль закончился взрывом аплодисментов, одобрительным топотом,

возгласами «Браво! Баркала! Багадуры! Молодцы!» Казалось, стены дрожали от возбужденного, восторженного выражения зрительского удовлетворения. Не знаю, поверите ли, цветы нам дарили! Такого обычая у даргинцев и в помине не было. Настолько мы были ошеломлены, что Навруз даже всплеснул руками...

– Уж не издеваются ли они над нами?! – не верилось ему в успех.

– Согласен, пусть каждый день так издеваются над нами, – сказал я, обнимая его. Легкая дрожь радости пробежала по телу.

– Неужели они нас поняли?

– Да ты посмотри на их лица!

Последующие спектакли прошли с неменьшим успехом. К нашему превеликому счастью, взаимопонимание со зрителем состоялось! Даргинцы признали свой театр. С этого времени накрепко прицепилось ко мне прозвище «Отелло из Баршамая».

Правда, у нас оставались кое-какие сомнения, в городе все обошлось более чем благополучно, а как вот нас примут в горных аулах? И представьте себе, в горах тоже нас обрадовали. Уже не требовали песен и плясок. Это уже был триумф. «Отелло» приглянулся даргинцам, идея и мысли этой пьесы задели зрителя до глубины души. Да, да, того самого неотесанного, не приученного к подобным зрелищам зрителя. Я подумал, что в «Отелло» выразилась, может быть, эмоциональная природа даргинского народа. Спросил я у одного старика:

– Понравился, отец, спектакль?

– Да, заставляет призадуматься.

– О чем?

– Понимаешь, сынок, еще до войны этой проблемы у нас не было, да и после! Возникла она теперь... Не перебивай, дай мне объяснить свою мысль. Раньше большинство или все заняты были заботой о хлебе насущном, все остальное не было столь серьезным... Пришло время, когда о хлебе люди перестали думать... И тут вспомнили о чем? О

том, что не хлебом единым жив человек. О любви. – При этом я стал не без интереса рассматривать разоткровенничавшегося собеседника. – Кто побогаче, посостоятельнее, уже примечал не только на улице, но и в кино, женские прелести: «Смотри, какие плечи, а ноги, груди прямо райские яблоки». Некоторые заразились, как говорится, глазными болезнями – моргали, присматриваться стали независимо от того, кто она и чья она... – Тут словоохотливый старик с улыбкой поведал мне об одном случае. Я его перескажу.

Обычай у нас такой – невесту после брачной ночи нарядно одетые подруги спозаранку ведут к роднику с позолоченными медными кувшинами за спиной. А у родника ее поджидают носители папах, чтобы из рук невесты испить глоток, говорят, это даже целебно. Сыграли свадьбу джигит Тажу и красавица Бажу. Вернулась Бажу с родника смущенная и тихо говорит мужу:

– Знаешь что...

– Что? – обернулся, сдерживая зевоту, молодой муж.

– Там у родника сидел один мужчина.

– Ну и что? – поинтересовался Тажу.

– Как «ну и что», он мне моргнул, – призналась, краснея, Бажу.

– Моргнул? – брови у Тажу взметнулись, глаза расширились и стали высекать искры.

– Да.

– Мерзавец, негодяй, кто это был? – возмущенно засуетился муж.

– Муху из рода Саттар.

– Собачий сын, из кожи его хром для сапог сделаю!

– Не надо горячиться, муж мой, может быть мне померещилось.

Тажу поостыл, призадумался, пытаясь унять раздражение. Самолюбие его было задето. Он знал этого негодяя. И вдруг, на что-то решившись, он улыбнулся и сказал:

– А если завтра, жена моя, он моргнет тебе, то и ты моргни ему.

– Зачем? – удивилась Бажу.

– Потом узнаешь.

На следующий день возвращается Бажу и говорит:

– Он опять мне моргнул.

– А ты?

– И я ему моргнула.

– А он?

– Он, довольный, улыбнулся.

– Хорошо, хорошо... – сказал, потирая руки, Тажу. – Завтра повтори то же самое, а когда он встанет и подойдет к тебе, шепни, что я уехал, и пригласи его домой...

– Зачем? – застенчиво зарделась жена.

– Не твое дело! – бросил муж. – Делай, что тебе говорят!

– Хорошо, муж мой, сделаю, как ты велишь.

Настал вечер, сумерки сгустились, и раздался тихий стук в дверь. Бажу открыла, гость вошел, и стоящий за дверью Тажу схватил его, а тот прохрипел:

– Говорили, что ты уехал!

– А я не уехал. Теперь ты понял, что ты недостойный сын своего отца, дашнак, муссаватист, басмач, душман, анархист...

– Да, понимаешь... – испуганно моргал Муху.

– Я вправе убить тебя, стереть с лица земли́, понятно тебе?

– Да нервный тик, понимаешь, случился... – Муху вел себя как лиса, попавшая в капкан.

– Хорошо. Возьми вот жерновцы и вот мешок кукурузы тебе, – неожиданно остыл Тажу, чувствуя скрытое удовлетворение. – Помолоть надо. Сиди и работай.

Так неудачник Муху из рода Саттар молол до утра кукурузу, потел, кряхтел, извелся, но что поделаешь, надо. Утром Тажу его отпустил.

После этого, где бы Бажу ни встретила его, подмигивала, а тот вскакивал и с готовностью говорил:

– Что, мука кончилась, пожалуйста, я готов! Что не сделаешь добрым людям...

– А то, сынок, люди добром стали богаче, а совестью – беднее. И пошла всякая гадость – измена, ревность и на этой почве убийства. Самое страшное, сынок, это то, что люди даже среди родственников потеряли искренность. Лицемерие, ханжество стали преобладать. О вранье можно и не говорить, потому что оно сплошь и рядом. И появились на улице легковерные девушки, которые готовы раздеться за тряпки и побрякушки.

– Спасибо тебе, отец, – сказал я.

– Ешь на здоровье, Отелло, – похлопал он меня по плечу. Я в ответ признательно улыбнулся.

Было это в те времена, когда рассказывали в горах об одном случае. Бежал, говорят, Махамад в сторону мечети. А у мечети сидел на солнцепеке и грел свои старые кости дед Масхарчи. «Эй, Махамад, чего ты бежишь как угорелый?! Пожар что ли?!» – обратился Масхарчи. «Да вот мулла дозарезу понадобился, не скажешь ли где найти?» – спрашивает Махамад, а Масхарчи, расплывшись в улыбке, прищурив один глаз, говорит: «Эй, Махамад, а скажи, пожалуйста, тебе какого муллу – по промышленности или по сельскому хозяйству?..» Да что только не случалось в нашей жизни! Творим дело, а потом думаем, хорошо это или плохо.

Клен поющий семена роняет

Замечу, что после долгих совместных общений с жителями разных районов наша актерская труппа как бы обтесалась, стала избавляться от разноречивого неудобства диалектных отчуждений – это были предпосылки создания единого языкового ансамбля с помощью, конечно же, материалов – пьес на хорошем языке, в хороших переводах. Наши поездки-гастроли иногда украшались непредвиденными забавными случаями, которые надолго оставались у людей в памяти. Исида, игравшая Дездемону, внезапно заболела. У нее поднялась температура, и она слегла. Исида

предавалась любви со всей силой и страстью. Любила она, очень любила Мустафу, и он, как нам казалось, был от нее без ума. Долгие скитания наши по горным аулам, разлука с любимым извели ее. И Мустафа, который раньше всюду сопровождал нас, потерялся, месяц, как ни странно, мы не видели его.

Исида была одержима своей любовью. Подруги, еще не испытавшие на себе этого всепоглощающего чувства, недоумевали и говорили, не сумасшедшая ли она, разве можно так тосковать, так изводить себя, не находить покоя ни во сне, ни наяву. Исида, это хрупкое, грациозное создание, во сне щебетала о своей любви...

– Ты же сойдешь с ума... – удивлялась ее подруга Зейнаб.

– Без него да...

– Но объясни мне, что это за дикая любовь у тебя?

– Не знаю...

– Ну, скажи... Ты опьянена его чарами. Скажи.

– Что сказать...

– Как ты его любишь?

– Как тебе сказать? Люблю и все. Вот при нем каменею, слов не нахожу, а без него от слов нежных, что я должна ему сказать, мозг будто распухает, и голова готова расколоться... Терзаю себя, тоскую, места себе не нахожу, ничто на свете не радует, ничего не может утешить, кроме как его присутствие, его взгляд...

– А я вот, если тоскую – по сестрам, по родителям... Он же для тебя чужой.

– Кто?! Он? Как чужой! Нет, нет, он мой, он любит меня!

– А не обманывает ли он тебя, бесхитростное ты сердце?

– Нет, что ты, сестричка... Я его глаза читаю, там все чисто, ясно... А он читает мои глаза и верит мне.

– Сумасшедшая.

– Может быть...

– Убьешь себя, сестричка, своим безумством.

– Ради него могу и пожертвовать собой.

– Этого еще не хватало.

– Ты не любила, ты не знаешь этого чувства.

– Даже если полюблю, не буду я терзать себя, убиваться. А он, этот твой, по-моему, из тех, кто больше старается понравиться, произвести впечатление, чем любить.

– Это тебе так кажется.

И верили и не верили девушки в такую дикую, заграничную любовь. И боялись за свою подругу, как бы чего не натворила она в слепой своей одержимости. Как можно любить чужого человека, больше чем братьев, больше чем отца с матерью! Если, конечно, все сложится, как этого им хочется, то счастливыми они будут на зависть. А если ее доверчивость будет обманута, это будет несчастьем большим, чем у Дездемоны. Ведь и птицы поют о том, что из тысячи лишь у одной влюбленной исполняется мечта в жизни.

В глубине души мы не одобряли выбор Исиды, большого счастья мы желали этому нежному созданию, Мустафа – этакий фирменный парень, заносчивый (как никак сын директора крупной импортной базы). Видимо, сказалась на его характере жизнь без нужды и лишений. Всегда был при деньгах. Однако любил нас и всячески помогал нам и клялся, что ради Исиды он может бросить все и пристроиться к нам хотя бы рабочим сцены. Мы, безусловно, забеспокоились, что же случилось с Мустафой, так долго он не мог отсутствовать без серьезной причины. Исида не скрывала от нас своей любви к нему и беспокоилась.

– Ох, наверное, с ним что-то случилось. Не мог он так надолго исчезнуть.

– Приедет, куда он денется, – утешал ее Навруз. – Нельзя же так убиваться.

– Почему нельзя, что я могу сделать, если люблю?

– Странная у вас любовь.

– Страшна мне эта разлука.

– Тебе разлука страшна, а нам то, что ты заболела. Кто тебя заменит? Завтра спектакль.

– Меня это не тревожит. Оставьте меня в покое!

Да, в самом деле, мы были озадачены. Что делать? Кем заменить Исиду, актрисы, которая могла хотя бы сносно сыграть эту роль, у нас не было. В тридцатые годы еще, говорят, женские роли в самодеятельных спектаклях исполняли мужчины. Однажды совсем еще юный тогда, а теперь известный поэт Шах-Эмир выступил в роли девушки, сыграл так хорошо, что его мать, в блаженном неведении смотревшая пьесу, всплакнула и спросила у соседки:

– Чья она дочь, эта бесстыдница? Если согласится бросить эти танцы-шманцы – лучшей невесты для моего сына не найти.

Вспоминая об этом, мой устремленный взгляд вдруг остановился на молодом стороже нашего театра Барка, на моем двоюродном брате. Парень веселый, добродушный с женоподобным лицом. Стоит ему намекнуть, – и он с удовольствием согласится, потому что наизусть шпарил текст Дездемоны. На сцене все шло хорошо, кроме заключительной части. Когда Отелло (это я) бросился ее (его) душить, он оттолкнул меня и полез под тахту, я за ним. Там я ему кричу: «Не отходи от роли», но он в азартном порыве отнял у меня нож и, выбравшись из-под тахты, сладострастно воскликнул:

– Люди, чего он пристал... зарезал я этого черномазого!

В зале грохнул смех. Раздались возгласы, свист. «Браво! Браво!»

Новая трактовка Шекспира пришлась по душе зрителю – даргинцы любят экспромты. Несколько дней об этом не уставали говорить: «Вот Дездемона!»... Театру было присвоено имя Батырая. Батырай, которого даргинцы прозвали по праву отцом даргинской поэзии, родился еще в середине прошлого века, его поистине искрометные строки народ сохранил, передавая из уст в уста, и собрал по крупицам.

– Пустое занятие твои песни! – как-то, говорят, с пренебрежением обратился к Батыраю Минатла Баханд.

С укоризной поглядел певец на него и ничего не ответил. И вот однажды случилось так, что от большой скалы

оторвался валун и навис над саклей Минатла Баханда. Хозяин в отчаянии схватился за голову:

– Беда, беда, что мне делать?

Случись пойти дождю – и валун мог раздавить саклю. Недолго думая, Батырай ударил о струну чунгура и запел. Собрался народ. И вдохновленные люди отбросили кусок скалы. Закончив песню, певец обратился к Минатле Баханду:

– Ну что, Минатла Баханд, пустое занятие – моя песня?

– О нет, почтенный Батырай, она мне дала саклю! – воскликнул, говорят, Минатла Баханд, отвесив певцу поклон.

Таким он был, Батырай.

Мы решили иметь в репертуаре спектакль о человеке, чья афористичная глубокомысленная поэзия покорила и покоряет читателей и по сей день. Театр обратился с просьбой к нашему народному поэту Сулейману Рабаданову с социальным заказом написать пьесу «Батырай», что он и сделал с превеликим удовольствием и создал талантливое произведение. Жаль только, что среди актеров на роль главного героя не нашелся настоящий голос, который бы достойно воссоздал великого певца. Ходят легенды, что стоило спеть Батыраю – как замирали люди. Да, это был остроумный и суровый певец, ненавидевший насилие, бичевавший несправедливость; за песню сельский старшина каждый раз штрафовал его на одного быка. Народ вносил за него штраф, заранее прося его спеть. О времени и о себе Батырай пел:

Запрещают песни петь.
Как же мне молчать, мой друг,
Когда столько подлецов
Без стыда галдят вокруг?!
О безумная любовь!
За тебя – хоть на штыки...
А старшины Урахи
Устрашают за стихи.
Песня вроде пустячок,
Но попробуй-ка сыграй –

К своему театру вдруг проявили интерес и даргинские писатели, ставшие при жизни классиками, хрестоматийными. Не без умысла, подумал я; так оно и было, преобладали в этом больше меркантильные влечения. По правде говоря, и писатели наши еле сводили концы с концами, сновали по редакциям – где бы как подзаработать. Бывали и творческие успехи, правда изредка, но в основном поступали слабые, бесхребетные пьесы, включенные в репертуар по приятельским соображениям, далекие от элементарных требований жанра. И пошло, понесло... слабая драматургия, стало быть, слабые спектакли, которые выдерживали не более двух постановок. Одно утешение, что авторы после премьеры давали обильные банкеты. Это впоследствии стало традицией во всех театрах. Однажды Абуталиба спросили, понравился ли ему спектакль, он ответил:

– Четвертый акт не плох, правда, шашлык жестковат, – не для моих зубов.

Под четвертым актом Абуталиб подразумевал традиционный банкет с приглашением всех актеров и должностных лиц из учреждений культуры.

Где найти соучастие, сострадание и любовь

Как бы трудно и невыносимо ни было, актеры наши, помня напутствия своих мудрых армянских наставников, не пали духом и держались гоголем, хотя уже заметно редели ряды. Театр все же полюбился даргинцам, они стали исправно посещать его. А когда выделили деньги на ремонт, несколько каменщиков-театралов добровольно явились работать. Но до истинного очага культуры нашему театру было еще далеко. Актеры отдавались творчеству самозабвенно, стремились заслужить признание зрителей. Сначала более менее снисходительно, затем уже уважи-

тельно стали люди относиться к нашей профессии. Отправили вскоре еще одну группу одаренных юношей на учебу в театральный институт. Отцы уже не возражали детям, пожелавшим служить Мельпомене, одно это что-то да стоит! Люди были рады поговорить с нами.

И вот в самый разгар нашей славы я встретился со своей будущей женой на рынке. Она торговала медом, дочь пасечнике Галбеца. Звали ее Меседу. Краснощекая, пухленькая с большими редкими у нас голубыми глазами, похожими на два горных клокочущих ключа. Да, видно было, что у этой пышущей здоровьем девушки в голове теснились сумасбродные мысли. Она взглянула на меня, и кровь моя прилила к голове, я растерялся.

– Мед продаешь? – спросил я, разглядывая ее.

– А у тебя что, пуговицы вместо глаз? – огрызнулась она. «Метко» – оценил я, ведь на мне была джинсовая куртка со множеством пуговиц.

– А сладкий у тебя мед? – улыбнулся я, желая вызвать ее симпатию и расположение.

– Горький, как полынь.

– И покупают?

– Есть еще простофили, вроде тебя, – отрезала она.

– А я не собираюсь покупать твой мед! – пытался я скрыть свое раздражение.

– То-то и видно, что вырос на рафинаде, – не унималась она, стараясь побольнее задеть меня.

– Ну и колючий же у тебя язык!

– Какой дала мне мама и родная природа, – с издевкой пояснила она.

– А красивая природа?

– Где?

– Там, где ты родилась…

– Попробуй мед, узнаешь... – уже смягчилась она.

Я попробовал, мед был отменный, пропахший альпийскими цветами.

Казалось, под платьем ее трепетали два голубка, пыта-

ясь выбраться наружу. Она глянула на меня и вдруг, обнажив жемчужные зубы, воскликнула:

– Какой черный! Ты что никогда не умывался?

Стоящая рядом женщина неожиданно спросила:

– Доченька, разве ты не узнаешь его?

– А кто он такой, чтобы знать его?

– Это наш Отелло!

– Ах вот почему он черный! Из Африки что ли?

– Нет, голубоглазая, я из Баршамая, – ответил я.

– Как тебя жена терпит?

– А я душой белый... А как вот муж тебя терпит такую несносную, колючую...

– А я его медом своим потчую, – белозубо усмехнулась она.

– Врет она, нет у нее никакого мужа, – заметила развеселившаяся третья собеседница. – Этот Отелло, говорят, каждую ночь душит свою жену.

– Это правда?! – ужаснулась торговка медом.

– Да, голубоглазая.

– И сколько же ты их задушил? – рассмеялась девушка; на щеках ее обозначались ямочки, созданные для поцелуя.

– Только одну, – признался я.

– И ходишь теперь соломенным вдовцом?

– А что остается делать?! – вздохнул я и хотел было отойти, но вдруг почувствовал на плече чью-то руку. Обернулся – это был Навруз. Как кстати. Я отвел его в сторону и сказал, что хочу жениться на этой девушке.

– А ты знаешь ее? – спросил он.

– Нет, только вот увидел.

– А что она закончила?

Я вначале не понял его, затем до меня дошло. Было время, когда в горах ценились девушки с образованием, но вскоре нравы изменились. Сейчас девушке с высшим образованием, будь даже она врач, в приданое дают «Москвич», со средним – «Жигули», а девушке без образования – «Волгу».

– Я тебя спрашиваю, что она закончила? – повторил свой вопрос Навруз.

– Академию, – ответил я, догадавшись, о чем думает друг.

– Тогда тебе повезло! – усмехнулся он.

– Шутишь. А я всерьез спрашиваю, – огорчился я.

– Обиделся?

– Посоветуй, что мне делать, если ты друг.

– Я сейчас, – сказал Навруз и подошел к продавщице. – Девушка, – обратился он, – отец твой не приезжал?

– Нет, остался дома.

– Позабыл я, из какого он аула?

– Танта.

– Ах, да, запамятовал, а как же зовут отца?

– Пасечник Галбец. А говоришь знаешь, – насторожилась вдруг тантинка.

– Вот дырявая голова! Конечно, пасечник Галбец, раз его дочь у нас на базаре торгует медом. Когда ты возвращаешься домой? – К моему удивлению, Навруз сразу расположил ее к себе.

– Завтра. Тебе какое дело?!

– Понимаешь, он обещал привезти мне мед...

– Да, да, он говорил, что должен доставить кому-то мед... Кому же? – пыталась вспомнить девушка.

– Не Наврузу? Вспомни!

– Да, да. А может возьмете, вот с сотами, – предложила она.

– Да, я с сотами и просил, – и Навруз быстро черкнул что-то на бумаге и передал ей. – Пусть отец твой зайдет по этому адресу.

– Возьмете? – доверчиво обратилась она к Наврузу.

– Имя твое позабыл, о тебе отец много рассказывал, – не унимался Навруз.

– Меседу, – смущенно представилась она.

– Красивое имя, и как я мог запамятовать! Спасибо тебе, дочь пасечника. Погоди, погоди, а что ты будешь делать сегодня вечером?

– Я здесь, у тети, она в ночной смене, должна остаться с детьми.

– Жаль, сегодня у нас спектакль, хотел тебя пригласить.

– Ой, ни разу не была в театре... Зухра, Зухра, – обернулась она к соседке, – может быть, сегодня ты не пойдешь на работу, мне в театр хочется.

– Не для девушек театр. Нечего, дома посидишь!

– А если я с детьми пойду? – взмолилась она.

– Можно! – решительно сказал Навруз. – Я тебя встречу.

– Приду, если смогу, – растерянно промолвила Меседу.

– Постарайся, Меседу. Сегодня – «Отелло».

– Это о том, который душил свою жену?

– Да, да... Приходи, приходи, Меседу, мы будем рады, – сказал Навруз.

И мы пошли.

Я все озирался, она строила мне гримасы, показывая язычок.

Отойдя от рынка, я спросил Навруза:

– Ты действительно знал ее отца?

– Откуда я могу его знать?

– Как, а мед? Он же обещал!

– Обещал, наверное, кому-то, это совпадение, друг.

– Выходит, ты взял мед бесплатно.

– Наивный ты человек... О чем я говорил? Адрес дал. У нас же нет времени ездить сватать в далекий аул. Приедет за деньгами ее отец, угостим его, поговорим о том о сем, и о твоей любви к его дочери... К слову все пришлось...

– Ну ты даешь! – восхитился я. – Ну спасибо, ты оказывается мастак в этих делах. А как ты думаешь, ради любви она способна на самопожертвование? – вдруг спросил я.

– Если полюбит! – похлопал меня по плечу Навруз (у, тяжелая у него рука).

Случилось так, как думал Навруз. И я женился на Меседу, дочери пасечника Галбеца. И живу с ней ладно.

Шло время в заботах и тревоге.

Люди вначале думали, что актеры деньги лопатой гребут, откуда им знать, что актерские семьи еле сводят концы с концами. Что такое полтораста рублей! Дамские сапоги больше стоят. А вот недоучки торгаши и спекулянты день ото дня богатеют; чем головы пустее, тем сундук полнее. В людях происходили странные перемены, и меня беспокоил вопрос: к лучшему это или к худшему – и больше склонялся к последнему. Учили нас: не в деньгах счастье, но понимать мы стали позже, что и без денег не велика радость в жизни. Раньше, чтобы заверить или получить какие-то бумаги, достаточно было обратиться к секретарше: преподнести только ей цветочков или коробку конфет, – и все в ажуре. А теперь? Начальник говорит: пусть ко мне заходят, что значит, стучи ногами и будь в бурке. А это стало дорого стоить, чтобы стучаться ногами, руки должны быть заняты, а бурка должна скрывать то, что в руках. Все почитают человека с деньгами, будь даже это мошенник какой, будь контролер рынка. Даже сто человек не снимут рубахи с того, на котором ее нет. Чем состоятельнее становились люди, тем больше отдалялись друг от друга, росла неприязнь, по пустякам возникали ссоры. Рядом с нами жил усатый кузнец, который не мог спокойно вынести скандала, драки, сумятицы. Выскочил он однажды, могучий, потный, с опаленными усами, вытер о фартук натруженные руки, закричал:

– Люди! Эй, человеки, что с вами?! Да чтоб вы онемели, да чтоб околели на месте! Что вы разорались? Подумаешь – дети подрались, на то они и дети, чтобы драться и мириться. Оставьте их в покое, они сами разберутся. Подумайте, когда у нас была такая жизнь, когда? Да никогда ее не было. Черствый кусок хлеба с водой счастьем считали… А теперь бабушка, провожая внука в школу, карманы его яствами набивает: апельсины из Марокко, кофе из Бразилии, финики из Сирии, бананы из Занзибара... Частных ма-

шин больше, чем прежде ишаков в ауле. Что вам еще нужно, люди? Подумайте о душе…

Бывшие мои школьные друзья Амир-Чупан, Мирза засунули в сундуки свои дипломы об окончании пединститута и устроились работать в системе торговли.

А тот самый Салих, что учился с нами, сделался торговым работником и преуспевает в этом деле. Дом построил в два яруса из пиленого дербентского камня. Машину заимел, меблировал комнаты, получая зарплату сто тридцать рублей. А когда земляк спросил его, откуда у него средства, он сказал:

– Понимаешь, только тебе скажу, а ты, пожалуйста, никому, – Салих приложил палец к губам.

– Ты же меня знаешь! – заверил собеседник.

– Понимаешь, в ауле отцовский дом совсем развалился, стал я разбирать стены и нашел железный ящик. В том-то и дело, что там было старинное серебро.

– Неужели так много? Что, твой отец был богатым?

– Он был в тридцатые годы финагентом. Серебро, друг, сейчас в цене.

– Ты должен был сдать серебро государству!

– Но все равно я прошу тебя молчать. Это же наследство отца!

Врал, конечно, Салих. Мне ли не знать, кто он. Он из тех, кто отца родного может загнать в могилу и клясться его могилой.

Салих работает в овощном ларьке, Мирза заведует промтоварным складом, Амир-Чупан – хозяйственным магазином. А говорили, что на одной зарплате у нас никто не проживет. Я и в мыслях не мог допустить, что придет время, когда вора больше будут почитать, чем честного, так и летят в карманы нечистоплотных людей нетрудовые доходы... Делалось все воровским путем с нарушением всяких правил, обманом и приписками. Имея деньги, жулики покрывали свои бесчестные дела, искусственно создавали дефицит, подкупали ревизоров, судей, ублажали начальство.

Нужды вышестоящих по должности удовлетворялись в первую очередь.

Как-то по городу было вывешено объявление о том, что промторгу требуется завскладом. И по этому объявлению к директору промторга явился Али со всеми необходимыми документами, трудовой книжкой и хорошей характеристикой. Рассмотрев их, директор сказал:

– Вы нам подходите, только я вам хочу сказать, товарищ, что оклад у нас небольшой.

– Сколько?

– Ну, рублей восемьдесят, правда, бывают и премиальные, если перевыполняется план.

Али расстроился: оклад маленький, а семья у него большая, он забрал свои документы и ушел. Потом явился Вали с хорошими рекомендациями, промторг устраивал его, но склад находился далеко от его жилья, не говоря об окладе. И Вали ушел разочарованным. Вскоре явился Мирза. Положил он на стол перед директором документы (они были в порядке) и, не спрашивая ни о чем, говорит:

– Ну что, могу я выйти завтра на работу?

– Как? А почему вы не спрашиваете об окладе? – недоумевая спросил директор.

– А что, у вас еще и оклад полагается? – приятно удивился Мирза, твердо решивший работать в системе торговли. Он добился своего. Теперь – на хорошем счету, директор называет его находкой. Мирза доволен, и директор не в убытке. Хвастается Мирза, работать завскладом – не каждому по плечу.

– Ты должен был учителем работать.

– Какой из меня пе-да-гог! Хотя, должен тебе сказать, что и учителя нынче неплохо живут.

– Что, им прибавили зарплату?

– Наивный ты человек. Учитель может брать взятки!

– С кого? С учеников?

– Нет, с родителей. Отличная оценка стоит пять-десять рублей. Многие так делают.

– Врешь, быть такого не может! – не поверил я. – Ка-

кой же это педагог, чему он может научить детей? Мир что ли перевернулся? Что с вами происходит, люди? Учитель в горах искони считался святым человеком. Родители посылали своих детей в медресе с подогретыми у домашнего очага каменными плитами, чтоб для учителя согреть неотопленное помещение.

– А ты откуда знаешь? Медресе еще...

– Да, меня не было тогда.., но человек должен знать и то, что до него было. Как же это взяточник может учить людей? И это все в советской школе?

– Учат, двоек не ставят – нельзя.

– Да, да, – подтвердил Алекси, оказавшийся свидетелем этого разговора. – И учат и совестью торгуют.

Алекси – наш поэт, уже известный в народе. Окончил он Литинститут с красным дипломом. Издал две книги стихов в Москве. Наша печать о них отозвалась одобрительно. Алекси – поэт двуязычный, он пишет на своем и на русском. Для горцев русский язык стал вторым родным языком. Как говорится, у себя мы говорим на родном языке, а с миром – на русском языке.

Алекси любит встречаться с читателями, и читатели остаются довольны им. Умеет он заинтересовать аудиторию, найти общий язык, не каждый способен на это. Его с удовольствием приглашают рабочие коллективы, сельские жители. Бывает, жалуется Алекси друзьям на жизнь: нет жилья, с семьей обитает в частном доме, в сырой комнате с железной печью посередине. Неустройство, нехватка денег тяготят его, может и отсюда его некоторая вспыльчивость, неуживчивость. Человек он не без странностей. Помните, он обещал написать пьесу для нашего театра? Но пока что тема не нашлась.

– Пишешь ты нам пьесу, Алекси? – спросил как-то я его, встретив случайно на улице.

– Да будь она неладна... – угрюмо проворчал он.

– Что с тобой?

– Понимаешь, одолевает меня одна навязчивая мысль. Кому нужно то, что мы творим? Проклятье! И зачем только

я родился поэтом? Если бы мог не писать, по-моему, счастливее меня не было бы человека. Лучше бы остался в ауле и бычкам хвосты крутил...

– Если ты недоволен жизнью, тогда...

– Что тогда? Такого опустошения души... никогда не было, ты оглянись вокруг... Чем люди заняты, какой суетой.., а о душе забыли! Будь оно трижды неладно это беспутное время. Послушай, что пел Батырай:

Просыпаюсь по утрам,
Словно хищник в западне.
Трепет в сердце удалом:
Неужели я на дне?

И опять мой день пройдет,
Как у телки меж волков.
Дума в бедной голове:
Будь же проклят, мир клыков!

– Тебя, я вижу, расстроили?

– Бедствую я, друг, работы нет... слава богу, хоть встречаться с читателями не запрещают. Пойдем со мной.

– И куда?

– Эй, ты, разве, когда друг говорит «Пойдем», спрашивают: «Куда?» Дирекция мясокомбината пригласила меня на встречу с тружениками. Никогда не выступал перед животноводами... Пошли.

– А что я там буду делать?

– Ну, расскажешь о театре... Найдешь, что сказать. Я на мрачный лад, а ты – на веселый... Расскажешь о гастролях, о впечатлениях.

Я согласился. Это был конец рабочей смены. Уставшие, изнуренные за день нелегкой работой женщины спешили домой к своим семьям, а дирекции мясокомбината, видимо, это мероприятие нужно было для галочки. Нас встретили и повели в какое-то неухоженное помещение, похожее на киноклуб, президиум занял место на сцене. В зал стали прибывать люди, сидело несколько человек с авоськами, сумками... Алекси ерзал, ворчал, настроение

было самое скверное. И он, не дожидаясь пока его представят, подошел к трибуне, окинул зал, семь или восемь женщин сидели в зале, грустные, уставшие с убийственно равнодушными лицами.

– Наверное, кое-кто подумал, что мне делать нечего, время некуда девать... – начал сурово Алекси, – думаю и вам время дорого, вы спешите домой, а вас пригласили сюда... Что вам сказали?

– Лектор приехал, – объяснила худощавая женщина.

– Я не лектор, я – поэт, я пишу стихи... душу озаряю. Вот поглядите, сколько человек в зале, в президиуме – вдвое больше... Начальство. Когда будете выходить с территории, вас могут проверить, не захватили ли вы с собой кусок печени, мяса. А знаете ли вы, дорогие мои труженицы, что там, где въезжают и выезжают черные «Волги», там их не проверяют, оттуда они могут вывезти целые туши баранов или даже бычка.

Не то что сидящие, но и я растерялся, глянул на Алекси, заерзали люди в президиуме, лица вытянулись, глаза потускнели, головы поникли. А в зал стали прибывать люди. Вскоре он был полон. Алекси разошелся, стал бичевать чиновников, нечистых на руку. Я думал, сейчас его стащут с трибуны, но нет. Все замерли. Алекси читал стихи, бичуя тех, кто честью, совестью торгует. Зал аплодировал. А в конце дирекция, как ни странно, гнев и возмущение сменила на милость, такой закатила банкет и чего здесь только не было: икра черная и красная, колбасы всякого рода, осетрина жареная, белуга вареная… языки овечьи и говяжие… Это было непривычное для нас общество, скорее сообщество людей, которых никогда не мучают угрызения совести. Мне кажется, такие люди должны жить в постоянном страхе.

Мы ушли оттуда с Алекси, правда, навеселе. Алекси все тормошил меня:

– Ты видел, видел, как отвисли у них челюсти... Правда, друг, колет глаза, – смеялся все Алекси.

– Это добро, что было сегодня на столе, для моей семьи на полгода хватило бы, – выскочило у меня.

И когда, дойдя до площади, решили мы расстаться, подошел к нам завскладом Мирза и стал навязчиво приглашать на курзе со специями. Мы отказались, но Мирза был неумолим. Рядом с Алекси Мирза выглядел великаном, этаким атлетом. Когда подошли к его дому, то стало ясно, что Мирза пригласил нас не столько ради пельменей, а сколько похвастаться своим домом. Да, это был дом чуть ли не в три этажа, с четырнадцатью комнатами, на втором этаже широкие балконы. Комнаты были обставлены шикарно, так что у Алекси глаза разбежались, он еще долго слова не мог вымолвить.

– Слушай, слушай, Мирза, откуда все это?

– Что, дорогой Алекси? – участливо отозвался хозяин.

– Вот это добро? Отец твой, я знаю, был всего-навсего райкомовским конюхом.

– Да, друг, как это в «Интернационале» у нас поется: «Кто был никем, тот станет всем», – важно объяснил Мирза.

– Ты слышишь, Отелло, слышишь, что говорит этот человек? – растолкал меня Алекси. – Какое кощунство... а? «Интернационал» вспомнил…

– Алекси, прошу тебя, не надо... – стал просить его хозяин. – Давай есть и пить, за ваше здоровье, ребята.

– Сколько же ты получаешь в месяц? Нет, нет, ты мне скажи, скажи, откуда эта мебель, эти ковры, хрусталь. Черт возьми, и где же наш лозунг: «Кто не работает, тот не ест!»

Мирза уже сожалел о приглашении. Он обратился ко мне с просьбой успокоить разбушевавшегося гостя. Но на Алекси не действовали никакие уговоры. Он как заведенный совершенно доконал хозяина. К тому же явились еще и гости.

– Кто ты такой есть, чтоб так жить, ты, недоучка...

– Замолчи! Не выводи меня из себя! – видно было, что Мирзе стоит огромных усилий сдерживать себя.

– Люди, люди, что же это делается, где ваша совесть?!

– Прошу тебя... – Мирза вывел его на веранду, лицо его исказилось от гнева. – Что с тобой, веди себя прилично.

– Ты скажи, скажи, вот я поэт... я автор сборников... меня читают люди, у меня этого добра нет. Почему?! – Да, волей-неволей завопишь на белый свет.

– Потому что жить не можешь!

– А я не хочу жить так, как ты живешь, ты вор, ты мошенник...

Тут Мирза не выдержал.

– Ну и подлец же ты! – крикнул он и ударил Алекси так, что тот слетел с перила веранды вниз. Раздался нечеловеческий крик и стон.

Оказалось, Алекси свалился со второго этажа на лежавшую на солнцепеке соседскую собаку. Собака сдохла, а Алекси отряхнулся и пошел восвояси, браня на чем свет стоит всех мошенников, хапуг и негодяев, которые в алчной погоне за вещами теряют человеческий облик, не говоря о совести и чести. Против них он обрушил эти строки:

Гроза! И молнии взрезают небо,
То наискось, то вдоль, то поперек,
И с треском небо рушится от гнева,
Как грешникам на темя – потолок.
Как этот гнев понятен мне и близок,
И я разил бы молнией подряд:
Хамье, хамелеонов – блюдолизов,
Сутяг-зачинщиков всех дрязг и передряг.
Рублем богаты, а душой бедны,
И тех, чьи речи приторны и лживы,
Тех, чьи дела притворны и вредны.
И хочется мне верить: только стихнет
Гроза, лишь грозовые облака
Рассеются – и в людях совесть вспыхнет,
Как радуга, светла и высока...

Мятежная у Алекси душа. Он даже сидел в тюрьме, да, да, не удивляйтесь, и такое ему пришлось испытать. Осудили его по ложному донесению, а он лишь только заступился за своих престарелых родителей, за их покой и честь. Неприятелей у него хватало, хотя бы взять того же Мирзу.

Случившееся с Алекси оказалось на руку тем, чей покой он растревожил, и его осудили ни меньше ни больше за мошенничество. Но, говорят, на этом суде Алекси воскликнул:

– Лучше судите меня за хулиганство, а не за мошенничество. Люди, поверьте, я не мошенник. Мошенники на свободе гуляют, вас дурят!

Год от звонка, как говорится, до звонка, однако в Алекси ничего не изменилось, каким он был, таким и остался, если не сказать о том, что в гневных его вспышках чаще стало звучать слово «солдафоны» и еще пуще возненавидел он угодников и подхалимов, хапуг и взяточников.

В кафе «Восьмистишие» варили кукурузные халпама – галушки с горским сушеным мясом. Как-то забрели в это подвальное заведение Алекси и не менее, чем он, известные талантливые поэты Амир-Гази, Нурадин. Газимбег придрался к Нурадину, бывшему заместителю известного председателя.

– Ты мог, мог помочь мне с квартирой.

– Не мог, друг, не мог...

– Я тебе говорю, при желании мог.

– Ничего я не мог... Как будто не знаешь, от кого все зависело. Не я, а он все решает.

– Да, ты прав... – покосился Алекси на Нурадина, – помани тебя он пальцем, ты готов за ним с бумагой в туалет бежать.

– Не твое собачье дело, тюремщик... – взорвался Нурадин. Это крайне обозлило Алекси, и, выбравшись из кафе, он со всего размаха ударил Нурадина в лицо так, что у того чуть глаз не выскочил. Газимбег решил заступиться за Нурадина и размахнулся, чтобы проучить Алекси – Газимбег на две головы выше Алекси, юркий малый увильнул, а Газимбег не устоял на ногах, упал, ударившись ногой о выступ тротуара, рухнул как бревно и застонал. Амир-Гази отбежал подальше, а то чего доброго этот драчун втянет и его в скандал, тем более у Амира рука тяжелая и ручаться за себя он не мог. Газимбег лежал и не двигался, попыта-

лись поднять, тщетно, нога была разбита, пошла кровь. Пришлось вызвать скорую помощь. Так вот одним ударом Алекси уложил троих.

О каком всемогущем председателе говорили поэты, вы, уважаемые, наверное, догадались. Любит наш председатель учить других уму-разуму, иначе какой же он начальник.

– Вот что, уважаемые, – бывало говорил он, – моя сакля – ваша сакля, заходите, посидите. Мой кабинет – ваш кабинет, я председатель – это все равно, что вы председатель. Я строю на берегу виллу, считайте, что это ваша вилла, жить в ней буду я, а вы считайте, что это вы там живете... Мое – это ваше, а ваше – это мое. Если я сижу в президиуме, считайте, что это вы сидите. Мои ордена – ваши ордена, мои звания – ваши звания... Вы – это я, я – это вы.

Случалось, люди наивно верили ему. Однажды люди пошли купаться в море. Заплыли далеко, а пухленький, кругленький председатель бултыхался у берега. Люди заметили его и позвали:

– Эй, иди сюда, здесь же вода чище!

И тот с завистью подумал: как это так – они купаются в чистой воде, а он у берега – в грязной?! Поплыл он к ним, вдруг стал тонуть и закричал:

– Тону, тону, спасите!

А ему и говорят:

– Ну что ты, дорогой, ничего ведь страшного. Это не ты тонешь, а мы!..

Так вот как-то председатель вызвал к себе Алекси. Видимо, дошли до него слухи о случившемся. Кстати, он очень любит слухи, выуживает, что с кем случилось, кто что о нем говорит, о его деятельности. Стал председатель призывать Алекси к порядку.

– Вам легко говорить... – возразил Алекси. – Было время, когда я вас защищал... да, да, когда в Доме литераторов один усмехаясь сказал, что он дал вам пощечину, мне стало обидно, и я спросил его «А он что?». Когда тот ответил, оскалив зубы, «ничего», я встал и дал ему пощечину... Вы

бы за другого не заступились... Вы больше заняты своей персоной, чем нашей литературой...

– Не тебе об этом судить, – сверкнул на него зелеными глазенками начальник.

– Конечно, наплодил вокруг себя угодников и подхалимов...

– А ты драчун и пьяница! – лицо начальника покраснело до кончика горбатого носа.

– Постыдились бы хоть аллаха... Вы больше всех пьете, но у вас есть машина и не одна, вас не увидишь шатающимся на улице... Прошу вас, дайте мне работу с машиной...

– Нет у меня такой работы, – сказал, усаживаясь поудобнее в кресло, начальник, играя подтяжками.

– Почему? – наивно уставился на него Алекси.

– Потому что нет.

– Для вас есть, а для меня – нет. Странно. Не кажется ли вам, что это непорядочно. Ведь и я такой же поэт, как и вы, хотя из другого народа. И вообще, я скажу вам откровенно, в Союзе нашем творческой атмосферы не стало. Занимаетесь только дрязгами и склоками...

– Убирайтесь!

– Я это и хочу сделать. Уеду я в Среднюю Азию, может, там найду порядочных людей.

– Езжай, тебя там не хватает. Ждут не дождутся, как бы тебе оказать почести.

– Ни чести и ни совести... не говоря уже о доброте и порядочности.

И Алекси наш уехал, исчез и надолго. Думали, что больше мы его никогда не увидим. Ведь он не первый, кто, не найдя опоры в родном краю, скитается за пределами Дагестана. Некоторые из них осели в Москве, а длинный наш Якуб даже с семьей разошелся, чтоб остаться в столице. Все околачиваются в Доме литераторов.

Как-то раз, уважаемые, я удостоился большой чести: меня включили в партийно-правительственную делегацию в Болгарию – Дагестан дружил со Смолянским округом. Я

впервые побывал за границей, повидал землю и людей прекрасной страны. Видел я и магазины, набитые всевозможным товаром в городах и селах, видел дома, строящиеся для молодоженов, малиновые и розовые плантации. Двоякое чувство охватило меня, и в минуты откровения, это, по-моему, было в Тиградских скалах на отдыхе, я вдруг сказал главе нашей делегации:

– Знаете, мне строящийся в Болгарии социализм больше по душе, чем коммунизм, что строим мы.

– Не твоего ума дело, – сверкнул глазами глава делегации и ошалело огляделся вокруг, я думал, сейчас его хватит удар.

– Почему же не моего ума дело? – поинтересовался я.

– Потому что о том, о чем ты сказал, есть кому думать.

– А что, мне думать нельзя?

– Ты свои думы оставь при себе и спрячь поглубже – это мой тебе совет. Не исповедуй такие взгляды! – сурово отрезал глава делегации.

После этого ни в одну делегацию меня уже не включали. Неудобным, так же как и Алекси, стал человеком Отелло. Тогда я решил съездить сам в туристической группе от театрального общества в Монте-Карло и угодил прямо в казино князя Монако, где в азарте игры проиграл скудные свои франки. Это стало предметом широкого обсуждения, вернее осуждением по возвращении в родные края. Охота отпала куда-либо ездить, да и перестали характеристики подписывать – лучше не связываться с неугодными, чего доброго запятнают. Осторожные у нас люди, хотят жить спокойно, кому нужны лишние хлопоты, разве они не правы? Зачем у них за других должна болеть голова, своих забот и тревог предостаточно. Они, главное, уверены в том, что у них безупречное поведение и что деятельность их направлена на благо людей, а что на обратной стороне медали... об этом лучше умолчать.

Звуки потрясений в мегафоне старого дупла

Странное дело, чем больше мы стали бездумно повторять «дружба, дружба», тем меньше тепла от этого чувства. Видно, надо меньше об этом говорить и больше подтверждать ее добрыми делами, вниманием, чтоб не погасло пламя в очаге дружбы, чтобы теплом этого очага пользовались все поровну. Связующие нити у братства весьма тонкие и хрупкие, они требуют бережного обращения, чтобы ненароком не задеть их и не нанести обиду. Чем больше мы стали подчеркивать, кто к какой национальности, народности принадлежит, тем больше разграничений, отчуждений. Вдумайтесь, раньше у горских народов не было такого словосочетания «какой национальности?» Попробуйте произнести такое вслух, видите: не получается, странно, не пожитейски звучит.

Мне кажется, не все следует отвергать из прошлого. При встрече на горной тропе путники спрашивали не о национальности, а просто «Из какого ты аула и чей ты сын?». И только убедившись, что тот сын порядочного родителя, находили общий язык. А в наше время так и слышишь: «национальность», потому, видимо, что у нас должности распределяются представителям того или иного народа, да, да, не по достоинству и умению, а по принципам национальной принадлежности. Из-за этого и всякие курьезы.

Явился вечерком начальник вытрезвителя и вызвал дежурного лейтенанта.

– Ну, как дела? – спросил он.

– Все спокойно под горой Пушкина, товарищ капитан.

– Сколько?

– Что?

– Сколько попалось?

– Семеро.

– Всего?

– Да.

– Ну-ка книгу записей...

Лейтенант положил на стол книгу записей, капитан от-

крывает и видит три красненьких банкнота, смотрит исподлобья на лейтенанта, тот поймал муху в кулак и подставил к уху.

– Жужжит...

– Что?

– Жужжит, мерзавка, со вчерашнего дня ловлю, только поймал…

Капитан сунул деньги в карман и вглядывается в запись.

– Как? Это что же такое?

– Где? – склоняется растерянный лейтенант.

– Вот здесь!

– Графа «национальность»...

– Я вижу, что, все семеро?

– Да, товарищ капитан, все...

– Непорядок, товарищ лейтенант.

– Документы я сам проверял, все верно.

– Непорядок!

– А что вас смущает, товарищ капитан?

– Нет, за это вас по головке не погладят.

– За что?

– Все семеро даргинцы?

– Так точно, даргинцы.

– Непорядок! Машины готовы?

– Так точно.

– Немедленно выехать всем группам во все стороны, найти трех-четырех аварцев, двух-трех лакцев, одного-двух кумыков и хоть полтабасаранца. Понятно?

– Никак нет, товарищ капитан.

– Какая главная особенность нашей республики?

– Скотоводство.

– Ошибаешься, лейтенант, главная особенность нашей республики – это, это...

– Виноградарство.

– Нет, много...

– Неужели многоженство?

– Многонациональность.

– Так точно.

– Если так точно, что у нас получается? Одни даргинцы – пьяницы, остальные не пьют что ли?

– Все пьют, товарищ капитан.

– Так какого черта в многонациональном коллективе вы ухитрились изловить только даргинцев? Это же грубейшая политическая ошибка! Понимаешь, лейтенант, чем это пахнет?

– Так точно!

– Вот и исправляйте свою ошибку! Немедленно!

– Есть немедленно! – выскакивает из кабинета обескураженный лейтенант.

И в ту же ночь была исправлена ошибка в национальном вопросе, которую могли истолковать как искривление линии. А колебаться в линии можно только вместе с линией, иначе обвинят в узконационалистических проявлениях. О схожем времени говорил Омарла Батырай:

Будь неладен этот свет...
Что за подлая пора!
Сокол дохнет на руке,
Мясо ж вороны едят...

Жена моя, Меседу, чаще я ее называю «дочь пасечника», не могла не видеть, что вокруг происходит. Ничтожные и примитивные люди верховодят, учат как жить и что делать и, главное, правильно учат, но сами не следуют своим нравоучениям, будто, вырвавшись наверх, оказались вне закона и все им позволено. Как это у поэта – сына сапожника? У сапожника Ашурали был сын – поэт Наби. Природа щедро одарила Наби талантом. Писал он проникновенные стихи о любви, о чистоте человеческих чувств, о доброте. А сам вел бесшабашную жизнь, гулял и пил, возвращался поздно, водил дружбу с сомнительными людьми. Отец беспокоился за сына. И вот однажды, обращаясь к нему, Ашурали говорит:

– Слушай, сынок, отца своего. Ты вот пишешь стихи...

– Да, отец, а что, они разве тебе не нравятся?

– Нет, почему же, стихи хорошие. Они учат людей доброте, чистоте, порядочности. Вот если и ты бы сам следовал этим советам, куда спокойнее было бы у твоего отца на сердце.

– За меня не тревожься, отец, – ответил Наби. – Вот ты сам скажи мне, отец, разве сапоги, которые ты шьешь днем и ночью, разве их все ты сам носишь?

Прохвосты в роскоши живут, чуть ли не каждый день хинкалы с грудинкой или курзе-пельмени, а моя семья даже в месяц раз мясо не видит, порой бывает и хлеба не хватает. Сердилась жена, сердился и я, будто в бедности нашей она виновата. Ссорились и тут же мирились, что нам оставалось делать. Мне показалось, будто подобные люди появились на свет, чтобы омрачить, исковеркать мое будущее и настоящее.

– Они, знаешь, что говорят... – обратилась однажды ко мне дочь пасечника, я чинил свой транзистор.

– Что? – спросил я.

– День, когда не заработал пятьдесят или сто рублей, – считаем потерянным днем.

– Это же моя месячная зарплата! – воскликнул я, да было чему удивляться. – О, нравы... – я ругнул себя и заодно жену свою.

– Да. Наглые и грубые они люди. Такой кусок хлеба у честного в горле застрянет.

– Комбинаторы, они превзошли Бендера Остапа Ибрагимовича. Друг друга обманывают и вместе грабят государство, дорогая ты моя, дочь пасечника. Не хочу, не хочу я есть ворованное, я честно хочу прожить, понимаешь ты, черт бы их побрал.

– А вчера ты друзей пригласил, требовал от меня угощения. Откуда я их возьму? – вполголоса сказала жена, пытаясь скрыть раздражение.

– Ты прости. Какие они мне друзья! – признался я.

– Не водись с ними. Забыл, как на меня кричал?! – все помнит моя жена, несчастная она, переживает за нашу семью.

– Прости, харахорился, был навеселе... – мне стало неловко. – Ты жена моя, радость моя. Понятливая ты моя, – и я поцеловал ей руку, она всегда ведь относится ко мне с нежной заботой.

– И, пожалуйста, прошу тебя, не приводи больше в дом этих пьяниц, – попросила она меня.

– Но среди них был мой друг, – выпалил я как бы в оправдание.

– Трезвым, пожалуйста, на чай с медом.

– А что мне делать? Когда я бываю у них, глаза разбегаются от яств. Щедро угощают.

– Если еще раз они появятся, я спущу их с лестницы, так и знай, – пригрозила жена, краснощекая дочь пасечника.

Из деликатности я промолчал, нет, не зловредная же она. Да я думал, это пустая угроза, но она так и поступила. Эти торгаши явились, когда я был на репетиции. Мне казалось, жена моя громкого слова людям не скажет. Видимо, велико было ее раздражение, если смогла бросить им в лицо:

– Оставьте мою семью в покое... Чтоб ноги вашей больше у нас не было! Из-за вас не стало у нас в доме бараката (доброты)! – с метлой кинулась на них дочь пасечника.

Растерянные, раздосадованные убрались они восвояси. В этот день, когда я одолжил у Навруза копейки на скудный обед, получаю телеграмму. От кого бы вы думали? От Алекси, кажется, из Узбекистана из какого-то кишлака неподалеку от Каттакургана. Он просил выслать ему сто рублей и сетовал на то, что задолжал эту сумму одному узбеку, а тот в залог взял у Алекси членский билет Союза писателей. Я в сердцах порвал эту телеграмму и выбросил: нашел у кого просить деньги. Кто бы мне дал эту сумму, чтоб я мог порадовать свою семью! Вернувшись с работы, я сказал жене об этом.

– Надо бы послать... – неожиданно для меня молвила моя сердобольная Меседу.

– Надо бы, но где достать сто рублей? – беспомощно развел я руками.

– Может, я у тети попрошу? Надо же человеку помочь... – с готовностью отозвалась дочь пасечника.

– Может, выкрутится, – тихо молвил я и вышел во двор. Вот так мы жили тогда.

Шел я по тихой улице, как услышал визг тормозов, обернулся, рядом остановилась машина.

– Эй, Отелло из Баршамая! – Амир-Чупан сидел за рулем нового «Москвича» с перламутровым отливом.

– Купил? – я пожал его руку, высунутую из окошка.

– Да, я же тебе сказал. Жаль только «Волгу» не достал. Опередил насчет «Волги» меня отец Мустафы, зав. импортной базой. Садись, прокатимся на берег к камням нашим, – предложил он, я немного замешкался, вспомнив разговор с женой.

– Не помешаю? – обратил я внимание на двух девушек, сидящих на заднем сидении, губы у них были накрашены синей помадой. Какие только цвета не используют нынче девушки, порой так обезображивают свои лица, что узнать бывает невозможно.

– Садись, садись, они не укусят, – весело бросил Амир-Чупан.

– Если обидите, еще как укусим! – шаловливо отозвались синегубые.

И я сел, некуда было деваться. Чувство одиночества стало одолевать меня. Слабовольный я человек, не мог отказаться. Подсознательно я искал с этими «друзьями» встречи. Вскоре нагнал нас и Мирза на своем «Запорожце» пожарного цвета. И в разговоре на живописном берегу я узнал, что Алекси, оказывается, послал такую же телеграмму и Амир-Чупану, и он уже выслал ему денег.

– Да, поэт наш, видимо, попал в серьезный переплет. А почему не помочь человеку, когда в состоянии? – важно и самодовольно проговорил Амир-Чупан. Мирза что-то недовольно проворчал, вроде: «Если он человек!»

– А знаешь, Отелло, что он мне прислал?

– Что? Узбекский халат с кушаком?

– Да нет, понимаешь, двести строк стихов.

– Стихов? – удивился я. – Зачем?

– Писал, что, мол, это на сто пятьдесят рублей, когда опубликуют в газете... просит оставшиеся пятьдесят еще дослать ему.

– Нет, этот человек не умрет своей смертью, помяните мое слово, – злорадно усмехнулся Мирза.

– Да забудь ты, не держи зла... – похлопал его по плечу Амир-Чупан. – Забавный он малый. И такие люди должны жить среди нас, чтоб не было скучно! А вот что я с его стихами буду делать, не знаю. В редакцию я не понесу.

– Дай я отнесу… – спохватился я, как бы желая хоть этим искупить вину перед Алекси.

Я взял у него тетрадь в линейку, исписанную стихами, развернул и читаю, первое стихотворение называлось «Отец и сын».

– Ой, стихи, читай, читай... – попросили меня девушки, бесцеремонно прижавшись ко мне в модных, почти прозрачных купальниках.

Ветвистой молнии зигзаг
Над морем полыхнул.
И снова беспросветный мрак
И волн кипящих гул.
Ярится злобная вода
Под ветра страшный вой.
И сын кричит отцу: «Беда!
Погибнем мы с тобой!»
«Греби, сынок, сил не щади,
Тебя невеста ждет,
Желанный берег – впереди.
Гляди смелей вперед!
Вот если в свадебном пиру
Не хватит вдруг еды,
Тогда я со стыда умру
От этакой беды!»
Сын посмотрел на старика:
Смеется иль всерьез?
Но за весло взялась рука,
И было не до слез.

Он вспомнил блеск любимых глаз
И нежный голосок.
... Потом потрепанный баркас
Уткнул свой нос в песок.

– Ой, как здорово! – воскликнула белолицая, небрежно слегка обнажив грудь и перехватив наши любопытно-удивленные взгляды, тем самым как будто бы была удовлетворена привлеченным к себе вниманием.

– Хорошие стихи... – одобрила смуглянка и, пытаясь пресечь откровенную уловку подруги, поправила ей бюстгальтер.

– Да, Алекси талантлив... – высказал я.

– Ты думаешь напечатают? – уставился на меня Амир-Чупан.

– Обязательно...

– Кому нужны его стихи? – пренебрежительно бросил Мирза, обнимая смуглянку: – Вот она, моя поэма любви...

Амир-Чупан выхватил у меня тетрадь и поспешно сунул во внутренний карман пиджака.

– Я сам отнесу в редакцию и попрошу хотя бы по рублю за строку. Слушай, Отелло, – вдруг проникся он ко мне участием. – Смотрю я на тебя, мыкаешься ты с этим театром.

– Что делать, друг, судьба, видимо, такая, – отозвался я.

– О чем ты... Судьба. Судьбу надо брать как быка за рога!

– Что ты этим хочешь сказать? – мне стало не по себе… от его покровительственного тона. Казалось, он понимает все сложности жизни актера и готов дать рецепт.

– Человек ищет где лучше, а рыбы – где глубже.

– Знаешь, Отелло, что они могут тебе предложить? – замечает Амир-Чупан, глядя на резвящихся в воде девушек.

– Что?

– Перейти в нашу систему.

– В торговлю что ли?

– Да.

– Я же в этом деле ни «бе» ни «ме».

– Есть теплое место на рынке. Хозяин там – дядя этой белокожей девушки.

– Что же это за должность?

– Контролерская. Сможешь перепродавать фрукты и хорошие деньги получать. Принцип простой: покупаешь подешевле – продаешь подороже. И навар на джабар[1].

– Но ведь это нечестно!

– Честно, нечестно... Жить надо, все так живут, начиная с самого главного. Он же сам сказал, никто у нас на одной зарплате не живет! Бывало, когда разгружал вагоны, я два мешка по назначению, один – себе домой доставлял. Так-то вот.

Амир-Чупан высказал все свои житейские мудрости, он считал себя самым практичным и умным.

– А если за руку поймают?

– Поймают – не беда. Ты покайся, скажи, не хотел заниматься, родственники понавезли яблок, не выбрасывать же их. Пожурят и все дела. В худшем случае друзья выручат. У нас их много. Будет сто друзей на высоких должностях, а уж сто рублей заведется! Их надо чтить и уважать, – деловито разъяснил Амир-Чупан.

– И буду жить припеваючи, да? – горько усмехнулся я.

– Именно, дорогой Отелло, будешь в достатке, все тебе будут кланяться. Помнишь, что Насредин сказал: «Каждый божий день я теряю по сто рублей из-за того, что у меня нет денег».

– Что хорошего в театре? Выходишь на сцену, паясничаешь, смешишь людей, – поддержал своего компаньона подкравшийся ко мне Мирза. – На твоем месте другой бы согласился, не раздумывая.

– О театре, прошу вас, не говорить вслух. Вам его не понять...

– Ну, сколько ты получаешь в месяц?

---

[1] На пол.

– Что получаю, все мое, – парировал я.

– Честным хочешь остаться? Нищая честность – смешна.

– И честь мою не трогайте, – мне стоило трудов, чтобы не взорваться. Они назойливо лезли в мою душу, теребили самое больное место своей нездоровой заботой и соблазнами.

– Сколько за месяц получаешь – будешь иметь за день. Мы тебе добра хотим. А ты! Э-э. Да что с тобой говорить, деревенщина.

– Спасибо, братцы, но такое богатство мне не нужно.

– Пожалел бы жену свою. Будь у нее деньги, она бы не лаяла на людей, – проворчал Мирза. – Не догонишь и добрым конем того, чего нет.

– Ты, Мирза, жену мою не трогай! Прощайте, ребята, не хочу я с вами ссориться. Спасибо за угощенье, – поднялся я и ушел, а вслед мне неслось:

– Катись, катись... Себе добра не желающий другим его не сделает! И правильно говорят люди: бог всем отпустил поровну, да не все могут взять. А как – неважно.

«Ничем не гнушаются, сволочи» – подумал я, уходя как оплеванный. Такое было чувство, будто споткнулся и в дерьмо угодил лицом. Однако после этого долго меня не покидало, назойливо преследовало искушение – бросить театр и перейти в торговлю. Поделился как-то я об этом с Наврузом, которому верил как самому себе. К моему удивлению, он и не возмутился.

– А что, дельное предложение, – отвел он взгляд, исполненный грусти.

– Что? – не поверил я. – И это говоришь ты!

– А чему ты удивляешься? Нечего пялить на меня глаза, – рявкнул он.

– Я поражен. Ты, который отметал альтернативы, не желая уйти из театра. Я же на тебя надеялся! – И пошатнулась во мне в эту минуту клятвенная вера.

– Эх, друг, мечты у нас были, надежды, желания... Все коту под хвост. Оказывается, мы вообще никому не нужны.

Разочаровался я, друг. Жить не на что, дома – скандалы, – с неизбывной тоской в голосе проговорил он.

– И у тебя? Выходит, не один я терзаюсь безденежьем!

– Я скрывать устал. И все из-за нашей бедности. Это о нас сказано: «Человек мечтает, судьба смеется».

– А как же с нашей клятвой?

– Какая к черту клятва! – не узнавал я сегодня нашего оптимиста.

– Ты что, ты забыл?.. Вспомни нашу клятву перед могилой учителя учителей Масропа Маштоца на Матенадаране... На коленях перед прахом старца стояли.

– Все в прошлом, а что в будущем? Я изверился. Знаешь, что в цене сейчас?

– Что?

– Ложь, обман, угодничество, карьеризм и очковтирательство. Искусство – на самом последнем месте, на пустыре, куда выбрасывают мусор.

Это он о нашем убогом театре. Хвали и не смей критиковать пороки. Увидел – лучше бы ослеп, испытал – лучше бы погиб.

Да, такое мог сказать мой друг только в глубоком отчаянии.

– Ты знаешь, Навруз, что порой мне хочется? – после долгого молчания спросил я.

– Что? – устало выдавил он.

– Убежать, скрыться, отгородиться от всего в какой-нибудь пещере в ущелье Конгожи.

– Это можно. Но от собственных мыслей не убежишь, они все равно будут колоколом бить в виски – в пещере ли ты или в дупле дерева.

– Думаешь, лучше остаться и завидовать полоумным, примитивным и ждать их жалости да снисходительного внимания? Противно. Плюнуть на все и вернуться в аул... работать на поле, в саду?

– Не сможешь. Теперь ты не тот, не сможешь.

– Почему?

– Потому что Ереван в памяти, Вартанян и его наставления... И я, скажу, не раз думал об этом... не в силах.

– Что же делать?

– Прощай, прости, театр... Прости, мир иллюзий... Нет ничего прекрасного на земле, все опошлено...

– Борьба?

– С кем бороться-то, со стеной... она железобетонная со смешанным санузлом на темени... Жить хочу, не думая о хлебе. Унижаться не хочется, человеческое достоинство ронять. Обидно и досадно, друг, театры гибнут...

У нас был славный театр в Дагестане, можно сказать самый первый, на общественных началах – Кумыкский театр. Он существовал еще до революции, а после революции он стал настоящей школой для зарождающихся театров других народов Дагестана. У этого театра уже сложились свои традиции. Многие десятилетия не сходит с его сцены спектакль «Айгази», он всегда в репертуаре – это что-то да значит. В последние годы Кумыкский театр отошел на второй план, потому что настали времена, когда было решено сделать первым театром Аварский. Все внимание уделялось ему, его коллектив выпячивали, выдвигали, поднимали. Да, не только в театре происходило такое, но и во всей культуре многонациональной республики: одни получали все, другие – ничего. На фольклорном фестивале народов в Польше вдруг первый приз «Золотой топорик» получил Акушинский фольклорный ансамбль; тут же стали подражать, вытащили из сундуков старинные обряды.., а «Золотой топорик»-то один. Оригинал есть оригинал, репродукция – это уже совершенно другое дело. Вот так Кумыкский театр ушел на задний план, Аварский не проявился, Русский театр, можно сказать, потерял свое лицо, а Даргинский давно пора отдать в реанимацию.

– Зря, зря, ты отчаялся, прошу тебя, больше ни слова. Не вводи меня в искушение, давай, друг, забудем навсегда этот разговор.

И мы с Наврузом молча направились в наше кафе, где

можно выпить стакан доброго вина и обуздать бессильную ярость.

Больше мы не возвращались к этой теме. Но мы понимали в глубине души, что покачнулось то доброе светлое, что в нас было. Залив вином свои навязчивые мысли, Навруз молча попрощался со мной и ушел.

В кабину вошли двое, одного из них я сразу узнал, это был отец Мустафы – Алхилав – директор импортной базы, а второй – не знакомый мне человек, и стал я невольным слушателем их беседы. Запомнил я ее чуть ли не дословно.

– Простите, как вы сказали ваша фамилия? – спросил незнакомец каким-то загадочным тоном.

– Кардашев, – ответил Алхилав, пристально глядя на гостя при тусклом свете.

– Имя?

– Алхилав. Алхилав Кардашев.

– И вы всегда были Кардашевым?

– Это вас очень волнует?

– В данный момент, да. О чем-нибудь говорит вам фамилия... Юлдашев?

– Не слишком ли интересуетесь вы моей персоной? Впрочем, я не скрываю: Да, Юлдашев Омар – комиссар полка Московских курсантов, боровшихся в Дагестане с контрреволюцией, был моим отцом.

– И что с ним стало?

– То же, что и с остальными борцами за Советскую власть. Горжусь я своим отцом, хотя называться мне его сыном в глубине души стыдно и позорно.

– Почему?

– Потому что меня вынудили отречься от честного имени отца и заставили петь песни об отце Сталине.

– Да, грустно...

– Еще бы... Не таким человеком хотел видеть меня мой отец.

– Вы чем-то недовольны в жизни? Говорят, вы – богатый человек и ни в чем не нуждаетесь. Миллионер...

– Миллионер – не миллионер, разве в этом дело? Во

мне убили нормальные, естественные гены добропорядочности, ущемили человеческое достоинство... Видите, даже фамилия у меня другая, хотя Кардашев – Юлдашев почти одно и то же. Уничтожив во мне честное, доброе, вселили почти все пороки, против которых боролся мой отец. Ложь, обман, притворство, ханжество, лицемерие... Да, я лгал и обманывал, чтобы учиться, чтобы клыками вцепиться в жизнь. Лучшие люди общества были расстреляны... И вряд ли эти гены будут скоро восстановлены.

– Однако вы слишком откровенны...

– У меня холодное, опустошенное и расчетливое сердце... Я ничего и никого не боюсь!

– Отец реабилитирован?

– Да, меня об этом недавно известили и, скажу вам, это сообщение избавило меня от крупных неприятностей... Реабилитация отца помогла мне остаться директором импортной базы.

– Вы коммунист?

– В душе нет, только ношу билет, чтобы работать на этой должности. А работа, я скажу, доходная, зарплата – копейки, зато когда я делаю подлоги, перепродажи и пользуюсь законом: «Я тебе, а ты мне вдвойне», то немалые деньги плывут. Как видите, отца превратили в мошенника и негодяя, потом реабилитировали, чтобы его трагедия оправдывала проделки сына.

– А кем хотел видеть вас отец?

– Он хотел вырастить из меня художника. Да, в детстве проявились во мне эти задатки.

– Знаете, товарищ Кардашев, зачем я приехал? – гость открыл портфель и достал оттуда сверток.

– Что это?

– Это все, что осталось в документах отца, здесь именной портсигар, трубка, орден...

– Спасибо. А теперь прощайте, оставьте меня, – сказал, изменившись в лице, Алхилав, дрожащими руками развязывая узелок.

Гость ушел, кивнув в мою сторону, а Алхилав долго

сидел в одиночестве. И я слышал всхлип, переходящий в рыдание. Он много выпил, шофер с трудом отвез его домой. Я удивился: оказывается, и такие люди плачут.

Камень преткновения теснит душу

Сидели мы с Наврузом как-то раз в парке, на скамейке, в тени Лермонтовской акации. Навруз опирался на палку и жаловался на боли в ноге и голове.

– Черт знает что со мной случилось. Помнишь, я за реквизитом поехал, машина в горах застряла, бензин весь вышел. Морозно было, а я – без пиджака и шапки. Видно, тогда и простудился.

– К врачу обращался?

– Да, там в ауле... да что эти желторотые врачи понимают, нормально рецепт выписать не могут, дал тройчатку и все!

– Надо, друг, к хорошему врачу тебе пойти.

– Что-то я скис. Некстати эта болезнь, – с какой-то безысходностью молвил Навруз.

В это время прибежал бледный и крайне встревоженный Хайдар – актер второго выпуска. Присел он рядом, а когда отдышался, сказал:

– Где вас носят черти? Ищу, ищу... Беда, ребята!

– Что еще за беда?

– Нашу Исиду с петли сняли.

– Она жива? – вскочили мы.

– Да, но плохо ей…

Мы поспешили вслед за Хайдаром в сторону дома Исиды. Да, не повезло бедняжке в жизни, хотя была она уже признанной актрисой Даргинского театра. Из-за своей дикой любви она решила наложить на себя руки. Стоит ли этого сын директора импортной базы Мустафы? Что же могло случиться?

В прошлый раз, когда, не перенеся долгой разлуки,

Исида заболела, оказалось, Мустафа не был виновен. Неожиданно выпала путевка, и он выехал с туристической группой на Ближний Восток, попросив друга сообщить Исиде об этом. А друг его в автокатастрофе погиб, вернулся Мустафа, подарки для Исиды привез, и желанная встреча их была наградой за муки.

Когда мы учились в Ереване, в Исиду влюблялись я и Навруз и тайно лелеяли надежду на взаимность, но стоило нам заикнуться, как тут же она обезоруживала: «Ну что вы, ребята, вы же мне как родные братья».

Мы знали тогда, что чуть ли не каждый день она писала кому-то любовные письма, может тому же Мустафе. Но ни разу мы не видели, чтоб она читала ответные послания. Конечно, для наших мест имя Исида было редкостным, Исида – это любимая жена мудрого и справедливого бога Осириса, помните иероглифы:

«Я тебя обожаю, Осирис мой бог», – сказала первая в мире Исида.

«Я люблю тебя, Исида», – сказал Осирис.

«Мне более никто не нужен», – сказала Исида.

«И мне», – сказал Осирис.

«У человека должна быть одна жена», – сказала Исида.

«И один муж», – сказал Осирис и сделал это божественным законом.

Да, безумно любила Мустафу наша Исида, неужели любовь ослепила ее и не угадала, кого она любит? И не потому ли она так проникновенно выражала любовь Дездемоны, любовью своей на сцене укрепляя дух; как она искренне и пылко говорила:

Я полюбила мавра, чтоб везде
Быть вместе с ним. Стремительностью шага
Я это протрубила на весь мир.
Я отдаю себя его призванью
И храбрости и славы. Для меня
Краса Отелло и в подвигах Отелло.
Мой жребий посвящен его судьбе
И мне нельзя в разгар его похода

Остаться мирной мошкою в тылу,
Опасности милей мне, чем разлука,
Позвольте мне сопровождать его.

О том, что Мустафа поступил с ней как последний мерзавец, совершив неслыханную подлость, узнал я от тех, кто возвращался, повидав несчастную Исиду. Отец Мустафы – Алхилав – пришел чуть ли не в бешенство, когда сын сообщил ему о своих намерениях:

– Что я слышу, ты, мой сын, хочешь жениться на актрисе? – угрожающе напустился он.

– Да, отец. Я люблю ее.

– Не смеши отца своего.

– Отец, я без ума от нее.

– Это я вижу... вижу, что ты безумец, но не спеши окончательно стать идиотом.

– Я не понимаю, отец...

– Разве мужчина говорит о любви? Разве это достойно носящему папаху? Любовь... Смешно. Любовь – утешение неудачников, выдумка интеллектуалов.

– Это высокое чувство, отец! – робко возразил сын.

– Хабары[1] для легковерных, а ты уши развесил. Глупо. Ты, мой сын, должен быть выше этих низменных порывов... Есть мощь – есть сила, есть сила – и любая у твоих ног... – он поверг его.

– Это же насилие! – с ужасом прошептал он.

– А как ты думал... Любовь на то и любовь, чтобы добиваться ее. Не забывай, чей ты сын!

– Сын директора базы, – молвил вполголоса Мустафа.

– Бери повыше – импортной базы, – со свойственным ему высокомерием повторил отец.

– Ну и что...

– А то, мне кланяются и секретари, и председатели... За честь почитают со мной поякшаться. Я уже выбрал для тебя невесту – дочь министра...

– Какого министра, отец, зачем так высоко?

---

[1] Сказки.

– Ты что, Зарему не помнишь? Мы вас вместе в Артек посылали...

– В Артек?

– Ну да, я сам вас возил туда.

– Зарему? Эту толстушку?

– Вот именно... Народит она тебе дюжину детей. Видел, видел я твою актрису, пигалица дохлая!

– Но я не люблю Зарему, отец, – бескровным стало его лицо.

– Зарема будет твоей женой, а любить можешь других, никому это не запрещено. Лови, – подбросил отец связку ключей, Мустафа ловко ее поймал.

– Что это за ключи?

– Ты же просил.

– Неужели «Волга», отец? – вдруг переменился в лице сын, и вмиг улетучилась вся его тоска. Отец знал, чем его купить.

– Да, сынок, это от «Волги».

– Спасибо, отец, а где она?

– Выгляни в окно, цвет-то какой, будто кусок неба упал к нам во двор! – отец подвел сына к окну.

– Я пойду, – чуть не взвизгнул от счастья Мустафа.

– Иди и запомни: женой твоей будет Зарема.

– Зарема так Зарема, – крутя на пальце ключи от новой «Волги», Мустафа выбежал из гостиной, охваченный радостным волнением.

Вот так, оказывается, все можно купить и продать на этом свете. Вспомнил, в рыбацком хуторе Турали объявилась невероятной красоты девушка. Люди мечтали хоть раз на нее взглянуть... Природа щедро одарила эту девочку всеми прелестями. Художники по памяти рисовали ее, но ни одна искусная картина не выражала всей красы Мумины, дочери простого бондаря. Все так и глазели на нее. Так среди цветов на альпийском лугу самые красивые обречены: их первыми срывают, среди косуль попадается порой восхитительный экземпляр с красными рогами, он и становится первой жертвой. И судьба этой девушки оказалась

сродни сказанному. Ее изнасиловали, облили бензином и сожгли сынки высокопоставленных чиновников.

И что же? Нашли всех, один из них был братом жены хваленого, уверенного в своей безнаказанности хакима. К восьми годам приговорили, но и одного дня в тюрьме он не отсидел, отдыхал себе на берегу, кутил с друзьями, вскоре этот баловень судьбы стал директором совхоза и через год был награжден орденом Трудового Красного знамени.

Протоколы суда фальсифицировались, выступления свидетелей перекраивались как угодно, а угодники шли вверх по ступенькам карьеры, а потом кубарем летели вниз, когда становились обузой или нежелательными свидетелями вершителям судеб. Сколько их, поднимавшихся и падавших, тянувшихся как мотыльки на свет и сгоравших в пламени! Опыт горьких разочарований не научил людей благоразумию.

Что случилось с Исидой, я во всех подробностях узнал от своей жены, которой сердечно доверяла актриса – они дружили. Мустафа, которого мы уважали, верили в его добропорядочность, повел себя как отпетый подлец: на своей «Волге», ради которой он предал любовь, выехал с Исидой, любимицей даргинского зрителя, в живописное ущелье Конгожи и там соблазнил ее, обещая жениться. Через неделю Исида узнала, что Мустафа женился на дочери министра, на толстушке Зареме...

Так была искалечена чистая, наивно-доверчивая душа. С того дня Исиду, веселую, всегда жизнерадостную, одаренную, будто подменили, ее было не узнать. Стала пугливой, неразговорчивой. Растеряла свой талант, вернее охватила ее апатия, замкнулась она в своем горе.

– Доверчивая она, как ягненок, – заметил я.

– Она имеет полное право отдать его под суд, – возмущенно выпалил Навруз, аж покраснев до ушей от гнева.

– Кого? Мустафу?

– А что, он – неподсуден?

– Да если и подаст, кто за нее заступится?

– А мы для чего, она – наша сестра?!

– Наивный ты человек! – воскликнул я. – Что, не знаешь, кто его отец? Да он купит любой суд с потрохами. Ты и не ведаешь, чем ворочает этот толстосум. Сколько жертв на его совести!

– Громко не говори... От этого одни неприятности. Не дай, друг, себя втянуть в это.

– Сколько же можно молчать?

– Не знаю, друг.

– Люди догадываются, что их дурачат...

– Все обо всем знают, но молчат. Боятся люди этого человека. И поэтому вокруг него хороводят всякие угодники, подхалимы, прилипалы... цепные псы, готовые растерзать того, на кого укажет Алхилав. Сколько же бед можно было бы предотвратить, если бы люди не молчали.

– А ты не боишься?

– Ты знаешь, оказывается, человек и бояться устает. Это же мафиози хуже сицилийского. А ты знаешь, кто Мустафа, этот вельможный сын?

– Кто?

– Анашист.

– Ты же не докажешь это...

– Да, могу только срок отхватить за клевету или угодить в сумасшедший дом, как тот сержант милиции, который хотел изобличить капитана в его связях с уголовниками.

– Ты молчишь, я молчу, он молчит, а кто же вытащит человека из омута? Да, страшно... Лучше бы я в чабаны пошел, как велел отец, чем думать обо всем этом и грызть себя в бессилии... Пошли, во сколько у нас репетиция?

– В шесть вечера.

– А помнишь сапожника Лукмана, что на углу стадиона в будке – этот из рода тех известных революционеров, которых в тридцать седьмом... на берегу... Он не выдержал и стал, на чем свет стоит, поносить Сталина... вокруг толпа собралась. И милиционер, конечно, тут как тут. Схватил его за ворот стеганого бешмета... Одна женщина сжалилась и говорит: «Что вы делаете, отпустите его. Не видите, он же

того... тронутый». Милиционер, поглаживая густые усы, буркнул: «Какой же он тронутый? Все правильно говорит...» Люди рассмеялись, а сконфуженный милиционер, отпустив беднягу, поспешил ретироваться, чего доброго... Так что будь осторожен...

И мы в раздумье, озадаченные побрели в сторону театра, к которому порядком поостыли наши души. А прохожие привычно глазели на нас. Я услышал за собой: «Вот генерал Отелло идет». Какой к черту из меня генерал?! Зашли в книжный магазин и на радость находим вышедший на днях новый сборник стихов Алекси. От него самого давно нет вестей. Навруз, шагая рядом, стал декламировать стихи:

Время во дворе – копытом бьет,
Словно конь неуловимой масти.
То оно минует, то – грядет.
Оседлать бы мне, пустить его вперед,
От земной освобождаясь власти!
Бесконечны дебри бытия,
И зовет Вселенная живая
Вырваться в пространство,
Озирая
Звездные, не здешние края:
Голубеет колыбель земная -
Крохотная родина моя.
Время – конь, и на коне гонец,
Время для меня взнуздал отец,
Мать в дорогу испекла пирог –
Что ж, пора переступить порог,
Оторваться от житейских тягот,
Праздных дел и вздорных передряг...
Был необратимым первый шаг.
И качались кисти звездных ягод,
Млечного пути искрился шлак.
Взмахивая плетью – слышу свист,
Где-то рядом, в отдаленье где-то,
Конь, неукротимый реалист,
Обернулся сказочной ракетой.
И она рванулась прямо ввысь.
Время во дворе – копытом бьет.
Гулким символическим копытом.

На земле и в космосе открытом.
Время дышит – некогда вздохнуть,
Испытуя всемогущий разум,
Человек летит по звездным трассам,
Он к земле земным вернется сыном,
Чтоб с папахи
Жестом исполина
Пыль инопланетную смахнуть.

– А что, по-моему, толковые стихи, – похвалил Навруз.

– Хороши стихи. Ему легче, ему сцена не нужна. Белый лист, бумага и карандаш...

Чтоб отвлечь себя от тягостных мыслей, мы завели разговор об Алекси. Если бы вы видели, как загорается он на трибуне или на сцене при встрече с читателями, как завораживает он слушателей!

– Знаете, друзья, я, в основном, прозаик, но однажды я написал поэму, – так и слышу его голос: – Говорили мне, что удачную. Даже помню ее начало:

С отцовских рук взлетаю в поднебесье,
Он снизу мне кричит: «Расти большим!»
Хохочет сам, а мне кричит:
«Не смейся!»
Кричит: «Расти!
На случай не надейся!»
И я хочу во сне остаться с ним.
Как сладок и неодолим сон еженощный!
Он для меня как будто наважденье!
Хочу спастись во сне от пробужденья.
Нигде отца такого не найдете -
Лечу под самый солнечный венец!
Я – сын его по духу и по плоти -
Кричу: «Смотрите – это мой отец!»
Я им горжусь в младенческом полете,
Он жив, но близится конец...

Поэму эту сразу опубликовали, жена моя получила большой гонорар и сказала на радостях:

– Добрый мой, хороший мой, лучше бы ты писал поэмы, чем эту свою малооплачиваемую прозу.

Я любил свою жену и прислушивался к ее советам. И

стал сочинять стихи. Однажды после полуночи корпел я как-то над любовными стихами... Трудно давались надуманные строки о воображаемой любви к красавице по имени Серминаз, жену мою зовут Майсарат. Из-за спины она склонилась над листом и стала читать слова любви к какой-то Серминаз. Поморщилась и сказала:

– Время позднее, ложись спать. И знаешь, муж мой, ты лучше брось эти стихи... пиши свою прозу.

Мы с Наврузом на ходу прочитали еще одно стихотворение Алекси, и нам показалось, что он заглянул в наши души и угадал наши мысли:

Избегаю в стихах похвальбы.
Слишком часто заносчивым людям
Не по силам удары судьбы,
Пусть их час испытаний рассудит.
Да предстанут пред верой людской
Рядом слово и совесть поэта,
Вот тогда за протертой строкой
И останется ложь непропетой.
Вот тогда можно честно сказать
Слово дружбы, любви и прощенья.
Только вижу – опять и опять
Этот пыжится от возмущения,
Тот трясет неподкупностью строк,
Третий – в специалистах по лести.
Но пробьет испытание срок, -
Сообща убегают от бедствий.
Оттого с каждым годом трудней
Отличать за стихом барабанным
От врагов настоящих друзей,
Клятвы в дружбе от слова обмана.
Сколько масок сменило вранье,
Прикрываясь одеждой нарядной.
Правда, как ни унизь ты ее,
И в лохмотьях останется правдой.
Потому все разборчивей слух,
Все острее и пристальней зренье,
И душе одиночества дух
Ближе душных лесов заверений.
Я блуждал в них, пытаясь найти
Хоть тропинку, ведущую к свету...
Расступитесь!

Откройте пути
Правде,
Совести,
Дружбе,
Поэту.

Я не помню сабантуя, веселья без участия Навруза. Даже если его не было с нами вначале, он появлялся потом будто из-под земли самым неожиданным, загадочным образом. Однажды мы, актеры, решили навестить чабанов, чей куш – стоянка – находился чуть ли не у самого берега, Навруза не нашли. Он и не знал о наших намерениях. Чабаны слышали с утра до вечера блеяние овец, скучали по человеческой речи. И в честь гостей они зарезали барашка, выбрали мясо для шашлыка, остальную часть бросили в котел варить. Только вытащили печенку – я очень ее люблю, налили по рюмочке и, приветствуя щедрость гостеприимных чабанов, подняли рюмки, как вдруг услышали крик со стороны моря:

– Эгей, эге-гей! Постойте, не спешите, черти вы этакие. Налейте и мне!

Из моря выходит в одних трусах Навруз. Ни дать ни взять – Черномор. Мы не поняли, как он очутился здесь, и от удивления ахнули.

– Откуда ты?

– Не видели что ли, из моря.

– Но откуда ты знал, что мы здесь?

– Не знал.

– А как же...

Все объяснилось очень просто. Искал нас – не нашел. Выбрался на берег, сел на катер и помчался вдоль берега. Увидел чабанский куш, направился к нам.

В метаморфозах и переменах что-то сокрытое

Ушел я из театра. Парадоксально, но факт. Я расчленил свое «я» от театра, как хирурги – сиамских близнецов.

Ждал, что Навруз раньше меня совершит такое предательство, но он остался, а я взял да и рассчитался. Обидно было, что он меня не уговаривал, не удержал. После моего ухода мы редко стали встречаться с ним. И знаете, куда пошел Отелло работать? Не поверите. Отелло работает в шашлычной у входа в городской рынок. Правда, оживленное место, здесь же рядом и автостанция, так что люди из разных мест прибывают и убывают. Запах жареного мяса кого не привлечет (если, конечно, человек при деньгах)? Первые дни мне было стыдно, краснел и заодно со мной бледнел черный Отелло, вспоминая сцену:

Прощай, покой! Прощай, душевный мир!
Прощайте, армии в пернатых шлемах,
И войны – честолюбье храбрецов,
И ржущий конь, и трубные раскаты,
И флейты свист, и гулкий барабан,
И царственное знамя на парадах,
И пламя битв, торжество побед!
Прощайте, оглушенные пушки!
Конец всему – Отелло отслужил[1].

Сначала озорные ребятишки надсмехались надо мной: «Отелло – шашлычник! Отелло от лука плачет. Отелло от дыма слепнет. Где твоя Дездемона?!» Я отгонял их, но это еще больше подзадоривало их. Да что дети, и взрослые не отличались деликатностью, как могли задевали, кололи острым словом в самое сердце.

– А что, правильно, духовная пища не в цене. В базарный день – три копейки. Время насыщать плоть! – говорили люди, и я не понимал, одобряют или осуждают меня. Я-то осуждал себя.

– Да, почтенные, все как-то само собой переменилось. Раньше ценился ум, мастеровые руки, теперь торгаш в почете. Раньше после слов спекулянт, взяточник, вор, хапуга за кинжал хватались. Нынче мели языком сколько угодно.

---

[1] «Отелло» в пер. Б. Пастернака.

– Ты прав, отец, вон соседская дочь с гордостью говорит, что ее мама – спекулянтка...

– А знаете, чем занималась дагестанская туристическая группа на Ближнем Востоке? Это даже было предметом обсуждения. Погорел только председатель профкома завода, надо сказать чудесный парень. Потребовали, чтобы он положил на стол партбилет.

– А что они там делали?

– В Багдаде покупали товар, а в Дамаске продавали с наценкой…

– Правильно, надо же когда-нибудь и нам учиться бизнесу.

– А знаете, что в нашем ауле Губдене, в ауле красавиц, появились целебные промтовары...

– Что? Промтовары?

– Да, и я слышал, что появились платки от головной боли, платья от ревматизма...

– И трусы от бесплодия?

– А что ты смеешься? Верно.

– И потому, друзья, наш Отелло, именно сейчас Отелло... Жить-то надо и генералу Отелло. И куда денем Шекспира?

– Шекспира? Знаете, ребята, что случилось однажды в моем ауле на годекане?

– Расскажите, расскажите, что там с Шекспиром случилось?

– Как-то раз мой земляк попал в тяжелое положение, не знал, как быть и что делать, и вышел из сакли к людям. Подошел к почтенным на годекане и, усевшись рядом, молвил:

– «Быть или не быть – вот в чем вопрос!» – выразился в моем положении один мой друг и глубоко вздохнул.

– Какой твой друг? – удивился и хихикнул пучеглазый сосед.

– Самый настоящий, близкий.

– Это же Гамлет! Герой Шекспира так воскликнул. А ты – друг...

– Друг и есть, – сверкнул глазами земляк.

– Вах, что этот человек говорит, ведь Шекспир четыреста лет назад умер, – хлопнул себя по коленям сосед.

– Четыреста? Не может быть! – удивился на сей раз земляк.

– Да, именно четыреста, на днях в газетах писали.

– Подумать только, как быстро годы летят, – как ни в чем не бывало с досадой покачал головой земляк.

Я глотал, не разжевывая, все, что они говорили, просто старался все это не принимать близко к сердцу, а то нервы не выдержат.

И при этом разговоре вдруг вспомнил я об актере Манташеве. В Кумыкском театре он играл роли князей, ханов и беков в великолепных апартаментах, а сам жил с семьей в сыром подвальном помещении в частном доме. Не вынесла его душа. Пошел он к большому хакиму и сказал:

– Вы видели, в каких хоромах на сцене я провожу каждый вечер? Не раз видели. А после спектакля куда я спускаюсь, вы ни разу не видели?

– Что вы хотите этим сказать? – спросил номенклатурный властитель.

– Я прошу сносное жилье для семьи.

– Это личный вопрос. По личному...

– Секретарь, по личному к вам не пробраться. Прошу вас.

– А вот если бы я обратился к вам на сцене, когда вы восседали в хоромах, что бы вы сделали? – не сдавался хаким с важным видом.

– Я бы выслушал вас и послал бы туда, куда Макар телят не гонял, – со всей откровенностью ответил актер, терять ему было уже нечего.

– Что вы от меня хотите? – холодно прозвучал голос хакима.

– Вот вы своим родственникам до пятого колена...

– Простите, вы сказали моим?..

– Да, – от страха и волнения актер едва держался на ногах.

– Так они мои и есть. Если не буду о них заботиться, ты что ли окажешь честь...

– А как же Советская справедливая власть?

– Ты хочешь меня учить? Этой власти? Дерзко с вашей стороны. Советскую власть я знаю как свои пять пальцев с тех пор, как я шлялся на Буйнакском бульваре... Это власть трудового народа меня подняла, чтобы я ее защищал...

– Значит, опять в подвал? Куда деваться человеку с добрым честным сердцем?

– Из подвалов выходят настоящие люди! Идите, мы подумаем.

Видать, дерзкие слова актера задели за живое и, наконец, предоставили ему квартиру, после чего Манташев стал играть только в пьесе Горького «На дне».

Как это у Горького: «Все – в человеке, все для человека!» Некий директор совхоза вернулся недавно из Москвы, со съезда: «Да, товарищи, все для человека, все на благо человека! Я даже видел этого человека!» Хотелось воскликнуть: «Не опошляй Горького, не кощунствуй!» «Человек! Это великолепно! Это звучит... гордо!

Че-ло-век! Надо уважать человека!»

До недавнего времени всюду висели объявления «Требуется продавец книжного магазина», мало кто шел на эту непрестижную, малооплачиваемую работу. И вдруг моя дальняя родственница, та самая хохотунья баршамайская Хадижа устроилась в книжный магазин. Встретил как-то ее на улице и не узнал. Шикарно одета, на пальцах – кольца, в ушах – бриллиантовые серьги, на шее – золотой кулон-лезвие, в руках – японская сумка, одета в алжирское платье, обута в итальянские туфли, на носу – скандинавские очки, на голове – французская косынка.

– Ты ли это, Хадижа?! – воскликнул я. – Да ты как символ Интернационала!

– Не узнаешь? – кокетливо улыбнулась, подчеркивая так и эдак свою красоту и роскошь. – Здравствуй, родственник Отелло!

– Здравствуй, Хадижа. Ну как, твоя мечта сбылась?

– Какая мечта?

– Родить семерых сыновей и одну дочь.

– Ах, вот что... Сбылась мечта... родила семерых.

– И все сыновья?

– Да.

– А дочь?

– Скоро родится.

– Богато живешь. Клад что ли нашла?

– Еще какой, – она одарила меня многозначительным взглядом и шаловливо ткнула локтем.

– Где? – спросил я.

– В книжном магазине, – загоготала она.

– Что? Уже книги стали дефицитом?

– А ты попробуй достать собрание сочинений Эдгара По... Обком занимается этим распределением, а знаешь кто там завотделом? Земляк наш, – не без гордости подчеркнула она.

– И много читателей?

– Какие там читатели! – золотозубо улыбнулась Хадижа. – Не для чтения берут нынче книги.

– А для чего? – притворился простачком.

– Богатеют люди, квартиры получают, дома строят, мебель приобретают. Шкафы-то надо заполнить, хрусталь уже не в моде, хрусталем не удивишь никого.

– Все-то ты знаешь. А может быть, читает кто-нибудь?

– Некогда им, спешат урвать кусок пожирнее. Словом, если нужны тебе книги, заходи, – смилостивилась она.

– А сколько это будет стоить?

– С родственника не так дорого... Да, я слышала, что и тебе надоел духовный мир, бросил театр. Ну и правильно сделал... Прощай, Отелло из Баршамая...

Вильнула мне она своим хвостиком, как лиса на высотах Апраку, я направился в свою шашлычную, пряча глаза от прохожих.

Вам кажется, что я легко ушел из театра. Нет, друзья, это стоило мне неимоверных душевных мук, я был как загнанный зверь, метался в четырех стенах. По утрам ноги

сами несли в сторону театра, а не в сторону этой распроклятой шашлычной. Друзей своих, направляющихся в театр, провожал, украдкой утирая слезы. Ночами спать не мог, все снились мне эти пьяные уродливые рожи в шашлычной, их дешевая болтовня, среди тонны шелухи этой болтовни не найти и зернышка здравого смысла.

Слово за словом, скандал, рукоприкладство. Обрюзгшие, посиневшие от пьяного угара лица с щетиной, синяками и кровоподтеками, палец, прикушенный во рту, глаза навыкат... разорванные уши, исцарапанные носы и туловища не на двоих, а четырех опорах. Не могут иначе удержаться, земля качается под ними. Кошмар.

И еще меня поразило на новой работе то, что к концу дня при подсчете выручки обязательно в кассе оказывались лишние рубли – пятнадцать-двадцать. Это – ежедневно. Стыдно было и совестно, а что делать, не выбрасывать же. Хочешь, не хочешь – бери. Скрывал я это от жены и сына несколько месяцев, не решался купить что-нибудь им на эти деньги, а вернее всего – не хотел унижать их. Однажды соседка принесла жене сапоги импортные, ей они очень понравились, но бедняжка отказалась, сославшись на дороговизну, глаза дочери пасечника остались на сапогах. Тогда-то я махнул рукой и достал заначку. Жена ахнула:

– Откуда?

– Оттуда, – заносчиво сказал я. – Ты что, забыла, кто я? Шашлычник!

– Нет, нет, я не возьму этих денег. А вдруг у тебя будет растрата? Нет, не хочу, чтоб тебя... – она смутилась, испугалась, затрепетала.

– Да возьми же, это излишки! – настаивал я.

– За излишки тоже сажают.

– Возьми, не сажают, если всех сажать – тюрем не хватит, – усмехнулся я, желая рассеять ее настороженность.

Сапоги были больно хороши. Но мне тяжело стало, муторно на душе, будто я завяз в грязи и тянул за собой семью в эту болотную зловонную и отвратительную жижу.

Вскоре покупки стали привычными. Чем дальше в лес, тем больше дров, то бишь потребностей.

Забрел как-то раз Навруз пообедать в шашлычную; вид не ахти какой здоровый. Никогда не думал я, что такого здоровяка может сломить какой-нибудь недуг. В школе, в метании камня равных ему не было даже среди учителей.

– Эй, Отелло, четыре шашлыка... – помахал в мою сторону рукой Мирза, давая мне знать, что он явился. – Смотри, чтоб мясо не подгорело, – предупредил, пряча под стул возбуждающие напитки.

– Привет, Отелло. Привет, Навруз. Как дела? – поинтересовался Амир-Чупан.

– Помаленьку.

– Учись, учись, Отелло, заучивай роль.

Поморщился я, попросил их не напоминать о театре. Ах, что за люди! Обязательно надо задеть рану.

Я поджарил шашлыки и подсел к приятелям.

– А ты как, Навруз? – участливо спросил Амир-Чупан.

– Не важно стал себя чувствовать, – признался Навруз.

– Бросил, наверное, пить, отсюда – болячки...

– Затылок сильно болит.

– Давление. Мой тебе совет, – разливая в стакан водку, говорил усатый Амир-Чупан. – Поздно ночью, когда умолкнут голоса людей и лай собак, выйди на веранду и съешь лепестки заячьей капусты, внуши себе, что у тебя ничего не болит и ложись спать. Проснешься как младенец – я дело говорю.

– А причем здесь лай собак? – удивился Навруз.

– Тишина должна быть абсолютной, иначе....

– Иначе, если не подействует снадобье, скажешь, что я не соблюдал совета...

– Может быть и так – расхохотался Амир-Чупан.

– Ну, сколько в день припадает? – без обиняков спросил Мирза, повернувшись ко мне.

И я честно признался: рублей тридцать. Они снисходительно усмехнулись, похлопали меня по плечам.

– Мало, мало. А мог бы гораздо больше.

– В четыре раза больше, – уточнил Мирза.

– Каким образом? – поинтересовался я.

– Пошевели мозгами. Какое мясо ты получаешь? – заблестели плутоватые глаза Амир-Чупана.

– Фондовое.

– Да и то из холодильника. Знаешь, что сделал Аятолла после того, как вернулся из Парижа в Тегеран? – демонстрируя свою осведомленность, спросил Мирза.

– Что?

– Надел на женщину паранджу и запретил мужчинам есть мясо из холодильника. – Амир-Чупан опустил кулак на стол так, что стакан подпрыгнул.

– Какое же мясо они едят? – поинтересовался я.

– Парное, при тебе зарезанной по всем правилам овцы или бычка, чтоб голова скотины была направлена в сторону Мекки, понятно?

– Откуда мне взять такое мясо? – удивился я. – У меня же нет баранов.

– Эх, простота! Рядом пасутся отары! А среди чабанов и знакомый может оказаться... Так что договорись и он будет поставлять тебе парное мясо, а клиенты твои по запаху поймут, что это такое... и не поскупятся за добро ответить добром. Так поступают мастера своего дела.

– Случай в Дербенте был, – начал Мирза, всегда словоохотливый после спиртного. – Ребята, ну, ребята, послушайте же, – взмолился он.

– Слушаем, мы слушаем тебя.

– Так вот у магазина огромная очередь, шумят, галдят люди. Выходит завмаг и говорит: «Нет мяса» – «А свинина?» – «Нет» – «А говядина?» – «Нет» – «И баранины?» – «Нет». «А куда же делось мясо?» – «Товарищи, я же вам ясно говорю – нет». Но толпа не унималась. Тогда завмаг говорит: «Среди вас коммунисты есть?» Проталкивается вперед недобитый во время коллективизации, искалеченный войной, контуженный, реабилитированный человек с авоськой. А завмаг на ухо ему: «Ты коммунист, ты идей-

ный, обратись к ним, объясни им, почему нет в магазине мяса». И знаете, что сказал этот коммунист?

– Что? – заинтересовались мы.

– «Товарищи, – сказал он, поднявшись на стул, – успокойтесь, прошу вас. Дело в том, товарищи, что мы устремились вперед семимильными шагами, а скот, понимаете, немного отстал».

Смеха не последовало, все призадумались. Что и говорить, признание было горьким. Одним словом, вскоре перенял я опыт шашлычных дел мастеров. Люди с удовольствием и благодарностью едят так называемый молочный шашлык. Представляете барыши – в день почти сто рублей! А иногда и больше: это когда щедро угощаю любителей посидеть в моем заведении часок-другой, к тому же научился готовить и люля-кебабы на совесть, такие, что пальчики оближешь, с луком сладким, болгарским перчиком сочным.

Такое мне и не снилось – три тысячи в месяц! Да, ни один академик не зарабатывает столько денег! Пусть даже тысяча из трех мне останется (для спокойствия души приходится иногда угощать представителей всякого контроля и начальство, которые порой бесцеремонно вторгаются).

Жена моя теперь не ропщет, дом собираемся купить.

Через год я получил земельный участок, а через два – построил двухэтажный особняк из шести комнат. Разбил виноградник, посадил инжир, гранаты. Все здесь растет, недаром говорят: посади палку – вырастет арба. Только, сказать по правде, порой это благополучие прорезает боль о потерянном, на душе становится тревожно.

Словом, приличный дом я построил. С сожалением вспоминаю, что не послушался отца и не стал строителем. Влечет меня это дело. Не могу равнодушно пройти мимо строящегося дома, частное это строение или общественное – все равно. Застываю и с умилением наблюдаю, как камень на камень ложится, ряд за рядом и на глазах растет стена, и кажется, люди строят опоры, чтобы небо на землю не рухнуло. Встречаются, конечно, каменщики, которые и из доброго кирпича умудряются строить кривую стену,

есть мастер, что кладку из бута возводит лучше, чем из самого отменного кирпича, поди попробуй сделать замечание – обижаются, упрямятся: «А тебе какое дело!» Другие же, напротив, благодарят, они и есть настоящие мастера. Домто построил я, но не собственными руками, строителей нанял, опять, выходит, не исполнил отцовского желания.

Случается – и свеча гаснет, и очаг не горит...

Однажды, вернувшись домой, застаю жену в крайне расстроенном состоянии, бледна, слова вымолвить не может. Молча в тупом оцепенении протянула мне телеграмму. Тысяча догадок мелькнуло разом в голове. В Узбекистане погиб Алекси, наш неуемный скиталец, наш мятежный поэт. И сразу упрекнул себя в душе, что не послал ему тогда ста рублей, словно это моя неотзывчивость стала поводом его безвременной гибели. Несколько успокоившись, жена смахнула слезу и напомнила:

– Неправильно мы поступили тогда, не по-дружески, дорогой мой Отелло, тебе надо полететь туда, чтобы больше не казнить себя, не убиваться.

– Да, ты права... Жаль Алекси, – согласился я.

– Вот газета сегодняшняя с его стихами...

Разворачиваю газету. Да это же стихи из тетради, что послал он Амир-Чупану:

Не у гордеца ли иногда
Застревает в стремени нога?
Мне-то каково? Ведь у меня
Не хватает к стремени коня.
Молодой дерзит не по уму,
А старик твердит: – На днях умру...
Мне-то каково? От всех отстал.
Так себе – не молод и не стар.
Так тоска бездетного гнетет -
Сына ждет уже не первый год.
Мне-то каково? Себе не рад:
Не богат, не беден, не женат.

Я немедля вылетел в Среднюю Азию. На беду отозвалось много людей. Не своей смертью умер наш Алекси. Так и предполагали многие, зная его несносный характер. Нашли, оказывается, его мертвым около какого-то озера или водоема, нашли случайно, спустя несколько дней, когда тело под горячим солнцем стало разлагаться. Сюда, в этот самый Каттакурган понаехали его родственники и те из дагестанцев, что проживают в Средней Азии, а их там – не мало. Похоронили мы нашего Алекси в сыпучем песке и остался от него на память один членский билет Союза писателей. Так ушел из жизни поэт в пору, когда окрепли крылья для взлета, когда яснее стал взгляд на жизнь.

Эх, Алекси, Алекси, друг мой, что же с тобой произошло. Что за жизнь пошла? Разве это жизнь, если она не доставляет простых радостей человеку, не приносит удовлетворения от своего труда – этого и добивался всю жизнь Алекси, но никому до него не было дела. Бедняга, может быть не вынес он никчемного существования. Недругов у него ведь было немало: обыватели безжалостны и беспощадны, они преследуют неугодного им человека, загоняют в угол... Коротка у поэта жизнь, лет примерно тридцать пять; если не погубят чужаки, свои доконают обязательно. Неужели ты сам наложил на себя руки, а может быть тебя «кредиторы» утопили... Эх, чем сто рублей тогда, лучше бы спросил ты тысячу сейчас, лишь бы остался живым. На следующий день я вылетел домой.

Не много ли потерь?! Кто-то может сказать: благодари бога, что сам жив. Не велико утешение.

... Мою шашлычную посещали актеры театра, друзья, непременно с ними бывал и Навруз, и подавал я им самые сочные, самые румяные кусочки мяса. В среде чиновничьего начальства вскоре я стал известным человеком, со мной тепло здоровались, на уважение отвечал уважением. Хотя и не скромно с моей стороны, скажу: помогал я театру как мог и мои обращения к секретарям или председателям по разным вопросам, к моему удивлению, непременно исполнялись. Одним словом, я шефствовал, как мог, над театром,

пользуясь своим блатом с ответственными работниками. Банкеты бывали по любому поводу: в честь приезда гостей, в честь их отъезда, да и без повода ничего не стоило собраться. Случались и свадьбы – ведь и у начальства есть дети. Угощения бывали обильными, и откуда только такая расточительность, конечно же, не из своего кармана! Странное дело, эти хакимы роднились только между собой, прямо племенной отбор. К своему номенклатурному табуну других не подпускали. Им порой нужны были не только шашлыки и «люляки», но и Отелло.

Я не обезоружен.
Вы видите, вот меч, из всех мечей,

(я в это время поднимал шампур с шашлыком, веселя компанию дурашливых начальников).

Бывавших у солдата, наилучший,
Бывало, я прокладывал им путь
Сквозь лес препятствий пострашнее ваших.
Но что же я хвалюсь? Теперь не то.
Кто управляет собственной судьбою?
Я не опасен, хоть вооружен.
Все пройдено, я у конечной цели.
Зачем вы в страхе пятитесь назад?
Тростинкой преградите путь Отелло.
И он свернет. Куда ему идти?

Тут присутствующие давились от смеха, смеялся и я исступленно, будто заглушить хотел свою ярость хохотом. Проткнуть бы их всех шампурами! И сделал бы я это с превеликим удовольствием, если бы видел проблеск надежды что-то изменить в странном обществе. Или себя бы заколол, видя в образе своем «обрезанца-собаку».

Как новоявленный меценат, я обращал внимание этих вельмож на плачевное, нетерпимое положение театра, говоря, что цыганский табор и тот бывает богаче, чем наш единственный очаг культуры. И они слушали меня, и даже обязывали рабочих заводов, учащихся ПТУ посещать театр, хотя, к сожалению, какой это зритель, если он загнан силой

в зал. Навруз на сей раз попросил меня помочь через горисполком выделить ткань для шитья костюмов: готовился к постановке «Батырай», и я пообещал. Пьесу эту читал я с удовольствием, есть в ней замечательные сценки.

« – Скажи, почтенный Батырай, – обращается к нему Минатла Баханд. – Сделай милость, как рождаются песни?

– Откуда я знаю? – хмурится Батырай.

– Ты же певец.

– Ну и что?

– Но все-таки, как они рождаются?

– Голенькими, как дети, да, да, голенькими, – ворчливо объясняет Батырай, – потом я им шью одежду, чтобы срам их скрыть, потом учу ходить, вожу за руку, уму-разуму учу, а после выпускаю в люди. Вот ты у них и спроси; если они благодарны родителю, то, значит, они мне удались».

– Ну, как твое здоровье? – спрашиваю я у Навруза.

– Немного лучше...

– Слава богу, друг... Надо беречь здоровье. А жизнь как?

– Как тебе сказать, существую... Жена получает вдвое больше моего, вот. Тебе спасибо, что устроил ее на работу, – признательно жмет он мою руку.

– Я тебе отложил полбарана, возьми, приготовь хинкал, зайдем в гости. – Знал я, что он в затруднительном положении и старался помогать как можно деликатнее, чтобы не задеть его самолюбия.

– Буду рад, Отелло. Право же, без денег.

– Разве я прошу денег? Ты что, ты мне друг?

– И у друзей должна быть совесть. – Он был растроган моим вниманием.

– Считай, что мне ты ничего не должен, а совесть оставь в покое.

– Проклятье, – вскочил он, как ошпаренный, и вытянул левую ногу, поглаживая ее руками.

– Что случилось?

– Будто шампур вонзили. Сейчас пройдет. Случается такое, ты не обращай внимания. Капризы погоды...

Однажды вваливается с дружками… – кто бы вы думали? Ни за что не догадаетесь... Алекси! Да, да, наш поэт Алекси, которого нашли мертвым у озера и мы его похоронили в сыпучем песке. Мы обомлели, не веря своим глазам. Ведь с того света еще никто не возвращался.

– Что с вами, друзья?! – смешно выпятил хилую свою грудь Алекси и подбоченился этаким фертом. – Что это у вас отвисли челюсти, как у больной лошади? Похоронили, обрадовались. Черти вы этакие...

– Алекси? Не может быть! – принялись глупо разглядывать его.

– Да, перед вами Алекси, ваш поэт и неудачник. А знаете, кто поднял меня из могилы? – поэтически восторженно спросил он.

– Говори, говори, дорогой ты наш Алекси. – Мы обнимали его, не веря, что он – во плоти, а не призрак.

– Аромат шашлыка Отелло! – браво воскликнул поэт. И я закрыл на крючок свое заведение, чтобы никто не мешал нам остаться с нашим Алекси. От радости затрепетали наши души, еще бы... Алекси к нам вернулся, друг наш дорогой! Говорят же, и среди смертей бывает смерть, что выйдешь на крышу и спляшешь.

– Ну и угощу же я тебя, Алекси, таким шашлыком! – Я был так растроган, будто брат кровный, родной из могилы встал.

Алекси рассказал нам историю своей гибели. Узнал он о своей кончине в городе Мары, где гостил у туркменского поэта Мухамада.

– Этот самый Мухамад пригласил меня к своему брату – директору совхоза Суюнхану. Когда вошли в его дом, он сказал: «Снимите штаны». Я знал, что когда входишь в дом, надо снимать обувь, но штаны... Я решил, что Суюнхан пошутил, но собрат мой по перу последовал совету брата и снял штаны, а я застыл как истукан... А вот когда Суюнхан вынес нам пижамы, то сообразил... Снял и я брюки, и надели мы эти полосатые пижамы. Хозяин пригласил нас в гостиную, где были только знаменитые текинские

ковры и подушки, но никакой мебели, на полу, на ковре, был накрыт дастархан и на него садились гости. Пригласил хозяин их в честь моего приезда – обычай такой. Это были друзья и сослуживцы хозяина. Усаживались, скрестив под собой ноги, так же, как и у нас в горах. И вот когда наелись и лица наши заалели, а глаза осоловели, подали нам знаменитый туркменский плов горкой на большом подносе. И вдруг к своему удивлению вижу, что мои брюки – на одном из гостей напротив меня. Он брал пальцами плов, ловко клал в рот, опрокидывая голову, и не без удовольствия вытирал жирные пальцы о мои новые брюки. В сердцах я воскликнул: «Слушай, Суюнхан, лучше бы ты мои брюки оставил на мне...» – «Тс-с, – сказал он мне на ухо, – прости, прости, дорогой, понимаешь, гостей много, а пижамных брюк не хватило...»

Умеет, умеет Алекси рассказывать сочно, с юношеской непосредственной живостью, весело, увлеченно. Все мы заулыбались, хотя с нетерпением ждали рассказа о его гибели и воскрешении. Поведал Алекси еще и о том, что раньше в республиках Средней Азии, когда проводили там дни литературы, дарили поэтам и писателям тюбетейки и халаты с кушаками. Однажды он увез четырнадцать халатов и тюбетеек, – теперь их там почти не стало... Да что там халаты, в домах одеял не стало... Весь хлопок отдавали на заготовки для выполнения плана, чтоб кто-то на этом Героя мог получить. «А Героев там!»

– Ты о себе расскажи...

– Не терпится? Черти вы этакие... Давайте по порядку, иначе – не интересно, – в самом добром расположении духа продолжал наш поэт.

– Никуда мы не спешим.

– И я не спешу! Думаете, я люблю застолье из-за того лишь, что брюхо набить или выпить можно? И то правда, но главное – побеседовать, поговорить. Нынче хорошего собеседника днем с огнем не сыщешь. О себе так о себе... На следующий день, значит, вновь собрались мы у Суюнхана, на этот раз в честь совершения обряда обрезания его

одиннадцатому сыну. Да, я вспомнил случай, связанный с обрезанием. Как вы знаете, и поныне наказывают отцов, особенно у нас, за совершение над своими детьми обряда обрезания. Скольких коммунистов исключили за это из партии, один даже воскликнул: «Товарищи, за что? Вы, наверное, не поняли, не целиком же режем, а чуточку» и показывает на пальце. А ведь обсуждали и осуждали его обрезанные дяди. Но не о том речь. Секретарь райкома как-то раз получает анонимку о том, что директор совхоза коммунист Ибрагим сделал обрезание своему пятилетнему сыну. А Ибрагим и секретарь были закадычными друзьями. И вот Ибрагим у секретаря.

«Правда это?» – передает секретарь анонимку в руки Ибрагиму.

«Врут, – не хватило у Ибрагима мужества прямо признаться. – Может быть, без меня там... бабушка. Она так – беспартийная. Хотя сегодня, когда спускался с лестницы, видел сына, но ничего такого не обнаружил, все было на месте...»

«Надо проверить».

«Правильно, – согласился Ибрагим, – только одна к тебе просьба, секретарь...»

«Какая?»

«Поручите это дело проверить Расулу, председателю соседнего хозяйства...»

«Почему?»

«Анонимка – его рук дело».

Так и было сделано. Явился краснолицый седой мужчина... Ибрагим подзывает малыша к воротам и говорит:

«Ну-ка, сынок, покажи этому дядя, что с тобой сделали». Малыш, сняв штаны, показывает писпику и говорит:

«Я узе музцина!» Растерянно застывает проверяющий, а Ибрагим говорит сыну:

«Сынок, каждый раз, когда увидишь этого дядю, показывай ему какой ты музцина».

«Хорошо, папа!» – отвечает малыш, белозубо улыбаясь.

Мы весело рассмеялись, но, видя наше нетерпение услышать рассказ о воскрешении, Алекси продолжает:

– Значит, собрались мы на сабантуй. Здесь оказался и наш земляк из Кумуха, который вернулся из поездки. Спросили его, где он был.

«Ездил в Каттакурган».

«А что ты там делал?»

«Брат мой взял меня с собой – несчастный случай с его другом. Знакомый моего брата погиб при невыясненных обстоятельствах. Я его не знал. А брат очень любил, гордился им. Человек тот, оказывается, был талантливым поэтом... брат мой все творчество его наизусть знал».

«Поэт? Дагестанец?»

«Да, поэт-скиталец».

«А как его звали?»

«Алекси».

«Как, как?»

«Алекси».

«Странно, Алекси – это я. И пока я жив».

Представьте себе, услышав такое, мне стало не по себе, дар речи потерял, земляк сказал, что много народу было, когда хоронили меня. В этот же день я срочно выехал в Каттакурган на такси и подкатил прямо к дому, где в тени искореженных тутовых деревьев сидели все еще в скорби люди – мои близкие и знакомые. Вышел я из машины, как ни в чем не бывало, подошел и, прежде чем приветствовать присутствующих, выбросил вперед руки ладонями кверху и прошептал молитву, произнес вслух обычное в таких случаях «Патиха!» Потом провел ладонями по лицу и стал обеими руками пожимать руки растерянных людей, бог знает о чем они думали... Люди обалдели, глядели на меня, в траурной процессии тихо прокатилось: «Алекси»... Из-за глинобитного забора выбежала женщина... жена моя Майсарат схватила увесистую палку и ринулась в мою сторону.

– Я отбежал – она меня в самом деле могла сделать покойником. Мать моя рухнула, как подкошенная, разбросав стаканы «армуды», что были на подносе с чаем, подбежал я

к матери, подняв ее на руки. Сам удивился, я такой слабый, хилый, а маму поднял на руки и унес в дом.

– Кто же погиб у озера? – спросили мы у Алекси.

– Не озеро, а водоем для полива. Это был тот человек, у которого я незадолго до этого одолжил сто рублей. Надо же такому случиться. В кармане у него нашли мой членский билет, который я отдал ему в залог. Вот и решили, что погибший – это я. Вот такие баклажаны... Вы знаете, что меня порадовало?

– Что?

– Я поймал себя на мысли: каким бы я ни был неудачником, у меня, оказывается, есть любящие родственники, друзья, земляки... Покойный я не нанес бы им такого удара... сколько тем, что я воскрес, объявился живым. Устроили пир. Да, друзья, овечка погибает или корова – акт составляют, виновного к ответу призывают, а вот человек погиб – никакого акта...

– Ты еще акт захотел! Алекси, родной, дорогой ты наш! Ешь шашлык, ешь люля-кебаб, – я искренне радовался, как-никак друг живой вернулся.

– Да, Отелло говорит великолепно! – он принял величественную позу и стал читать стихи:

Скольких свадеб я не миновал,
Сколько раз я выходил на танец,
Как лунатик робко вызывал
Гордостью отмеченных красавиц.
Чуть от кашля горло не сорвал -
На мою любовь не отзывались.
Сколько я папах в окно кидал –
Ни одна насмешница аула
Ни одну папаху не вернула,
Чтобы я надежды не терял,
Но искать мне больше было негде.
И ушел я втайне и в надежде
Из аула... что я, в самом деле,
Хуже всех? Позор – переживу...
Не пришелся девушкам по нраву,
Так найду вдову себе на славу -
Молодую верную вдову.

И нашел вдову немолодую
На беду свою, а может – нет,
Ну и что же, что слегка хромую?
Да и старше не на десять лет.
Я не знал с ней горя и печали,
Только все в роду у них хромали:
Мать, отец, и бабушка, и дед.
Славная была родня:
Как родного приняли меня,
И вдова моя, поверьте слову,
Родила мне мальчика хромого.
Я в аул, счастливый, побежал -
Ногу подвернул. Ах, не судьба ли?
На пути обратном поскользнулся,
Со скалы упал...
С той поры я тоже захромал.
А иначе было б непонятно,
Было б странно и не по-людски,
Как-никак, а все же свояки,
Не пойдешь от счастья на попятный,
Ковыляют, но от правды кривду отличают,
Остальное – просто пустяки.

– Ну что, Алекси, насовсем вернулся? – спросили его.

– Насовсем? Я был сегодня у нашего имама, – усмехнулся Алекси, поглядывая искоса.

– У какого имама?

– Не прикидывайтесь, будто не знаете, о ком я. Был я у нашего председателя и объяснил ему, что уезжал из Дагестана я в надежде найти порядочных людей за его пределами. «Нашел?» – спрашивает он меня, облизывая толстые губы. «Нет, – отвечаю, – не нашел, там еще хуже люди, поэтому и вернулся» – «Работать хочешь?» – спросил он, и я кивнул.

Да, вскоре нашего Алекси приняли на работу в литературный журнал, через полгода выгнали в связи с неуживчивостью.

Говорят, аштынец, родившийся двадцать девятого февраля, бывает очень дерзким и неуемным. Решительности ему не занимать. Однажды аштынец шел по дороге. Его нагнал вихринец на арбе, в которую были запряжены длин-

норогие быки. Наверное, было скучно одному, и он решил взять попутчика. Вот едут они на арбе по пыльной, сухой дороге. Аштынец сидит и молчит. А вихринец, подгоняя своих быков плетенным кнутом, насвистывает незатейливый мотив. Вдруг, не оглядываясь, он обращается к аштынцу:

«Скажи, ты знаешь Хажи-Бекира? Начальника потребсоюза? Очень хороший человек. Просто душа-человек. Вот этот самый Хажи-Бекир из нашего аула, вихринец».

Аштынец – ни слова. Слышится окрик и свист кнута. Арба, скрипя колесами, едет дальше. Спустя некоторое время вихринец заводит разговор:

«Скажи, а ты Большого Ханпашу знаешь? Того, что в райисполкоме начальником? Вот человек! Если есть на земле сто добропорядочных, то один из них – это он. Встретить его приятнее, чем родного брата. Он тоже из нашего аула».

Опять аштынец молчит.

На подъеме быки тащатся медленно. Вихринец скручивает цигарку, затягивается.

«А Рябого Исрапила, конечно, ты должен знать. Он начальником заготовок. Это вообще золотой человек! Сам людей любит, и его люди любят. А говорит с тобой так сладко, будто язык медом намазан. Это тоже наш человек, вихринец...»

Тут уже аштынец не выдержал, засверкали у него глаза, обернулся он к хозяину арбы и сказал тоном, в котором звучала железная категоричность:

«Слушай, если кто-нибудь еще будет ваш, то эта арба и оба быка будут наш..!»

Отказались от времени мертвые стрелки часов

Как говорят французы, давайте вернемся к нашим баранам. Даргинский театр то оживал, то в спячку погружался. Театр после меня пополнился тремя группами выпуск-

ников высших театральных заведений. Но, к сожалению, большинство из них рассеялось... Из шестидесяти даргинцев с высшим образованием осталось в театре шестеро, представляете – только десятая часть. Жаль, гаснет пламя в нашем единственном очаге, гаснет... И никому до этого дела нет. Обивал я пороги многих, кто к культуре имел мало-мальское отношение – все тщетно.

Хорошо помню, просил я, почти на коленях умолял, секретаря обкома помочь молодому театру, не дать погаснуть пламени, так поздно зажженному в даргинском очаге. В столице Страны гор завершено строительство уникального театра по проекту грузинского архитектора Константина Чхеидзе. Уникален театр в том смысле, что стены его скреплены цементом дружбы народов. Строили театр москвичи. Тут базальт, грабит, красный и желтый мрамор из Грузии, белый мрамор «Коэлга» с Урала, цветной мрамор из Красноярского края, красный гранит с Украины, черный мрамор из Карачаево-Черкесии, цветной мрамор «Газгон» из Узбекистана. А звукотехническое оборудование – из Венгрии и Чехословакии, поистине нет расстояния для дружбы. И в этом театре – два прекрасных зала. Молодой растущий Даргинский театр был бы окрылен, если бы представили ему малый зал в этом театре, но нет...

– Помогите, гибнет же театр...

– Вы всегда преувеличиваете, – заметил секретарь, да в его глазах я стал уже неудобным человеком, потому что доставлял им немало хлопот...

– Вы ни разу не были в нашем театре в Избербаше, как же вы можете судить...

– Не был, не знаю... Ничего страшного.

– И это говорите вы?

– Одним словом, чего вы от нас хотите?

– Переведите театр в Махачкалу, пока он полностью не развалился.

– А где его расположить?

– В малом зале нового здания.

– А сколько надо квартир для актеров?

– Пока двадцать четыре... Они сдадут квартиры в Избербаше.

– Нет, не получится... Квартиры, резервные, решено предоставить метростроевцам из Москвы...

– А что, в Махачкале будет метро?

– Нет, не метро, а туннель... Мы хотим железную дорогу, что перерезает город от берега моря, перенести под землю...

– Это хорошее дело, но надо и о театре подумать.

– Подумаем, подумаем.

– Пожалуйста, очень Вас прошу.

И мы попрощались, я всегда верил, что эти люди на ветер слов не бросают, но ошибался всякий раз. Как только я ушел, секретарь вызвал к себе заведующего отделом...

– Опять этот Отелло не дает покоя, – сказал секретарь, – носится со своим театром, будто у нас мало других дел. Я же сказал вам, чтобы вы занялись им.

– Придется заняться. Надоел он со своими жалобами, кляузами... Поручу горкому, чтобы изучили внимательно его личное дело. Не может быть, чтобы за ним не водились грехи.

– Да, избавьте меня... Не дает он заниматься неотложными делами.

– Мы сделаем все для того, чтобы он не беспокоил вас.

– Идите.

– Ушел!

Как, я – жалобщик, я – кляузник, от меня хотят избавиться?! Об этом разговоре я узнал позже, когда этого заведующего отделом пинком под зад выгнали из обкома. Поведал я об этом Алекси, и он тут же сочинил:

Время быстротечнее печали.
Мы с тобой
Друг другу не прощали
Ничего...
И нас обоих – нет.

Предвзятое ко мне отношение отражалось на общем деле, народном. И слова мои, – как горох об стену. «Поду-

маем, постараемся... сейчас нет возможности... в свободные квартиры устраиваем метростроевцев. Они проложат тоннель под городом, чтоб перенести железную дорогу, перерезающую берег моря от города – давняя мечта горожан». Актрисы выходили замуж, и суровые мужья более не пускали их в театр, храня целомудрие, а актеры прощались со сценой и уезжали в Ставропольский край, чабановать, через три-четыре года возвращались на своих «Волгах», «Жигулях». Одному богу известно, какими темными делами они там занимаются. Метростроевцы так и не приехали, и поныне неизвестно, будет ли когда-нибудь построен этот чертов тоннель. Люди, обязанные решать подобные вопросы, легко обещали и с такой же легкостью забывали об обещанном.

Быть верным слову, как говорят горцы, – качество достойного и благородного. А бросал ли горец раньше слово на ветер? Перед совестью своей скажу, не бросал. Слово, если даже оно дано без свидетелей, подтверждалось совестью и честью того, кто его дал. Нынче ох как обесценилось слово, вера в него настолько принизилась, что порой страшно становится, как же так можно?! Кажется, бумага победила слово. «Есть бумага – ты человек, нет бумаги, еще неизвестно, кто ты – снежный человек с ледников Адуалло-Шухгельмеэр или английский шпион», но вскоре и бумагу стали подвергать сомнению. Что же делать? Если в мясе разводятся черви, его посыпают солью, а что делать, если черви в самой соли, а? Чем посыпать?

Даргинцы, земляки мои, что же это с вами происходит? Где же ваше хваленое соучастие, вечное стремление к постижению, любопытство в конце-то концов. Что за диво это – даргинцы? Один из великих среди малых народов. Проживает этот народ как бы в центре Страны гор, в самом сердце, можно сказать, между предгорьем и горами. В высокогорные иноплеменные районы пути-дороги пролегают через даргинские села. Такое географическое расположение, по-моему, во многом определяет и характер самих даргинцев. «Они добры и благосклонны ко всем, терпимы к

любым религиям, гостеприимны, готовы отозваться в любую минуту, случись беда с соседним народом, а вот сладить между собой, своих хвалить, возвеличивать, своему помогать – не научились...» Так писал еще тысячу лет тому назад арабский пилигрим Аль-Масуди, будто глядел в воду. И в самом деле, если кто из даргинцев и выбьется в люди, тут же вспыхивает у соплеменников пламя зависти. «Почему он, а не я, кто он такой вообще» – и готов смешать его с грязью и предать анафеме. Так это же ваших детей выучил на актеров великодушный армянский народ, это ваши же дети хотят создать впервые в истории народа свой театр, свой самобытный очаг культуры... Почему же, земляки, вы так убийственно равнодушны... Чем же вы увлечены? Не вы ли хотели иметь театр, писали об этом, жаловались, что у всех есть, мол, свои театры и нам дайте? Дали. Что же вы теперь бездействуете? Так мы обращались не раз к народу, общественности, стараясь пробудить здравый смысл. Призрачную надежду питали мы, думали, очнутся, помогут. Нет, не очнулись, не помогли...

На днях большой шум был в городе. Сгорел один из складов импортной базы. Пожарники подъехали, когда уже все сгорело. Изучив пепел, дали такое заключение: пожар произошел из-за короткого замыкания, случившегося именно там, в том углу, где хранились документы. Товару угорело не менее чем на миллион...

Странно, что по той же причине сгорел промтоварный большой магазин на первом рынке и опять сгорели документы. Замыкание происходит повсюду, ближе к ценным документам. Один из следователей воскликнул: «Эврика!», это же хлеб, находка для ученых. Они, только они, компетентны объяснить, какая сила таится в этих документах – бумагах, чтобы непременно притягивать к себе электрические искры. На эту тему, несомненно, можно защитить блестящую диссертацию и получить звание доктора, а вот каких наук – это уж пусть решат оппоненты.

А у Алхилава, директора импортной базы, двоюродный брат – начальник пожарной команды. На пожар выез-

жает на собственной «Волге». Такое самопожертвование, скажу я вам, достойно всякой похвалы.

– Помнишь, на берегу? – спрашивает Навруз.

– Что? – не понял я.

– Ну, этого самого Алхилава. Помнишь, как этот человек с высшим торговым образованием, выбравшись из прохладной морской воды на горячий берег, говорил: «Какая воздух, какой вода!».

– Да, да, – вспомнил я. Мустафа, говорят, так и живет со своей толстушкой Заремой, дочерью министра, и мается, скандалит. Исида ушла из театра, ушла навсегда и редко навещает нас. Однажды мы видели ее в обществе человека, который ей в отцы годится. Это был Хамзат – директор хлебозавода, старый холостяк. Жена его погибла в страшной катастрофе в ущелье «Боже пронеси».

– Отелло, он – добрейший человек. Я ничего плохого о нем не могу сказать.

– Кто? Этот холостяк?

– Да.

– Ты знаешь его?

– Хамзата? Очень хорошо. А разве ты его не помнишь? Когда приезжал к нам для второго набора студентов в театральный институт старший преподаватель из Еревана, наш любимый учитель Рафаэль... Джарбекян, в честь него Хамзат давал банкет по заданию горкома. Помнишь, ты хвалился, что у нас не хуже ритуал гостеприимства, чем в Армении...

– Может быть, но время прошло, и мне думается, нам следовало соревноваться не только в гостеприимстве, но и в развитии культуры...

– Кому нужна наша культура! Малый народ и без культуры проживет…

– Мы должны поучиться у армян любви к своей истории, к своей культуре... А то, что этот Хамзат дал банкет, – это же не из своего кармана.

– Неблагодарный ты человек.

– Ты лучше скажи мне вот что: он собирается на ней жениться?

– Так она сказала мне, но она сама не хочет выходить за него.

– Какого же черта она ходит с ним?

– Это ты у нее спроси.

– Какая была девушка, какую могла счастливую семью создать. Все в прах. По рукам пошла, я задушу ее, как Дездемону, – дрожь пробежала по моему телу (вот как я вошел в образ!).

– Дурак ты, Отелло!

– Как это можно?! Впрочем, разве она виновата? Это – беспечность наша, желание тех, кто привык только брать, ничего не отдавая, насладиться всем, пока есть пора, а завтра хоть трава не расти... и довели ее до такой жизни. Она постеснялась тогда нам показаться.

– Не морочь голову, дай лучше кусок хорошего жареного мяса. Голоден я, – попросил меня Навруз.

– Что бы вы делали, если бы Отелло не ушел из театра?

– Я не о том... Помнишь, какие подарки этот Хамзат гостям сделал?

– Плевать! Пусть сначала женится на нашей Исиде! Тогда поверим, что он порядочный человек.

Подал я другу лучшие куски мяса с румяной корочкой, а сам грыз сухарь из черствого хлеба – осточертел мне шашлык. В это время заходит к нам, в наше пропитанное дымом заведение Исида. Навруз обрадовался ее появлению, а я – нет. С виду она лучше стала, округлилась, глаза ее заблестели, щеки зарумянились. И надо же, над такой красотой потешаются всякие мукомолочные, мясокомбинатные прилипалы, обогатившиеся самыми низкими способами! Да, недаром говорят: уж если опустится горянка, то до самого дна, боже упаси. Я видел порнографическое фото, какой-то тунеядствующий подонок на этом зарабатывает хлеб себе и своей семье. Жалкие, опустившиеся люди...

– Здравствуйте, братья, – сказала она.

– Здравствуй, сестра. Мы рады видеть тебя, – отозвался

Навруз, подошел к ней и, нежно пожав ей руку, усадил на стул.

– Как поживаете?

– Как видишь, а ты все цветешь, сестрица!

– Судьба такая, мне только и остается цвести да цвести!

– Мы слышали, что ты замуж выходишь? – сказал я, чтоб не быть неразговорчивым. В изящных чертах ее лица обозначилась усталость.

– А что, и выйду, хуже других, что ли, или телом дурна, лицом не хороша?! Посмотри на меня, Отелло, посмотри на свою Дездемону... Что глаза прячешь, за меня стыдно? – большие глаза ее наполнились слезами.

Нет, это была не наша Исида – робкая, приветливая, скромная и совестливая. Это была чужая, далекая женщина. И не мог я ее теперь вспомнить застенчивой одноклассницей.

– Что зенки выкатили? Не узнаете?

– Ну, что ты, Исида...

– Мы тебе добра желаем. Угостить тебя шашлыком? – я уже сожалел, что неучтиво к ней отнесся.

– За деньги или так?..

– О чем ты говоришь? – обиделся я.

– Не стесняйся, я не бедная. – Исида высыпала на стол десятирублевые пачки, обернутые банковские бумаги с красной полоской. – А люля-кебаб у вас не бывает?

– Бывает, сестра, вмиг изжарю, – засуетился я и быстро впихнул ей в сумку деньги.

– Сестра ваша давно умерла и в жизни и на сцене, – печально проговорила она. – Осуждаете меня?

– Пусть ослепнет тот, кто тебя осуждает! – воскликнул Навруз. – С кем не случается? Кто не оступался?

– Вы не притворяйтесь, вы же видели меня с ним... Думаете, по рукам пошла? Да, пошла, проституткой стала! – Такое было страшно слышать от Исиды, которая краснела, читая про себя слово «поцелуй».

– Исида, не надо, зачем бичевать себя?

– Я от Мустафы была беременна, это он, Хамзат, помог мне избавиться. Да, я хожу с ним и буду ходить... – вдруг взорвалась она. – Будьте вы все прокляты, носящие папахи, не мужчины вы, не люди, вы животные, вы скоты. – И стала она рвать на себе волосы, всю растрепала себя в приступе безумия. Мы еле успокоили ее.

– Исида, сестра, успокойся...

– Трижды будьте прокляты. Некому было заступиться за глупую девушку, дали ее обмануть. Ничего, придет время, я сама отомщу, еще как отомщу... – Она вскочила, вся в слезах, косметика потекла по щекам, и выбежала.

Да, страшная ненависть, горечь разочарования в жизни сделали ее крайне раздражительной, спесивой. Вот и страдает.

Мы с Наврузом переглянулись в недоумении, стесняясь признаться друг другу в правоте ее слов. Горько и обидно, что мы не смогли помочь ей. Спустя два-три месяца до нас дошли слухи, что не сложилась семья у Мустафы с дочерью министра Заремой – она оказалась бесплодной. Мустафа бросил ее.

Исида заметила однажды на улице, что Мустафа плетется за ней, и попыталась скрыться, но оторваться от него никак не могла. Она вбежала в кафе и села в углу, чтобы отдышаться. Она дрожала как в лихорадке. «Не хочу, не хочу его видеть». Он подсел к ней.

– Ты прости меня, Исида. Презирай меня! Я поступил с тобой как последний подлец, понимаешь, – горько раскаивался он.

– Нет, нет, нет, – голос ее дрожал.

– Не могу без тебя, убей, не могу. Что делать, не знаю. Хочешь, на колени стану перед тобой. – Он рухнул перед ней, обратив на себя внимание присутствующих.

– Зачем так унижаешь себя? Постеснялся бы людей.

– Любовь к тебе осталась… Не могу без тебя!

– Не любя женился?

– Я думал, полюблю ее, думал, родится сын или дочь. Потом понял: не могу без тебя! Я никого не боюсь на свете

– даже отца, только прости. Я искал тебя, я звал тебя, я не смел к тебе подойти. О, как я раскаиваюсь, как я ненавижу себя.

– Поздно.

– Все равно, не могу без тебя, не могу...

– Вставай, а то весь город будет знать, как ты ползал в кафе перед актрисою...

– Пусть знает. Гони меня, презирай меня, но не отвергай.

Исида ушла.

– Не уходи, прошу тебя, не уходи, – кричал он вслед ей и долго смотрел в окно, как она удалялась быстрыми шагами. Перед ней у тротуара остановилась машина, открылась дверца, и Исида села в нее. Это была машина Хамзата. Впервые Мустафа самому себе показался самым несчастным человеком.

Так вот директор хлебозавода женился на Исиде, живет она в его особняке, построенном по армянскому проекту. Выделяется это здание в городе своей неординарностью. А с нашим «другом» Амир-Чупаном – заведующим хозяйственным магазином – случилась беда, уму не постижимая. Что же это с обществом происходит... Месяца два тому назад в Дербенте на верхнем магале залезли к старику и старухе – они дальние мои родственники – трое в чулочных масках и потребовали отдать ценности... только деньгами и золотом. Старуху к кровати привязали, а старику печень отбили. Преступников так и не нашли. А на днях к нашему Амир-Чупану вошли трое, тоже натянув на головы темные чулки, и стали требовать денег. А когда тот стал брыкаться, один из них нашел утюг, включил его и, приставив к животу, стал гладить. Только от рубахи пошел дым, Амир-Чупан глазами (во рту был кляп) дал им знать, где добро. Уходя, налетчики похвалили его.

– Хорошо работаешь, грабишь хорошо, накапливай, накапливай, лет через пять мы еще нагрянем. Ты уж не подводи нас.

Бледный стал после пережитого Амир-Чупан, похудел,

осунулся. Нервный тик на лице. А как напьется – все храбрится, что из-под земли найдет их, этих грабителей. «Я десять лет копил, а они за один час разбогатели. Сволочи!..»

– Да, бешеные деньги также бешено уплывают, – заключил Навруз и почему-то посмотрел на меня, будто хотел сказать: «Смотри, Отелло, чтоб с тобой такое не случилось...»

– Ты знаешь, Амир-Чупан кому-то по секрету признался, что он узнал одного из тех, кто в чулочной маске: кашель курильщика выдал, – проговорил Навруз.

– Кого же?

– Ты не поверишь...

– Городской или чужой?

– Свой, в доску свой.

– Кто же он?

– Салих.

– Что? Какой Салих? Не может быть!

– Опять ты не веришь. Эх ты... Помнишь в Ереване? Такой на все способен!

– Это же невероятно. А что за кашель курильщика?

– За день до этого Мирза встретил Салиха на автостанции, тот кашлял и объяснил, что сигареты разные курит.

– Ну и что же?

– Дома он вспомнил этот кашель.

Кто-то вдруг подошел к нам сзади и хлопает по спине, оборачиваемся – Салих. Весь сияет, элегантно одет, «дипломат» в руке.

– Поздравьте меня.

– С чем? – спрашиваю я.

– Меня сегодня в партию приняли.

Мы онемели, не зная, что и подумать.

– Приглашаю, Вы что удивлены? Или не ожидали такого?

– Скорее удивлен, – ответил я.

– Ничего удивительного, не всю жизнь сидеть мне в подвале. Обещают пост директора... А чтобы быть директором...

– А сколько ты дал? – прямо так и спросил я.

– В каком смысле?

– Ну чтоб вступить в партию?

– Шутите?! Конечно, и не без этого. Так идем или нет?

– Спасибо.

Он удалился, не стал настаивать. Но догадался о нашем к нему отношении. Не скрою, мы были ошарашены. Долго глядели вослед новоявленному коммунисту.

– Вот тебе раз... Держи меня, я упаду! – воскликнул Навруз.

– Да, друг, если и такие в партию... Слушай, что происходит, куда мы идем? Что делается?

– Невероятно. Это же полная деградация.

– Где честь, совесть?

– Эти понятия уже не в цене.

– Лучше бы я работал сторожем! – ударил кулаком по столу Амир-Чупан. – Уеду, уберусь отсюда куда глаза глядят...

Нет, не убрался никуда Амир-Чупан, не уехал и работу завмага не бросил. Желая вернуть, восстановить потерю, перестал он быть осторожным и пустился на крупные махинации, озлобил бывших своих покровителей. А такое они не прощают, вскоре они постарались избавиться от него. Осудили Амир-Чупана за пустячную мелочь, на два года изолировали его. Попался как осторожный конокрад, который был пойман не тогда, когда воровал коней, быков, буйволов, а когда нес под мышкой украденную курицу. И на суде этому конокраду так стало больно и обидно, что, говорят, он воскликнул: «Вам не стыдно судить меня за какую-то курицу? Знайте же, я угнал у такого-то коня, у такого-то – племенного быка...»

– Ты, друг Отелло, – сказал мне в минуты сочувствия Навруз, – будь осторожен. Добро не стоит того, чтобы лишаться свободы...

– Да, друг, ты прав. Такова торговля, как говорится, аршин – бариш: не обманешь – не выгадаешь.

– Прошу, будь начеку. Страшна эта социальная апатия

у людей. Тяжелые испытания выпали на нашу долю, надо пройти их достойно...

– Постараюсь, друг, – пообещал я.

– А не хочется тебе вернуться в театр?

– Что? – я не ожидал вопроса, и он застал меня врасплох.

– В театр не хочешь вернуться?

– Я об этом и не подумал, – признался я.

– А зря...

– Что я там буду делать?

– Как что, играть роль Отелло.

– Не получится, какой из меня теперь Отелло?! Что-то надломилось во мне, другим я себя уже чувствую. Признаюсь, потерял я нужное, а приобрел лишнее... Черствым становлюсь, теряю чувство собственного достоинства. «Какая воздух, какой вода...» Слушай, Навруз, и долго это будет продолжаться?

– Что?

– Ну вот это, то, что с нами происходит, где наша мечта, наши идеалы? Меня порой одолевает, тревожит современная жизнь... Семьи расстроены, школы не те, не стало тепла между детьми и родителями, повсюду разлад... Дипломы в сундуках, головы пустые, без мыслей...

– Все, друг, псу под хвост?

– Очумели что ли люди...

– Эта болезнь хуже чумы; говоря о коллективе, о личности, о человеке забыли... В итоге – ни коллектива, ни личности. Поговорить по душам не с кем.

– Как не с кем, а со мной?!

– Ты же сам говоришь, что ты уже не тот, да и я замечаю, в тебе многое изменилось, раньше и я откровенен был с тобой, не таил, не скрывал ничего... а теперь думаю, что сказать, а что утаить.

– Ты прав, и я таю многое от тебя.

– Оскудели души. Где те добрые времена, когда за хинкалом отцы наши часами могли говорить о времени, о

себе, о жизни... Нынче в аулах только и слышно, у кого был, с кем был, сколько выпил, чем закусил...

– Поставь в хлеву рядом с ишаком теленка – он примет норов соседа.

– Ты о чем это?

– Рыба гниет с головы.

– Ха-ха-ха, – от души рассмеялся Навруз. – А кто-то сказал, что чистить ее надо с хвоста!

– Не кто-то, а твой герой на сцене... И смех теперь никого не трогает, и сатира – непробиваемая, толстокожими стали люди...

– Да. А сколько мы поставили сатирических, комедийных пьес, хоть бы что изменилось. Чиновник думает – это не о нем, а о его соседе, хапуга смеется, не догадываясь, что это его проделки, бюрократ хватается за живот и не видит в герое себя, легкомысленная девица мечтает: вот бы мне с таким мужланом, как Дон-Жуан, встретиться, выдоила бы из него все. Спекулянт завидует герою на сцене: эх, мне бы достать такого товару. Жизнь сама по себе, а искусство – само по себе...

– А помнишь... мы показывали спектакль, где главным героем был сельский бездельник. В разгар спектакля подкатил с визгом газик, выбрался из него председатель колхоза, огляделся, направился в нашу сторону, прямо на сцену, где под деревом, натянув на лицо кепку, лежал актер, изображающий бездельника. «Ах, вот ты где, лодырь, бездельник! Я его ищу целый день, с ног сбился! А он здесь разлегся на виду у всех! Что я тебе вчера говорил?»

Схватил председатель растерянного и сопротивляющегося актера и потащил к машине. Подходит и... видит того, кого искал. Удивленно стал смотреть председатель то на одного, то на другого и, качая головой, заключил: «Не хватало мне одного, теперь вас двое! Нет, это уже слишком...»

Долго мы в тот день с другом говорили о горькой нашей жизни. Да, было о чем сожалеть. После этой встречи Навруза я больше на улице не встречал. Он слег. Друг часто жаловался мне, что левая нога немеет, что ступить не

может, что мучают его страшные режущие боли... Его вскоре парализовало, врачи обнаружили будто бы у него в мозгу опухоль. Последовала трепанация... Жестокие боли, равнодушие окружающих усугубили его состояние, и в больнице он скончался с одним желанием – выпить глоток воды из чистых честных рук. И желание это осталось неисполненным. Так ушел из жизни никогда не унывающий, доверчивый к людям и любящий их талантливый актер.

На похороны Навруза приехало много людей, некоторых из них я не знал. Приехал даже министр культуры – кругленький, толстенький, довольный собой, со мной соизволил почтительно поздороваться и пробормотал что-то вроде «Какая потеря...». Потом подъехала другая черная «Волга». Из нее выбрался в добротном импортном костюме элегантный человек с рыжими усами. Я сначала не узнал его. Он подошел к родственникам Навруза, поклонился, выражая соболезнование. Остальные почтительно поднялись и стали обеими руками пожимать его руку.

– Кто это? – спросил я у соседа.

– Как? Ты его не знаешь?

– Я многих не знаю.

– Это же Салих.

– Какой Салих?

– Ты же с ним учился.

– Это он?

– Да.

– Что с ним произошло? – я вгляделся в него, в этого Салиха, да тогда, когда учился со мной, он не носил этих рыжих усов. Я повторил вопрос:

– А что с ним произошло?

– В каком смысле?

– Важный стал, на черной приехал.

– Ты что, не знаешь?

– Что?

– Его на днях избрали секретарем горкома.

– Кого? Салиха?

– Да, Салиха Ибрагимовича.

– Ах, Салиха Ибрагимовича?! – воскликнул я и не мог удержаться от смеха, потому что в сознании ассоциативно проявился образ литературного героя, образ незаконного сына турецкого подданного Остапа Ибрагимовича Бендера.

Я не заметил, как рядом оказался сам Салих, и он, конечно, услышал мои слова и мой смех. Пожимая руки моих соседей, сделал вид, что меня не заметил, и прошел мимо.

Иной раз задумаюсь о жизни, – и делается дурно... Были у меня друзья, где они теперь? Исида по рукам пошла, Навруза нет в живых, Алекси мытарствует, Амир-Чупан там, где Макар телят не гонял, с Мирзой – несчастье, а вот Салих и подобные – торжествуют. Была у нас группа актеров, и ее не стало, был коллектив и – его нет. Так и хочется воскликнуть: «Человек, где ты, не вижу! Отзовись. Вернись на свой пьедестал творца, будь человеком!» А надежды наши, желания – на макулатуру... Что же это делается? Куда мы идем! Что ждет нас впереди, если все деградировано?

Где-то, говорят, стоит памятник с надписью: «Идеальному Актеру и Идеальному Зрителю от признательного общества». На представлении «Отелло» простодушный зритель выстрелил в мавра, когда тот в ярости душил Дездемону. Зритель целился в героя, а убил актера. Поняв свою ошибку, зритель покончил с собой. Совершил он суд над собой, подобно тому, как это должен был сделать герой в последнем акте. Говорят, что актера и зрителя похоронили в одной могиле. Очень сожалею, что актером был не я. Каждый день я убиваю в себе Отелло после того, как покинул театр. Скверно на душе, будто света не видит, будто в темнице она. Как это у нашего Алекси:

Точно солнце родному краю
Дарит свет, так тебе я несу
Всю любовь, как в бокале до края.
Печь, как луч, выпивает росу.
Я служу тебе и угождаю
Каждый шаг, каждый час, каждый день.
Лихорадкой любовной снедаем,
Все тебе отдаю, даже тень.

Отдаю безвозмездно, навеки.
Пожелай – стану прахом у ног.
Жаль, что годы, как горные реки,
Отгремят, обмелеет поток.
Так спеши, забирай до мгновенья
Жизнь мою, мои лучшие дни.
Упреки беспощадное время,
Расставания миг отдали.
Час пробьет, и, как свечи, угаснут
Голубые огни моих глаз.
Все, что было желанно-прекрасным,
Я оставляю тебе в этот час.
Но прошу, чтобы не закрывали
Век моих. Пусть насытится взгляд.
Чтоб посмертно глаза отражали
Все, что в жизни увидеть был рад:
Звездный путь муравьев суетливых,
Муравьиное скопище звезд,
Гнев Сулака в весенних долинах,
Половодьем сорвавшего мост.
Силуэты счастливых влюбленных...
(Лунный шепот их не для меня),
Дым цветущих деревьев на склонах,
Алый свет восходящего дня.
Улыбнуться бы. Но улыбаться
Я уже никогда не смогу,
Тайно плакать, любить и смеяться
Над собою. Ответить врагу
Не сумею. Поскольку я стану
Навсегда лишь твоим – и ничьим!
Дней моих лебединая стая
Затеряется в вечной ночи.
Лишь душа, пребывая во власти
Горькой памяти, будет грустить
О навеки утраченном счастье –
Бесконечно любимой служить.

Эпилог

Пишу я о себе, о своей судьбе здесь, не на воле, а на «зоне», пишу в свободное от неволи время. Надзиратель – добрый малый, знает меня и обеспечивает бумагой, а что

касается шариковых ручек, то в соседней камере ребята мастерят их из разноцветных кусочков пластмассы, из цветного бисера.

Знаете, о чем я мечтаю? Вам это покажется странным, мечтаю об одном: поесть лангет в Доме актеров в Москве.

И вот я ставлю точку. Меня зовут, да, да, моим настоящим именем, слышите, оказывается, я никакой не Отелло, я просто-напросто гражданин... Слышите:

– Гражданин Марио, к выходу, на свидание.

Наверное, мои друзья. Жена с детьми вчера была. И знаете, что жена сказала: может быть, говорит, к Салиху обратиться?

– К кому? – переспросил я, думая, не ослышался ли.

– К Салиху, секретарю горкома.

– Так я же по его воле здесь, дочь пасечника, – усмехаюсь я над наивностью моей жены и добавляю: – Чтоб больше не слышал я этого имени от тебя.

– А что же делать, муж мой, так тебя не хватает нам. Дети все спрашивают, когда же отец вернется домой.

– Потерпи, придет час.

Она разразилась слезами, еле успокоил ее. Не люблю я слез, не выношу. Как ушла она – на душе легче стало. И вообще, нисколько не сожалею о том, что посадили меня. Отец мой приезжал, слова не вымолвил, лишь сурово глядел. А, прощаясь, сказал:

– Сына нашего соседа помнишь, Сафара?

– Помню, отец.

– Он – инженер-строитель, – слеза блеснула у него на щеке. Поседевший мой отец ушел и не обернулся.

Слышите веселые голоса? Да, это они, это мой табор, мой театр, не покидающий меня и в беде, и в радости. Я надеюсь, общество отрезвеет и найдет силы реабилитировать меня, я виноват, не отрицаю, а судьба могла быть иной, если бы общество не было таким.

– Здравствуйте, ребята, как хорошо, что вы пришли!

– Здравствуй, Отелло!

– Рад тебе, Дездемона!

ГЕРЕЙ ИЗ ТАРКАМА

Повесть

Время
Делом заниматься -
Дело
Мастером творится!

Цандалай

Герей из Таркама

Вы ничего не слышали о Герее Таркамане? Достойный во всех отношениях был, говорят, человек. Шестнадцати лет еще не исполнилось ему, когда взял его в ученики знаменитый в Сирагинских горах мастер – лудильщик Кичи-Калайчи. А лудильщики в горах всегда были скитальцами – из хутора в аул, из аула в хутор и так до скончания века.

Уроки мудрого пошли впрок способному. За два года Герей обошел все аулы Машахатской округи, заглянул в каждый дом и так добротно перечинил все котлы, столь тщательно покрыл их полудой, что к весне третьего года остался без работы. Вот и сегодня Герей направился через перевал Хабкай в надежде найти работу рукам и получить за свой труд столько, чтоб раз наесться досыта. Куда там!

Теплое весеннее солнце щедро грело Герея, лучи легко ныряли в прорехи его черкески, прожженной кислотой, шарили в пустых хурджинах. Заметив влажную дорожку, Герей поспешил к роднику. А там уже сидел хмурый, как осенняя туча, сам Кичи-Калайчи, с которым Герей давно не встречался.

– Салам алейкум, дорогой учитель! – обрадовался Герей и с признательностью протянул обе руки.

Но Кичи-Калайчи даже не взглянул на ученика. Задрав голову, старик спросил кого-то, кто вроде бы стоял на самой макушке горы:

– И как земля носит таких людей?!

– Кого? – удивился Герей. – Если обо мне, то за какие грехи должна земля сбросить меня со своей груди?

Кичи-Калайчи опять посмотрел вверх:

– Если так проклинать, как я всю дорогу клял этого человека, неужели он может еще на ногах стоять и даже тень на меня бросает?..

– Почтенный учитель! Чем я заслужил такую кару?

– Не называй меня так! Шайтан твой учитель! Лучше бы руки мои отсохли! Глаза бы пусть ослепли в тот день, когда я посадил рядом с собой этого... Учил, учил, а ты что наделал?! Люди, люди, научил я его стрелять, и он выстрелил первым в меня.

– А что я!.. Как велели, так и делал... – мялся Герей, подергивая себя за ухо, чтоб не улыбнуться: зная свой веселый нрав, ученик придумал способ спасаться от гнева вспыльчивого лудильщика.

– Вот именно! – Кичи-Калайчи с хрустом повернулся в сторону Герея. – Делал, делал... Не только себя, но и учителя лишил заработка! Чему я учил тебя? Отвечай!

– Блюда лудить... котлы паять...

– Молчи! Не тебя спрашиваю! – Кичи-Калайчи поерзал, усаживаясь поудобнее на плоском камне. – Себя спрашиваю: зачем, глупец, передал свое умение? Кому раскрывал секреты? У него же не голова под папахой, а котел нелуженый! Котел! Что главное в нашем деле? Отвечай!

– Быть честным! Так работать, чтоб все блестело и звенело...

– Молчи, когда старший говорит! – Кичи-Калайчи так вскинул руки, что поехал вниз с камня. – Честный какой! Разве не я говорил: когда заделываешь дырку, смотри, рраз! – он с силой ткнул пальцем правой руки в середину тощей ладони левой руки, – этой дырки как не бывало! Еще дыра, и это – рраз! – залатал! А во-от эту, махонькую, даже еще не дыру, а только намек на дыру, – эту оставь. Оставь! Потому что живому человеку каждый день хоть на чурек, а надо зарабатывать! Говорил я тебе? Отвечай! Нет, я сам скажу: говорил! И когда полудой посуду покрываешь, не

лепи полуд кизячьей лепешкой, а покрывай то-о-о-ненько, чтоб уже после третьей варки посуда снова к тебе в руки просилась!

– Но разве это... честно?

– Не смей меня спрашивать, когда я тебя спрашиваю! Отвечай: зачем твоя честность отнимает у меня хлеб? Если бы у меня была своя земля, хоть клочок земли, куда бы ни шло...

– Прости, учитель. Я думал...

– Ни о чем ты не думал! Эта работа не для твоего котла! – ударил он себя по лбу.

– ... мечтал, чтоб исчезла наконец в саклях бедняков дырявая посуда. Конечно, словчить можно, но людей жаль...

– А я кто? Пыль придорожная? Гусеница, которую ветер с горы катит?! Я уже охрип, выкрикивая по аулам: «Кому чинить-паять?..» Готов бесплатно работать! Руки ведь ото всех невзгод лечат! И мои пальцы не привыкли на животе лежать... Э! Тебе говорить – лучше камни в сухой колодец бросать!

Кичи-Калайчи в сердцах схватил свой мешок, тряхнул, и оттуда выкатился закопченный котел. Герей оживился: там, где появляется котел, есть надежда на обед.

Старик поджег собранный в кучу хворост, втиснул в щели две палки-рагульки, на третью повесил над огнем котел с водой и стал месить из серой кукурузной муки тесто на хинкал…

Герей, три дня не евший горячего, смиренно заметил:

– Уважаемый учитель! У меня осталась горсть пшеничной муки…

– А мне что за дело?

– А котла нет... Разреши в твоем сварить хинкал.

Старик промолчал, и Герей поспешно раскатал на камне муку, политую водой из родника. Хозяин котла первым бросил куски теста в закипавшую воду. Когда Герей склонился над котлом, старик загородил его рукой, достал из мешка трехгранную амузгинскую иголку, которой шьют

чарыки, и нанизал на длинную нитку пшеничные галушки Герея.

Герей изумился:

– Что ты делаешь, учитель?

– Не хочу твой белый мешать со своим серым! – двусмысленно объявил Кичи-Калайчи, принимаясь чистить чеснок.

– Но котел-то один!.. Ой, да в нем и воды не осталось! Ах, учитель, зря насылал ты семь раз по семьсот трехцветных проклятий на мою голову: вот же, объявилась дырявая посуда! Давай залатаю, три года будет служить – слово даю!

– Эх! – крякнул с досады старик, стянул с палки котел, вывалил хинкал-ожерелье и свой, ненанизанный, прямо на траву, а остатки жижи плеснул на дорогу, прямо под ноги коню, который вез всадника в кожаной куртке. Следом ехали люди, вооруженные винтовками.

Человек в кожаной куртке, а это был комиссар Степан Федорович Карганов, легко спешился и подошел не к старшему Кичи-Калайчи, как положено в горах, а к молодому, Герею, пожал ему руку и с радостными восклицаниями крепко обнял. Кичи-Калайчи замер с горячим котлом: такие важные комиссары, при сабле, с биноклем на ремне, неужели знакомы с его непутевым учеником?

Пока отряд поил коней, человек в кожанке отвел Герея в сторонку и с большим вниманием выслушал, что тот говорил ему вполголоса. Потом они рассматривали карту, и палец комиссара послушно, как нитка за иголкой, следовал за пальцем Герея. К Кичи-Калайчи подошел боец отряда, уже напоивший коня.

– Что, старик, собрался хинкал варить?

– Пустая затея! – буркнул Кичи-Калайчи.

– Ты кто, такой сердитый?

– Человек.

– Вижу. Чем занимаешься?

– Облака сторожу.

– Старое ремесло...

– А ты кто такой, чтоб меня расспрашивать? – возмутился Кичи-Калайчи.

– Я – большевик, отец.

– Сынок нашелся.

– И звать меня Зурум. – Молодой боец протянул руку. Кичи-Калайчи ворчливо пожал и спросил:

– Откуда будешь?

– Из Эрзерума.

– Не слышал.

– Турок я, из Турции.

– Из Турции? Такой молодой? И большевик?

– Да, отец, может, чем тебе помочь?

– Нет, спасибо, один уже помог, без дела оставил. Куда я теперь денусь, что делать лудильщику, когда заказов нет?

– Э-э, не скажи! Бедняку на этом свете всегда дело найдется. Если заказов не имеешь – идем с нами.

– А у вас что за дела?

– За землю воевать, за свободу...

– Свобода и у меня – девать некуда! А вот земли нет. И никогда не было...

– И не будет, пока сам у богатеев не отберешь. Землю с боем приходится завоевывать.

– С пустыми руками какой из меня вояка!

– Ты прав, старик. Без оружия земли не добыть, но и оружие добыть не просто...

Отряд во главе с Каргановым, человеком в кожанке, как его назвал про себя лудильщик, скрылся за поворотом дороги, указанной Гереем Таркаманом.

Ни о чем не спрашивая ученика, Кичи-Калайчи нанизал полусырой хинкал на кизиловые ветки и положил жариться на углях.

– Что будем делать, учитель? – спросил Герей, доедая свой хинкал.

– Зачем спрашиваешь? Привык получать совет и мне же во вред использовать?! Делай, что хочешь, а я пойду домой, соберу все, что можно продать, и куплю быка. Одного быка.

– Не скупись, учитель. Если тратиться, так уж на пару быков...

– Второй у меня в сарае мычит. Завтра приведу с базара быка, запрягу обоих и двину в поле.

– Ты же говорил, учитель, что своей земли не имеешь.

– Куплю – вот и будет!

– Ты? Купишь? И быка, и землю? Тебе хоть известна цена земли?

– Спрошу, когда буду приценяться.

Герей выпрямился и показал рукой на чернеющий клочок поля у склона горы:

– Смотри, учитель, велик ли этот лоскуток? А цена ему такова: если имеешь овец, веди их на поле и ставь так тесно, чтоб они заняли все поле! Вот сколько стоит у нас земля.

– Неужели такие цены?

– Правду говорю. Я сам видел бедняка, которому не хватало одной овцы, и тогда он велел сыну рядом встать на четвереньки. Малыша продал!

– Астапируллах! Страшно жить на свете! Что же бедному человеку делать?

– Ты говорил, есть в сарае бычок. Придется обменять его на оружие и идти воевать с теми, кто лишил нас земли.

– А кто даст мне землю? За Порт-Артур мне крест Георгия дали... А тут не крест, а целое поле!

– Советская власть землю даст!

– Чья эта власть?

– Наша, учитель, всех бедняков власть.

– Если правду говоришь, что наша власть, согласен променять последнего быка. Но где найти желающего отдать то, что самому необходимо?

Герей чуть помедлил, оглянулся, хотя никого рядом не было у родника. Тихо, как человеку в кожаной куртке, сказал:

– Слышал я, в Мазгарауле есть такой человек. Зовут его Давла-Мустафа.

– Советуешь к нему обратиться? Поможет?

– Человек верный, многих выручал.

– Так, значит? А раньше не мог сказать? Сижу здесь, время теряю, а там Давла-Мустафа все оружие раздаст... Прощай!

Зурум из Эрзерума

Если согласны сера и селитра,
Не оставят пули в ружье.

Из турецкой песни.

1

Война – это свадьба смерти, говорят турки. Страшное бедствие обрушилось на многострадальную турецкую землю. Разрушены города, опустели деревни, обнищали крестьяне. В Эрзерумском вилайяте – уезде – есть небольшая деревня Чаторок, жители ее и ранее еле сводили концы с концами, а в войну вовсе разорились и были обречены на голодную смерть. А с фронта все шли черные вести. Турция, вовлеченная в эту бойню, в эту авантюру империалистами Антанты, несла неисчислимые жертвы... Много было горьких слез и отчаяния. Погиб на войне и Яшар, отец четырех детей; мать не снесла горя, вскоре и она умерла. Осиротели дети. Старшая сестра вынуждена была стать четвертой женой старика, служителя мечети, чтоб хоть чем-нибудь помочь младшей сестре и двум братьям, но страшно жадным оказался муж и за горсть муки он избил ее до полусмерти. Беда не говорит: «Стой, я сейчас приду!» Другая сестра исчезла из деревни, и не известна дальнейшая ее судьба, также и старший брат: ушел на поиски хлеба и не вернулся. Остался один Зурум, которому исполнилось тогда пятнадцать лет. Некому помочь сироте. И он покинул полуразвалившуюся отцовскую саклю и подался с одним таким же несчастным, как он, юношей в Эрзерум. И в этом чужом

для них и неизвестном городе они нашли работу на кожевенном заводе, принадлежавшем богатому промышленнику. Но заработанное им еле хватало на скудное пропитание, хотя гнули спину от рассвета до заката на изнуряющей работе. Примитивной была выделка кожи, люди заболевали чахоткой и умирали на улице. И вскоре завод был закрыт. Люди остались без дела, без хлеба, без денег. Зурум стал бродягой; преследуемый полицией, мучимый голодом и холодом, скитался он по городским трущобам. Правоверные молились в мечетях, прося аллаха ниспослать поражение гяурам. Пугали людей служители веры, мол, русские не пощадят никого, всех ждет смерть в страшных муках, будут осквернены мечети, обесчещены женщины, сосланы на каторгу мужчины. В неописуемом страхе многие из зажиточных покидали город, захватив с собой добро, а бедным нечего было терять, и ждали своей участи – будь что будет, все равно и так нет ничего, одни только надежды на лучшую жизнь, а ее не видно, и вряд ли когда она наступит. И в первый раз в своей жизни Зурум польстился на чужое, голод совершенно одолел его, он мог рухнуть в закоулке, чтоб никогда больше не подняться. Почувствовав запах хлеба, он потянулся к этому манящему запаху, собрав всю свою силу воли, чтобы не потерять сознание. И увидел перед собой человека, который нес на голове большой поднос, наполненный до краев лепешками, видимо, нес их на базар, чтобы продать. Может быть, даже этот хлеб не его, а хозяина, который решил разбогатеть на несчастье людей, продать подороже хлеб в это страшное время. Не помня себя, Зурум набросился на этого человека, схватил одну лепешку и быстро съел ее... Несший хлеб стал его избивать, пинать ногами, звать полицейских, но Зурум, не замечая побоев, вскочил, схватил еще одну лепешку и, хромая, бросился прочь. Появившийся полицейский сделал вид, что помогает собирать лепешки, а сам съел одну, прежде чем спросить: «Куда, в какую сторону убежал вор?» Да, и полицейским, видно, жилось не сладко в этом прифронтовом городе.

С базарной площади, откуда из укрытия наблюдал Зурум, русские солдаты развели походные кухни. Зурум вглядывался в этих людей и ничего страшного в них не замечал, а его пугали, говорили, что у них три глаза и рога на голове. Все это выглядело смешно, и надо же такой чепухе поверить, люди как люди, добрые, улыбающиеся лица, только вот говорят на непонятном языке. И вдруг, к удивлению Зурума, несколько бродяг-мальчишек робко подошли к солдатам, которые сели поесть... В обозе армии были и русские женщины... Зурум думал, вот-вот сейчас эти солдаты набросятся на оборванцев, но нет, одна из женщин наполнила их миску кашей, дала ложки и хлеб. Она усадила их рядом с солдатами. И тут Зурума будто кто-то вытолкнул из укрытия, и он подбежал к этой женщине.

– Как тебя звать? – спросила приветливо молодая, краснощекая, ласковая, как мать, женщина.

Зурум не понял вопроса. Тогда она, показав на себя рукой, сказала:

– Меня Марией зовут, Мария.

– Марьям? – робко произнес Зурум.

– Да, да, Мария.

– Марьям... – повторил Зурум, ведь и его маму звали так. – Зурум, Зурум, – назвал он себя, поняв, о чем спрашивает эта женщина.

– Есть хочешь, Ванечка, – сказала добрая, как мать, Мария Ивановна, почему-то назвав его русским именем, и подала ему миску каши и ломтик хлеба. – Ешь, Ванечка, живи, Ванечка.

– Ванечка, – улыбнувшись, довольный проговорил Зурум. Поел голодный Зурум все, что подали ему, а когда Мария Ивановна с ведрами направилась за водой, то он подбежал к ней, схватил ведра...

– Дайте, дайте, я понесу...

И с этой минуты он постоянно находился рядом с Марией Ивановной и во всем помогал ей. Мария Ивановна была женой ездового армейского обоза Степана Федоровича Карганова. И ему пришелся по душе этот расторопный па-

ренек. Они одели его в обмундирование, не первой свежести, но ничего.

– Настоящий солдат! – воскликнул Степан Федорович. – Ты, Ваня, не бойся, – говорил он, – С нами не пропадешь! И куда бы ни передислоцировались они с войсками, брали его с собой, посадив на бричку. И Зурум, ставший для них Ваней, был счастлив, считая, что ему очень повезло в жизни. Чужие люди окружили его заботой и вниманием, как родного сына. А когда же он спас обоз от засады бандитов, передав командиру случайно услышанное, то его вовсе полюбили русские солдаты. «Молодец, Ваня!» – говорили они, похлопывая его по плечу при встрече. И благодарный им за заботу Зурум помогал всем, чем мог: ухаживал за лошадьми, колол дрова, переносил тяжести и даже несколько раз был переводчиком. Во всем он был предан им и все выполнял добросовестно. Смешно выговаривал русские слова, путал русские и турецкие. Солдаты были довольны его услугами, и тогда он чувствовал себя счастливым человеком.

Вскоре обоз, в котором был и Зурум, оказался в морском порту Трапезунд. О море Зурум слышал, но никогда не видел, а как увидел, поразился: «Много воды, много воды!», запрыгал он, как мальчишка. Ему было страшно от этого величия и радостно, что он своими глазами видит такое. И сюда вскоре на белых крыльях донеслась долгожданная весть о свержении царя в России. И русские солдаты подняли красное знамя революции и прекратили военные действия. Солдаты отказались подчиняться приказам офицеров; как понял тогда Зурум, солдаты не хотели убивать и сами погибать на чужой стороне за чьи-то интересы. И знамя красное первым поднял не кто-нибудь, а Степан Карганов – он был большевиком. «Большевик, наверное, – бесстрашный и мужественный человек», – подумал Зурум, когда Степан Карганов не испугался разъяренного офицера, который вертел перед его носом наганом. Карганов приказал разоружить и арестовать офицера, солдаты исполнили его приказ. Это совсем поразило Зурума. И он, как одержимый, бросился к нему:

– Мой господин, мой великий господин!

– Какой я тебе господин... – возмутился Степан, отстранив от себя турка, затем пожалел и, приблизив к себе, сказал: – Эх, сынок, революция в России, революция! Инкилаб!

– А это хорошо или плохо?

– Хорошо, Ваня, хорошо. Без господ будем жить. Нет господ, есть товарищ, как у вас там, спутник, брат.

– Ты мой брат?

– Вот именно, сынок! Ребята, – обратился он к солдатам. – Хватит, конец войне, возвращаемся домой!

Прокатилось многоголосое «Ура!». И русские солдаты стали покидать чужбину. Зурум чувствовал что-то неладное, страх какой-то пронизал его. «Неужели все, неужели они уедут, а его оставят здесь, где он никому не нужен...»

– Вот так, Ваня, – сказал ему Степан Карганов. – Кончилась война...

– И правильно, брат, война плохо... – опустив голову, грустно проговорил Зурум.

– А вот что с тобой делать, ума не приложу. С нами тебе ехать нельзя...

– Почему нельзя, почему не можно... – пал на колени Зурум.

– Вставай, вставай... Что ты меня в краску вгоняешь? Нельзя, понимаешь, ты здешний, ты турок...

– Нет, я ваш турок...

И солдаты, слушавшие его, расхохотались, повар воскликнул:

«Наш, наш турок!» Зурум бросился к Марии Ивановне, которая стояла в стороне.

– Мама Марьям! – крикнул он, да так, что у женщины сердце сжалось в груди, и украдкой она вытерла слезы. – Ты скажи им, что ваш, они тебя послушаются...

– Что делать, не знаю, – обратился Степан к солдатам. – Пропадет он здесь.

– Пить дать – пропадет.

– Да, если узнают, что он с нами был, вовсе забьют.

Стоял крайне удрученный Зурум и думал, если они сейчас не возьмут его с собой, то померкнет для него белый свет, померкнет всякая надежда, и останется он один в пустыне, никому не нужным оборванцем, уличным бродягой с нищенской сумой. И молил он в душе небо, чтобы оно смилостивилось над ним.

– А почему нельзя взять с собой?

– Понимаешь, чужестранец, всякое может случиться... – как-то нерешительно сказал Степан.

– Революция, революция... обновление, и старое все псу под хвост! – крикнул усатый солдат, скручивая цигарку, козью ножку.

– Степа, Степушка, возьмем, а... – попросила его и Мария Ивановна, прижав к себе, как родного, Зурума, и, не выдержав, заплакала.

– Ну вот и слезы здесь...

– Обоз готов! – доложили ему.

– Пропадет он здесь, детей у вас нет. Степан, возьмите его с собой – хорошим помощником будет, – попросили его солдаты, особенно добрым показался Зуруму солдат с рыжей бородой, который курил цигарку.

– Пусть будет, как народ сказал. Садись, Ванюшка, на бричку, – крикнул Степан Федорович.

– Вот и хорошо. Вот и хорошо, – радостно причитала Мария Ивановна. – Будешь нашим сыном!

– Спасибо мама Марьям! – запрыгал от радости Зурум, вскочил на бричку и погнал лошадей, будто спешил поскорее покинуть эти хоть и родные, но неласковые к сироте места и пуститься в дорогу в неведомые далекие края, где живут такие добрые, смелые люди, где свершилось такое, от чего солдаты перестали выполнять приказы офицеров и отказались воевать, даже якшаться стали с турецкими аскерами.

– Простите и прощайте, не по нашей воле случилось все это, – говорил солдат с рыжей бородой, повстречавшись с турецкими солдатами, и при этом разговоре переводчиком был Зурум. – Конец войне, мы не будем больше воевать... У нас революция!

– Инкилаб, инкилаб! – воскликнули аскеры, прощаясь.

– Пусть и у вас будет инкилаб!

– И у нас будет!

Опасная была дорога возвращающихся с войны, встречались засады бандитов. И Степан Карганов подарил Зурум наган и сказал:

– Возьми, сынок, время опасное, не теряй и знай, когда и где применить.

Зурум был горд и рад, что он вооружен. И по пути охранял обоз, но когда русские войска стали приближаться к городу Батум, то их задержали вооруженные солдаты, которые не признавали власти большевиков. Их интернировали, разоружили, затем повели через Аджарию. Одни направились в Тифлис, другие, среди которых были Зурум и его новые родители, – в сторону Баку. Мария Ивановна и Степан Федорович были из Дербента, туда они и собирались. Но случилось непредвиденное: где-то в районе Акстафа воинская застава, пропустив всех, задержала Зурума как подданного другого государства. Его решили вернуть в Турцию. Ни просьбы, ни увещевания Степана не возымели действия. Так их и разлучили, даже не дав как следует попрощаться. Много народу скопилось, был ажиотаж. Двое увели Зурума к какому-то каменному домику. Двор был полон такими же, как Зурум, людьми. Зурум был в отчаянии и все помнил слова Степана: «Постарайся бежать, если удастся, то мы тебя будем ждать в Дербенте. Я железнодорожный рабочий. Есть такой город в Дагестане. На этой земле живут азербайджанцы, они тебе помогут, из Баку в сторону Дербента едут поезда». Бежать, бежать во что бы то ни стало, – твердил себе Зурум.

2

Зурум держался особняком во дворе, где было много персов и турок, боялся, как бы они не захватили его с собой. А бежать хотелось, ой, как хотелось. Он сутки тщетно искал возможность к побегу. Только на третий день ему

повезло, помог случай. Кто-то поднял шум, что больной холерой лежит рядом. А вспышки этой болезни бывали нередкими тогда, так же как и сыпного тифа. Одно слово «холера» разбросало врассыпную не только простой люд, но и солдат. И все бросились к воротам, а как только страж открыл ворота, толпа хлынула прочь. Зурум ловкими прыжками добрался до обрыва, спрыгнул и притаился в камнях на берегу Куры. А когда все вокруг стихло, сгустились сумерки, переплыл Куру и отправился пешком догонять своих. Гнали его упорство и впервые вселившаяся в него неистребимая любовь к людям, что стали ему близкими и дорогими. Но не ведал он еще о том, что большевика Карганова с женой арестовали на окраине Баку в Балаханах мусаватисты, была тогда такая буржуазно-националистическая партия мусульман Кавказа. «Мы – патриоты независимой тюркской республики! – били себя в грудь мусаватисты. – Мы – защитники тюркского народа от завоевателей. Тюркские коммунисты хотят предать свою родину! А распознать тюрка-коммуниста не так-то трудно – это бедняк, пролетарий без рода и племени». И возомнил себя вождем этой партии Мамед-Эмин Расул-Заде. А когда англичане потребовали от них «кладбищенского спокойствия», то первым он пал ниц перед англичанами: «Долой советскую власть! Да здравствует независимый Азербайджан!» – завопили мусаватисты. В те годы английский экономический журнал «Нир ист» писал: «В отношении нефти Баку не имеет себе равных. Баку – величайший нефтяной центр мира. Если нефть – королева, то Баку – ее трон». Рассматривали Баку как важнейший пункт, обеспечивающий господство на Каспийском море. «Контроль над морем принадлежит только тому, кто владеет Баку, а потому необходимо оккупировать этот город», – заявлял английский генерал Денстервиль.

Арестованных жестоко избили и бросили в тюрьму, обвинив в призыве к немедленному захвату помещичьих земель и передаче их крестьянам, тогда как национальный комитет мусаватистов требовал отложить решение земельного вопроса до Учредительного собрания.

В Баку сразу же после Октября образовалось двоевластие: с одной стороны, Исполнительный комитет общественных организаций – орган нефтепромышленной буржуазии и помещиков, местный орган Временного правительства, с другой – Совет рабочих и солдатских депутатов во главе с закалившимся в боях бакинским пролетариатом. Положение с каждым днем накалялось. Советы стали рождаться и в других городах и селах. И, расспрашивая людей, добрался Зурум до Баку, попытки сесть на поезд до Дербента оказались тщетными, и чуть было его не схватили на перроне. Он стал задумываться, пытаясь яснее понять происходящее. Ведь Степан Федорович говорил, что революция победила, что не будет более угнетателей, все будет по справедливости. А выходит, все осталось здесь таким же, как и на его родине, бедные остались бедными, незащищенным звеном, а богатые и мироеды всюду верховодят. Разобраться во всем этом юноше было нелегко, но сама жизнь подсказывала ему быть ближе к тем, кто беден, кто не потерял доброту к человеку. Если бы сама жизнь не расколола мир надвое – на бедных и богатых – может быть, и не родилась бы надежда у большинства к свободе. И чтоб не умереть с голоду, надо было и Зуруму найти свое место в этой борьбе. И, добравшись до Кубы, обессиленный и изможденный, он постучался в сумерках в калитку дома, что стоял в укромном месте под пирамидальными тополями. Долго никто не открывал, и вдруг набросили ему на голову мешковину, он почувствовал запах муки, и потащили куда-то. А когда с него сняли мешок, то он оказался на полу в большом подвале, где полно было людей и тускло светила керосиновая лампа.

– Я говорю еще и еще раз об осторожности, враги наши еще сильны, и вы знаете, контрреволюция охотится за нами, чтоб обезглавить нашу борьбу, подсылают вот таких, как этот, наводчиков... – говорил на азербайджанском языке усатый человек в форме железнодорожного инженера.

Зурума подняли и спросили:

– Кто тебя подослал?

– Зря вы это, меня никто не подсылал...

– А что ты делал у этого дома?

– Я случайно, я голоден, искал ночлега.

Мало кто ему поверил. Но слово за словом он объяснил, откуда он и кто. А когда же он сказал о Степане Федоровиче Карганове, все изменилось. Вышло, что тот, кто был в форме железнодорожника, знал очень хорошо Степана Федоровича. Досадно и обидно стало Зуруму, когда он узнал, что никто не знает, жив ли Степан Федорович, жива ли его жена, в Балаханах их арестовали мусаватисты, и больше о них ничего не было известно. Может быть, их больше и нет в живых.

– Неправда, – крикнул Зурум, – нет, не может быть, чтоб Марьям и Степан Федорович не были живы... Они должны меня ждать.

– Где?

– В Дербенте они обещали.

– Если живы они, где-то в Баку, а не в Дербенте.

– А что же мне делать?

– Делать есть что: бороться за то дело, которым жил Степан Федорович.

– Я готов.

Весть о победе Октябрьской революции в Петрограде застала Зурума в Дербенте.

– Отныне вся власть должна принадлежать трудовому народу. Пусть у власти стоит теперь тот, кто своими руками кует железо, растит хлеб и защищает землю! – говорил это, выступая перед железнодорожниками, Степан Федорович Карганов. – «Дядя Степан!» – Зурум пробился к нему с радостно бьющимся сердцем и потянул его за полу тужурки.

Кичи-Калайчи

Он не был гением, а хлеб растил –
Для гения и путника земли.
Он был поэтом поля –
Его предчувствий и его тепла.
И время знал – когда пахать и сеять.

Цандалай

Если у человека есть характер – это достояние всегда при нем.

У Кичи-Калайчи был характер. Уж если лудильщик что задумал – его ни переубедить, ни запугать никто не мог. Даже мольбы и проклятия жены лудильщика Айши. Весь аул слышал, как она вопила, заклинала не терять разума.

Айша голосила, бычок мычал, а Кичи-Калайчи, не говоря ни слова, делал то, что задумал: нашел обрывок веревки, накинул быку на рога и потянул его за собой. День шли с утра до вечера и еще день – с зари до сумерек, пока бычок не уперся в ворота сакли Давла-Мустафы.

– Ассаламу алейкум! – крикнул Кичи-Калайчи, распахивая ворота.

– Ваалейкуму салам! – густым басом отозвался хозяин, и голос его, заполнив ущелье, вернулся оттуда эхом: «...лам! лам!» Оглушенный лудильщик заорал во всю мочь:

– Ты даешь в обмен оружие?

– Пусть отсохнет язык у того, кто наплел тебе такое! «...ое! ое!» – отозвалось в ущелье.

«Вот это голосина! – подумал Кичи-Калайчи, рассматривая хилого, ростом с ребенка, мужчину средних лет, без бороды и усов.

«С таким духовым оркестром в глотке только глашатаем быть!» А вслух спросил:

– Выходит, зря я тащил скотину два дня и одну ночь?

Хозяин на цыпочках, как танцор, обежал бычка, похлопал по взгорбку между рогами. И перешел на шепот:

– Сытый бычок, ухоженный.

– Когда со двора выводил, совсем гладкий был, лоснился. Подумай, сколько ему пришлось подъемов и спусков одолеть до твоего двора. Эх, к чему я все это говорю! Ведь зарекался не раз, не надо слушать советов непутевого Герея! Кому поверил? Мальчишка – годами, ребенок – умом...

– Зачем скрыл, что тебя Герей послал?! – воскликнул хозяин, и ущелье снова отозвалось: «лих-лих.. ла-ал!»

Оглядев крыши соседних саклей, Давла-Мустафа взял веревку и повел бычка под навес сарая.

– Вот сюда привязывай... Если Герей сказал, будет тебе оружие.

Кичи-Калайчи поджал губы. Странные люди! Там, у ручья, человек в кожанке с таким вниманием слушал дуралея Герея. И здесь этот Гром-Голос готов оружие отдать только потому, что Герей советовал. Что они в нем нашли? Не князь, не имам, за что ему такой почет?..

– А ты откуда знаешь Герея?

– Я? – изумился Кичи-Калайчи. – Да это ж мой ученик! Из этих вот рук ремесло получил!

– Выходит, главного не знаешь: Герей – большевик!

– Кто? Этот батрак-поденщик?

– Ах, так заговорил! Нет у меня нечего! Иди, дорогой! – в сердцах сплюнул хозяин.

Давла-Мустафа засеменил к порогу дома, но Кичи-Калайчи в два прыжка догнал его и вцепился в тощее плечико:

– Ты что? Поиграть захотел? То «Нет оружия!», то «Есть оружие!», то гудишь «Сюда привязывай!», то рвешь «Иди отвязывай!». Не морочь голову! Скажи сразу: есть у тебя оружие или только гром в глотке?

– Зачем тебе оружие?

– Воевать иду!

– Позволь спросить: с кем?

– Откуда я знаю, как их зовут?! Тех, у которых, чтоб землю купить, надо своего ребенка на четвереньки рядом со скотиной ставить и продавать.

– Прямо надо говорить: «Иду бить мироедов». Вот

только дело какое: ружья у меня нет. Остался один маузер и двадцать четыре патрона.

– Если патроны не холостые – и маузер годится, – согласился новоявленный борец за землю.

Хозяин бросил перед бычком охапку прошлогодних листьев кукурузы, метнулся к порогу и сразу выскочил обратно.

– А стрелять умеешь? – Давла-Мустафа подал лудильщику маузер в деревянной кобуре.

Кичи-Калайчи внимательно осмотрел рукоять, украшенную насечкой, вскинул маузер и, не целясь, выстрелил в горшок, опрокинутый на жердь для просушки. Посыпались черенки. Хозяин уважительно подхватил стрелка под локоть и повел к воротам, сказал шепотом:

– Не трать зря патроны, дорогой! Теперь их осталось двадцать три... А что за маузер целого быка взял – не обижайся. Завтра придет красный отряд. Чем буду людей кормить? Понял?.. Тебя как зовут?

– Кичи-Калайчи. Побереги бычка. Прощай!

– Доброй дороги! – в полный голос сказал Давла-Мустафа, и его напутствие усилило эхо: «рой-ой! роги-роги!..»

Обратная дорога всегда короче, если голова полна радостных планов, и ноги не чувствуют усталости, резво вышагивают. Встретил он на большом поле за сохой раздетого по пояс крестьянина, за которым шла по борозде босая женщина с ребенком на руках. Вот она, подумал мастер, сирагинская мадонна, светлая, радостная, которая все спрашивала мужа:

– Неужели это наша земля, муж мой?

– Наша, наша, жена моя! Моя и моего сына! Гей арадаркарти! (Да быть вам здоровыми!) Гей! – подгонял он быков.

– И никто не отнимет?

– Если отнимут жизнь...

– Ой, сюда кто-то идет.

Крестьянин обернулся и увидел приближающегося Ки-

чи-Калайчи, крикнул быкам: «Воха!», чтоб они остановились, и бросился к тому месту, где лежала его одежда, схватил винтовку-однозарядку, взял на изготовку.

– Ассаламу алейкум!

– Ваалейкуму салам.

– В добрый час.

– Баркала – спасибо, и тебе доброй дороги.

– Поздно пашете.

– Пашу, а что?

– Можно проведу одну борозду?

– Кто ты?

– Да не бойся, не отниму я твоей земли, паши на здоровье. А что будешь сеять?

– Не знаю.

– А зачем пашешь?

– Земля на то и есть земля, чтоб ее пахали.

– Для удовольствия.

– Да, а что может быть бóльшим удовольствием?

– Вот и я так думаю, ну, дашь провести одну борозду?

– Мне нечем платить.

– А я и не прошу платы.

– Пожалуйста, если на добром слове, – смягчился крестьянин. Кичи-Калайчи положил хурджин, снял бешмет, засучил рукава, взял в правую руку хлыст, а левой – ручку сохи, наступив ногой на нажим в сохе, – и раздался его радостный возглас: «Гу-гари, арадаркарти, гей!» Крестьянин смотрел вслед за ним, успокаивая испугавшуюся жену: «Это наш человек, раз умеет держать соху и пахать, это наш такой же пахарь, сеятель и жнец!»

– А чем ты нас угостишь, жена моя?

– Я хинкал в крынке принесла.

– Это ничего, и гостя угостим. Эй, кунак, идем обедать… Вижу, хороший выйдет из тебя пахарь...

– Что там, отучился, брат...

– Ничего, вот отберут люди всю землю у мироедов, и тогда заживет трудовой народ.

– Ты думаешь, отберут?

– Иначе нельзя, житья нет. Земля скудна и неизобильна стала из-за них, им-то что, голодать нам приходится... нет, так дальше нельзя, мы вот поняли и отняли...

– А кто вас научил этому?

– Герей Таркаман, – вот и не ожидал лудильщик такого ответа. – Невтерпеж нам стало, вот так...– говорит крестьянин, ложкой показывая на свою худую, с выдающимся кадыком шею. – Эй, жена моя, ты очень добрая у меня, но почему хинкал положила в кувшин с таким узким горлышком, что ничего не достать? Погоди-ка, вот что мы сделаем, – крестьянин стал на колени у свежей борозды и руками утрамбовал ямочку. – Ох и добрая земля, а как пахнет, понюхай, кунак, слаще меда ее запах.

– Полынью пахнет, – замечает Кичи-Калайчи, с интересом наблюдая за затеей этого восхищенного землей человека.

– Полынь целебна... Вот и все, для хинкала тарелка готова, – сказал он, потирая руки, и вылил в это утрамбованное в борозде углубление содержимое кувшина: хинкал и бульон. – Ешь, кунак, ешь, отсюда вкуснее... Не бойся земли, ешь, земля – спасительница наша, земля – чудесница... она добрая, – и ел он с удовольствием, и слезы радости застыли у него в глазах.

И не мог мастер не последовать его примеру, если даже грозило ему это погибелью. И на самом деле не ел он никогда более вкусных галушек, может быть ему так казалось потому, что был голоден. «Клянусь, хорошо, когда человек с землей!» – решил Кичи-Калайчи.

– Жена моя, я в кувшине оставил для тебя и сына хинкал, хотя сын еще не ест. Она у меня не нарадуется, с утра вот ходит за мной и все уши прожужжала: «Неужели эта земля теперь наша?» Да, жена моя, да, наша и ничья больше. Всем хватит земли, если по справедливости...

И оглядел Кичи-Калайчи эту землю, треугольный лоскуток на склоне, пятьдесят аршинов в длину и десять-двадцать в ширину. И за этот лоскуток горец готов отдать жизнь. Да, дорого, очень дорого стоит в наших горах земля.

И Кичи-Калайчи поспешил к себе, в свой аул, а вдруг там все захватили землю, а ему ни клочка не оставили. Ощупал себя, проверил на месте ли маузер и патроны. И к полудню добрался он до родника, где недавно встретился со своим непутевым подмастерьем. Серебряной струей падала вода в каменную лохань, над которой склонились лошади, жадно утоляя жажду. Кичи-Калайчи приветствовал с поклоном возбужденных, веселых всадников в длинных шинелях и в буденовках. Таких молодцов лудильщик видел впервые.

– Здравствуй, старик, здравствуй, да сбудутся твои надежды.

– У меня одна надежда, – отозвался в тон старик.

– Какая же, если не секрет?

– А вы кто будете?

– Осторожный ты, старик.

– Жизнь научила.

– Правильно, а мы, отец, добрые вестники.

– Большевики значит.

– Смотри, угадал. Ты не ответил нам, отец, на что решился?

– Иду воевать за землю! – гордо бросил Кичи-Калайчи.

– Немного запоздал, старик.

– Как? Уже всю землю расхватали? Вот так всегда не везет мне, то рано прихожу, то опаздываю...– возроптал Кичи-Калайчи, – ой, вай, вай, дурья моя башка!

– Не терзай себя, старик, не рано и не опоздал, в самый раз. Каждому крестьянину достанется земля.

– Это правда? – засиял старик. – Теперь я верю, что вы добрые вестники.

– Вот тебе документ, отец! – протянул один из них вчетверо сложенную бумажку.

– Что это?

– Декрет о земле, отец.

– Предъявив это, я могу получить землю?

– Да, отец. Советская власть победила, отец!

– А вы знаете, о чем я подумал, когда увидел вас?

– О чем?

– Что вы очень добрые, очень хорошие люди. Как мой сын, – с гордостью сказал Кичи-Калайчи.

– А кто твой сын?

– Вы его не знаете. Он такой же как вы. И звать его Герей Таркаман!

– Герей Таркаман – твой сын?

– А что, вы знаете его? – удивился старик.

– А кто его не знает, отец? Это же наш комиссар.

– Удивительно, все его знают, а меня никто.

– Гордитесь своим сыном, отец! Прощайте!

– Не прощайте, а до свиданья! – сказал Кичи-Калайчи, обеими руками тепло пожимая их руки. – Увидите моего сына, передайте, что я все простил ему...

– Хорошо, отец.

И поцокали по тропам копыта коней добрых всадников, что разъехались в разные стороны. У родника остался бравый лудильщик Кичи-Калайчи, который погрузился в раздумья, положив на одно колено бумажку, а на другое – маузер: «У меня есть бумажка, по этой бумажке мне советская власть дает землю... У меня есть маузер, с этим оружием я хотел завоевать землю. Но зачем воевать, если без боев можно обойтись, раз победила в горах советская власть и она дает мне землю... и кругом весна, хотя и май месяц, немного поздновато, но землю же надо вспахать... А чтобы вспахать что надо? Быков и соху. Надо вернуть моего быка, и у соседа есть бык, значит, мы вдвоем вспашем и его землю и мою. По-моему, я правильно рассуждаю... и по-моему, никто не станет меня осуждать, подумал–решил, решил–сделал...» Старик положил бумажку во внутренний карман, спрятал под бешмет маузер и пошел искать, как говорится, следы своих ног.

На следующий день Кичи-Калайчи постучался в ворота сакли Давла-Мустафы. На стук никто не отозвался. Тогда он вошел во внутренний двор сакли и стал звать хозяина, никто не откликнулся, но на голос его радостным «Умму!» отозвался бычок. Да, это был его бычок. Подошел он к нему, погладил, отвязал, положил на край кормушки маузер и,

как корм скоту, высыпал перед оружием патроны. Вывел своего бычка и аккуратно прикрыл за собой ворота.

Ли Шанчи из Дома слёз

Небо знает, земля знает,
Ты знаешь, и он знает,
А я тем более знаю,
Кто же тогда говорит,
Никто ничего не знает?

Из китайского фольклора

1

Ночью Герей услышал какой-то подозрительный шум с внешней стены.

Прислушался. Да, так и есть, кто-то пытается пробиться к ним. Герей разбудил всех, а все были раз-два и обчелся: Зурум и раненый Степан, взялись они кто чем выковыривать из стены бывшего сеновала камни. Вскоре образовался проход.

– Эй, кто там? – спросил Герей.

С той стороны дыры никто не отозвался. Тогда Зурум протиснулся в проход, что выходил в соседний подвал. И через некоторое время из смежного помещения раздался шум схватившихся между собой людей.

– Зурум, кто там?

– Да какой-то тип набросился на меня.

– Тащи его сюда.

– Как я это сделаю, если он меня не пускает? – раздался жалобный голос Зурума.

Все выяснилось утром. Тот, кого заперли душманы в соседнем подвале, готовил побег, думал, что за стеной улица, и пробил дыру к ним. Это был скуластый, очень похожий на ногайца, человек среднего роста, лет тридцати.

– Ногаец? – спросил его Герей.

– Нет.
– А кто же ты?
– А вы кто?
– Как видишь, друзья твои по беде.
– Красные?
– Считай, да, раз мы в тюрьме.
– Не ногаец я, я китаец, интернационалист.
– Китаец? Да, мир тесен. Как же ты сюда попал?
– Долгая история. Бежать нам надо!
– Об этом и мы думаем.
– Думать поздно, действовать надо! – решительно сказал китаец. – Бежать, бежать, иначе будет поздно... – засуетился он, пробуя прочность то окошка, то двери...

2

В маленькой деревушке на севере Маньчжурии, которая называлась Домом слез, у всех на устах была поговорка: «И птица гибнет, если на одном месте засидится». Конечно, такое породило не праздное времяпровождение, а крайняя нужда. Может быть, следуя этой поговорке или скорее всего еще более глубокой социальной причине – бедности и лишениям, жители этой деревушки, в основном мужчины, уезжали на заработки в близлежащие города и главным образом в город Харбин. Заводов было мало, и то, что имелось, принадлежало японским и английским компаниям, кроме одного небольшого мукомольного завода. Харбин, расположенный в стратегически важной местности – на правом берегу реки Сунгари, быстро стал расти и развиваться. Здесь был и речной порт со своим заводом речного судостроения, и китайская восточная железная дорога, построенная Россией, вместе со строителями этого крупного узла проникали сюда идеи преобразования мира.

В деревне, названной кем-то и когда-то не по-доброму Домом слез, жизнь была горемычной, порой невыносимой, даже зерен чумизы не было вдоволь, говорили: «Царская еда бедняков – это каша из чумизы».

Да и дома, так называемые китайские фанзы, становились даже внешне все беднее и беднее, будто их лишили будущего, и они были обречены на вымирание. Вот в этой-то деревне и родилась поговорка: «Уцелеть бы хоть со сломанной ногой». Дело в том, что у одного старика, проживавшего вблизи границ Китая, пропала лошадь. Когда соседи стали выражать ему свое сочувствие, он ответил: «Как знать, может быть к счастью». Действительно, лошадь вскоре прискакала обратно и привела с собой жеребенка. Но когда соседи поздравляли старика с удачей, он ответил: «Как знать, может, это к несчастью». Вскоре сын старика, объезжая жеребенка, упал и сломал себе ногу. Соседи опять выразили сочувствие старику, но он ответил: «Как знать, может быть, это к счастью». Через год враги напали, и почти все юноши погибли, а сын старика уцелел, благодаря своей сломанной ноге.

Однако неприхотливые, трудолюбивые, довольствующиеся горстью риса крестьяне не унывали, не теряли надежд на лучшую жизнь, и это укрепляло их дух. И у них бывали свои радости и праздники, любили, создавали новые семьи, радовались весне, растили детей, ждали своих кормильцев, которые хоть изредка, но возвращались домой довольными, с подарками. Трудно было заработать хлеб насущный.

За дешевой рабочей силой охотились агенты-вербовщики иностранных компаний, обещали хорошую жизнь. А когда, поверив их обещаниям, устраивались люди на работу, то все иллюзии оставались в прошлом, где им обещали золотые горы. Почти по двадцать часов в сутки гнули рабочие спины, выполняя черную работу, а получали за это гроши. С детства привыкшие жить худо-бедно и не зариться на чужое, ухитрялись даже из этих мизерных денег кое-что откладывать, экономить для семьи, которая с нетерпением и надеждой ждала их в своем Доме слез. А хозяева обирали рабочих, а кто роптал, выгоняли, выбрасывали за ворота.

Одним из таких отходников был и отец Ли Шанчи. Каждый год Янь Шанчи выезжал на заработки на небольшой

мукомольный завод, где были его друзья, знакомые, добрые люди. Как говорится, оставишь ниточку чувства, потом бывает легко встретиться. Ни во что Янь Шанчи не вмешивался, спокойно и уверенно делал свое дело, считая в душе незыблемыми порядки на земле, раз и навсегда устроенными. Правда, бывало обидно, когда надежды на то, что подсчитывал он в душе и думал получить столько-то, никогда не соответствовали тому, что получал. Все больше и больше высчитывали хозяева, находя всевозможные нарушения. А разговоры о том, что это грабеж, что труд достоин большего вознаграждения, что за это надо бороться, бороться за справедливость, он считал досужими вымыслами пустомелей. «Вода течет вниз, человек стремится вверх!» – утверждали те, которые открыто решили выразить свое недовольство, устраивали забастовки. Правда, их действия плачевно заканчивались, полиция их разгоняла, а главарей-зачинщиков арестовывали. И тогда Янь Шанчи говорил про себя: «И курица улетела, и яйца разбились».

И взял он с собой однажды своего старшего сына на заработки. Ли Шанчи был рад: наконец он увидит город, о котором так много слышал от отца, увидит людей и свет, начнет самостоятельную жизнь, будет зарабатывать. И, представьте себе, повезло. На железной дороге работали русские рабочие, и на эти работы хозяева вербовали людей. И когда отец предложил им услуги сына, то те с удовольствием взяли его. Выкроив какое-то время, Янь Шанчи навещал сына и оставался довольным. Сын работал исправно и получал хорошие деньги. Ли Шанчи отзывался хорошо о русских.

– Они очень добрые, отец, – говорил он.

– Тебе повезло, сын мой, береги это место, будь исполнительным.

– Я все делаю, что прикажут. На, отец, вот еще я заработал.

– Столько?

– Да, отец.

– Поверить трудно. Я тебя, сын мой, учил быть честным, добропорядочным...

– Я понимаю тебя, отец, ты можешь быть уверенным, деньги эти честные.

– Спасибо, сынок. Птица, где ни сядет, везде перышко оставит, так же и мы, горемыки, чем больше скитаемся, тем меньше у нас добра. Фанза наша пришла в ветхость, ее надо будет починить. Знаешь что, сын мой...

– Что, отец?

– Ты разузнай у них, у русских, может быть, и для меня найдется у них работа.

И Ли Шанчи поговорил, нашлась и для отца работа. Работали они чернорабочими в ремонтных мастерских железнодорожного депо. Правда, жилье было не ахти какое, в рабочем бараке, но было сносно, потому что зарабатывал отец в три раза больше, чем на прежнем месте. И в этот год они – отец и сын – вернулись богатыми, с подарками, как никогда. Янь Шанчи гордился, что сын его такой везучий, и потирал руки в надежде, что всегда отныне будет так. Янь Шанчи на радостях пригласил даже соседей на угощенье. «Такой и на молнии бобы пожарит», – хвастал он, гордясь сыном, отчего Ли Шанчи бывало краснел, уходил к речушке и играл на тростниковой дудочке, это было его любимое занятие.

3

Вспыхнувшее зарево надежды заткнуть дыры бедности вскоре погасло. Обедневший помещик, в чье владение входила и деревня Дом слез с ее окрестностями, продал ее другому богатому Янбану, которого жители сразу прозвали Драконовым халатом. И явился он именно в парчовом драконовом халате. И вскоре крестьянам пришлось вспомнить о старой поговорке: «Небо высоко, до императора далеко, есть обиды и оскорбления, но некуда пожаловаться». Жестоким и ненасытным оказался новоявленный Янбан. На каждого бедняка, живущего на земле, возложил большие налоги, даже за питьевую воду. И самое возмутительное для

жителей деревни было то, что новый Янбан запретил кому бы то ни было выезжать на заработки и сказал: «Работы хватит и здесь, собираюсь построить дворец и ткацкую фабрику...» Да, он с размахом начал эти стройки и платил рабочим четверть того, что платил самый жестокий угнетатель-капиталист в Харбине. Жизнь вновь стала невыносимой. «Беднякам нечего бояться обеднеть!» – эта поговорка была любимой у нового предпринимателя и полновластного хозяина в драконовом халате. И крестьяне, не вынося самодурские законы, стали бросать свои фанзы и семьями убираться с этих земель и искать себе пристанище в более сносных местах, но такие места были редкостью. Везде бедняк оставался бедным, а богатые бесчинствовали и обирали народ.

В разгар войны в шестнадцатом году Янь Шанчи с сыном вместе с тысячами завербованных китайских людей уехал в Россию в надежде на то, что русские – добрые люди и у них будет легче жить. Но вскоре пришлось им горько разочароваться, так что и у каменного человека выступили слезы отчаяния и нужды. Искали вдали от родины счастья, а попали в буквальном смысле на каторгу, в русскую Сибирь, куда ссылали только вольнодумцев и врагов государственного строя. Пока еще в России хозяйничали такие же кровопийцы и хищники, как и в Китае, хотя трон русского царя давно шатался под натиском революционных бурь. Отец с сыном работали на лесоразработках, работали до изнеможения, жили в землянках, спали в тесноте в свалку, а то, что получали за труды, едва хватало на пропитание. От дыма глаза тускнели, кожа обрела восковой цвет, от цинги зубы выпадали, от болезней умирали.

– Да, сын мой, не сбылись наши надежды. В страшное место мы попали, вряд ли живыми отсюда выберемся, – сказал однажды Янь Шанчи, когда больной слег на солому.

– Надо бежать, бежать отсюда, отец, – сказал Ли Шанчи, которому было здесь тяжелее, чем кому бы то ни было, потому что разочарование его было велико.

– Куда бежать, сынок? Жандармы беспощадны, контракт...

– Мы подохнем здесь, отец.

– Что делать, что делать, сынок? Я занемог, нет у меня сил.

– Бежим, отец, я понесу тебя на спине, на руках.

– Легко же мы дали себя обмануть. Проклятье, где были мои глаза, – причитал отец.

– Бежим.

– Нет, сын мой, оставь меня. Беги! Если когда-нибудь будешь в нашем храме Дома слез, сын мой, поставь мне чашу риса... утешь предков. Счастья и удачи тебе.

– Не могу я тебя оставить, что ты говоришь.

4

И остался лежать Янь Шанчи, китайский рабочий, в мерзлой сибирской земле, не увидев больше своего Дома слез. И в день его смерти дошла до наемных рабочих весть о свержении в России императорского самодержавия. Как не хотели, боялись этого хозяева земли и лесов, крупные промышленники Сибири, но революция возвестила о себе во всеуслышание, недаром говорят – земля слухом полнится. И китайские пролетарии вместе с русскими рабочими стали на защиту социалистических перемен. Многие мироеды сбежали от возмездия рабочих. Были организованы красногвардейские отряды, и одним таким отрядом командовал Ли Шанчи. И, выступая перед бойцами, он сказал:

– Революционная Россия стала нашей второй родиной, мы клянемся быть ее верными бойцами, солдатами революции.

Каждый из бойцов получил винтовку и военную форму. И в первое время учились военному делу, стрелять метко, чтоб побеждать врага, не погибать самому, овладевали основами военной техники, несли караульную службу по охране арсеналов, вокзала, банка, где еще хранилось золото, что не успели увезти с собой бежавшие за границу хозяева и промышленники. И вскоре отряд под командованием Ли Шанчи

был переброшен на Кавказ, а именно во Владикавказ, где Ли Шанчи встретился с одним из обаятельнейших людей, выдвинутых революцией на гребень борьбы, с Кировым Сергеем Мироновичем, который подарил ему именной маузер. Китайцы называли его любовно «наш Кира».

– Если в защиту нашей революции встали и китайские товарищи, – говорил Киров на одном из митингов, – то нетрудно понять всемирное значение социалистической революции. Революция победит, и настанет время, когда и китайский народ сбросит с себя ярмо капитализма, ярмо угнетателей. Наш долг быть верными делу Октября и бороться за окончательную победу.

И отдельному китайскому красногвардейскому отряду было вручено революционное красное знамя. Всегда подтянутый, стройный, в кожаной тужурке Ли Шанчи стал любимым командиром и не расставался со своим именным маузером. Ему было что сказать солдатам, было что защищать сознанием долга и ответственности. И, переиначив китайскую поговорку, он твердил: «Товарищи, небо знает, земля знает, ты знаешь, он знает, а я тем более знаю, что дело наше правое и святое и мы победим!»

Отряд Ли Шанчи направился в Астрахань. В то время Астрахань являлась важным пунктом. И на этот город делали ставку не только большевики, но и контрреволюционные силы. В Военный совет Астраханского края входили представители не только Москвы, Казани, Саратова, Царицына, но и Порт-Петровска и Баку. Тем самым деятельность Астраханского краевого военного совета распространялась и на Дагестан. И в песках разведка донесла, что дорога перекрыта терскими белоказачьими отрядами. Ли Шанчи решил их обойти; в районе Брянских рыбных промыслов вступил в бой с белоказаками, которые держали в осаде Астраханский отряд, попавший в беду из-за предательства командира отряда, бывшего белого офицера Астахова. В трехдневных боях враг был разгромлен. Это было первое боевое крещение китайского отряда интернационалистов. В местечке Твек Ли Шанчи получил для всех бойцов верховых людей и

стали здесь же приучать их верховой езде. Позже узнали, что в Астрахани восстание, что город находится в руках белоказаков. И вместе с остатками Астраханского отряда Ли Шанчи двинулся на Астрахань, куда срочно были переброшены из Саратова ленинские отряды. Предстояли тяжелые бои в окрестностях и в самом городе. Надо было взять сначала Астраханскую крепость, где находились заключенные, среди которых и руководители советской власти в Астрахани. Здесь отличились моряки из Астраханского отряда, дьявольски отважные ребята. Десять человек во главе с Ли Шанчи и матросы в сумерках прокрались к крепости. Матросы пошли в обход ко вторым воротам, а Ли Шанчи – к главным воротам крепости. Охрана не успела даже крикнуть, все, кто стоял в охране, были перебиты. Матросы захватили башни, а бойцы Ли Шанчи поспешили к тюрьмам, освободили заключенных. Конечно же, никто не ожидал и не думал, что именно в этой крепости находился и арсенал оружия, были все виды оружия, вплоть до пушек и английских пулеметов. Ли Шанчи вооружил всех освобожденных из тюрем людей. И до рассвета крепость была очищена от нежелательных элементов. Поставив в крепости свою охрану, Ли Шанчи двинулся в город, где шли ожесточенные бои. Приходилось приступом брать каждый дом, каждый квартал, вылавливать остатки белогвардейцев. На помощь красным прибыл из Дагестана особый 2-й эскадрон.

При освобождении здания военного комиссариата были взяты в плен двадцать офицеров во главе с полковником, который руководил восстанием. Штаб белых был уничтожен. И в этих боях, как было отмечено командованием Южного фронта, особо отличился отряд китайских бойцов во главе с Ли Шанчи. Путь в тысячу ли, говорят китайцы, начинается все равно с первого шага. И революционный путь Ли Шанчи начался.

Битва в каменных джунглях

На километры от крепостной стены Дербента тянутся тесно прижавшиеся друг к другу каменные надгробия. Эти джунгли у стен крепости свидетельствуют о том, сколько жизней стоили походы тем, кто посягал на эти мощные укрепления в былые времена. На севере от Дербента таких джунглей нет, они только на южной стороне, это говорит о том, что враг штурмовал крепость всегда с юга. И на этот раз враг, в лице продавшего душу англичанам полковника Бичерахова, двигался с юга, ведя хорошо оснащенные отряды белоказаков. Головной отряд его остановился именно на подступах этих своеобразных каменных многокилометровых джунглей.

– Сейчас или никогда... – наблюдая в бинокль, настаивал Степан Карганов, который находился под началом командира полка Ляхова. Ляхову было приказано задержать англичан на подступах к Дербенту.

– Сейчас, именно сейчас...– не терпелось Герею Таркаману, – разрешите провести эту операцию. Мои люди готовы и ждут... они вон за теми холмами, а люди Ли Шанчи на берегу... и мы с двух сторон...

– Противник, кажется, и не догадывается...– готов был к бою Ли Шанчи. – Я со своими людьми укроюсь в этих джунглях, пусть дух предков предаст нам силы.

– Эти камни-надгробья нам на руку, товарищ командир.

– Ну что же. Дадим бой?! – как бы про себя проговорил Ляхов.

– Дадим, товарищ командир.

– Через полчаса...

– Хорошо, – срывается с места Герей Таркаман.

– Успеете доехать до своих?

– Успеем, – легко садится на коня Ли Шанчи.

– Тогда действуйте! – уже вдогонку бросил командир полка. И в начале августа восемнадцатого года под Дербентом была разбита передовая часть бичераховцев, захвачен

штаб с семью офицерами во главе с английским полковником Бартреном, ротмистром Йорком. Бой длился недолго, и от этой победы не получили полного удовлетворения ни Ли Шанчи, ни Герей Таркаман, ни Зурум.

Только Карганов понял подвох коварного противника, хитер и ловок был Бичерахов. Этим боем он проверил, насколько велики силы, обороняющие крепость Дербент.

Станция Хачмас. В здании вокзала много военных, среди которых и в русской военной форме, и в английских кителях, и в черкесках с кинжалами и маузерами, и в папахах, и в форме колониальных английских войск, состоящих в основном из индусов-сипаев. Все в каком-то ожидании и возбуждении, шум, крики. В воздухе стоит табачный дым и запах человеческого пота. Больше всех шумят купцы и чиновники, подобно встревоженным ульям. В этом гвалте, разноречии понять что-либо трудно. Вот настежь раскрываются двери, в зал входит в сопровождении свиты офицеров сам полковник Лазарь Бичерахов. Он явно выделяется среди остальных, на нем белая черкеска. Полные газыри на груди, серебряный кинжал с позолотой, сабля и маузер через плечо. Встречает его молодцеватый офицер, щелкнув каблуками, отдает честь и докладывает:

– Все в сборе, господин полковник!

– Со всех четырех округов?

– Да, хозяева Кубинского, Самурского, Ахтынского, Дербентского округов, влиятельные люди, чиновники, купцы.

– Они-то мне и нужны, – самодовольно заявляет полковник. – Любезный, – повернулся он к бравому капитану. – Английское воинство спешит к древним стенам Дербента. Возьмитесь-ка, любезный, сопровождать их вместе с моими полками нового порядка, нашего порядка.

– Благодарю за доверие, господин полковник.

– Пусть нас опережают слухи о вашей миротворческой миссии, с помощью старой Англии мы несем народам демократическую свободу... – Исполняйте, – слово «полковник» немного покоробило Бичерахова, оно как бы прини-

жало его в глазах почтенной публики, для слуха Главнокомандующего войсками Кавказа, как он себя именует, этот чин звучал не совсем внушительно. Но глава английской дипломатии на Кавказе обещал ему генеральские погоны.

В этот жаркий день, когда одежда от пота буквально прилипала к телу, к полковнику подвели человека, укутанного в солдатскую шинель. Полковник смутился:

– Отпустите его... хорошо, хорошо, – не дал полковник им доложить как следует.

– Здравствуй, Лазарь! – Это был Хамзат, и его хорошо знал Лазарь Бичерахов.

– Здравствуй, Хамзат. Ты подожди здесь меня.

– Дело срочное, я бы хотел, господин полковник, немедля доложить об обстановке...

– Я сказал – меня ждут...

– Но дело срочное...

– Все сейчас срочное... Подождите меня, – бросил полковник и со штабистами ушел в клуб, оставив переминающегося с ноги на ногу крайне растерянного Хамзата. Хамзат сбросил с себя шинель и последовал за ним в клуб.

Появление в клубе полковника Бичерахова не вызвало ожидаемого восторга у собравшейся элиты горских народов – у помещиков и беков, купцов и промышленников... Видимо, им приходилось иметь дело и с генералами, а что может утешительного предложить им полковник?

– Господа, – обратился полковник, колючими глазами оглядев присутствующих, – разрешите приветствовать вас от имени нового порядка, простите, что потревожил.

– А кто вы будете? – спросил со скамейки один из барановодов во фраке с чужого плеча.

– Перед вами Главнокомандующий всеми войсками Кавказа, полковник Бичерахов, – ворчливо представил его один из пышной свиты. – Вам что, не говорили?!

– Полковник и такие высокие обязанности? – проворчал кто-то.

– Господа, в Баку переворот. Большевистская власть в городе свергнута.

– Слава богу... – сказал купец, положив руки на свой огромнейший живот.

– Власть перешла в руки военной диктатуры и Каспийской флотилии. С нами англичане, а с севера, господа, навстречу к нам пробиваются терцы... под командованием Бичерахова. Да, да, моего брата... и мы скоро соединимся.

– А мы-то причем?

– Чем мы можем помочь?

– Многим, господа, очень многим. Вы должны...

– Опять мы должны, да нас ограбили большевики.

– Вы должны помочь нам, моим войскам в их священном деле освобождения Кавказа. Завтра мои доблестные войска выступают в Дагестан, может быть, даже сегодня передовые части уже в Дербенте.

– Господин полковник, что вы от нас хотите?

– Обеспечить нас провизией, пополнить мои части мобилизацией... Голодный воин, как вы понимаете, заряжен пораженческим духом... Присутствие в нашем походе английской миссии придаст нам силы. И поэтому не может быть и речи о протекторате Турции, кроме как английской организации, я на Кавказе ничего не потерплю... – полковник прислушался и поймал себя на мысли, не очень ли подчеркивает интонацией «я». – Надеюсь, вы люди дела и делом докажите свою преданность новому порядку, а служба верная будет вознаграждена, в этом можете не сомневаться, господа! Господа, время не терпит, до новых встреч...

Не дав никому и рта раскрыть, полковник спешно выбрался из здания станции и, как бы позабыв о Хамзате, направился к бронепоезду.

– Господин полковник, – догнал его Хамзат.

– Ах, да, прости.

– Вы меня не узнали?

– Как же, как же, на Тереке вы предали моего брата, метнулись к туркам и что же...

– А вы предали большевиков на Аджикабульском фронте, я же об этом не говорю, полковник. В этом водовороте кто-то кого-то предает.

– Чем могу быть обязанным?

– Неприятные вести, полковник, под Дербентом ваши части разбиты отрядом... большевиков Степана Карганова и Герея Таркамана. Захвачен штаб, и английские офицеры находятся в плену у красных.

– Ты испортил мне настроение. Тихо, – Бичерахов схватил его под руку и отвел в сторону. – Ты на чем приехал?

– На дрезине. Вот данные о русских.

– Ты это сам видел?

– Да. Известно ли вам, полковник, что из ваших частей дезертируют сипаи?

– Никому более ни слова. Всем на бронепоезд! – крикнул полковник, офицеры засуетились. – А ты вернись, благодарю за службу, ты должен освободить англичан... Действуй, Хамзат. Здесь десять золотых, столько же получишь после, как спасешь союзников, – передал он в руки Хамзата деньги. – До встречи!

– До встречи! – с жадностью Хамзат спрятал монеты в карман.

– Даю честное слово, до девятого августа я возьму Дербент и арестую Советы. Хамзат, тебе доверяют?

– Участвовал в боях на Дербентском кладбище.

– И убивал моих людей? – поморщился полковник.

– Иначе нельзя было, – виновато молвил Хамзат.

– Действуй смелее...

– Есть смелее! – приободрился Хамзат.

Бронепоезд уже пыхтел на пути. На паровозе из-за спины машиниста выглядывал офицер с золотыми погонами. Хамзат сел на дрезину, что стояла на следующем пути.

Случилось это внезапно, красные отряды были захвачены врасплох. Бичераховские казаки обошли по хребту крепость, чего никак не ожидали красные бойцы. Не с юга, а с севера штурмом казаки взяли город. Арестовали членов Дербентского исполкома. Пленные английские офицеры, конвоируемые красными, были заточены в мавзолее бывшей правительницы Дербента Тату-Бике; Степан Карганов, Герей Таркаман, Ли Шанчи, Зурум оказались в руках биче-

раховцев. Их загнали в подвалы эмирского дворца и заперли.

– Глупо и нелепо, – не находил себе покоя Степан, – дали так себя облапошить.

– Нас предали, иначе как такое понять! – убивался Ли Шанчи.

– Где была наша разведка? Почему она не оповестила нас? – винил себя Герей Таркаман. – Мы же послали дозорных на Джалганский хребет, они же могли...

– Могли, но дозорных уничтожили. Ничего не успели сообщить.

В подвал втолкнули избитого в кровоподтеках Хамзата. Его подняли и усадили на солому, приложив спиной к стене.

– Хамзат? – наклонился к нему Степан Карганов. – За что тебя так?

– Сволочи, – сплюнул кровь Хамзат. – Я ничего не сказал.

– О чем ты?

– Они спрашивали, где пленные английские офицеры. Я им не сказал.

– А ты не мог ничего сказать, ты же не знаешь, где они.

– А где они? Я не выдержу, они меня истерзают. – Хамзат стал биться в руках, вскоре впал в беспамятство.

Ночью в цитадели крепости казаков сменили сипаи-индусы из частей колониальных английских войск. Перед рассветом в подвал вошли четыре индуса и стали торопливо выводить всех, кроме Хамзата. Отвели их за крепостную стену в сторону глубокого ущелья, над которым высятся пики Джалганского хребта. Герей Таркаман, не подозревающий о намерениях индусов, вырвал у сипая винтовку и спрыгнул со скалы, а остальным сипаи показали в сторону гор и жестами дали знать, мол, бегите. И все бросились в разные стороны, раздались выстрелы, но сипаи стреляли в небо.

Так Герей Таркаман с ноющим от боли плечом оказался в Большом ореховом лесу, довольный лишь тем, что у него в руках винтовка. Нестерпимее была боль в пустом

желудке. Третий день, кроме воды и грецкого ореха, ничего в рот не попало. Никогда Герей в своей жизни не испытывал таких мук голода, как сейчас... Сумерки сгущались. Глаза его так и бегали по сторонам, чтоб найти что-нибудь съедобное. Голова кружилась. Костер дымил... И вдруг на расстоянии десяти шагов от него застыл заяц, став на задние лапы, передние опустив на грудь, он оглядывался по сторонам, навострив уши. Герей тихо взял в руки винтовку, вскинул и выстрелил... Но странное дело, он услышал два выстрела... Не может быть, чтоб это было эхо. И эхо ведь удвоилось. Только успел он об этом подумать, бросившись в сторону зайца... упал, не успел схватить зайца за мягкую головку... потянул, не идет, посмотрел вперед – напротив него ничком лежал человек, который цепко ухватился за задние лапы дичи. Левой рукой Герей судорожными движениями протер глаза и вгляделся в этого смуглого с бородкой и в тюрбане, похожем на чалму, в странной одежде человека. Герей решил не уступать этому сипаю-индусу свою добычу и выхватил зайца. Тот будто зашипел, что-то недовольно буркнул, встал и сел к нему спиной.

– Это мой заяц! – крикнул Герей.

Тогда обернулся к нему сипай и, осмотрев, показал на зайце вылет пули и стукнул себя в грудь, мол, это я его убил.

Герей внимательно оглядел, заметил еще след пули, да, оба они попали в зверька. Нехотя, но чувствуя себя виноватым, Герей протянул зайца индусу, но тот сердито толкнул его, Герей вновь протянул индусу добычу, тот отшвырнул... Да, это был сипай, наемный солдат английских колонизаторов. Англичане, высадившиеся в Баку, привели роты и эскадроны сипаев в экзотических нарядах, дабы продемонстрировать британское могущество.

Сирхан из Валанджавиласам

Иди ко мне,
Прильни ко мне скорее, дорогая.
Ты что таишься в цветнике,
Средь лотосов блистая?

Из индийской народной песни.

1

Где Индустан, а где Дагестан? Конечно же, было удивительно, что человек из далекой Бенгалии оказался в наших краях и не где-нибудь, а в Большом ореховом лесу, что находится в двадцати верстах к северу от крепостных стен Дербента, прозванного Железными воротами, и в десяти верстах к югу от аула Маджалис, что притаился в котловане, окруженном со всех сторон высокими пикообразными горами.

Удивительно, но объяснимо, если взять в счет то сложное и тревожное время, взбудораженное революционной бурей в Арасае–России, когда корабли интервенции разбивались о скалы молодой советской республики, когда через Индию и Иран шли английские войска на помощь белогвардейской контрреволюции.

Сирхан был сипаем, наемным солдатом английских колониальных войск... И рота, где находился Сирхан, была морским путем переброшена из Туркестана в Баку, где уже властвовали предатели Бичерахова, английского наймита, возомнившего себя полководцем, спасителем Кавказа.

По духу своему Сирхан, уроженец деревни Валанджавиласам – Лесной приют, был приверженцем учения Ганди Сатьяграха – познания истины или упорство в истине, гандийской тактики ненасильственных методов борьбы.., но тяжелая жизнь бедняка вынудила его пойти к англичанам наемным солдатом – сипаем. И не мог он предположить, что вопреки его воле будет вовлечен англичанами в поход в

чужие северные земли, о которых он и во сне не ведал... Роты сипаев были прихвачены англичанами не только для экзотики, но и для устрашения большевиков демонстрацией своего могущества. Много горького пришлось увидеть Сирхану по пути в Дагестан, был очевидцем, как англичане расправлялись с восставшим народом в Туркестане. В Красноводске тюрьма была заполонена арестованными, среди которых были дехкане, рабочие-железнодорожники, старики, дети, женщины... Охрану тюрьмы англичане поручили сипаям, среди которых был и Сирхан. Из тюрьмы десятками увозили людей и расстреливали в песках. Однажды ночью с той стороны, где стоял на карауле Сирхан, бежали заключенные, а он не стал поднимать шум, отвернулся, чтоб не видеть всего этого, пусть, пусть бегут... Пусть спасутся и живут. Но за это Сирхан чуть головой не поплатился на следующий день, спасло его, что он был не одинок в этом благородном поступке.

Расстрелянных сбрасывали в известковую яму, и этому стал очевидцем Сирхан, большевикам отрубали головы и хоронили отдельно. Не верь тому, что слышишь, – верь тому, что видишь. И он видел все... Это было что-то невероятное, страшное, не умещалось в сознании Сирхана. «За что же терпеть ад, этот ужас?!» Вот когда воочию осознал он смысл поговорки: «Война – это свадьба смерти». Зная немного по-английски и задавая вопросы, Сирхан стал кое в чем разбираться. И понял он, что эти люди виноваты в том, что царя свергли, что богатых притеснили и что хотят создать свою власть, власть бедных. «Да, это дерзко, – думал про себя Сирхан, – разве такое возможно?!» – и он поймал себя на мысли, что сочувствует этим жертвам, а стало быть их делам, а сочувствие во время несчастья, как говорят индусы, подобно дождю во время засухи. Если говорит не один и не два и не люди, а народ – это уже предсказание, которое непременно сбудется. И Сирхан не раз вспоминал молитву: «О, сокровище на лотосе». «Силен же гнев, когда бессилен человек», – подумал Сирхан о себе, сжимая до боли кулаки.

Когда два полковника, Бичерахов и Роландсон, со своими войсками вошли в Дербент, разгромили там плохо вооруженные отряды красных и стали бесчинствовать в городе, терпению Сирхана пришел конец. Это он освободил комиссаров и сам бежал из цитадели Дербентской крепости, через Джалганский хребет спустился в долину Таркама и углубился в Большой ореховый лес. Бежал он куда глаза глядели, лишь бы скрыться от всего, с желанием превратиться в пчелу, в муравья, во что угодно, лишь бы не видеть бойню, бежал, бросив распроклятое оружие, оставив только наган, чтоб никого не убивать, сбросил бы он свой английский френч, со множеством карманов и всю эту колониальную форму, оставив лишь привычный на голове тюрбан, если бы мог одеться в свои дхоти – кусок ткани, обертываемый вокруг бедер и спускающийся ниже колен.

О, сокровище на лотосе. Взглянуть бы хоть раз напоследок на свой край, на свою деревню Валанджавиласан и умереть, думал он, не в силах унять голод, и увидел в сумерках зайца, который выбежал на лесную опушку.

2

Валанджавиласам – Лесной приют или Лесная обитель – так называлась небольшая деревня индусов у подножья отвесной громадины Желтой скалы. И высится она над деревней, похожая на треугольную, кое-где обгоревшую кукурузную лепешку. Наверное, потому и называется деревня эта Лесным приютом, что справа и слева к ней подступают настоящие нетронутые джунгли – большие деревья, обвитые толстыми лианами, и сплошь занятые непроходимыми зарослями. Столько здесь сочной свежей зелени, что, кажется, даже ночью на них играют солнечные блики. И не просто было жить людям вблизи с такой опасностью, должно быть, мужественные люди в этом Лесном приюте, десятки лачуг, несколько хижин, каменный приземистый дом деревенского старосты – патвари и в два яруса кирпичный дом здешнего заминдара – помещика – вот и вся де-

ревня. Спускаясь не к тропе, а к красной грунтовой дороге, террасами рисовые поля, а за плетенными из жердей оградами перед домами у бедных растут абрикосовые деревья, а у богатых, как заминдар и патвари, растут бананы, вон они большелистые с желтыми гроздьями. Это и есть знаменитые желтые бананы, помельче размером, золотистые, но очень сладкие.

Через деревню протекает река и называется она так же, как и деревня, через нее переброшен арочный мост, древний мост, камни от времени почернели и замшелые, особенно со стороны джунглей. Обычная деревня, если не сказать о том, что люди здесь живут беднее, считая рисовый суп лучшим благом на земле. В основном жители собирают траву, так называемую хаша, и изготовляет циновки, что выносят к дороге, и проезжающие на повозках, если выпадет удача, приобретают их.

Самая бедная лачуга та, что стоит почти у самой дороги, похожа на попрошайку, что протянула руку в сторону прохожих и проезжающих. Здесь жила одна девушка, сама по себе, и звали ее Ишара, ей было шестнадцать лет, когда она овдовела. Мужа ее Умеда Сингха утащила в джунгли тигрица, за которой вот уже два года как охотились два англичанина, приехавших из Дели. За свои шестнадцать лет бедной Ишаре нечего было и вспомнить, кроме как бедствий и несчастий, а из светлого – только тот единственный, незабываемый закат. Какой он был чудный, таинственный и желанный. Мать Ишары еще была жива тогда и радовалась за свою дочь. И в честь смотрины дочери она приобрела ей сари, не простое, а что ни на есть из Бенареса. Лицо Ишары с сандаловой меткой на лбу было озарено, как начищенный до блеска медальон из красной меди, кровь приливала горячей волной к ее сердцу, когда жених ее Умед Сингх, обвешанный цветами, смотрел исподтишка на нее. Смотрины на закате – таков обычай на этой земле, и, говорят, счастье будет долгим. Но не оправдалось это светлое поверье. И, видимо, возмутили чем-то люди Индру, внезапно разразилась

буря, закрыв черной пеленой небосклон, загрохотал гром, и словно стрелы молнии вонзились в землю.

И с тех пор, как не стало мужа, Ишара почти не выходила со двора. Она готовилась стать матерью. С одной стороны, это радовало ее, что не будет такой одинокой, родится дочь и будет она лелеять ее, с другой стороны, тревожило будущее, трудное и беспросветное. Жить в нищете, надеясь на людское участие, – что может быть страшнее для молодой матери. Она уверила себя, что у нее обязательно родится дочь, но, как говорится, бедняк предполагает, а бог располагает. Родился сын. И дала она ему имя Сирхан и пела ему колыбельную, часто произнося слово Райбахадур, что значит герой, как и все матери, предрекая сыновьям своим стать героями.

Сирхан, сынок, расти скорей,
Развеешь бедность на земле своей,
Славный мои райбахадур,
Друг отважного кабулийца.
И на закате в двадцать лет
Несравненная Нирупома
Тебе невестой званной станет,
О, сокровище на лотосе,
Райбахадур мой, райбахадур.
На горных кручах крутых
Клекотом орла тебя будут славить,
И львы, встретившись на тропе камышовой,
Будут брать прах от твоих ног.

Расцвела, похорошела, став матерью, Ишара, что те, которые ее раньше не замечали, заговорили о ней не иначе как: «Да, цветок что надо, земля поет, когда она ходит, ушел, не увидев этой красоты, бедный Умед Сингх». Никто бы не сказал, что этот пышно распустившийся цветок – пушпа из низшей касты – неприкасаемых, вряд ли такую красоту встретишь часто даже в самых обеспеченных семьях заминдаров или брахманов.

Заминдар Валанджавиласама Уттар Прадаш сидел во дворе в плетеном кресле и курил хука, разновидность хур-

хур кальяна, когда вошла через калитку, полуприкрыв лицо краем сари, Ишара.

– Вы звали меня, господин? – с поклоном обратилась она к нему.

– Кто ты?

– Вдова Умеда Сингха, Ишара, мой господин.

– Подойди поближе, – попросил ее Уттар Прадаш, он на старости лет плохо видеть стал, ослабли глаза, а поехать в город подыскать очки ему все было некогда, да и все предполагал, что это временное явление, вернется к нему былое здоровье, сердцем он был молод. Как говорится, сердце было – на дерево поднялся, сил не было – с дерева рухнул, такова старость. Заминдар был человек своенравный, сердобольный и жадный, хотя все время любил повторять: «Алчностью ничего не добьешься» и поучал этим других. Жена его давно умерла, двух дочерей он выдал замуж – старшую за адвоката из города, младшую за сохукара – торговца английскими товарами, а здесь дела отца ведет его сын Шонкор Прадаш. У Шонкора своя семья – жена Рани, сын и дочь. Рани смотрела с веранды на вошедшую во двор женщину и заметила про себя: «Почему я такая некрасивая, почему природа так несправедлива, одарив эту нищенку так щедро всеми прелестями, меня лишила этого величия».

– Шонкор! – позвала она мужа.

– Что тебе, дорогая?

– Зачем пришла эта женщина в наш двор?

– Видимо, отец позвал, был разговор, что надо взять работницу, чтоб убирала комнаты...

– Как? Ее к нам?

– А что тут такого?

– Это беда, беда, Шонкор, прошу тебя, гони ее, пока не случилось несчастье! – забеспокоилась Рани, какое-то предчувствие тревожное охватило ее.

– Хорошо, дорогая, что ты... Я поговорю с отцом, чтоб он ее не брал.

– Прошу тебя.

Шонкор быстро с веранды спустился к отцу.

И когда Шонкор подошел к отцу, Ишары уже не было рядом, она вышла из калитки и легко взбежала на горку, где с деревенскими детьми играл ее сын Сирхан.

– Ты знаешь, сын мой, – обратился Уттар Прадаш к сыну, – какая птичка влетела в наш двор, это чудо – ребенок...

– Что?

– Была же здесь девушка...

– И зачем она влетела?

– Я не думал, что в нашем Лесном приюте может вылупиться такой птенец.

– И что ты собираешься с ней делать?

– Договорился взять ее в работницы в наш дом.

– Не выйдет, отец, не надо.

– Хи-хи, что ты, сын мой, что с тобой, ты посмел возразить мне?

– Отец...

– Погоди, погоди, это интересно... Ты посмел возразить, и это меня укрепило в мысли обязательно взять ее, ты рассеял во мне сомнения, спасибо, – отложив хуку, Уттар Прадаш вскочил, встряхнулся, будто сбрасывая с себя старость вместе с сонливостью.

– Отец, не надо же быть таким упрямым...– попросил его сын.

– У нее есть сын лет десяти. Пусть и он живет у нас. Такой красавице не подобает жить в лачуге... Она украсит мой дом.

– Но, отец, и мы живем в этом доме.

– Ах да... что-то я об этом не подумал. А что, если вы поживете в ее лачуге... Это идея, – сказал Уттар Прадаш. – Что еще ты скажешь...

– Ничего, отец, прости... – ретировался Шонкор Прадаш, хорошо понимая упрямство отца. Ведь он и в самом деле может исполнить свою угрозу. Ему ничего не стоит сделать сына посмешищем для всех.

3

И стала жить Ишара с сыном в доме заминдара. И молитвы ее были обращены на то, чтоб этот старик жил да здравствовал долгие годы. А Уттар Прадаш и в самом деле, будто помогали ему молитвы Ишары, буквально помолодел. И благодарил он небо, что оно смилостивилось над ним на старости лет и послало к нему дитя доброты, ласки и нежности. От дочерей своих он не видел к себе такого внимания и заботы. И старик проникся любовью не только к ней, но и к ее сыну Сирхану, ни к кому из внуков и внучат он не был привязан, как к этому благообразному веселому мальчугану. И такое не могло не родить гнева и возмущения у детей его, хотя они виду при отце не подавали. Но страшен всегда бывает затаенный гнев, он рождает в своем гнезде дьявольские мысли и намерения. Особенно невзлюбила Ишару Рани. А старик был настороже, предчувствовал что-то и даже в минуты откровения предупредил Ишару:

– Они что-то замышляют...

– Ой, боюсь я, господин мой...

– Будь осторожна, коварству людей нет предела... Пока я жив, ничего с тобой не случится, не бойся, но они могут и против меня пойти.

– Живи и здравствуй, мой господин.

– Посиди со мной, дочь моя, – осторожно оглянувшись, попросил Уттар Прадаш, рукой показывая на место рядом. – Я давно вынашивал одно намерение... Боюсь даже вслух высказать его... Я уже в преклонном возрасте, и здоровье мое, я чувствую, неважное...

– Ваше здоровье дороже моего, мой господин, если бы можно было передать мое здоровье вам, ни на минуту не замешкалась бы...– в слезах проговорила Ишара, – вы столько доброго сделали мне и моему сыну... Я вечная должница ваша.

– Утри слезы... не надо. Понимаешь, я не радж, и не так богат, но и не беден. У меня есть что завещать... Нет, нет,

потом, потом, иди. Знаешь что, доченька, – добавил он, поманив ее пальцем,– раньше я убеждал себя, что лучше остаться одному, да, да, я был одинок, хотя у меня есть дети и дети моих детей... Но когда появилась ты, то просто украсила мою жизнь... И не представляю ее без тебя и твоего сына... Иди...

Не осмелился Уттар Прадаш поделиться своими соображениями с Ишарой. Велики кастовые препятствия, даже заикнуться об этом трудно, потому что плачевными бывают последствия. Говоря о наследстве, старик хотел сказать о том, что после его смерти часть добра она унаследует с сыном, а для этого он хотел назвать ее своей женой. В нем заговорила благородная душа и великое желание осчастливить на земле хоть еще одного человека, когда у него есть такая возможность. Ишара ведь из касты параяров, самой низшей касты, на которых все остальные и даже ремесленники смотрят свысока, с усмешкой, отчего параяры не знают куда деться от стыда и унижения. Да, между кастами невидимые, но почти непреодолимые преграды, барьеры. Назвать Ишару своей женой – это все равно, что всполошить муравейник, ополчатся не только родичи, но и люди высшей касты. И глубоко в душе понимал он, что ни дня, ни часа не оставят ее с сыном, выбросят сразу же за порог, как только с ним случится смерть. А приближение ее чувствовало увядшее слабое тело, сморщенная, ставшая желтосерой кожа, дрожание в коленях, одышка... Как легко дышится человеку в зрелые годы, когда со своей высоты уже спускается к подножию. И однажды к старику прибежала вся взволнованная и возмущенная Рани чуть ли не в слезах... И что-то она хотела сказать, но старик опередил ее:

– Ты пришла сказать, что у тебя что-то потерялось? Я угадал? У тебя это на лице написано.

– Откуда вы узнали?

– И хочешь в этом обвинить Ишару?

– А кто, как не она, могла...

– Что у тебя исчезло?

– Браслет и кольцо...

– Я дам деньги и купишь, только шума не надо, я знаю, что она без спроса ничего не возьмет. А когда отыщется пропажа, ты мне деньги вернешь. А я уверен, что отыщется.

Рани покраснела и ушла. Затем несколько раз она жаловалась, что Сирхан избил ее сына, она пожаловалась и мужу.

– Я видел... Твой сын дразнил и доводил этого мальчика, он издевался над ним, что ему оставалось делать? – сказал старик сыну.

– Но он его до крови... – пролепетал Шонкор Прадаш.

– Кровь из носа – это на пользу. Они, дети, сами разберутся.

Не мог, не посмел Шонкор пререкаться с отцом от страха, что старик может вовсе лишить его наследства, а это было бы самое худшее. Но никто, ни Ишара, ни старик, не догадывались, какую дьявольскую затею уготовили они им. Как радовалась Ишара, когда приготовила очень вкусную еду и угодила старику, он был так доволен, что она места себе не находила от великого удовлетворения. Убежала в тень пальмы и стала молиться, чтоб никогда-никогда не хворал хозяин.

И в этот день Сирхан не вернулся домой. Шонкор Прадаш уступил увещеваниям жены, которая была хитра и каким-то образом узнала о намерениях старика завещать часть наследства этой нищенке, подговорила двух бродяг, щедро одарив их, чтоб они украли этого ребенка и увезли далеко, откуда бы он больше не нашел дороги домой. Бедная Ишара и бедный старик, такого удара они никак не ожидали. Только дьявол мог придумать такое наказание. Не вернулся Сирхан и на следующий день, и на третий, четвертый... Тщетно звала мать своего сына в округе, бродя как сумасшедшая... Старик Уттар Прадаш был вне себя... Проклял он сына своего Шонкора с Рани и с детьми...

– Нет, нет, ты не мой сын, нет, мой сын не мог так наказать отца! Прочь, прочь из моего дома со своим отродьем! Будь проклят!

– Отец, отец, прошу, только не это, отец! – на коленях просил Шонкор.

– Нет пощады подобной жестокости!

– Это не я, это она надоумила меня, она...

– Что вы с ним сделали, где, где он, мой мальчик?

– Она...

– Где он?

– Она подкупила бродяг... и они его увели.

– Куда? Куда?

– По-моему, в город они направлялись...

– Будь ты проклят! Вон из моего дома!

Этого, конечно, они не ожидали, они думали, ну, рассердится, взбесится старик, успокоится, и все пройдет. Ошиблись они и глубоко сожалели, что затеяли такое. Шонкор передрался с Рани. А она злорадствовала и говорила:

– Пусть, пусть, что угодно, и правильно сделала...

– Ты, ты и твоя злая душонка обрекла меня на такое. Я лишился всего из-за тебя.

– Пусть.

– Проклятая, что же ты наделала! Куда нам теперь?

Нет, не ждали они, что с ними такое случится, что отец выгонит их на улицу, продаст дом и имущество, возьмет с собой все добро и деньги и уедет с Ишарой на поиски ее сына, оставив ни с чем Шонкора и Рани. Никакие просьбы на него не подействовали. Где на деревенской повозке, где на попутном фаэтоне ехали они с тревогой и волнениями в неизвестность, старик сам в душе не верил, что отыщется Сирхан, но убеждал, уверял Ишару, что непременно отыщется, найдется.

– Ты не плачь, все будет хорошо.

– Мой сыночек, мой добрый, неужели никогда больше не увижу тебя?

– Увидишь, обнимешь своего Сирхана. Да и мне он нужен. Давно я хотел глянуть в воды священного Ганга, доченька. Там на берегу и обрету я свой вечный покой.

– Ой, мой господин, вы так жестоко поступили с сыном и его семьей.

– Я? Нет, это они поступили подло по отношению ко мне.

– И все из-за меня и моего...

– Не хочу слышать, не хочу... Такова моя воля, и не пожалею никогда, даже после святого сожжения на сандаловом огне на берегу вечного Ганга. Мы будем искать его повсюду, доченька, и найдем его, мы богаты, у нас есть на все деньги... Знаешь, доченька, я был очень скуп, меня все называли жадным, а теперь нет, ты сделала меня щедрым, доченька, и все хочу отдать на то, чтоб утешить тебя.

– О, мой господин, что бы я делала без вас, случись со мной такое... Где теперь мой Сирхан, голоден, наверное, и не в постели, а на сырой земле... – все всхлипывала Ишара.

– Все глаза ты выплакала... Не думал я, доченька, что дети мои станут такими... Какая жестокость, доченька.

– Я же дурного им ничего не сделала. Разве бы я посмела, бога не побоялись... как же можно у матери отнять сына...– впервые Ишара осмелилась упрекнуть при отце семью его сына.

4

Обычной для бездомных жизнью жил Сирхан в большом шумном городе, таком чужом и безжалостном. Он не раз вспоминал свою деревню, но никто не знал ее и как доехать до нее и в какую сторону. Люди все говорили, что таких лесных приютов не меньше самих лесов. И свыкся он со своей судьбой, только мама снилась ему долго.

Трудолюбие, расторопность, готовность помочь, чем мог, кому нести вещи, кому дрова наколоть, кормили его, и он рос один, как и всякий сирота, надеясь только на чудо, что когда-нибудь изменится его жизнь к лучшему. Когда ему было шестнадцать, услышал он легенду о благообраз-

ном богатом старце, который бросил свою семью, чтоб помочь устроить жизнь бедной семье, молодой женщине с сыном. Что он купил ей в большом городе дворец и что, когда он умер, все осталось той бедной женщине, у которой потерялся сын. Ищет она его повсюду. Эту легенду рассказал ему такой же беспризорный, как и он, мечтатель, который все утверждал, что это его мать и никто иная. Однажды Сирхан исполнительностью и честностью приглянулся одной богатой женщине, и его взяли в белый дворец слугой – он служил ей верой и правдой, жизнь Сирхана изменилась к лучшему. Рослый, красивый от природы, благородный и обходительный, с хорошими манерами, он вызывал к себе уважение. Но какой бы сердобольной ни была госпожа Малати, Сирхан мечтал быть самостоятельным, ему уже под двадцать, а своей дороги еще не начал – это больше всего беспокоило его. И когда он с госпожой заговорил о желании наняться солдатом к англичанам, она воспротивилась, даже сказала обидные слова:

– Бамбук гибнет во время цветения, а человек – когда ошибок натворит.

– Госпожа, я очень Вам благодарен, готов тысячу лет брать прах с ваших ног.

– Тогда можешь и вовсе убираться!

– Госпожа, отслужу и вернусь к Вам, буду лучше, чем я есть. Не гневайтесь, постарайтесь меня понять, несравненная госпожа.

– Будешь солдатом, прикажут – и людей будешь убивать, сердце у тебя ожесточится.

– Нет, нет, я противник насилия. Вы учили меня познанию истины... В вашей заботе я слышу голос своей матери. Вы же знаете, желание горбатого хоть раз поспать на спине. Помогите мне, век не забуду.

И госпожа Малати уступила его просьбам, помогла стать ему сипаем – наемным солдатом колониальных войск, куда брали именно таких – статных, высоких, здоровых и выносливых, как слоны, парней. Привязанность к нему этой госпожи доходила до странности. Пока Сирхан нес службу

в этом городе, она каждую неделю посещала его. На плацу англичане муштровали сипаев, готовя их к беспрекословному выполнению воли офицеров. Сирхану становилось даже неловко от сослуживцев, что так часто госпожа Малати являлась к нему, потому что те над ним посмеивались, говоря: «Если мать у тебя госпожа, так почему ты сипай, а если ты сипай, то почему твоя мать госпожа?». Но вскоре часть передислоцировали на север Индии, далеко отсюда. Мало-помалу, как и остальные, учился Сирхан английскому языку, как же иначе, солдаты должны знать язык своих господ. Было трудно быть подвластным, когда ты сам себе не хозяин даже справить нужду. За службу платили, и он откладывал часть денег на черный день, кто знает, думал он, что будет завтра. Еще свежа была в памяти у индусов жестокая расправа англичан с восставшими сипаями. Неспокойно было и на земле Индии, где то и дело вспыхивали восстания возмущенных политикой «разделяй и властвуй» английских колонизаторов, которые разжигали индусско-мусульманскую вражду. При их содействии в начале нашего века возникла общинная организация Хинду Махасабха – Великий союз индусов. Однажды в казарму явился индус-офицер и объявил:

– Слышали, в России рабочие и крестьяне свергли царя! В газетах об этом пишут. И все говорят.

– Если говорят все, то это предсказание.

– Сбывшийся факт.

Только тогда узнал Сирхан, что есть такая страна, большая, больше чем Индия, которую называют Россией.

– А что, у этого царя не было армии? – поинтересовался тогда Сирхан.

– Как не была... была.

– А почему же она не защитила царя?

– А что такое армия?

– Армия? Солдаты.

– А чьи дети солдаты? Да, да не офицеры, а солдаты? Крестьян и рабочих. Так что они выступили не за царя, а за народ.

– И что же народ будет делать без царя?

– Вся власть принадлежит народу.

– Как может народ властвовать?

– Правитель-то какой-нибудь нужен?

– Так народ и будет выбирать своих людей.

– Все равно непонятно.

– Это-то понять не трудно, – сказал индус-офицер, – а вот как бы нас не втянули в это дело.

– В какое дело?

– Разве англичане, американцы потерпят, чтоб где-то властвовали не богатые люди, а просто представители бедного народа.

– Нам там делать нечего, пусть сами разбираются.

– Э, не говори, настанет час, и тебя не спросят.

– Вообще-то интересно посмотреть, что это за страна, где правит народ.

Да, оказался прав индус-офицер Мисри Чанд. Англичане со своими войсками прихватили и роты сипаев, и ту роту, где служил Сирхан. И прежде чем пуститься в далекий поход, сипаи узнали, что их любимый офицер Мисри Чанд арестован англичанами, и об этом очень сожалели.

Земля

Земля жива,
И я на ней жилец,
Пока произрастет рукотворно
Добро земли -
Ее плоды и зерна,
И знают дело сеятель и жнец.
Земля жива,
Пока родник творит.
Его живая влага -
Беспорочна,
Как истина:
Вот путь ее проточный.
Их единенье человек хранит.
И небеса живут,
Пока живет
Добро, как воплощенье человека,
И человек живет
Под знаком века,
Который существует и грядет.

Цандалай

Возвращаясь с бычком домой, Кичи-Калайчи остановился у родника и приклонил колени к каменной лохани, когда услышал скрип несмазанной арбы. На сене лежал раненый и тихо стонал. Арбу сопровождали угрюмые люди. Кичи-Калайчи подошел к арбе и увидел красноармейца с перевязанной грудью, бледного, постаревшего на десяток лет. Это был Салих – сын его соседа-кузнеца.

– Сынок, где тебя ранили? За что такая беда свалилась? – встревожился Кичи-Калайчи.

– В последнем бою... Сначала мы их гнали, отец... в ущелье. Потом... сверху на нас белоказаки... шашкой досталось мне.

– Как же так, Салих? За что так не везет беднякам?!

Салих открыл глаза, покосился в сторону Кичи-Калайчи:

– Ты... успел обменять бычка?

Кичи-Калайчи уперся подбородком в старенький беш-

мет, глаза зажмурил. Не молился старик, себя корил: плохо знал происходящее, много ругал, а теперь поздно! Рад бы сказать доброе слово, сто слов; да некому. Умер Салих...

Утих скрип арбы, замолк стук копыт коней, а Кичи-Калайчи все не отходил от каменного холма. «Нет, – думал старик, – видать, без оружия не возьмешь землю, надо вернуть бычка, взять маузер с патронами». Поднял плоский камень, на котором еще не так давно сидел, достал зубило и высек на вечной странице имя погибшего, а под ним нанес узор из нехитрых инструментов лудильщика. И повернул бычка обратно к Давла-Мустафе, к этому Гром-Голосу.

На горных плато земли богатые, плодородные. Уже весна, снег сохранился только в ложбинах и на высокогорье, речки разбухли от талой воды. Первоцвет уже в росе желтеет, и фиалки высветили лица...

Пар с земли идет, будто со свежего каравая. Собирались горцы, советовались, что делать, и, не найдя решения, расходились, и так несколько раз. Твердо никто не говорил, что делать, а Герей Таркаман был далеко отсюда. Что делать? Пахать землю или не пахать? Для крестьян такая нерешимость была страшной, потому что все знают хорошо, что землю надо вспахивать весной. А к весне думал, беречь ли зерно для посева или помолоть крупнорушкой, испечь последний хлеб под горячей золой, накормить голодных детей досыта – будь что будет. Многие выдержали, а многие... Сбудутся ли надежды, настанет ли день свободы, или же вновь налетят каратели, защитники частной собственности и разнесут их в пух и прах.

И вот очередной раз собрались почтенные старики из сел и хуторов на свой сход, а женщины в то время еще не вмешивались в общественные дела... Долгая и напряженная наступила тишина. Многие, что помоложе, устали стоять и приспособили камни, чтобы сесть.

– Что мы молчим? – будто обращаясь к нему, сказал один из стариков, это почтенный Исмаил, уважаемый в округе человек, дальний родственник Герея Таркамана, это о нем говорили, что он силой своей и мудростью уважать се-

бя заставил. Это он был предводителем восстания и захвата земель и табунов помещика Халимбека Геллинского. У него, говорят, сын был, Хамзатом звали. Пропал, говорят, где-то в России.

– Молчим потому, что поджилки трясутся, – не без упрека замечает Акка-Темир, пахарь-земледелец.

– Почему трясутся? Потому что неизвестно, что с нами будет. Сгоряча дел-то мы натворили, а что делать дальше...

– Пахать надо! – заявил Исмаил.

– Правда твоя, люди добрые, – встает с места Акка-Темир,– дорогие, разве же вы не слышите, что в воздухе несется? Зов земли, вечный зов. Она зовет, просит вспахать ее...

– Да, да, вспахать нам, посеять нам... – замечает третий с бородкой, похожей на наконечник сохи, – а как урожай собирать, вернется хозяин и давай...

– А мы не отдадим!

– Да, не отдашь, объявится он сюда с казаками...

– Люди, к чему пустословие, а? – ворчит Акка-Темир. – Земля же родить хочет, она просит ей помочь. И что, мы ей не поможем? Тогда чего же мы вообще стоим?

– Не наша эта земля!

– Наша! Мы за нее дорого заплатили.

– И тогда не отдадим, никому не отдадим, поняли!.. Ты врешь, что говоришь, не наша она, она кровно наша, на ней мы родились и научились ходить, видеть и слышать, чувствовать и понимать, это родная, кровная наша земля...

– Твоя правда, – заявляет Исмаил. – Земля не простит нам нашу беспечность. Она не хочет быть мертвородящей... Люди, кто со мной?

– Я! Я! Я! – раздались голоса.

– И право первой борозды тебе, уважаемый Исмаил, – сказал Акка-Темир.– Декретом о земле закреплена она за нами. Советская власть придет к нам на помощь.

– Где она, твоя советская власть? Ревком пришел, установил Советы, пришли мироеды и разогнали...

– Лучше надо было защищать! – заявляет Исмаил. – Ты

хочешь, чтоб тебе землю дали, еще и защищали ее другие от посягательств? Может быть, хочешь, чтоб за тебя другие ее вспахали, засеяли, собрали урожай и на арбе прикатили во двор к тебе, а? Так чем же ты будешь тогда отличаться от помещика?

– Помещиком я не был и быть не хочу, – возмутился сосед Акка-Темира. – Мой род славен тем, что добро свое ковали своими руками.

– Эй, джамаат (общество), пора бы и меру знать, за дело надо взяться! – призывает Исмаил.

И в это самое время с обычным приветствием к ним подходит безземельный Ашурбек.

– О чем разговор? – спрашивает Ашурбек.

– О земле... о том, что пахать пора, завтра будет поздно. Земля просит... – объясняет Исмаил.

– Да, человека можно обидеть, но землю нельзя, человек простит, но земля не прощает... – изрекает Ашурбек.

– Никто не знает, что будет через час, – недоверчиво проворчал горец в большой шубе с длинными рукавами.

– Пошли! – позвал за собой людей Исмаил. И через некоторое время из аула выехали десятки пар быков на плато, чтоб вспахать землю, жирную, как говорят горцы, и плодородную. Богатые эти земли, хоть и мало. В основном ведь в горах эти поля – лоскутки, террасы на крутых склонах, поля, созданные неимоверным трудом людей, а не доставшиеся по щедрости природы. Суровая здесь природа, и эта земля, что на отгороженных каменными изгородями полях-террасах, принесена людьми в корзинах на своих горбах с поймы рек. Дорого, очень дорого стоит земля, потому что в эту землю вложен великий труд, столько пролито пота, столько проявлено терпения и любви, чтоб задобрить ее. И все эти земли принадлежали Халимбеку Геллинскому, чтоб ему пусто было. И думаете, он успокоится? Нет, он не потерпит, чтоб у него отняли богатства, а самое великое добро – это земля.

Ясный выдался день, на далеком небосклоне неподвижно застыли облачные шали, будто кем-то случайно за-

брошенные... Хотя у всех, кто высыпал на горное плато, на душе было тревожно, но никто не ждал, что беда нагрянет так быстро. Люди прислушивались, приложив ухо к земле, и донесся до их слуха топот множества копыт, будто табуны лошадей неслись вскачь. Сначала люди увидели на дальней дороге высоко поднявшуюся пыль, затем и всадников на хорошо откормленных лошадях. Впереди ехали сам Халимбек Геллинский на своей рыжей кобылице и офицер в золотых погонах.

– Красиво скачут! – заметил кто-то.

– Будто на праздник. Их много, ой, много, – сказал с тревогой второй.

– Халимбек едет, солдат ведет на усмирение, пих-пах будет! – подпрыгивая на палке, закружился известный в ауле дурачок по прозвищу Ахмах. – Пих-пах будет!

– Радуется наш дурак, не к добру это, – приговаривает крестьянин, остановил он быков, прервав пахоту. Но Исмаил настойчиво ведет своих быков, и за плугом ложатся свежие пласты земли, пар с них идет, как от горячего пирога. И по обычаю женщины разбивают сырые яйца о лбы быков, дети бросают вслед за пахарями комья земли. Взмахивая тонким хлыстом, Исмаил обращается к быкам:

– Ну-ка, добрые, ну-ка, хорошие, с именем аллаха начнем мы свое трудное дело, да будет на славу вспахана земля! В добрый час!

– В добрый час!

– На славу! На славу! – раздались вокруг возгласы.

В это время с косогора сбежала ватага парней, среди которых и сын Исмаила. Запыхавшись, он подбегает к отцу:

– Отец, отец! Постой, отец!

– Что случилось, сын мой? – остановился пахарь. – Что тебя взволновало?

– Отец, брось все, Халимбек вернулся с солдатами и едет сюда.

– Ну и что? – спрашивает Исмаил, не поняв сначала, о чем речь, но когда смысл тревоги сына дошел до его сознания, он немного растерялся, замешкался на мгновенье, ог-

ляделся – со всех сторон на него смотрели люди, будто ждали, что же он сделает, струсит или же... Да, отступать было поздно.

– Отец, – тормошит его паренек, – беда близка, прошу тебя, беги...

– Иди домой, сынок, – спокойно сказал Исмаил. – Некуда мне бежать с родной земли, это богачи пусть бегут и в Иран, и в Турцию... а мне некуда бежать!

И тут же с косогора раздались женские вопли:

– Люди, бегите, бегите... от греха подальше!

Исмаил огляделся.

– Который из них Халимбек Геллинский?

– Вон, в белой черкеске с газырями.

– Может, обойдется без крови?

– Лучше бы обошлось. Но этому мерзавцу верить трудно, его люди вырезали семью здешнего председателя ревкома.

– И такое мог совершить этот красавец-офицер в золотых погонах? На человека похож, глядя на него не скажешь, что он зверь.

– Озверели они.

Страшное напряжение, казалось, от людей передалось природе, воздух накалился. Очень долго и пристально всматривался Халимбек в людей, которые захватили его земли. «Весь мир сошел с ума, лучше не вмешивайся, лучше убирайся восвояси, ничего ты не изменишь здесь, уходи, и тебе где-нибудь найдется место под небом... Уходи и не взвинчивай себя... все может закончиться гораздо хуже, чем ты думаешь. Уходи!» – говорил в нем затаенный голос, но его приглушал гнев задетого самолюбия хозяина. Сидел он на коне, руки его покоились на передней луке, будто для того и приехал, чтоб поглядеть, чем здесь люди занимаются.

– Собрать всех в одну кучу! Вон там! – крикнул своей сотне офицер, обменявшись взглядом с Халимбеком.

И всех собрали под косогором, только Исмаил продолжал пахать. Взбешенный офицер пустил вскачь своего ко-

ня, легко преодолев каменную изгородь, всадник оказался рядом с Исмаилом и с размаху ударил его плетью. Это обожгло душу Исмаила. Нет, не мог он такого вынести, и с яростью зверя бросился он на всадника, стащил его с коня, и в мгновенье ока вогнал в свежую борозду и стал душить. Ошеломленный золотопогонник затрепыхался под ним, рука его судорожно тянулась к кобуре. И казалось, не хватит силы в руке.., но как только удалось ему глотнуть порцию воздуха... он выстрелил в живот придавившего его пахаря. Стон ужаса вырвался у Исмаила, он приподнял голову, посмотрел на людей, не веря случившемуся, и последним увидел сына и обмяк. Офицер скинул его с себя, поднялся, ощупывая шею, белая черкеска на нем стала черной и грязной, он как пьяный зашатался, пнул ногой пахаря, вытер левой рукой холодный пот со лба и для пущей убедительности выстрелил еще раз в свою жертву. «Отец! Отец!» – с отчаянным криком к отцу бросился паренек, земля в борозде была обагрена кровью пахаря... сын пахаря оцепенел, очнувшись, сорвался и броском барса настиг офицера. Золотопогонник оттолкнул его и вскинул наган, чтоб выстрелить в паренька...

Раздался выстрел, и из руки офицера выпал пистолет, а из пробитой пулей руки брызнула кровь. Офицер и Халимбек ошалело оглянулись. На бугорке стоял одинокий всадник, он в мгновенье растворился, исчез, как дух. Это был Абдулла из Кабула.

Абдулла из Кабула

В колыбели твоей лежал
Кривой отцовский кинжал,
Дабы мужество с детства
С ним ты в себя вбирал.
И песни любви у колыбели
Пела тебе афганская мать.
Ты сын афганца,
С мечтой о свободе
Ты вместе был рожден.
Пахарь, сеятель и жнец,
И воин, не знающий страха,
В час беды, в час, когда
Решается в бою судьба.

Из афганской народной песни

1

Абдулла был тринадцатым сыном в семье крестьянина Асадуллы, которого соседи звали сокращенно Садо. Всех вырастила и воспитала добрая, любящая мать Айша. «Кто лучше – Айша или Гюль?» – задают вопрос пуштинцы и тут же отвечают: «Не видать бы ни той ни другой».

Эти женские имена самые распространенные здесь. Но мать Абдуллы Айша была не из тех, о ком можно было сказать что-либо дурное. Асадулла-Садо не роптал, как иные мужья, на своих жен, он был доволен Айшой. Она добра и послушна, исполнительна и приветлива, любит семью, умеет стряпать, латать дырки бедности, что еще нужно мужу? И самое главное — она не сметает снег со своей крыши на соседей. А Садо трудолюбивый крестьянин, правда, не много у него своей земли, но зато своя, досталась по наследству, есть дома скотина, да и конь добрый, что бережет и лелеет Садо… К тому же старшие дети все устроены, кроме Абдуллы и его младшего брата. У старших свои семьи и живут, стараясь, чтоб было сносно и не голодно. «Земля – мать, – говорят пуштинцы, – родит она золото». И вот копошатся они в земле, растят пшеницу и кукурузу, есть и

виноградники – небольшие участки-террасы на склоне, и абрикос растет здесь хорошо. Живут, как говорится, не бегая в поисках за куском хлеба да головки лука. И такая же судьба крестьянина была уготовлена и Абдулле, которому выпала удача учиться в медресе – духовной школе, где учили их не только зубрить суры Корана, но и математике, умению писать и читать. И мечтал Абдулла стать кем-нибудь другим, а не пахарем, сеятелем и жнецом, ну хотя бы каменщиком, строителем. А Садо, когда слышал от него такое, бывало говорил:

– Верблюду посоветовали заняться вышиванием, а он спросил: «Передними ногами вышивать или задними?», – и смеялся, а Абдулла при этом хмурил брови, бывал недоволен, что отец не одобряет его желание.

Айша не только вела домашнее хозяйство, хлопотала по дому с раннего утра до темна, в ее руках все в доме начинало сверкать. И, убравшись, сготовив еду, она садилась за станок и проворно ткала ковры. Вон они лежат горкой у очага. Дешево их покупали приезжие купцы, чтоб в других местах: в Индии, Персии, даже в Дербенте – перепродать по дорогой цене иностранцам: англичанам, русским. И бывало, сетовала мать, мол, если бы кто из сыновей отвез этот товар, то смог бы заработать большие деньги. А афганские ковры славились во все времена, на всех рынках.

– Говорят, наш сосед Хамид собирается в далекие края со своими коврами, – как-то раз заметил Садо. – Может быть, он купит у нас.

– Купить-то – купит, но за полцены, – с сожалением сказала Айша.

– А ты хочешь, чтоб он взял с собой наши ковры и продал там за хорошую цену и дал нам деньги?

– Нет, не хочу, потому что Хамид этого не сделает.

– А чего же ты хочешь?

– Вот если бы Абдуллу нашего с ним послать...– намекнула Айша.

– Не говори глупости, – бросил Садо,– ишь что приду-

мала, – а в душе он подумал: «Почему не мне первому пришла такая мысль в голову?»

Понимая хорошо своего мужа, Айша всплеснула руками и промолвила:

– Ты же на днях сам об этом сказал, помнишь, когда сено для сушки разбрасывали. У меня даже сердце екнуло, мол...

– Не было такого, не говорил я...

– Как же не говорил, Абдулла услышал об этом и с тех пор уши прожужжал, мол, напомни отцу...

– Неужели я говорил? – призадумался Садо, сомневаясь и напрягая память.

– Ишь обрадовался... Нет, нет, это я так просто сказала... Не отпущу я никуда от себя сына.

– Но это мы посмотрим.

– Не делай этого, Садо, прошу тебя.

– Это мужское дело, а ты не вмешивайся.

– Бессердечные вы, мужчины, – сказала Айша и занялась своим делом, таким образом подбросив горящее полено, говоря: пусть будет так, что огонь ты развел своим подолом.

Вечером Садо пригласил к себе соседа Хамида. Айша приготовила им нехитрое угощение, шурпу, пироги из тыквы с орехами, кислое молоко.

– Как поживаем, почтенный Хамид?

– Слава аллаху, его добротой согреты.

– Да, как говорится, бедняку обеднеть не страшно.

– Бедно не бедно, но устроить жизнь одиннадцати сыновей – это кому под силу, дорогой сосед. Да смилостивится над всеми всевидящий.

– Угощайся, почтенный Хамид.

– Спасибо.

– Слышал, собираешься в далекие края?

– Воля аллаха, если он соблаговолит, то хочу с товаром добраться до Кавказских городов... Полюбился мне знаменитый Дербентский базар...

– И хороший торг там?

– Русские купцы – верные люди, да и долг мой кое-какой за ними, да и я перед кое-кем в долгу. Не хочешь ли и ты присоединиться к каравану, уважаемый Садо?

– Куда там мне... видимо, не судьба увидеть страны и народы.

– А что, решись, повидаешь людей.

– Нет, нет... А как живут люди в этих странах?

– Не хуже и не лучше... везде одинаково. Один говорит: «Чего бы поесть?», а другой «Кого бы угостить?» Да и я, если по правде сказать, устал скитаться... Это последняя, думаю, будет поездка.

– А не возьмешь ли ты, сосед, с собой сына моего?

– Которого? Абдуллу?

– Да.

– Его можно, он мне нравится больше всех. Смелый, расторопный, уважает старших. Он будет верхом, надеюсь?

– Да, коня я ему дам. И верблюда с товаром.

– А почему бы не взять?

– К земле у него душа не лежит, может, купец какой из него получится.

– Да сбудется твоя надежда, уважаемый Садо. Готовьте сына.

– Спасибо. Только вы не будьте к нему снисходительны. Пусть твоя воля будет ему законом.

Так они и порешили. Жаждущий самостоятельной жизни Абдулла был так обрадован, будто ему подарили полземли, да в придачу луну.

2

Как говорится, утро наступает не потому, что петухи поют. В эту ночь Абдулла и глаз не сомкнул, все ждал наступления необычного для него утра, когда он с почтенным Хамидом пустится в далекий и нелегкий путь, попрощается со всеми. Да, утром все собрались проводить Абдуллу, кое-кто из старших братьев даже позавидовал ему. А мать обняла его и прижала к себе: «Да будет удачным твое начало, сын

мой, молиться за тебя буду не переставая... Не забудь, сынок, воротиться». «Да будет суждено мне найти вас всех в добром здравии по возвращении!» – сказал Абдулла, пожал руку отцу и сел на коня. А из окна соседнего дома выглянуло молодое девичье личико, неравнодушное это было лицо, зардевшееся, трепетное, и взгляд ее больших глаз мимолетно поймал Абдулла и запомнил навсегда, говоря в душе: «Скоро свидимся, Гуль, жди меня!» А взгляд сына поймал отец и с укоризной в душе буркнул: «У них в стаде больше собак, чем овец». А мать тайком от отца два коврика маленьких, так называемых «Мосалля» – молитвенных коврика, передала купцу Хамиду, чтобы тот лучше присматривал за сыном, за Абдуллой. Чтобы сын не замерзал, положила самую лучшую постынчу – безрукавку из овечьей шкуры в дорогу. Долго всей семьей провожали Абдуллу, пока тот не скрылся за парком, где находится знаменитая мраморная гробница шаха Бабура.

И потянулся по степи караван, впереди шел осел, на котором восседал почтенный караванбаши. Им был не кто иной, как сам Хамид. Молодые ехали на своих скакунах по бокам, а остальные замыкали караван. Среди молодых выделялся Абдулла. Он был ближе к караванбаши, чем остальные, и смотрел на Хамида, готовый исполнить его любое желание.

Благополучно миновав Герат, остановились они в караван-сарае Машхеда на Хорасанской земле, дальше путь лежал через земли Мазендерана, Гиляна, Восточного Азербайджана и дальше уже на север по берегу Каспия. Беспокойно было на дорогах. По пути до Машхеда были две попытки нападения на караван, но они сумели их отбить, и в том отличился смелый Абдулла – это заметил Хамид и молча пожал его руку, выражая признательность.

– Тревожно стало на караванном пути, – сказал Хамид. – Люди будто взбесились, никогда так не было.

– Что это с персами делается? – поинтересовался старик из каравана.

– Как что, не слыхал что ли... в духане говорили...

– О чем?

– На юге Ирана хозяйничают англичане, а север терзают люди русского царя. И как тут не взбеситься... Вот и взбунтовались... Я поведу караван в Тебриз по другой дороге. Помочь мне обещает один знакомый, здесь… он будет нашим проводником.

– А не обманет он? – старик был взволнован.

– Утром подумаем. А ты, сынок, смотри в оба...– попросил Хамид Абдуллу.

Абдулле не понравился человек, который обещал Хамиду помочь добраться до Тебриза другой дорогой. Проводник, или как его называли иначе – чавуш, был куса – безволосый на лице, с большими острыми, как у ястреба, глазами и тонким горбатым носом. Абдулла стоял под тутовым деревом во дворе караван-сарая, когда из духана выбрался тот человек – чавуш, в чохе и чалме, в сопровождении двух подозрительных типов. Они прошли мимо, не заметив в тени лунного света Абдуллу. Абдулла последовал за ними. Они остановились у ворот, где к стойлу были привязаны оседланные лошади. Чавуш остался, а те сели на лошадей. Один из них нагнулся к чавушу:

–Ты вполне уверен, что тот поверил тебе?

–Уверен, не первый день его знаю.

–Богатый караван?

–Такого не было… ковры, изюм… Так что готовьтесь к встрече. Смотрите, не попадите в меня, я еще пригожусь вам.

–Если что, зарывайся в песок. Ха-ха-ха!

И всадники ускакали прочь. Чавуш вернулся в духан. Абдулла стоял, будто язык проглотил. Он еще не верил своим ушам. Неужели Хамид поверил такому человеку? Надо срочно сообщить ему. И он встал на колени у спящего Хамида.

–Что тебе? – спросил Хамид, приподняв голову. Он спал чутко.

И Абдулла поведал ему обо всем, что услышал.

– Ты кому-нибудь говорил об этом? – спросил Хамид.

– Нет.

– Ни слова никому, понятно?

– Да, дядя Хамид.

– Вот и хорошо, спасибо, сынок, уши навостри, все слушай, обо всем говори мне, только мне.

– Хорошо, дядя Хамид.

– Иди, дай мне немного поспать.

– Доброго отдыха Вам.

И Абдулла был польщен таким доверием почтенного человека, но его удивляло в душе спокойствие Хамида, каким он принял его предостережение. Но у старшего не посмел он спрашивать, почему и что к чему, ему виднее. С рассветом караван был на ногах. Чавуш, к которому Абдулла не испытывал ничего доброго, а смотрел на него, как на злодея и злоумышленника, как ни в чем не бывало, даже весело переговаривался с Хамидом.

И караван двинулся в путь. Рядом с Хамидом на своем муле ехал чавуш-проводник. Откуда было знать Абдулле, что Хамид послал гонца до Тебриза, чтоб кунак встречал его по пути в Тебриз со своими людьми. Абдулла был настороже, все думал, вот-вот должно случиться неприятное, вот-вот обманет этот чавуш и будет разграблен караван качагами – разбойниками на караванном пути.

– Ну, как дела, сынок? – спросил Хамид, когда Абдулла поравнялся с ним.

– Он же предатель, – тихо проговорил Абдулла, кивнув в сторону чавуша.

– Положись на аллаха и ни слова никому! – попросил Хамид. И в это время сзади раздался голос: «За нами погоня!» Все всполошились. Но Хамид повелел спешить всем и не останавливаться.

А Абдуллу он послал вперед.

– Иди, там у колодца должны ждать нас! Крикни, если увидишь, Хамид из Кабула шлет привет.

Абдулла с готовностью поскакал вперед, легко преодолев холм, и заметил много верховых у какого-то глинобит-

ного строения. Несколько человек вскинули винтовки наизготовку, когда увидели его. Он подскочил к ним и сказал:

– Хамид из Кабула шлет вам привет.

– Наконец-то, а то мы тревожились – не случилось ли чего по дороге.

– Простите, не знаю, лишнее ли я говорю, но...

– Говори.

– За караваном погоня.

Главный из них на арабском скакуне взмахнул плетью, конь вздыбился под ним и умчался вперед в ту сторону, откуда только что появился Абдулла, за ним следом и остальные. Караван уже поднимался на холм. Верховые пропустили его и стали ждать тех, кто гнался за караваном. Вдали пыль поднималась высоко, и вскоре люди из погони осадили своих разгоряченных лошадей и замешкались, увидев перед собой не караван, а заслон из вооруженных всадников. И все на этом кончилось, мирно и те и другие, без единого выстрела повернули восвояси.

Удивлению Абдуллы не было конца, когда он узнал, что этот чавуш – специальный человек хитроумного Хамида, которому приходилось попадать во всякий переплет. Чавуш не только отвлек банду, сговорившись будто с ними на условиях, но и повел караван по самой безопасной дороге. Но и это не все. Этот самый чавуш оказался не мужчиной, а женщиной. «Вот как можно обмануться», – подумал в душе Абдулла. Его успокоило то, что и остальные удивились такому преображению.

– Спасибо, сестра Хадижа, – сказал ей Хамид с поклоном.

– Хотела бы посмотреть на лицо атамана этих разбойников, на этого Жапар-Али, – рассмеялась от души Хадижа.

– Ну что, сынок?

– Просто нет слов.

– Сестра Хадижа, этот наш Абдулла подслушал все то, что ты говорила людям Жапар-Али, и доложил мне.

– Я была так осторожна, это делает ему честь! – похвалила его смелая женщина, да так, что Абдулла даже покраснел.

На второй день Хамид с Абдуллой покинули Тебриз, оставив здесь полкаравана, которые добирались только до этих мест, и направились в сторону Баку, чтоб оттуда добраться до хваленого Дербента. И здесь их застало тревожное время. Им пришлось бежать, они были ограблены. Хамид убит, а Абдулла перебрался в аул Губден, где находились отцовские кунаки.

Чурек на семерых

Немало песен в жизни
я слагаю –
О победе нашей, о чистом небе.
Но самой лучшей до сих пор
считаю
О хлебе песню –
О надежном хлебе.

Цандалай

Это было весной двадцатого года. Получил таки Кичи-Калайчи землю от Советской власти. Правда, быков не было ни у него, ни у соседей, чтобы вспахать поле. Помогли ему вскопать ее люди разных судеб, из разных стран, которых свела воедино буря революции, всколыхнувшая народы. На небольшом поле дагестанского бедняка встретились индус и афганец, турок и китаец, русский и дагестанцы:

Степан Карганов,
Герей Таркаман,
Зурум из Эрзерума,
Ли Шанчи из Дома слез,
Абдулла из Кабула,
Сирхан из Валанджавиласама,
Кичи-Калайчи.

Осенью собрали первый урожай. Он удался на славу, и на радостях Айша, жена Кичи-Калайчи, сварила хинкал и

испекла румяный чурек. И сели они за трапезу на плоской глинобитной крыше сакли. Чурек был настолько ароматный, что чистый воздух альпийской высоты сразу пропитался, дополняя его самым главным, самым чудесным и ни с чем не сравнимым запахом. И каждый из них взял в руки ломтик этого чурека со словами благодарения землематушке, кормилице. А Кичи-Калайчи взялся за чугур.

– Четыре струны на моем чугуре, пусть на четыреста ладов звучат они сегодня, четыре всего струны, две стальные для мужества, две золотые – для любви. Хочу спеть вам песню. Слушайте, люди, слушай, народ, слушайте, дети, слушай, мать моих детей. С радостью снял я на заре со стены и взял в руки заветный свой чугур. И песня моя о хлебе, о новом урожае, обо всем, что вы видите сейчас вокруг. Здравствуй, рассвет, здравствуй, утро урожайного дня! Здравствуй, Цуэри!

Цуэри – это нежный прохладный ветерок на заре над пшеничным поле! Цуэри еле слышно играет в спелых колосьях, в легком поклоне от него волнуются, как море, золотые нивы. Добрыми руками разбужены к новой жизни эти поля. И небо над ними сегодня огромное, ясное, глубокое, как чистая бирюза. Оттого, по-моему, прекрасно сегодня небо, что глядит оно на славный наш труд, на добрый урожай. Щедрые лучи солнца нежно касаются упругих стеблей колосьев. Бирюза – голубой цвет Востока, цвет куполов. Не потому ли прославленные кубачинские мастера вправляют бирюзу только в золотые зубцы, сочетая бирюзу неба с золотом полей и солнца. Не потому ли бирюзу здесь называют мутил-кабиган – что значит камень, достойный быть вправленным в золото. Хлеба под мирным небом – бесценный дар природы, великое благо на земле, созданное свободным человеком. Вряд ли во что-либо человек вкладывал столько своего труда, сколько он вложил в то, чтобы хрупкое, нежное растение выросло, прижилось, стало стойким и давало благодатные урожаи зерна, зерна жизни.

Славлю тебя я,
Мой край родниковый,
И на тропе
След усталой подковы,
И в небесах -
Солнца яркого свет,
В рукопожатии -
Взаимный привет.
Славлю труда
Хлеборобского радость,
Хлеба
Горбушки
Славлю я сладость.
Нет выше счастья -
Колосья растить,
И людей угостить,
Вырастить хлеб.
Хлеб – голова всему,
Хлеб – наш кумир...
Мир – это хлеб,
Ну, а хлеб–
это мир.

Кичи-Калайчи пел сегодня песню о хлебе, пел самозабвенно, увлеченно, и, кажется, его огрубевшие пальцы даже не касаются струн, а сами струны тянутся к пальцам, рождая пленительную мелодию:

Эвой, далай-далай...

Медно-серебристо звенит песня. И первое слово привета – земледельцу, хлебу, земле. Кто из нас не испытывал умиления, глядя на малыша, несущего поутру в руках теплый, пахнущий степью, круглый, как солнце, чурек или белый каравай с хрустящей коркой. Особенно тогда, когда малец, не удержавшись от соблазна, откусываем хрустящий лакомый кусочек и ест с превеликим удовольствием. И все подхватили его песню, песню пахаря, сеятеля и жнеца, пели, быть может, по-разному, по-своему, но смысл был один:

Быть счастливым –
Это значит
Труд любить,

Трудом гордиться,
Вырастить детей
Достойных,
Каждым шагом
Их гордиться.
Встретить гостя
Днем и ночью,
Встретить с честью –
Тем гордиться.
Быть стране
Своей полезным –
Славою ее
Гордиться.
И всю жизнь гордиться
Хлебом,
Чистым колосом пшеничным,
Золотым зерном тяжелым,
Свежеиспеченным хлебом...
Самым главным в жизни -
Хлебом!

Так же как теплом светило делится между людьми, и чурек на земле должен делиться поровну, потому что хлеб – частица солнца, его энергии и света. Много горячей человеческой крови было пролито на земле, чтобы люди свободно могли растить хлеб и гордиться своим трудом. Растить хлеб, растить детей и славить в песнях землю – не это ли великое добро, которое ветвями к солнцу тянется, корнями в землю уходит и человека делает человеком?! Их было семеро, прошли они огонь и воду, чтобы поделить между собой этот хлеб свободы. За горой заря блеснула золотая, как чурек.

БАРБАРИСОВЫЕ СЕРЕЖКИ

Повесть в письмах

Эти письма попались мне во время беды, постигшей мой народ, вернее все народы Дагестана... Весна в этом памятном году была поздняя, хотя на улицах уже продавали маленькие букетики быстро вянущих первоцветов, которые наполняли улицы неповторимым запахом согретой весенним теплом земли. Возбужденные воробьи громко чирикали и плескались в лужах. Яблони и абрикосы накинули девичьи бело-розовые шали. Разговорчивее и теплее стало Каспийское море. Шел последний месяц весны.

И вдруг покачнулись и сдвинулись горы. Загудела земля под ногами.

Древний кумыкский аул Эки-Булак, что значит «Два родника», был расположен недалеко от эпицентра землетрясения... казалось, над ним в гуле моторов и пламени взрывов прошла война. Случилось так, что на третий день я увидел развалины этого аула. По соседству с руинами на ровной поляне с помощью соседских районов и властей уже раскинулся палаточный городок. В дружеской поддержке, хлопотах и заботе начал понемногу забываться ужас подземного грозного гула и багровых сияний, что прорывались, по словам очевидцев, из трещин в земной коре. Вот когда стали понятны истоки суеверных сказаний о духах преисподней.

Всего три дня назад Эки-Булак был аулом. А сегодня он напоминает место археологических раскопок. Груды самана и черепицы, разрушенные очаги, овеянные пылью и печалью... О, как беспомощен человек перед стихией!.. Беспо-

мощен? Э, полно! Разве можно сломить волю человека к жизни? Беда сближает людей, стирает мелкие обиды и раздоры. Вот эти два экибулакца не ладили, часто ссорились, даже угрожали друг другу. Но в час беды помогали один другому спасать детей, собирать все уцелевшее из имущества, а теперь живут единой семьей в большой палатке и едят из общего котла. И говорят не о былых обидах, а о будущем Эки-Булаке: ведь им предстоит заново построить прочные и просторные сакли, которые уже не развалятся от подземных толчков, широкие улицы, посадить виноградники, сады, разбить парки, восстановить школы, стадионы...

Медленно я брел улочками бывшего аула и остановился у развалин сакли, что прежде стояла на отшибе. От стихии уцелела одна-единственная стена жилища, выкрашенная в синий цвет синькой. Когда-то на ней висел ковер, теперь ковер, видно, унесли хозяева и это место выделяется свежей синевой среди поблекшей, запыленной краски. А чуть подальше видна в стене ниша, таких много в горных аулах. Вот тут я и заметил пачку бумаг, перевязанную бечевкой, в осыпавшейся штукатурке. Что за бумаги мог здесь беречь человек? Я вошел в уже не существующую саклю и достал из ниши бумаги. Это были бережно собранные – одни в конвертах, другие без конвертов – письма, написанные разными почерками... Но почему остались они в нише? Или хозяин счел, что катастрофа перечеркнула прежнюю жизнь и все с ней связанное? Или просто позабыл о них впопыхах, в смятении и испуге?

Я бережно стряхнул с писем пыль... И пошел к председателю сельсовета, молчаливому, озабоченному человеку с густой, преждевременно поседевшей копной волос. Председатель даже не дослушал:

– Неужели не нашел дела поважнее? Дались тебе эти письма! Ну брось в тот вон костер и перестань беспокоиться... Кому нужны твои письма?! Не о том нынче думать надо. Вон строим столовую, а досок не привезли, машины завязли после вчерашнего дождя... Вот если сможешь, помоги доставить...

Председатель не договорил: вновь дрогнула, глухо загудела и пошатнулась гора. Твердой походкой он вышел из палатки и встал у входа, озираясь, оглядывая палаточный городок и людей. Он – советская власть в горах, надежда и вера земляков, и люди остались спокойны, а гул вскоре затих в утробном ворчании, и все опять было как прежде тихо, лишь рухнула в облаке известковой пыли моя синяя стена с нишей. Поднял я было связку писем, чтоб кинуть туда же, в развалины, но внезапная мысль остановила:

– Погоди! Не бросай! Не может быть, чтобы в этих письмах не проявился человек, наш современник, с мыслями, переживаниями, надеждами... Прочти! Уничтожить всегда легко, и это всегда успеется. Но не верю, что письма окажутся пустыми: тогда бы их не берегли в нише! Да и вообще горцы не часто пишут, но уж если пишут, то сердечно, искренне, горячо...

И пачку писем из синей ниши я увез в Махачкалу. А когда прочёл, понял, какое преступление совершил бы, если бы выбросил их в костер. Я увлекся, зачитался... какой человек предстал передо мной в этих исписанных и запыленных листках!

Нет, мне лучше помолчать. Пусть говорят сами письма. Я ничего не прибавил в них, ибо не знаю писавших, и очень немногое вычеркнул...

Письмо первое

На белом конверте нарисовано живописнейшее место Сирагинских гор: высокая арка моста перескочила бушующий в теснине поток под нависшей козырьком скалой. За мостом чаща придорожной ежевики и каменные сакли, разделенные на кварталы рядами пирамидальных тополей, а вдали застыли в синем небе снежные вершины Хаба-Дарга. Под рисунком написано: «Ворота в горы». На конверте девичьей рукой написан адрес: «Махачкала, улица Пушкина, редакция, Саидову Нури». А внутри написанные

листки из ученической тетради и фотография девушки в школьной форме. Стройную шею обнимает вышитый воротник, на грудь спадает темная тугая коса, юное милое лицо обрамлено гладко причесанными волосами, очень светлые задумчивые глаза, полные губы, на которых, кажется, застыла улыбка, неожиданный для горянки вздернутый носик... Нет, нельзя ее назвать писаной красавицей, особенно в краю шамаханских царевен и Лейл, вроде бы обыкновенная девчонка-школьница, каких много в наших аулах. Но вглядитесь в эти светлые, полные огня и мысли глаза, в которых, как в горном хрустальном озере диковенные рыбы, дремлют и тихо проплывают неизъяснимые переживания и чувства!

А на обороте снимка написано:

«Шестнадцатое февраля 1963 года. Аул Шилаги».

* * *

Привет из аула Шилаги! Надеюсь, не упрекнешь, что обращаюсь на «ты»... Отец уверяет, что у горцев не принято говорить друг другу «вы»... Да и мне кажется душевнее, проще, доверительнее, хоть и знаю, что ты намного старше. Если помнишь, русский поэт Пушкин однажды написал:

Сухое «вы» сердечным «ты»
она, обмолвясь, заменила,
и разом нежные мечты
в душе влюбленной пробудила.

Так что не у одних горцев «ты» звучит лучше.

Если бы могла и дальше молчать, я б тебе не написала. Пусть кто хочет осуждает. А кто пожелает понять, тот поймет: это не сумасбродство глупой девчонки, как иногда называет меня отец. Но я не обижаюсь: он говорит это ласково, даже с нежностью... сейчас и сама не понимаю, что со мной делается. Хожу, как завороженная. Будто сама себе приснилась... Ты, наверное, понял, что первый раз в жизни пишу письмо. Нельзя назвать письмами записки на клочках

бумаги, которые передавала подружкам на уроках, за что учитель, бывало, меня из класса выставлял. Особенно учитель геометрии Сирассан, как его называем, худющий, высокий-превысокий да еще и полуслепой. Когда, входя в класс, он стукается головой о притолоку, мы все смеемся. Мальчики прозвали его «перпендикуляр». Вот Сирассан меня терпеть не может и выставляет за дверь. А я выхожу, гордо вскинув голову, будто победила в соревновании и должна подняться на пьедестал почета... меня называют избалованной. Что ж, все может быть... Вообще, обо мне столько всегда болтают, что всю эту болтовню можно полными корзинами вывозить на поля вместо навоза, удобрять землю. Все эти разговоры я не замечаю, но если бы перестали разговаривать, тогда, признаться, огорчилась бы: не говоря о том, чего не видят, тут недолго и засомневаться: а живешь ли ты еще на свете?! Или уже превратилась в пар, в невидимку, в туманность? Но только не замечать меня очень трудно: однажды сунула девчонке, которая сидит впереди за партой, Исфаги из Танта, живого лягушонка за воротник... Ну, разве можно не почувствовать холодную лягушку на горячем теле? Ох, что тут было! В тот день я сбежала из школы, боялась идти домой, но когда вернулась, отец был занят кунаками, а кунаки у нас почти каждый вечер: прямо караван-сарай, а не дом... Другой раз получилось хуже: перед уроком истории я спрятала в ящик стола Марии Павловны, учительницы, живую змею... Ну, тогда отец выпорол меня, будто мальчишку, было так больно, так обидно, что ревела трое суток, пока отец не попросил, наконец, прощения... Ну, можно ли, скажи, назвать меня избалованной? Просто живая, непоседливая девчонка. И все!

Но что я все не о том пишу?! Зачем тебе знать, что отец меня выпорол, а потом извинился? И про лягушонка – зачем?

Может быть, скажешь, что родители сами пробудили во мне самостоятельность, своеволие, веру, что все сойдет с рук? Может, это плохо? Ну, не знаю... Нас три сестры, я старшая и отец поэтому любит меня больше... А братьев

нет. Вот двоюродных братьев даже пересчитать не смогу, а родных нету…

Вот и опять написала не о том! Ну, при чем тут двоюродные братья?! Зачем гурьбой лезут в мое письмо?

И все-таки я очень-очень хочу, чтобы ты ответил. И не отверг меня…

Пишет тебе шилагинская девушка Цуэри. Не знаю, помнишь ли ты… почему-то очень хочется, чтобы думал и помнил обо мне… Я видела тебя не только в больнице, где ты лежал вместе с моим отцом в одной палате. Но, может быть, помнишь, встречались и раньше в школе, когда я училась в девятом классе. Ты приезжал к нам, выступал, читал стихи. Наверное, никто не ждал тебя так, как я. Скажу по секрету: это я предложила в комитете комсомола, чтобы тебе прислали приглашение. Когда приехал, лил дождь, но все равно ждала на углу возле школы в легком платьице, без шапки, в отцовских калошах. Тебя сразу обступили учителя, однако мне показалось, что ты посмотрел в мою сторону. «Ох, думаю, вот будет здорово, если снимет плащ и набросит мне на плечи!» Плаща ты мне не предложил, учителя своими разговорами отвлекли тебя, а мне так хотелось твоего внимания…

В классе я сидела во втором ряду, ты говорил что-то о книгах, о литературе, я не слушала и не понимала, о чем ты говорил, я просто глазела на тебя настойчиво и неотступно, и не раз ты обращал на меня внимание. Казалось, – так хотелось, что поверила, – ты читаешь мои мысли. Ну, а когда стал давать автографы и вокруг столпились подруги, я протянула тебе не только книгу стихов, но и то, чего не было ни у кого, – открытку с твоим изображением. Ты взглянул и удивленно спросил:

– Как тебя зовут?

– Цуэри! – поспешила зловредная Исфаги, с которой и дружу, и дерусь. Исфаги знает мою тяжелую руку, она умеет лишь царапаться по-кошачьи.

– Я хочу услышать от нее самой!

И ты улыбнулся так ласково, что я покрылась жарким румянцем: ведь вокруг теснились подруги.

– Скажи! Ну, скажи свое имя! – загалдели они, как грачи, им не терпелось поскорей получить автографы, а я хотела, им назло, чтобы ты занимался мной.

– Он знает мое имя! – сказала я.

– Тебя зовут Цуэри, верно?

– Верно.

– Красивое имя!

И написал на открытке: «Прекрасна ты, как и твое имя. Желаю, девочка моя шилагинская, большого счастья тебе в жизни...» И тут мне захотелось, чтоб добавил: «А счастлива будешь лишь со мной». Конечно, ты не стал так писать!

Может быть, ты и другим пишешь такие слова, но для меня они были праздником и, вроде бы, даже признанием.

Знаешь, сейчас смотрю на эту твою фотографию и вижу, что выражение глаз на снимке меняется. Удивительно! То смотрят весело, то хмурятся, а сейчас как будто собираются опросить:

– Чего ж ты желаешь, девочка моя шилагинская?

Ох, только сейчас заметила: написано не просто «девочка шилагинская», а «девочка моя шилагинская»! Как я раньше не заметила!

Короткое слово «моя» вдруг так согрело, так взбодрило: спасибо тебе! Значит, правильно делаю, что пишу...

Почему-то показалось, что ты смотришь на меня с фотографии с укоризной. Отчего? Думаешь, я не знаю, что ты женат и у тебя есть дети? Знаю. Знала давно. Ведь многих спрашивала о тебе и нередко слышала, признаться, нехорошее. Но не верила! Нет, нет, дурное о тебе говорили плохие люди, и я спорила, возражала даже при родителях:

– Нет, он не такой. Напраслину наговаривают люди.

– Ты-то откуда знаешь? – прерывала мать. – Молчала бы...

– А вот и знаю! Он выступал в нашей школе. И лежал в одной палате с отцом. И папа подтвердит, что он хороший. Ведь правда?

Отец всегда соглашался со мной.

Ну и что ж? Пусть у тебя семья. Я же ничего от тебя не требую: можно любить свою жену, своих детей. Пожалуйста! А разве нельзя полюбить немножко и меня, если я думаю о тебе, мечтаю? Разве мне заказано любить тебя? Мне нисколечко не стыдно писать об этом, ну ни капельки! Потому и начала это письмо... Только очень-очень нужно, чтоб ты понял правильно: ты же у меня один-единственный на земле и, конечно, не возьмешь на душу тяжкий грех оттолкнуть такую любовь...

Может быть, скажешь: вздорная, взбалмошная, ненормальная девчонка! Ну, о чем она пишет?! Можешь посмеяться, показать письмо друзьям, прочитать вслух, поиздеваться... Пожалуйста, если тебе так хочется. Ну и пусть! Если я ненормальная, вздорная, так это от любви к тебе, и выходит тогда, что все равно виноват ты! А я ничего не могу поделать с собой... Ты всегда со мной. Во сне вижу тебя, обнимаю, а ты говоришь такие ласковые слова, так нежен со мной, любимый...

Летом я окончила школу... Не могу похвастаться: без золотой медали, есть и тройки, никогда не была отличницей... Готовлюсь поступать в институт и, если выдержу экзамены, буду жить в городе, где ты живешь. Заранее радуюсь, смогу видеть тебя, когда захочется, слышать твой голос, звонить тебе по телефону... Знаешь, я иногда звонила из аула, нет, я ничего не говорила, только слушала твой голос, а потом вешала трубку. А если даже не поступлю, не выдержу экзамена, все равно не уеду, останусь в городе уборщицей, разнорабочей, каменщицей, все равно кем, но поближе к тебе. И даже если ты, страшно говорить об этом, не захочешь понять, будешь меня избегать и город сделается для меня пустыней, все равно останусь, чтобы хоть изредка, хоть иногда видеть... Ты мне просто необходим, без тебя жизнь становится несоленой.

Как медленно тянется время, словно буйвол бредет в гору. Скоро август. А меня лихорадит нетерпение.

Знаешь, однажды и раньше было у меня такое. В наш

аул приехал на побывку матрос, сын старого Гудурана, такой стройный, красивый, в тельняшке, как у тигра... Прямо приятно было на него смотреть. И тогда мне тоже захотелось написать ему. Но у моряка была невеста, и он не замечал таких недорослков, как я в ту пору... И уехал обратно на флот. А я немного погоревала и забыла его.

Но появился в моей жизни ты. Сначала думала, что это чувство пройдет, как прошло оно к матросу в тельняшке. Да не тут-то было! Ты всегда со мной. Просыпаюсь с мыслью о тебе. Когда ем вкусное, думаю: вот угостила бы его! Нет, нет, это не увлечение, это совсем другое, непостижимое, высокое, неодолимое чувство.

Боюсь, что не смогу ждать: пишу и все меньше остается терпения. Выдумаю повод, брошу все и уеду в город.

Вот только сейчас, пожалуй, не отпустят одну: или мать, или отец поедут конвоирами. Уж и так слышу от всевозможных родственников: жаль отпускать в город, выдали б лучше замуж, вон сколько джигитов в Шилаги. И ведь чуть было не уговорили отца! Мать-то у меня русская, не подвержена нашим обычаям, шариатам да предрассудкам... Она хочет, чтоб дочери учились... А к нам вдруг стали приходить сваты, идут да идут, все равно что паломники. Одни принесли три золотых кольца, серьги с бриллиантами, браслеты с рубинами, часы золотые... А я, дурочка, обрадовалась и говорю: оставьте мне! Но они ответили: если хочешь оставить, согласись на свадьбу. Он, правда, у нас в институте не учился, но зато знатный тракторист, и фотографию показали: ничего, симпатичный, с усиками, высокий... Я вернула все драгоценности и сказала:

– Нет!

Ни за что не пойду замуж. Лучше в пропасть брошусь... Хочу быть рядом с тобой, Нури! Но очень боюсь: сваты идут да идут, а родня уговаривает отца...

Одна надежда на тебя: помоги противостоять, укрепи мои силы, приезжай... Буду ждать тебя в каждое четное число далеко за аулом в ущелье Конгожи, где река делится на два рукава, обнимает остров, где лесная опушка у горы,

на которой расположен аул Конгожи, где густая, высокая трава и яблоня дикая, и молодой орешник... Ох, как я буду счастлива, если приедешь! Как буду благодарна! Буду ждать, как птицы ждут рассвета, как ждет дождя кукушка, как сына ждет мать. И ты приедешь! Я знаю, я верю: ты приедешь! Ты даешь мне крылья, чтобы смогла улететь отсюда, из горного гнезда в далекие просторы земли. Не отвергай: тебе будет хорошо со мной, я столько подарю тебе любви и ласки, мой любимый, дорогой Нури. Прошу тебя, заклинаю: приезжай, не омрачай мой солнечный мир слезами... великое желание быть возле тебя родилось вот сейчас, когда пишу. Умоляю: приезжай! Нам будет так хорошо... А после я и умереть готова, умереть на твоих уроках.

Наверное, я бы не смогла сказать этого тебе наедине и потому тысяча раз спасибо тому, кто выдумал бумагу и карандаш, кто научил писать...

Может, ты думаешь: что за дерзость? Разве когда-нибудь девушка-горянка смела звать к себе любимого? А еще дочь уважаемых родителей!

Да, да, да: родители мои честные, незапятнанные, уважаемые люди, и ты, конечно, слышал о них много доброго... И не думай, что мне легко сказать тебе все это, сказанное в письме. Знаю, что пошла по опасной дорожке, где можно погибнуть... Ну и пусть! Я ничего не могу и не хочу делать с собой.

И не думай, пожалуйста, что я такая уж смелая. Нет, я очень трушу. Отец у меня нежный, но в гневе звереет...

И все-таки: приезжай, Нури! Если не приедешь, придется предположить, что ты, мужчина, робеешь... А я не могу, не хочу так дурно думать о человеке, которого люблю.

С нетерпением жду ответа Цуэри, дочь Абу-Муслима и Анастасии Лукьяновны.

Письмо второе

Оно без конверта, это письмо, и, должно быть, не было никуда послано. Наверное, человек просто исповедался на бумаге – на белой писчей бумаге, исписанной странным почерком, в котором преувеличены хвосты многих букв, и потому издали строки походят на узор. Да и стиль письма, я бы сказал, несколько витиеватый, причудливый...

* * *

Море хранит свои жемчужины и тайны в темных глубинах вод, куда нелегко проникнуть даже самому искусному пловцу. Оттого редко и с трудом узнаем мы тайны глубин... Увы, человеческие секреты раскрываются не в пример проще. Если сам не расскажешь, все равно люди разведают, разнюхают и разнесут молву по всему миру... Так не лучше ли открыться самому, исповедаться хотя бы на бумаге, что я и делаю, в сущности, уже не первый год? Да, у меня есть своя глубокая тайна, и сейчас, чувствую, она так солнечно сияет в сердце, что глаза светятся и смеются: всякому заметно. Хранил я тайну бережно, сурово: боялся, что утратит она волшебное сияние, померкнет под чужими недобрыми взглядами. А что такое померкшая, мертвая жемчужина? Все равно что холодная галька, которая не может ни радовать, ни утешать. Нет, чем дольше бережет море в створчатой недоступной ракушке жемчужное зерно, тем прекраснее становится оно, покрываясь изумительным перламутром. Так было и с моей тайной. С моей любовью. Почему я берег и скрывал ее? Да потому что вроде дыхнуло морозом на мои виски, мне не восемнадцать лет, чтобы петь и кричать на весь белый свет о своей любви. Я боялся жалости, боялся насмешки. О моей беспредельной любви не знает и та, о ком думаю неустанно, кем заполнены мои рассветы и вечера.

Не знал я, кто она и откуда. И она не знала обо мне.

Жили на одной земле, дышали тем же горным воздухом, но не привелось встретиться раньше.

Помогло несчастье.

По воскресеньям она навещала отца, с которым я лежал в одной больничной палате. После операции мне запретили вставать. Случайно я услышал приговор врачей: вряд ли выживет! И был тем приговором прикован к постели, как в детстве, когда горянка-мать семью ремнями привязывает к люльке младенца. А ее отца Абу-Муслима, доброго и гордого человека, врачи быстро вернули к жизни. Вернее, это с помощью врачей победили недуг его жизнелюбие, выносливость и мужество. За недолгое наше знакомство я очень привязался к Абу-Муслиму за доброжелательное отношение. Он не устает повторять, что и у меня «все будет хорошо». Вот, мол, погляди: говорили, что я уж не жилец! А я назло всем прорицателям выжил. Хоть лезгинку танцуй! Знаешь: это война научила меня любить жизнь. И для большей убедительности пританцовывает в палате.

А вокруг все белое: стены, потолок, тумбочки, постели. Здесь и здоровый человек побледнеет на вторые сутки...

Она не входит в палату, а весело стучит в окно. Чуткий Абу-Муслим отзывается сразу: подходит, открывает окно и спрашивает:

– Это ты, моя Цуэри?

Я не вижу ее: койки стоят изголовьями к окну, а шевелиться нельзя. Только слушаю, и мне кажется, что она поет и щебечет под окном, как птичка. Слушаю и стараюсь вообразить: какая она, эта девушка... Отец сказал, что для Цуэри лишь семнадцатый раз цветет акация.

Слушаю ее голос, такой мягкий, такой ласковый, и чудится: протяну руку и голос, словно голубка, опустится на мою ладонь. Слушаю и чувствую, что безрассудно расточительно прожил свои тридцать три года, скверно и серо, а ведь могло быть все иначе... Могло бы... Но перевести назад можно стрелки часов, а время не вернешь, не остановишь, оно бежит вперед, всегда вперед, в туман, в неизвестность... Может, вынесут отсюда холодным и неподвижным, чтобы

предать земле... Может, останется сила хотя бы думать и говорить... Нет, прибедняться не стоит: были в жизни и счастливые минуты, тогда казалось, что вокруг все радуется и цветет. Радость я не прятал, радостью щедро делился. Только горести скрывал от людей...

– Папа, – слышу голос Цуэри, – этот дядя... Ему очень больно?

– Очень, доченька.

– Он старый?

– Нет. Его старит болезнь души.

– А что это за болезнь?

– Рано тебе говорить об этом.

– Разве я маленькая?

– Нет, но...

– Тогда скажи, папа.

– Ну, как объяснить... Ну, ему не повезло.

– В чем? Ну скажи, папа! В любви, что ли?

– Чтоб я не слышал больше этого слова!

– Поэтому он и состарился?! – удивленно спрашивает она, будто не слышала отца.

– Да.

– А если повезет в любви, он снова помолодеет? Да?

– Может быть.

– Папа, ты умеешь утешить, ободрить... Скажи ему что-нибудь доброе, помоги!

– Говорил, доченька. Не помогает...

Слушаю щебечущий, поющий, добрый голос, а вижу лишь белый потолок, лампочку без абажура, неподвижного мотылька на лампочке: видно, ночью полетел к свету, к теплу да и сгорел... Нет! Не могу больше! Я должен ее увидеть.

Сегодня на утреннем обходе Абу-Муслим попросил, чтобы его выписали: торопится домой, к семье, а кроме того не дают покоя заботы и тревоги шилагинского совхоза. Я лежал безмолвно, а в душе молил врача не выписывать, не отпускать Абу-Муслима, ведь прекратятся тогда посещения, перестанет

щебетать под окном Цуэри... И хоть не любит Абу-Муслим рассказывать о дочери, но все же сказал однажды:

– Какая же она добрая, Цуэри! Если бы можно было избавить людей от болезней, не задумываясь, пожертвовала бы собой...

Врачи не услышали моей безмолвной мольбы. Осмотрели Абу-Муслима и обещали на следующей неделе отпустить домой в Шилаги. Значит, Цуэри навестит нас только один-единственный раз.

Хоть бы взглянуть на нее, а после будь что будет... Но как, как мне, неподвижному, увидеть окно?!

И вдруг, словно молния в черном ущелье, блеснула догадка. Попросил Абу-Муслима позвать няню, а когда пришла, спросил: не найдется ли у нее зеркальца? Мол, очень люблю рассматривать себя. «Ишь какой павлин!» – усмехнулась няня, но зеркальце принесла. И я впервые увидел в зеркальце окно, цветущие ветви акации, птичку – комочек перьев – бойко прыгающую среди цветов да листьев, и такое глубокое, такое синее, такое чистое небо, какого, кажется, еще не видел.

И вот: не могу спать ночью. Думаю о ней. А с утра не выпускаю из рук зеркальца.

Наконец, она появилась! Но разве это Цуэри?!

О, как славно, оказывается, иной раз ошибаться! Ведь настоящая Цуэри в десять, двадцать раз лучше той, что я придумал. Цуэри – прохладный ветерок в горах. Смуглое нежное лицо, глаза такие светлые и чистые и отчего-то, мне показалось, такие грустные, такие печальные... В них светятся жизнь, цветущая весна... Что я перед цветением, этой весной? Осенний желтый лист, еще не успевший слететь с дерева.

Смущенно опустив голову, перебирает толстую небрежно заплетенную косу. Небрежно? Да, да, но от этого она еще привлекательнее! Полные губы... Эх, неужели вы не замечали смятения листьев, где зреет румяный персик? Шея молочного цвета и родинка. Да, темная капля величиной с чечевицу на шее.

О какое это чистое, открытое создание! Лицо ее све-

тится добром и сочувствием. А знает ли она, что прекрасна? Наверное, не знает... Нет в этих глазах ни гордости, ни самовлюбленности писаных красавиц, все ее движения естественны и просты, даже чуть-чуть неловки, а в разговоре по-женски ласкова и заботлива... Неужели это чудесное существо, это солнышко больше не заглянет в окно? Ведь скоро выпишут Абу-Муслима, ее отца… А я – я вижу лишь отражение в маленьком зеркальце. Нет, нет, я должен увидеть ее воочию, запомнить! Видеть сейчас, видеть своими глазами, а то будет поздно... К шайтану зеркало! Лучше, как этот мотылек на лампочке, рвануться к свету, к теплу и погибнуть, чем прозябать в сумраке, встань же, встань и взгляни!

И я рывком поднялся, обернулся к окну… Но тут все померкло вокруг, боль пронзила тело, вопль прорвался сквозь стиснутые зубы; кажется, я крикнул: «Цуэри!» и – все исчезло.

Когда очнулся, луна светила в окно. Опять тот же белый потолок, лампочка без абажура... Негромко зову Абу-Муслима. Кто-то ворочается на соседней койке, стонет, кашляет и вдруг кричит:

– Проклятая больница! Оставили бы меня дома… Хоть бы поспать мог. Ну, чего ты? То Цуэри зовешь, то Абу-Муслима. За каким шайтаном он тебе среди ночи?!

Да, это не Абу-Муслим, а чужой, грубый человек из тех, которых называют самогрызами и скрипунами. Он, оказывается, явился сюда дрыхнуть, а я мешаю!

– Кто вы?

– Тебе-то что? Больной...

– Да-а, вижу, что больной...

Позвал няню и попросил повернуть меня так, чтоб увидать окно. И горько пожалел: отчего не догадался раньше?!

– Нашел забаву среди ночи... – ворчал мой желчный сосед, когда две добрые няни поворачивали койку со мной.

– Спасибо!

Вот теперь я вижу окно и осыпанное звездами темное небо, большую, круглую, полную луну, хоть на барабан на-

тягивай, и даже силуэт барабанщика на светлом ее круге. Там, за этим окном стояла она, оттуда я слышал ласковый, добрый голос Цуэри... Серебристые ветви цветущей акации склоняются в лунном свете за стеклом.

«Жить! Жить!» – стучит мое сердце. Ведь как бы ни была долга ночь, солнце взойдет. А мне теперь есть для чего жить: чтоб найти и увидеть ее, мое ласковое солнце, согреться под его добрыми лучами...

Письмо третье

Голубой авиаконверт, на котором написано: «Дагестан, Карабудахкент, поселок Зеленоморск, совхоз Манас, студентке университета Адзиевой Цуэри». На почтовом штемпеле можно различить название города: Бухара. Написаны письмо и адрес тем же витиеватым, похожим на узор, почерком.

* * *

Здравствуй, радость моя, здравствуй, Цуэрочка. Забыть не могу, как ты всхлипнула, когда расставались. Зачем? Я же скоро вернусь...

И мы первый раз ненадолго разлучились после блаженных дней встречи в ущелье Конгожи, где засияла многоцветная радуга нашего счастья. О, сколько нежности, любви и ласки, сколько тепла было вокруг – в травах, цветах, деревьях, солнечном свете, безоблачном небе и в нас с тобой. И все это создала ты, ты с такими небывало открытыми, чистыми чувствами. Храню их в себе, как в створчатой морской ракушке жемчужину, пока есть память, пока есть дыхание, пока бьется очарованное мое сердце. Удивительное создание, девочка моя шилагинская! Какое безмерное счастье, что ты живешь на земле и мы встретились! Ты всегда со мной – с каждым вздохом, с каждой мыслью, мой

желанный родничок, всегда утоляющий неутолимую мою жажду. Ты знаешь, я пишу стихи, хоть и не смею называться поэтом. И чтоб не зачахнуть, как осенний пересохший лист, как цветок под снегом, должен ездить, узнавать, видеть людей и созданное их чудесными руками на земле.

Сегодня в полдень приехал сюда, в нестерпимую жару и пыль... Но разве найдется такой беспробудный скептик, которого не поразит Бухара? Удивительный город! Ну, конечно, он не древнее наших дербентских железных ворот и Джума-мечети. Но как поражают здесь жемчужины восточного зодчества, их обилие, их разнообразие. Поистине город-музей! В детстве, помню, не раз дивился и размышлял: отчего у нас так торжественно упоминают этот город?! Сколько ездило сюда горцев, будто на паломничество во вторую Мекку правоверных. Только теперь понял славу этого города, когда вижу его мавзолеи, медресе, минареты, жилища, воздвигнутые с ювелирным изяществом. Теперь понимаю: наши отцы ездили сюда не только ради знаменитых золотошвейных изделий и сказочного бухарского каракуля, но прежде всего – созерцать прекрасное! А теперь я гляжу на волшебную красоту Бухары твоими ясными глазами, девочка моя шилагинская, ибо ты – самое прекрасное произведение нашего земного мира. И от того так поражает меня мавзолей Исмаила, и минарет Калян, и медресе Улугбека. Теперь знаю: в наших горских сказках все мастера, все строители, звездочеты, ученые обязательно родом из Бухары, и героев хоронят в Бухаре и воздвигают мавзолеи. Не рассказать надо бы, а показать эти чудеса моей Цуэри. Мог бы взять тебя с собой. Но пострадали бы твои занятия, а они дороже всего. Еще будет время – мы приедем вдвоем в Бухару.

Ты всегда мысленно рядом со мной. Я согрет твоим теплом, дыханием, твоими ласками. И если несчастье разлучит нас – этого тепла и ласки хватило бы до конца моих дней. Прости, уже вижу, что ты нахмурилась, но хочу быть до конца откровенным... Если бы меня спросили, чего желаю в жизни, ответил бы: радовать тебя и жить твоей радо-

стью. Необычайно счастлив бываю, когда тебе хорошо со мной. Когда слышу самозабвенный нежный шепот или когда сладкая усталость разлита в полном молчании на твоем лице, побледневшем, со вспыхивающими, мерцающими в глазах зарницами пролетевшей грозы, а темная коса слегка откинута набок. О, как хорошо тогда мне!

Скоро прилечу к тебе, девочка моя шилагинская. И будто уже слышу восторженное твое восклицание: «Ой, мамочка!» Оно звучит удивительной мелодией... Улыбаюсь, закрываю глаза и вижу тебя в жаркой полдневной кумыкской степи, срезающей виноградные гроздья, полные, полупрозрачные, сладкие, подобные тугим твоим грудкам, никогда не знавшим лифчика. А твой стройный стан с чем сравнить? Может, с жемчужиной Бухары – стройной колонной в мавзолее Улугбека? А глаза твои подобны бухарскому небу над моей головой... Недавно я прочел пленительные стихи таджика Амиджона Шукухи о любимой:

Спаси меня от этих черных глаз,
Я погибаю без твоей защиты!
Едва взлетит ее негромкий смех,
Подобный песне соловья из сада -
Что почести? Что слава? Что успех?
Подите прочь. Мне ничего не надо.

Девочка моя шилагинская, ты навсегда пленила меня в суровом, живописном ущелье Конгожи и нет слов выразить мою благодарность. Беден наш язык! В прежние времена горцы избегали слов, выражающих нежность, любовь, ласку. Мне и сейчас кажутся чужеродными и странными слова «дигай» – любовь, «байдара» – поцелуй, и я невольно заикаюсь, когда произношу их.

Встретил здесь добрых людей, земляков. Лакец Усман, что работает в лудильной мастерской, энергичный и умный старик, не позволил мне пойти в гостиницу, принял, как родного сына, и поселил у себя. Неделю пробуду у него, старого славного лудильщика, которого здесь знают все от

мала до велика. Еще на неделю придется задержаться в Москве – и вернусь к тебе.

Как ты переносишь там полдневный зной? Ты же не любишь загара, хоть тебе так идет смуглое личико! Ты отчего-то хочешь быть белой-белой, как свежая сметана. А по-моему, Цуэри, как ты любишь выражаться, «все это ни к чему!» Люблю такой, какая ты есть.

Сюда больше не пиши – письмо не успеет дойти. Напиши лучше в Москву. Адрес не позабыла? Люблю, люблю, люблю мое чудо из ущелья Конгожи.

Навсегда твой Нури.

Письмо четвертое

Слева на авиаконверте изображен букет сирени. Написано: Москва, улица Добролюбова, одиннадцать, общежитие Литературного института, Саидову Нури. В конверте четыре тетрадных листа и на последнем нарисована девичья ладошка с длинными пальцами: видно, по давней горской традиции, она приложила руку и обвела ее карандашом.

* * *

Здравствуй, Нури, здравствуй, дорогой мой человек. Получила из Бухары твое доброе, такое милое письмо. Спасибо тебе, тысячу раз спасибо. Как я рада, что ты у меня есть! Читала письмо и представляла себе, будто ты вошел в комнату. Очень-очень люблю моего ласкового, внимательного Нури. Как я боялась, если б только ты знал, что забудешь меня, как кувшин в погребе, с которого сняли сливки. Думала и думала, переживала, трепетала. Ты, дорогой и единственный, самый близкий мне человек, спасибо! Слезы наворачиваются от радости, закапали это письмо. Хотела

переписать, но нет, пусть так останется, ты поймешь, родной мой.

Да, я плакала, я ревела. И девушки, с которыми работаю на винограднике, успокаивали, утешали, и, хоть я ничего не говорила, они все угадали: «Ты влюбилась!» – « Да откуда вы это взяли?!» – спрашиваю. «От чего же другого можно так терзаться?» Оказывается, два дня я совсем не ела, так переживала, думала, что не напишешь и вовсе позабудешь... Это они, девушки, заставили меня немного поесть.

Спасибо, родной, спасибо тебе Нури, ты укрепил мою веру! Не дал обмануться в моих чувствах. После твоего письма вернулись, нахлынули все блаженные мгновения, что испытала с тобой.

Первые дни, переполненная переживаниями, я не ощущала стыда, но в следующие встречи стала робеть перед тобой: ведь ты превзошел все ожидания! Не ведала, что на земле существует такое счастье и что достанется оно безвестной девчонке из затерянного в горном ущелье аула.

Совхоз здесь неустроенный, ужасно скучно, а для работы нам дали вместо ножей обрезки обручей, ржавые железки. Стыдно будет показать тебе руки – огрубели и все в царапинах. И так загорела, что боюсь: не разлюбил бы! Только не это! Умоляю, любимый, дорогой мой, я твоя, я буду делать все, что пожелаешь. Одна из девушек сказала: «Завидую тебе, Цуэри!» – «Почему?» – «Что так можешь любить...»

Мы еще месяц будем здесь. Ты приедешь, и мы пойдем с тобой на этот безлюдный берег, где, помнишь, подступает лес и тень падает на свежую траву и где мы были совсем-совсем одни, мы и чайки. Я не хотела раздеваться и загорать, я ужасно боюсь воды, но ты настоял на своем. Мы разделись, ты взял меня на руки и вошел в воду... А после лежали на золотистом песке в трепещущей тени шумных тополей. Говорят, что на песке ничего не растет. А вот и неправда! Мы сами видели: если человек захочет, то и на скалах зацветет сад... Над нами в голубом, чистом небе среди

освещенных солнцем изумрудных листьев-фонариков стояли высокие белые облака, похожие на дворцы, мечети, минареты, на людей и сказочных драконов.

Какая я счастливая, что ты у меня есть, такой хороший! Люблю смотреть в твои глаза, когда ты со мной и полон сладостной страсти, а в глазах волнуется море переживаний. Сколько жизни, чувства, сколько непостижимого в этом!

Люблю тебя, очень люблю!

Твоя Цуэри.

Письмо пятое

Конверт, на котором в красках напечатан пейзаж: постройка высотной плотины в горах на реке Сулак. Письмо адресовано в аул Шилаги, Адзиеву Абу-Муслиму от Хасриева Али-Хаджи из Махачкалы, улица Батырая, 43.

* * *

Здравствуй, друг и брат мой Абу-Муслим! Пишет тебе Али-Хаджи с пожеланиями доброго здоровья, хотя откуда у нас с тобой быть доброму здоровью, если раны до сих пор горят и ноют, и с пожеланиями благополучия и удач твоему семейству, а мы с тобой согреемся их радостью и удачей. Прости, что не смог навестить тебя в больнице, тогда я лежал дома с кислородной подушкой, на фронте умереть не боялся, а теперь почему-то страшно умирать... У меня оказалось не воспаление легких, как сперва предположили врачи, а вновь заговорил фашистский осколок в легком. Жена моя, славная женщина, хотя горцу и не полагается хвалить жену, отвезла меня в Москву, и там извлекли из меня еще один осколок, подарок войны. Моей Ума-Ханум, бедняжке, нелегко со мной, а не ропщет, да и я стараюсь доставлять ей как можно меньше хлопот.

Лишь в одном никак не могу последовать ее советам. Вот не так давно потеряла она терпение, говорит:

– Что ты за мужчина, у тебя нет силы воли, говоришь, что бросишь курить, а куришь!

Сгоряча я ответил:

– Это последняя сигарета. Можешь все сигареты и даже пепельницы выбросить в мусорный ящик.

Как обрадовалась моя Ума-Ханум!

– Слава аллаху! – говорит. – Наконец-то! И так уже все комнаты, все ковры, вся мебель пропахли табачным дымом...

Собрала все в кучу, а я, признаться, краем глаза поглядывал: куда отнесет? Если бы сказала: «Зачем выбрасывать, лучше докури!», я бы, наверное, выбросил. Но уж больно она обрадовалась... У меня даже слезы навернулись на глаза: легко ли, всю жизнь курил!

Лег спать, а заснуть не могу... В полночь встал, вышел во двор, порылся в мусорном ящике, извлек из смятой пачки одну сигарету и с таким блаженством затянулся: ну, будто вновь женился! А моя Ума-Ханум тут как тут.

– Так и знала! – говорит. – Разве есть у тебя воля и мужество, чтобы бросить курить? Не стал ты еще человеком...

Да, Ума-Ханум права, она знала, что, когда мне шел тридцать первый год, услышал я мудрые слова: настоящим мужчиной становятся к сорока годам! И я решил ждать, просто махнул рукой на жизнь: мол, в сорок лет стану мужчиной, тогда и брошу курить. Исполнилось сорок, вижу – ничего не изменилось. И в пятьдесят лет остался прежним... Чего мне ждать теперь, когда, что называется, разменял седьмой десяток? Говорят же: научиться играть на зурне можно и в семьдесят лет, только играть придется уже в могиле... Так кто же тянет меня за язык кричать, что брошу курить? Нет, хоть это развлечение оставлю до конца жизни... Пусть дымится моя сигарета. Буду сосать ее, как в детстве сосал сладкую грудь матери.

Я бываю у тебя почти каждый год, а ты отчего-то редко появляешься у меня. Понимаю, конечно, как нелегко и хлопотно руководить большим совхозом. Но тебе по делам

часто приходится бывать в Махачкале, так неужели нельзя навестить друга? Ума-Ханум переживает: нет ли, мол, какой обиды... А я в это не верю: не может затаить обиду друг и брат, с которым прошли тяжелые годы войны, мерзли, голодали, вместе шли в атаку по пояс в снегу, ранены одним снарядом, спасали друг друга из-под огня, вместе праздновали победу. Какие тут могут быть скрытые, тайные обиды?! Но если хочешь, чтоб и этим летом я с семьей приехал в чудесное шилагинское ущелье, где так хорошо дышится и где мы с тобой так славно беседовали на травке в тени грецкого ореха, то прошу, когда приедешь по делам в Махачкалу, обязательно зайди к нам. Конечно, в городских условиях хинкал будет не такой вкусный, но ты знаешь, как готовит моя Ума-Ханум. Она узнала, что я пишу тебе, и шлет твоей Настасье Лукьяновне большой привет и самые добрые пожелания, какие желает сестра сестре.

Мой старший, Булат, который чуть не перевернул твою машину, когда однажды разрешил ему подержать руль, сейчас в армии, но скоро должен вернуться домой. А младшенький учится в дорожном техникуме... Можно надеяться, что будут хорошими людьми. Да, что я еще хотел написать: оказывается, твоя старшая дочь, кажется, ее зовут Цуэри, учится здесь в университете. Что учится, это хорошо, но мне обидно: дочь друга ни разу не посетила нас. Тут как-то шел в парикмахерскую и встретил ее на улице: совсем уже взрослая, красивая. Поздоровался, а она взглянула с недоумением: что, мол, этот старик пристает к девушкам! Ты знаешь, я люблю ясность во всем, спросил:

– Ты разве не дочь моего друга?

– Я дочь своего отца, но друг ли он вам – не знаю! – сурова хмурясь, ответила твоя дочь.

– Абу-Муслим – мой лучший друг.

И тут она покраснела:

– Дядя Али-Хаджи?

– Да.

– Простите, простите! Только сейчас узнала.

– Что, сильно постарел?

– Да нет: просто я очень рассеянная.

Красивая у тебя дочь, милая, добрая. Расспросил ее обо всем. А давно ли это было: ты на вокзале провожал ее, пионерку, в Артек, я же отправлял своего Булата. Как время идет! Дети растут, мы стареем... Помнишь, проводив тогда детей, мы решили в ресторане отметить нашу встречу, вспомнить былое. И ты еще сказал:

– Вот подрастут ребятишки, кто знает, может, и породнимся.

Твои слова я тогда же передал моей Ума-Ханум, а она сегодня вспомнила. Надо бы, друг, встретиться да поговорить. Пусть и на нашей улице станет бить праздничный барабан! Я приглашал Цуэри зайти к нам, но она пока не была; наверное, занятий много в университете... Еще раз повстречались с Цуэри, когда я с Ума-Ханум гулял в городском саду. Моей жене очень она понравилась, только о ней говорит...

Может быть, я не то пишу и у тебя уже есть кто-нибудь на примете. Тогда прости старика, обиды не будет.

И в конце письма прими, брат мой, нашу искреннюю признательность и добрые пожелания Настасье Лукьяновне.

Твой Али-Хаджи.

Письмо шестое

Нас обвенчало конгожинское небо, вечернее небо, тихое, и как по морским правилам осыпают невесту с женихом медными монетами, так осыпали нас деревья багряными, бронзовыми, золотыми листьями... И с тех пор, если б спросили, кого я больше люблю – папу, маму, сестер или тебя, – я б могла произнести короткое: его! Тебя, дорогой мой человек, мой Нури. Могу ли забыть, как нашей постелью была родная земля, то заросшая мягкой травой, то выжженная, порой заснеженная, как пели нам колыбельную

разноголосые птицы и ветер, и хлопотливые листья орешника да боярышника.

Этот колючий, кряжистый боярышник скучает теперь один на Тарки-Тау и, как рана, сочится соком на его стволе мое имя, что вырезал ты, Нури. А как расцветал боярышник, когда появились мы: на ветви мы вешали нашу одежду, как правоверные украшают святое дерево разноцветными лоскутами. Это было наше святое дерево. Прилетела на его макушку сорока, повертела головой, глядела то одним глазом, то другим, будто спрашивая: «Что вы здесь делаете, люди? Разве нет у вас своего очага?»... А сколько пар чулок я порвала о колючие ветки этого деревца!

А помнишь: на нашей лужайке возле боярышника мы жарили шашлык из картошки и был он вкуснее ресторанных шашлыков из доброй баранины... Под вечер завыли, заплакали так жалобно, так скорбно шакалы, что показалось будто плачут дети. Дрожь пронизывала меня. А когда ты сказал, что это не дети, а шакалы, я испугалась, бросилась к тебе, и ты долго меня успокаивал.

Спасибо тебе, Нури, с каждым днем убеждаюсь, что ты единственный, без которого нельзя представить свою жизнь. Недаром поется в нашей горской песне, что одному из тысячи достается на долю счастье. Ты – мое счастье, даже когда был за границей, позвонил мне. Все общежитие всполошилось: «Цуэри, тебя вызывает Париж!» Я-то знала, кто это: ты, ты, ты, мой дорогой человек! Все подруги сбежались к телефону, поэтому я говорила с тобой пошилагински и ты исправлял меня, когда я неправильно произносила слова ... А после разговора с тобой сколько было вопросов: кто говорил, кто он, он живет в Париже? А я молчала, и сердце замирало от радости... Одна девушка сказала:

«Это ее принц!» И мне понравилось: ты мой принц, Нури! Как в сказке Экзюпери... Спасибо тебе! Ты сказкой сделал мою жизнь. Девочку из аула Шилаги вдруг вызывает Париж!

Я так соскучилась, так хочу видеть тебя, мой единственный! Приезжай скорее, назначь мне свидание, позвони...

Помнишь, из Парижа ты назначил свидание на горе Тарки-Тау у нашего боярышника. Я ждала и думала; нет, он пошутил, не может быть, вдруг поезд задержится или день будет нелетный – где Париж, а где Тарки-Тау! И вдруг ты подъехал на милицейском мотоцикле с коляской, сошел и сказал:

– Здравствуй, вот и я!

Я глазам не верила, взглянула на часы: ровно три, как ты и обещал.

Милиционер отдал честь, недоуменно взглянул на меня и уехал. Это было как во сне.

А ты, обнимая и целуя, повторял:

– Цуэри, здравствуй. Здравствуй, Цуэри! Это я, Нури, твой Нури.

И ты опустился передо мной на колени, любимый мой, единственный. И, знаешь, я теперь стала бояться... Счастье мое огромное, как лазурное небо над горами, и боюсь, что тучи омрачат его, ведь природа так переменчива...

А знаешь, когда я стала бояться?

Помнишь ли, как однажды твои друзья пригласили тебя на вечер и ты попросил меня пойти с тобой? А после ты проклял этот вечер, я успокаивала, говорила, что все было очень мило, а на самом деле впервые провела вечер с таким отвращением. Думала, что соберутся девушки и парни, которые уже определили свои отношения и ни в чем больше не сомневаются. Но, ты прости, Нури, эти девушки показались мне просто придурковатыми. Они не уважали не только парней, с которыми пришли, но самих себя! Мне показалось, что это прирожденные калеки, у которых почему-то отсутствует сердце... Я так краснела от стыда, слыша, какие слова они запросто произносят, особенно та, что сидела справа.

А потом однажды мы с тобой занимали в гостинице «Москва» самый дорогой номер, не помню – есть у него какое-то иностранное название. И к тебе пришли гости. Мне очень не хотелось терять из-за них вечер, но ты попросил меня, я не смогла возразить, и они пришли. Ты был очень гостеприимен... Твоя щедрость радовала, но когда я

поняла, что за люди пришли к тебе, мне показалось: они не стоят даже угощения в студенческой столовой!

А сколько нам пришлось убирать за ними, за их девушками или женами, не знаю, прежде чем мы покинули эти роскошные комнаты и пошли ночевать к тете Дине, милой, доброй старушке, в Столешников переулок, в тесную комнатку... У меня есть такая же тетя в Армавире...

И мне кажется теперь, из-за опасения, что непорядочные люди могут поступить плохо, мы теряем доверие и к добрым людям. Мы с тобой добрые люди, готовы отдать жизнь за народ, за родину, за счастье других. А ты, я не сомневаюсь, если придется, готов погибнуть и за меня: этим я втайне горжусь и радуюсь, что есть на земле такой человек!.. И вот теперь недоумеваю: неужели в нашей стране еще так много непорядочных людей, неужели они еще так сильны, что им, как злым богам в древности, надо приносить щедрые дары, устраивать в их честь пиршества, а самим к одиннадцати часам покинуть гостиницу, чтоб посидеть до семи утра в хибарке или на скамейке у вокзала и пить все время кофе или какао, а утром возвратиться к себе в роскошные апартаменты, чтобы побыть в твоих объятиях...

Конечно, на лбу у человека не написано, хороший он или нет, любимый или безразличный. Видно, много еще на свете обмана и мало любви. Вернее, много препятствий для любви, как было и в прежние времена. Много ли написано в мире книг о счастливой любви, дорогой мой человек, милый Нури?

Вот от того и набегают на меня неведомо откуда леденящие душу тревоги. Я боюсь, я чего-то очень боюсь, предчувствие беды томит меня, мой Нури, любимый. Что будет? Что мне делать? Хмурым становится небо над нами, мрачные тучи надвигаются... И хочется, чтоб ты поскорее вернулся ко мне, мой единственный. А с тобой не боюсь никого и ничего.

Приезжай поскорее!

Твоя Цуэри.

Письмо седьмое

Это, в сущности, не письмо, а записка на хорошей голубой бумаге характерным витиеватым почерком с хвостатыми буквами.

* * *

Ты всегда стоишь передо мной со своей чарующей улыбкой, обнажающей жемчужный ряд зубов, чуть румяными, подобно персику, щеками и удивительными губами: сколько в них свежести, совершенства, страсти, неутоленных желаний, сколько зовущего... Не случайно, помнишь, пчела опустилась на твои губы, когда тела наши согревало жаркое летнее солнце на лугу возле пасеки.

А ты помнишь, девочка моя шилагинская, был я однажды мрачен, тревожен: мне должны были прислать гонорар, но не присылали уже два дня. Нет у бухгалтеров жалости к поэтам, чего от них требовать: одни цифры на уме и наилучшая поэзия – перестук костяшек на счетах. Мы вместе ходили на телеграф. Тебе почему-то я сказал, что жду какого-то сообщения, а ждал денег. Их не было... И вдруг обнаруживаю у себя в кармане тридцать рублей: целое состояние в ту пору, когда настала бедность! Ну, а когда я богат, не помню цены деньгам. Герой моей поэмы говорит, что каждый день теряет не меньше ста рублей, когда у него нет денег... По-моему, верно сказано!

И если раньше в лучших ресторанах я заказывал самые изысканные блюда Кавказа, Средней Азии, России, Европы, то теперь предложил пойти в пельменную – и ты согласилась.

И вдруг я понял, откуда появились в моем кармане эти деньги – тридцать рублей: это ты! Ты положила незаметно деньги, девочка моя шилагинская. Не взирая на все неуклюжие мои ухищрения и секреты, ты оказалась понятливой, проницательной и легко раскрыла мою тайну. Мы, поэты,

редко бываем богаты: чаще мы бедны и в эти трудные дни пишем стихи...

Ты чудо, ты прелесть, ты выручила меня, не задев мужского самолюбия. А если бы... Да нечего об этом и говорить... С трепетом я ждал, и мне было очень страшно, не ошибается ли мой уважаемый бухгалтер и на следующий день?! Но бухгалтер был точен, а не точен был я, израсходовав содержимое моих карманов слишком быстро...

Письмо восьмое

На зеленом конверте нарисован аул Кубачи зимой, аул златокузнецов, похожий на груду набросанных друг на друга саклей на крутом склоне Паранг-Дага. Внизу в углу изображен кубачинский кувшин из желтой меди, так называемый мучал, которым женщины носят воду в дом. Адресовано письмо в университет студентке Цуэри Адзиевой.

* * *

Салам тебе, сестра моя Цуэри! Наверное, ты уже позабыла своих школьных подруг и возгордилась: еще бы, тебе повезло, учишься, живешь в городе, а мне не улыбнулось такое счастье... Когда я сдавала экзамен по литературе тому дядьке, который все строил мне глазки и облизывался, словно кот на кувшин сметаны, помнишь, такой краснощекий, горбоносый, безусый... Я нарисовала на бумажке шиш и стала готовиться, глядя на этот рисунок: отчего-то мне это помогало, становилось веселее. Он сделал замечание:

– Спрячьте шпаргалку!

Я ответила правду, что шпаргалки у меня нет. И даже возмутилась: как, мол, не стыдно думать такое?! И что ты думаешь? Он поспешно подошел, вырвал у меня бумажку и, торжествуя победу, посмотрел. Ой, если б ты видела, сестричка, как вытянулось у него лицо! Чуть не поперхнулся

слюной, на щеках задвигались желваки, кажется, я даже услышала скрип зубов... В крайнем возмущении он вернулся, сел за стол приемной комиссии и вызвал меня по фамилии. А когда я подошла, взял у меня из рук билет и прохрипел:

– Можете идти!

В коридоре, конечно, меня обступили: «Ну что? Ну как? Какая оценка?» И я гордо заявила:

– Ответила на пять!

Вернулась домой, готовая выслушать град упреков в своей адрес. Но, к моему удивлению, родные обрадовались. «Вот и хорошо! – говорят. – Зачем девушке высшее образование?» Тут же засватали, сыграли свадьбу и тамадой пригласили твоего отца, уговорили приехать в наш аул. И теперь я замужем.

Муж мой – старший чабан, зовут его Рамазан, любит меня, как овечку, и даже зовет «дила мукара» – мой ягненочек. В общем, я довольна и, кажется, уже полюбила Рамазана, хотя прежде не могло быть и речи о таком чувстве. Правда, пять месяцев я его не вижу: уезжает на зимовку, а оттуда этой весной привез мне целый хурджин подарков. И обещал купить автомобиль, если рожу ему сына. Но как назло родилась дочка. Такая хорошенькая, такая миленькая, вот уж точно «дила мукара», прямо с рук ее не спускаю. Вот пишу тебе, а она сосет грудь. Назвали мы ее твоим именем: ты знаешь, оно мне всегда нравилось. И вообще с дочкой я почувствовала себя счастливой. Чтоб не обидеть нас с Цуэри, Рамазан все-таки купил новую «Волгу» цвета нашего лазурного неба, – ему дали, как лучшему чабану, – сейчас она стоит во дворе под брезентом: ни муж, ни я еще не научились водить машину, да и дороги в горах опасные. Но летом приезжай, я тебя покатаю по долине Конгожи...

Напиши, сестренка, как ты живешь, как учишься. Ойой, что я о тебе только что узнала! Неужели правда? Помнишь, он приезжал к нам в школу... Ты была тогда сама не своя. А когда наедине я заговорила о нем, у тебя глаза наполнились слезами. Почему? Разве уже тогда любила? Сча-

стливая ты! Завидую! Ты всегда была решительной и добилась того, чего хотела.

Милая подруженька, сестренка, пиши мне почаще. Всегда я желала тебе счастья, хоть ты не раз доводила меня до слез. Думаешь, я забыла, как ты сунула мне за воротник холодную лягушку? Вредная и злая ты, я все равно люблю тебя и думаю о тебе. А теперь ты всегда со мной: вот моя Цуэри улыбается маме, широко раскрыв черные-черные глазенки-пуговицы. А у нас уже есть четыре зубика! Не забывай обо мне, пиши!

Твоя подруга Исфаги.

Письмо девятое

Конверта нет, четыре странички из общей тетради в косую линейку, исписанные химическим карандашом, который то ли слюнявили, то ли макали в слезы...

* * *

Вот и все... Всему конец, мой милый, дорогой ты мой человек... Все! Все, милый, все! Нури, любимый, свет мой Нури, прости меня, прости! Убей меня в себе и прости. Нет больше твоей Цуэри, девчонки твоей шилагинской. Только не забудь ее, она была, жила на земле, выросла, расцвела, и солнечное счастье ей подарил ты, но она сгорела, сожженная злой молвой...

Не знаю, не знаю, что я делаю, что пишу... Зачем? Зачем эти страдания? Разве не проще умереть, чем разбить счастье? Но что же делать, если даже смерть не сотрет злого пятна с тех, ради кого решаюсь отречься от всего, лишиться самого дорогого на свете? Им нужно мое мучительное, жалкое существование, а не смерть...

Дорогой ты мой, единственный, родной, близкий мне че-

ловек на земле, мой Нури, прости! Став на колени, пишу тебе...

Я пожалела моих младших сестер, не знаю, поймешь ли ты... Не знаю, но не могу ради своего счастья, которое так усердно стараются все разбить, обречь своих сестер на беспросветную жизнь прокаженных. Ведь «мое бесчестье», как здесь говорят (а разве это бесчестье – любить человека?!), может навсегда запятнать моих безвинных сестер. Что будет с ними? Их никто не возьмет замуж, на них станут показывать пальцем, осмеивать люди, чья честь не белее аульской грязи в ненастье... Они будут несчастны и проклянут меня.

Ты, счастье мое, можешь упрекнуть: что же раньше не подумала о сестрах? Да, ты прав, я о них не думала, лишь о тебе одном... И буду всегда думать и мечтать безнадежно и безутешно. Ты убей меня в своей душе, убей! Даже смерть любимой, говорят, порой утешительнее, чем измена. Я тебе не изменяла и не изменю, меня не станет, нет больше твоей Цуэри! Если и достанусь кому-нибудь, только это буду не я, твоя Цуэри верна тебе и умрет верной тебе. Меня не будет...

Ты не ищи меня, не пытайся найти. Если и встретишь с вязанкой дров на горной тропинке, я не узнаю тебя: ведь я не Цуэри, это просто похожая на нее тварь, а не девочка твоя шилагинская.

Был бы ты рядом, я, быть может, не решилась бы на это... Но все же последнее перед смертью мгновение так хотелось бы отдать тебе... Нури, дорогой мой, явись и освободи меня...

Что я пишу?! Не то я пишу... Не надо, милый, не надо. Пусть умрет твоя Цуэри, так лучше. Ты не ищи меня, не старайся найти – да ты и не узнаешь: я обезображу себе лицо, убью твою Цуэри прежде, чем коснется другой...

Убийца я, убийца, Нури! Преступница! Безжалостный суд покарает меня, осудит на пожизненное ничтожное существование. Пусть никто на свете не страдает, как я. Счастье, что оно такое? Остается только молить о скорой смер-

ти. Лишь в земле, в саване вновь сделаюсь твоей и тогда появится могила твоей Цуэри...

Знаю, вместе с Цуэри убиваю и твое счастье. Знаю, не будет без меня тебе радости на земле: не хочу, чтоб была. «С неба звезда упала, как чистая слеза» – написал ты, когда умерла твоя сестра. Упала теперь и наша звезда; вернее, наши звезды: в ночном небо ты всегда показывал две звезды – одну яркую, другую слабо мерцающую. И говорил:

– Яркая – это ты, Цуэри, а рядом – это я.

Они-то останутся в небе. Ты напиши о них, я верю: у тебя получится... Ты напиши о них, Нури, дорогой, родной, единственный, напиши о смерти твоей Цуэри, девочки твоей шилагинской.

Прощай, Нури, прощай, друг мой, брат мой, прощай и прости, великое мое счастье, прости! Забудь. Если не хватит силы, уезжай далеко, уезжай: может быть, на чужбине затянется рана.

Прощай, любимый, прощай!

Письмо десятое

Белый конверт без марки со штемпелем «доплатное», небрежно разорванный. Адрес напечатан на машинке, как и вложенное в конверт письмо... Послано письмо из города Каспийска в аул Шилаги Адзиеву Абу-Муслиму.

* * *

Здравствуйте, уважаемый Абу-Муслим. Долго колебалась я: писать ли? Вы горец, человек в почтенном возрасте, и часто одолевают Вас болезни. Слышала много хорошего о Вас, еще когда жила в своем ауле, где отец был председателем сельсовета. Меня Вы не знаете и не ищите подписи: хочу остаться неизвестной, потому что вынуждена Вас огорчить. Не буду чувствовать себя спокойно, пока не сообщу отцу и матери правду о их дочери, о страшных ее за-

блуждениях. Открою сущую правду, желая Вам добра и чтобы предотвратить дурную славу и бесчестие, если это еще не поздно...

Я знаю Вашу привлекательную дочь с красивым именем Цуэри. Она ладно скроена и обладает всем, чем может гордиться девушка. По натуре она добра, любит подруг, помогает чем может... Но по своей наивности она не разобралась сразу в городских людях и попала в сети одного скверного человека. Не виню ее, со мной случилось такое же несчастье, и теперь жизнь моя разбита, вот почему судьба Вашей дочери отзывается во мне такой болью. Меня тоже обманул человек, которого я любила и который обещал жениться. А вышло, как в частушке:

За окошками туман,
Сушится пеленка...
Вся любовь твоя обман,
окромя ребенка...

Так и осталась я с ребенком, уже никому не нужная, как порванная туфля... Испытав горе, которого и врагу не желаю, я хочу, чтоб премиленькая ваша Цуэри не разделила мою судьбу.

Вашей дочери вскружил голову один из негодяев, которого я встречала в обществе отца моего ребенка. Об этом человеке, который на пятнадцать лет старше Вашей дочери, имеет жену и детей, все говорят с насмешкой. Имя этого человека Нури, фамилия Саидов. Думаю, что его имя Вам известно: он поэт, часто печатает стихи в газетах, его книги продают в магазинах, говорят, что он талантлив, но я не разделяю такого мнения, потому что какие бы благородные слова ни писал он, в жизни он не человек и нечего такого хвалить. Разве не кощунственно проповедовать в стихах высокую мораль, а совершать низкие поступки? В его стихе «Поэт и сапожник», который недавно подвергли критике, говорится, что вот, мол, у сапожника был сын – поэт, пьяница и волокита, буян, развратник, словом, опустившийся человек. Однажды возмущенный отец упрекнул сына: что ж, мол, ты

делаешь, в стихах даешь мудрые советы, а сам этим советам не следуешь?! А сын с наглой усмешкой отвечает:

– А разве ты, отец, всю обувь носишь, которую шьешь?!

В этом стишке полностью раскрылась его гнилая натура. Однако и это бы еще полбеды, если б он был полон искренней привязанности к Вашей более чем прекрасной, но обманутой дочери. Но этот Нури, человек семейный, позволяет себе непристойную игру с Цуэри, наивной и простодушной, которая любит его непонятной самозабвенной любовью, как все равно одержимая. Он никогда не женится на Вашей дочери: у него положение, авторитет, семья, он коммунист... Не знаю, о чем думает Ваша дочь! Как далеко зашли их отношения, видно вот из такой странички его письма... Думаю, что Вы не обвините меня, если ради доброго дела я выкрала для Вас страничку в общежитии у Цуэри. Читайте: «Знаешь ли, девочка моя шилагинская, что и во сне, и наяву всегда со мной ты, твоя нежность, твои ласки, твои глаза, твой голос. Как прекрасна была ночь в Манасском саду, райском саду, под темно-синим небом с золотым бисером звезд, где предобрый старенький сторож одолжил нам свою будку... И месяц, что вдруг вынырнул из-за деревьев и глядел с завистью на ласки наши, и птицы, что умолкли, боясь заглушить твой прорывающийся шепот: «Ой, мамочка! Мне так хорошо, я умру, умру же так, сладкий мой. Вся я твоя, бери меня, возьми всю и отдай мне всего себя!» Ты права, девочка моя шилагинская, тысячу раз права: жестока была бы наша судьба, если б не свела нас, не дала испытать такое блаженство...»

Разве можно без возмущения читать эти мерзкие строки? Щеки горят от стыда, будто я сама произнесла эти слова. Какое бесстыдство пытаться словами передать запретные и не подлежащие передаче чувства!

На этом, уважаемый Абу-Муслим, можно было бы закончить письмо. Но вчера мне рассказали еще об одной гнусности Нури Саидова: когда Ваша дочь забеременела от него, то выехала в город Каспийск и там избавилась от пло-

да. Правда, мне сказали, будто он этого не хотел, противился, но кто же поверит? Безусловно, он сам настоял…

Ваша Цуэри пропускает лекции, отстает от подруг, а ведь настоящая любовь должна помогать людям в их делах. Ей не дали стипендию, но деньги у нее не переводятся. Откуда? Я думаю, что Вы не скупитесь, чтоб дочь не нуждалась, но денег у нее уж слишком много, и если кому-нибудь понадобится одолжить, все советуют:

– Попроси у Цуэри, у нее есть!

Боюсь, что это его деньги, Нури, это он балует ее, а проще сказать – покупает. Уж не ими ли объясняется ее одержимая влюбленность? Страшно даже подумать, что дочь благородных, обеспеченных родителей торгует своим телом! Да еще комсомолка! Простите, уважаемый Абу-Муслим, что так резко выражаюсь, но разве иначе можно выразить подобное?

Однажды и я видела их вместе в автобусе, что едет в Кяхулай, к лесистым склонам горы Тарки-Тау. Они ехали, конечно, чтоб провести там весь жаркий день: в коричневой сумке было много всего и даже среди книг торчал край одеяла.

По-моему, всего этого достаточно, чтоб возмутить любого достойного уважения горца. Что Вы предпримите – Ваше дело. А мое дело – сообщить Вам об этом бесчестии.

Письмо одиннадцатое

На конверте нарисована нарядная девочка, что поздравляет маму с Международным женским днем. Адресовано письмо в общежитие университета Адзиевой Цуэри.

* * *

Доченька моя, Цуэри! Что же ты сделала с нами, горе ты мое, горе! Что будет, что будет? Вот уж не думала, не гадала, что ты принесешь в дом такую беду! Неужели отец

и я растили, берегли тебя пуще своего глаза, лелеяли, послали учиться, чтоб ты покрыла нас бесчестием? Если ты пренебрегла моей любовью и заботой, то как же не пощадила больного отца, человека, который, рискуя жизнью, спас меня от фашистской каторги? Разве он не дорог и вам, моим дочерям?

Ты собиралась приехать в субботу домой. Умоляю: не приезжай! Отец не перенесет. В лихорадке, в ожесточении он может даже убить тебя, несчастная ты моя. Он получил какое-то анонимное письмо и пришел в такое исступление, что, кажется, передушил бы всех нас, если бы, к счастью, не оказались у нас гости. Ни разу в жизни не упрекнул меня, что я не горянка, а русская, хотя его родные не скоро признали меня, привыкли есть мою стряпню, перестали советовать ему развестись и жениться на шилагинке. И вот впервые он попрекнул, впервые сказал: «Так и надо мне, болвану, что не смог вовремя расстаться с этой чужекровной, не послушался родных!» Ты же не ребенок, доченька, и знала, какие здесь предрассудки у людей. «Если русская жена – жди беды!» – думают они... Отец метался по комнате, как разъяренный зверь. Хотел сразу поехать к тебе, но, к счастью, не оказалось шофера.

– Прочти, что пишут о твоей дочери! – Отец швырнул мне письмо.

– Она и твоя дочь! – вырвалось у меня.

– У меня нет больше этой дочери! Не хочу, чтоб мое имя связывали со шлюхой. Не хочу! – заорал твой бедный отец и свалился от сердечного приступа. Гости перенесли его на диван, вызвали врача.

Плохо, очень плохо твоему отцу. Приступ-то, может быть, и пройдет, но твой поступок навсегда останется зияющей раной. Он кричал:

– Уведите меня из этого дома, унесите! Неужели некому меня приютить, неужели я беден друзьями? Нет у меня семьи! Нет! Мне душно здесь... невыносимо душно...

Ой, доченька, какой тяжкий день!

Я же не могу оставить его и уехать, хоть он и гонит

меня с твоими сестричками. Как его покинуть? Без моего ухода он пропадет, он же как ребенок... И только в отчаянии и ярости может быть жестоким, а так ведь чудесный, милый, щедрый, очень добрый человек... Что делать? Как жить дальше?

Сначала-то я обрадовалась, что в доме были гости, а после поняла, что им не следовало бы знать все это, ведь разнесут повсюду... Беда, беда и некому пожаловаться...

Я прочитала письмо, не может этого быть! Нет, это не правда. Отец и раньше получал анонимки. Но дочь – это святое, он необыкновенно привязан к тебе. Попыталась сказать, что писали злые люди, что доброжелатели так не пишут. Но успокоить отца не удается. Он серьезно болен, дрожит, меня не подпускает, признает только твою младшую сестренку...

Я не верю, что ты могла пойти на такое... Если же это правда, будет большая беда. Нет, нет и тысячу раз нет, не может быть! Если даже не любишь нас, должна уважать себя...

Я совсем извелась, места не нахожу... Такое написали твоему отцу, что и врагу не пожелаю...

А может быть, ничего такого и не случилось? Ох, как мне хочется, чтобы было именно так! Наверное, злые люди хотят нас поссорить. Но мы никому не причиняли зла... А может, нашими руками хотят нанести удар этому поэту Нури? Я хорошо знаю этого человека, он приезжал к нам в школу, читал свои вдохновенные стихи. И мне показался очень порядочным, даже застенчивым человеком. Не могу подумать, чтоб такой человек мог нанести несмываемое оскорбление твоему почтенному отцу... А в письме его обливают грязью, обзывают дурными словами...

Немедленно напиши мне, доченька, но не домой, а в школу. Рассей мое горе – не могу верить, что моя родная, моя любимая дочь настолько безрассудна.

Твоя мама.

Письмо двенадцатое

Сложенный вчетверо лист амбарной книги, наспех, но убористо написаны слова. На обороте – просьба передать записку «в собственные руки Абу-Муслиму».

* * *

Пишет это твой брат Рустам, желающий тебе крепкого нашенского здоровья и удач в работе. И мы живем неплохо, можешь не беспокоиться. Сейчас узнал от жены, которая вернулась от вас из Шилаги, что наш гордый род с древними корнями славы запятнал недостойный жилец на земле некий Саидов Нури, называющий себя поэтом и зарабатывающий кусок хлеба маранием бумаги. Если это так, если он обесчестил мою племянницу, твою дочь, мой Абу-Муслим, чему не хочется верить, то я готов отомстить... Я не потерплю, чтоб какой-то проходимец посмеялся над моей папахой! На войне я стал безногим инвалидом, не раз смотрел смерти в глаза, сражаясь с насильниками и нравственно опустившимися негодяями, но и теперь не потерплю, чтоб над нами посмел издеваться выродок, трижды достойный смерти. Есть лишь два способа смыть этот позор: или этот пес, рожденный от пьяного, должен жениться на нашей Цуэри и для этого оставить свою семью, или я волен поступить, как велит мне моя честь. Не допущу, чтоб одним воздухом с нами дышал человек, оскорбивший наш род!

Жена сказала, что ты нездоров, к тому же тебе надо сберечь свой авторитет и уважаемое имя коммуниста. У меня лишь одна просьба к тебе, брат мой Абу-Муслим: если случится то, что должно случиться, не оставь мою семью, помоги, чтоб дети мои выросли достойными, недоступными всяким соблазнам, которыми можно обидеть других людей.

Пусть наши дети будут всегда достойны гордого рода Адзиевых! Считай это моим завещанием.

Твой брат Рустам.

Письмо тринадцатое

Драгоценная ты моя мамочка, мама родная, заступница моя, что же подвергаешь меня пытке? Написала тебе и второе письмо, думала, что первое не дошло, но опять ни ответа, ни привета. Неужели потому, что я написала правду?! Да, да, тысячу раз да: люблю этого человека. И лучше умереть, чем отказаться от такой правды, ничего от него не прошу, кроме любви, и он любит меня, как никто и никогда. Не прошу на мне жениться, не хочу отнимать отца у детей... может, ты удивишься, подумаешь: не сошла ли твоя дочь с ума?! Нет, мама, я счастлива, я благодарна судьбе.

Неужели мое безмерное, огромное счастье неприемлемо моему отцу и родной матери? Но что же я могу сделать?! Я готова принять смерть, хотя и не хочется покидать этот мир удивительных переживаний и чувств, мир полного сияющего счастья...

Неужели, мамочка, тебе было бы легче, если б, как поступают иные из знакомых девушек, я скрыла бы, солгала, стала уверять, что я цела и невредима или если бы за деньги достала медицинскую справку о моей непорочности, так сказать, о сохранности моей девственности? Разве тебе нужна ложь? А я не хочу лгать, я хочу правды и еще раз правды, только правды.

Я полюбила дорогого мне человека Нури не потому, что он поэт, чьи стихи чуть не ежедневно звучат по радио, нет, он ласковый, добрый и очень заботливый, он живет моей радостью. Да, мама, я знала, что вступила на опасную для нас обоих дорогу, где за каждым горным поворотом может подстерегать несчастье, непоправимая беда. Знала и о суровых прадедовских законах, что еще сильны в горах. Но ничего не могла поделать с собой: я звала его, я жила и живу им.

Насколько твоя дочь безрассудна в любви, покажет тебе хотя бы такой случай...

Летом он приезжал в аул, мы встречались в условленном месте за арочным мостом. Однажды ты уехала в Арма-

вир к тете, а отец отбыл по делам в Дербент. До сумерек мы с Нури были у водопада, купались, загорали на лужайке, а к вечеру начался дождь. Расставаться не хотелось, и я осмелилась пригласить его домой. Да, да, в наш дом, туда, куда в любую минуту мог вернуться отец или зайти гостикунаки. Я совершенно не боялась тогда смерти, может быть, просто ее не понимала, как ребенок, и верила только в свое счастье.

– Что ты?! Это невозможно! – удивился он.

– А я хочу провести эту ночь с тобой дома, где родилась и выросла.

– Но дома ведь кто-то есть.

– Одни сестренки. Отец в Дербенте.

– Он может вернуться.

– Может! – я становилась настойчивее. – Разве ты боишься?

– Не то слово. Но об этом даже подумать страшно...

– А ты любишь меня?

– Люблю.

– А хочешь сейчас расстаться со мной?

– Нет!

– Тогда пойдем. Постелю чистую постель и буду с тобой под крышей нашего дома, искупаю тебя в голубой воде нашей ванны. Ты не хочешь?

– Хочу, радость моя, любимая!

– Тогда пошли.

– А вдруг вернется отец?

– Ну и что же?

– Я не могу причинить твоему отцу такой боли.

– А разве они не узнают... Я слишком счастлива и неосторожна. Пусть знают: я готова умереть, чем разлучиться с тобой. Ты будешь со мной сегодня.

– Да, буду!

И я вошла первая. Сестрички спали. Больше в доме не было никого. И он пришел, мой желанный! Я встретила у ворот, бросилась на шею, он на руках внес меня в дом, я приложила пальцы к его губам... Мы были как одержимые...

Закрылись в ванной, искупались в голубой воде. Он радовался как ребенок. Я выкупала его, как ты купала меня в детстве. Потом пошли в отцовскую комнату, я постелила на тахте и, прежде чем лечь, достала из гардероба отцовский пистолет в кобуре, передала моему Нури.

– Зачем?! – удивился он.

– Так спокойнее, по-моему.. – ответила я и обняла Нури, прижалась горячим, свежим после ванны телом. Оружие он спрятал под подушку... И для нас, что называется, исчезли страны света. Страсть одолела нас, мы старались утолить нашу жажду и никак не могли утолить, горели и сгорали и вновь рождались из пепла...

Под утро просигналила у ворот машина, я поцеловала Нури, он оделся и, выпрыгнув в окно, ушел. Не знаю, мамочка родная, если я могла так поступить, значит, сумасшедшая у меня любовь и ничего с ней поделать не могу.

Отца я встретила радостная, возбужденная.

– Ты чего, Цуэрочка, не спишь?

– Я такая счастливая, папа, такая счастливая! – И поцеловала отца.

– Рад за тебя, солнышко мое. Отец очень тебя любит и хочет, чтоб всегда ты была такая радостная. А что с тобой?

– Не знаю, папа, но я счастлива!

– Что делают сестренки?

– Спят.

– Гостей не было?

– Нет.

– А я тебе книжку привез. Знаешь какую?

– Для экзаменов?

– Нет, новая книга Нури Саидова, ты же всегда защищаешь его, хвалишь стихи. Я полистал по дороге, этот парень пишет неплохо, кое-что просто здорово.

И подал мне книгу Нури «Могу ль не говорить, что счастлив?» с его портретом.

– Отец, родной мой, ты такой добрый, такой милый. Спасибо! Я его не защищаю, я его люблю... – вырвалось у меня.

– Да, такую поэзию можно любить.

Отец ушел к себе и лег в ту постель, где только что спали мы с Нури. Под подушкой он обнаружил пистолет.

– А это зачем здесь?!

– Ах, это... Мы же, девочки, дома одни... Страшно! Я и взяла.

– На мою честь пока никто не собирается посягнуть. Не бойся, девочка! – сказал отец. – Я очень устал. Посплю часа три, а ты приготовь завтрак повкуснее.

– Хорошо, папа.

Отец ни о чем не догадался. А мне так хотелось, чтоб он все понял, узнал мои самые сокровенные мысли...

Но я всегда была уверена: когда-нибудь он узнает.

И вот настал час.

Тяжелое недоумение одолевает меня, мама: неужели самые близкие, родные люди не хотят, чтоб я была счастлива? Разве только со свидетельством о браке дозволено быть счастливой? Не выше ли счастье простое – по закону любви, по закону природы, а не по штампу в паспорте? Я люблю его по самому высшему закону – закону природы, и ничего другого мне не надо. Я только хочу, чтоб ни отец, ни ты не беспокоились обо мне. Я ничего плохого не делаю, а люблю человека, хорошего человека, и я уже взрослая, могу сама решать свою судьбу... Эта фраза звучит немного высокопарно и смешно, но ведь это правда. Люблю и тебя, мамочка, и отца моего дорогого и умоляю вас: не устраивайте трагедий из моей счастливой судьбы, иначе сделаете несчастными и меня, и себя. Думаю, что вы, мои родные, не можете к этому стремиться. Нури меня не соблазнял, не насиловал, любит меня, и я люблю его. Осуждать его или меня, право же, нет даже повода. Вот и все, что я хотела тебе сказать, мамочка. Гордиться бы тебе надо моей любовью, моим счастьем. Как хочется, родные вы мои, чтоб вы это поняли! Любящая тебя и отца ваша верная Цуэри.

Письмо четырнадцатое

Розовый самодельный конверт из тетрадной обложки с таблицей умножения на внутренней стороне. Письмо написано на страничках, вырванных из школьной тетради.

* * *

Рожденная мной в муках, ты вновь и вновь причиняешь мне страдания... Оборвались во мне нити доброты и заботы, не лежит сердце назвать как прежде привычным словом «доченька», не знаю, как теперь и обращаться к тебе... Постарела я совсем, приходится прятать под платком раннюю седину, измучила ты меня... Вот не думала, что ты такая безрассудная, настолько наивна и глупа! Без всякого злорадства говорю: жизнь жестоко отплатит тебе за мои страдания.

А что пережил твой бедный отец!

Приезжал на днях твой дядя Рустам. Ты знаешь, какой он грубый, неотесанный и свирепый, когда что-нибудь вообразит... За это он уже не раз страдал. У нас был долгий-долгий разговор о том, как бы уладить дело, чтоб люди не злословили. Они, да и я, – хоть меня уже не спрашивали, – пришли к единственному благоразумному решению. Ты слепа, как и твоя любовь. Ты крадешь любовь у человека семейного.

Пойми, в жизни у всякого должна быть своя семья, свой очаг. И у тебя они должны быть: так продолжаться долго не может... И если, как ты утверждаешь, он любит тебя, – пусть оставит семью и женится на тебе. Мы сыграем свадьбу, как заведено у людей, чтоб заткнуть рты сплетникам и ненавистникам. Это единственный выход, пойми!

Если ты не исполнишь то, о чем тебя прошу, мы будем считать, что не было в нашей семье дочери по имени Цуэри. А тому, кто запятнал позором род Адзиевых, не жить на земле... Такой приговор уже произнес дядя Рустам и приведет в исполнение, если тот не подчинится нашему реше-

нию. Рустам не шутит, а свою жизнь не ставит и в грош... Он оставил отцу твоему завещание, чтоб воспитал его детей достойными людьми.

От тебя зависит – останутся ли сиротами дети двух семей. Прислушайся к голосу твоей матери, исполни, а после, быть может, все и уладится, и забудем обо всем, что было, и быльем постепенно порастет.

Послушайся нашего совета, доченька: на коленях тебя прошу!

Твоя несчастная мать.

Письмо пятнадцатое

Конверт из почтового набора с наклеенной маркой серии «Фауна Кавказа», на выступе скалы стоит гордый тур – животное, обитающее на труднодоступном каменистом высокогорье. Тур на скале стал эмблемой Дагестана, его изображают на многих изделиях в республике. Письмо адресовано в аул Шилаги Абу-Муслиму Адзиеву.

* * *

Салам тебе, побратим мой Абу-Муслим, от моей семьи и всем твоим домочадцам. Желаем благополучия в вашей жизни, а мы живем и не жалуемся. Поверь, дорогой, что лучшим лечением для жены были дни, проведенные в твоем доме. Какая вокруг дивная природа, сколько тепла и ласки в самом воздухе и свете! Не хватает слов, чтобы выразить благодарность тебе и милой твоей супруге, а дочери твои просто прекрасны. Не можем забыть ночную охоту, устроенную тобой. Мой сын Булат утверждает, что первый раз в жизни пережил такое захватывающее зрелище. Ну да, ведь он застрелил кабана у водопоя. Вот что значат зоркий глаз да молодость! А я в охотники уже не гожусь... Только и заполевал одного ошалелого косого, что мчался в свете

фар нашей машины. Да и то, знаю, ты великодушно уступил мне добычу: ведь стреляли одновременно! Да, да, знаю я тебя, дорогой!

А помнишь, как однажды в разведке мы напоролись на немецкую засаду, чуть сами не стали их добычей... Спасла твоя дерзкая смелость. Могуч ты был тогда, как снежный барс, отбился от троих и меня спас от того верзилы, что будто клешней вцепился в мое горло... Ну и ярость была у тебя! Потом этот верзила говорил, что где-то там у себя в Неметчине был чемпионом по боксу... И тяжел же оказался, проклятый! Знал, что нужен нам живым, бешено боролся и, даже побежденный, отказался идти, пришлось волочить... Да, разное бывало на войне. В иных людях обнаруживалась ржавчина, в других – чистое золото сердца. Почему-то за эту разведку наградили меня одного, но ты не обиделся, сказал:

– Не ради наград, ради чести и свободы бьемся!

Спасибо, ты настоящий друг.

Сколько сложено песен о седине наших гор, а нет еще песни о благородной седине человека. Был бы поэтом, сложил бы песню о твоих сединах, побратим мой. Мало сейчас у нас поэтов. Вот разве Нури Саидов... Молодой, но талантливый. Я знал его отца: вместе учились в первом дагестанском педтехникуме в Буйнакске и не раз делили пополам толокно... Эх, трудные были времена! Его отец погиб на белофинской... Лучший памятник ему – сын. Думаю, парень прославит имя Саидовых.

Мой Булат поступил рабочим на завод стекловолокна, в будущем году станет учиться в кораблестроительном в Каспийске...

Да, у нас в гостях была твоя старшая дочь. Мы очень обрадовались, она такая хорошая, милая. Булат даже растерялся: он же видел ее только малышкой. Радовались, на них глядя, и мы с Ума-Ханум: какая пара! Давай, дорогой Абу-Муслим, не будем больше откладывать и породнимся. Прямо говорю, буду счастлив, если в мой дом придет такая сношенька, как Цуэри. Осень – время свадеб. Почему бы нам не ударить в праздничные барабаны? Думается, что и

ты, и преславная твоя Настасья Лукьяновна не огорчите нас... Даю слово: будем любить вашу дочь, как родную, и не обидим ничем.

Калыма – выкупа за невесту – у меня нет, брат мой Абу-Муслим, да говорят, в наше время это не делается, а мы с тобой, вроде бы, люди современные, с немалым партийным стажем, к тому же коммунистами стали на фронте... Но так и быть, чтоб успокоить любителей сплетничать, подарю тебе охотничье ружье-автомат, о котором ты давно мечтал. На днях я добыл его с помощью нашего Кара Караева, «дагестанского Буденного», как его называют. Постарел наш герой, но если постучится беда, тут же вскочит на коня...

Давай, брат мой, ударим в барабаны и спляшем на свадьбе детей танец радости, а то давно что-то я не плясал.

Жду твоего слова и желаю крепкого здоровья и удачи.

Али-Хаджи.

Письмо шестнадцатое

Конверт, выпущенный к юбилею Шота Руставели; справа рисунок художника Тоидзе к поэме «Витязь в тигровой шкуре»: могучий атлет в смертельной схватке с тигром, которого держит на вытянутых руках. Мертвый лев распластался у ног витязя. Первой страницы нет, то ли похищена, то ли потеряна.

* * *

... Один мудрец сказал, что цена жизни одного человека – вселенная. Ты для меня – вселенная с ее неудержимо влекущими тайнами. Неделя, что ты провела со мной в Подмосковье, лучшая пора в моей жизни, неповторимая мелодия, породившая тысячи мыслей и ощущений, которых хватит на трех поэтов. Завидую россиянам: какая здесь мяг-

кая, сказочная природа, сколько в ней пленительной музыки, недаром эта земля рождала и рождает волшебных стихотворцев. Мне это слово больше по душе, чем слово поэт, уже растасканное и поношенное. Впрочем, Цуэри моя милая, у нас, у даргинцев, и такого слова нет, у нас говорят «далайчи», что значит певец...

«Творец стихов» – гораздо выразительнее... Что-то не ладится сейчас у меня: пишу стихи и рву, недовольна душа моя, слишком большую ответственность возложила на мои слабые плечи любовь. Но не ропщу, а радуюсь и верю, что найду слова и краски и ты сможешь гордиться мной.

Стоп! Звонит телефон. Звонок междугородный и, быть может, сейчас услышу твой милый голос, девочка моя шилагинская...

Нет, это была не ты. Звонили из дома. Говорила Меседу, моя жена, на этот раз она волновалась, голос срывался, что-то мешало ей говорить спокойно... Прости, девочка моя, ничего не утаивал я от тебя, ты знаешь мое отношение к семье, любовь к детям, уважение к жене. И я не хотел, – да и ты оберегала, – причинять им огорчения. Конечно, долго так продолжаться не могло, слишком ярко горела наша любовь, а мы были беспечны. Беда ходила рядом. Мы же не одни на земле, и у каждого свое представление о добре и зле, правде и кривде. Кроме того, столько вокруг злопыхателей и лицемеров! Говорят же у нас: козел смеялся, когда у барана курдюк поднялся! А у самого козла хвост всегда торчит торчком. Наверняка, одни осуждали нас постной миной праведников, другие тихо радовались и ждали, когда раскроется тайна и восторжествуют страсти зла, третьи, пряча улыбку в ладонь, распускали о нас небылицы...

Ну вот, Цуэрочка моя, и случилось то, чего я опасался. Меседу с плачем сообщила по телефону, что получила анонимное письмо, где с великим удовольствием и подробностями повествуется о наших с тобой отношениях. Что я мог сказать Меседу? В голосе ее было отчаяние, и позвонила она, надеясь рассеять туман зла. И раньше ей присылали

разные анонимки, но те были насквозь лживы, а рассеять ложь не так уж трудно… Но что я мог сказать сейчас?

– Последнее время ты изменился. Думала: творческие неудачи.. Такого не ожидала. Скажи правду...

Голос ее прерывался.

– … Что ты молчишь? – голос Меседу стал сердитым, требовательным. – Я спрашиваю: ты знаешь студентку по имени Цуэри?

– Да, я знаю студентку Цуэри.

– И это правда?

– Что?

– Ты любишь ее? Она была с тобой в Москве?

– Да, – ответил я и понял, как трудно ей сейчас говорить. Меседу умолкла. «Хоть бы положила трубку! – думал я. – Хоть бы наговорила резкостей!» Но нет, уже спокойнее Меседу сказала:

– Что ты думаешь делать?

– Не знаю.

– Но ведь так нельзя, это ужасно.

– Да, нельзя. И не знаю, что делать.

– А если я попрошу тебя забыть ее с этой минуты и навсегда. Сможешь?

– Нет. Прости меня, не смогу. Люблю ее.

– Но у тебя дети! Их ты не любишь?

– Ты знаешь: безмерно люблю их.

– Они ждут тебя, – всхлипнула Меседу. – Стоят рядом и спрашивают, почему я плачу? Что мне им сказать? Ради них не можешь отказаться?

– Ничего не могу поделать с собой, Меседу...

– А почему твоя совесть позволяет быть со мной, а любить ее?! – В Меседу уже заговорил другой человек, властный и требовательный.

– Это конец, Нури. Ты свободен...

И положила трубку. Телефон запищал отбой, словно злорадно захихикал.

Вот и все, девочка моя шилагинская. Я один теперь. Нет у меня никого, кроме старухи-матери, которая живет в

дальнем ауле, и тебя, Цуэрочка... Не знаю, как ты примешь эту весть. Мне очень страшно остаться одиноким. Прошу тебя, девочка моя шилагинская, будь моей женой. Я люблю тебя и теперь могу навечно быть рядом, не таясь, не пряча чувства… Помнишь, ты однажды спросила со слезами:

– Почему все так сурово в жизни?! Отчего мы не можем любить друг друга, не скрываясь от людей?

Вот и пришло такое время.

Будь моей женой, девочка моя шилагинская. Позвони или дай телеграмму, встречу тебя и отсюда поедем на рижское взморье, проведем медовый месяц там, недалеко от Риги, в тихом, живописном уголке для влюбленных.

Жду твоего решения, Цуэрочка.

Твой Нури.

Письмо семнадцатое

Необычного размера конверт, ярко разрисованный акварельными красками. Нет ни марки, ни почтового штемпеля. Вместо адреса написан номер комнаты в общежитии да имя девушки – Цуэри.

В письмо вложена фотография, с которой смотрит ясными глазами безусое, но мужественное, немного угловатое лицо юноши в военной форме с черными, похожими на цыганские, кудрями.

* * *

Не знаю, Цуэри, верно ли делаю, что пишу тебе. Давно тебя не вижу. Отец и мать спрашивают: встречаю ли тебя? Я отвечаю: «Да!». Раньше не смел бы о таком и подумать, но родители твердят, что пора жениться, а когда возразил, что нет никого на примете, отец спросил за обедом:

– Разве Цуэри тебе не нравится?

Я даже поперхнулся.

Отец рассказал, что, еще когда мы были детьми, они с твоим отцом говорили о таком родстве.

И вдруг я словно бы очнулся. Зерно, посеянное родителями, вдруг проросло и зацвело во мне. Прости, не умею красиво говорить и писать. Лучше выражу эти чувства к тебе словами нашего поэта Нури Саидова, который написал так, будто подслушал мои мысли, для которых я не могу подобрать слова.

Изменяются гор очертания,
За хребтами – иные хребты,
Грудь сжимается от нарастания
Голубой ледяной высоты.
Есть у каждого, в горы идущего,
Незабвенный один поворот.
В нем судьба, в нем загадка грядущего,
Что усталого путника ждет.
Для иного – судьбина постылая,
Для меня – это сон голубой,
Шилагинская девушка милая,
Не нарадуюсь встрече с тобой.
Мое сердце тебе на ладони я
Подношу, как пылающий плод.
Стало небо синее, бездоннее,
Здравствуй, жизни моей поворот!
Ты откуда, ты чья, моя милая?
О душевное наше родство!
Бьётся сердце с невиданной силою,
Я огнем обжигаюсь его.
Если б мог так любить свою женушку,
Я тебя называл бы женой.
Я тебе, шилагинскому солнышку,
Мою жизнь посвящаю – одной...

Лишь в одном, Цуэри, шилагинская девушка милая, не могу согласиться с поэтом. Он пишет: «Если б мог так любить свою женушку, я тебя называл бы женой!» Почему он так написал, словно жену не любит?!

Цуэри, будь моей женой, и я опровергну эти строчки поэта. В ожидании твоего ответа

Булат.

Письмо восемнадцатое

Скорее это не письмо, а наспех записанный разговор то ли в купе вагона, то ли в машине.

* * *

– Да, мы твои друзья и сейчас говорим по-товарищески. Нам не безразлично, что с тобой творится.

– Чего вы хотите?

– Просто хотим понять, где и когда ты споткнулся. У тебя были жена и дети?

– Нет у меня семьи!

– Из-за той девушки?

– Да.

– Ты влюбился в нее?

– Безумно люблю.

– Считаешь возможным иметь семью и любить другую?

– А что было делать? Сначала бросить жену, а потом искать – в кого влюбиться?

– Это было бы честно.

– Я любил жену и детей и не искал повода уйти.

– Как же хватило совести, любя жену, еще влюбиться в другую?

– По-твоему, любить нельзя, но будучи женатым, можно искать любовные приключения?

– Здесь мы спрашиваем.

– Это же партбюро!

– Почти.

– Вот вы оба мои друзья. Разве вы не приглашали в номер гостиницы девушек? Неужели для того, чтоб поговорить с ними о нравственности?

– Допустим. Но мы не влюблялись: «Здравствуй» и «Прощай».

– Обманываем себя, девушку и жену ради прихоти? А полюбить по-настоящему – смертельный грех? Так, что ли?

– Я не разрушаю семью, как ты.

– Но будьте же откровенными! Мы друзья!

– Тебе придется ответить.

– Перед кем?

– Перед нами. И не рассчитывай, что друзья простят...

– Считаете, я совершил преступление?

– Преступление не преступление, но аморальный поступок.

– И ты говоришь серьезно?!

– Радоваться здесь нечему.

– И вы запишете строгий выговор?

– Хуже. Боюсь, что можешь быть исключен...

– Не понимаю! Любить – это аморальный поступок, а переспать и сказать «Прощай!» – простительно?

– Ты разрушил семью.

– Что же, по-вашему, мне делать?

– Вернуться к семье.

– Но жена этого не хочет! А я собираюсь жениться на той, которую полюбил.

– Придется рассматривать твое личное дело.

Письмо девятнадцатое

Простой белый конверт, на котором изображена старая гостиница в городе Махачкале, построенная в стиле Чохской сакли с арками в два яруса и широкими балконами. Письмо адресовано в шилагинскую школу учительнице Адзиевой Анастасии Лукьяновне.

* * *

Что бы ни было, мамочка, ты всегда для меня дорогая и любимая, да и перед отцом, которого никогда не перестану любить, нет моей вины. Наверное, это письмо обрадует вас... Да, к моему глубокому огорчению, все получается, как вам хочется... Я не желала, чтоб моя любовь причиняла

боль другим, особенно близким моего Нури... Можете радоваться: от него ушла жена и взяла детей, Нури теперь одинок, свободен и просит выйти замуж за него.

Ох, я так не хотела сделаться привычной, будничной, обыденной просто женой! Так не хотела потерять его любовь... Но он просит, я выхожу замуж, делаюсь законной женой – и конец празднику, сиянию, счастью, о любви и думать нечего, не до нее... Все так просто и банально решилось, тревогам вашим конец. Нет ни «бесчестья», ни «позора», и ты с отцом можете гордо поднять головы, смотреть в глаза людям, которых вы раньше стыдились.

Дорогая мамочка, поговори с отцом и готовьтесь к свадьбе: вы же хотите, чтоб у вашей дочери «все было, как у людей», по образу и подобию соседей и родственников. Пусть рассеется у вас туман гнева, вымышленных страданий и несуществующих обид. Скажу только: не было, никогда не было ни позора, ни бесчестья. А была у меня великая любовь. И ее теперь не станет, потому что вы хотите, чтоб «все было, как у людей», а я не хотела, чтоб было как у людей... Мне хотелось... быть другой.

Но пусть будет по-вашему.

Очень прошу тебя, мама, поговори с отцом и сразу же напиши. Нури ждет меня в Москве, я должна поехать к нему: сейчас ему очень одиноко и грустно.

Любящая вас Цуэри.

Письмо двадцатое

Слева на конверте нарисованы длинноносые желтые птицы в камышах. В письмо вложена фотография: горянка с удивительно тонкими чертами лица и печальными глазами в траурной черной шали держит на руках пухленькую девочку, в личике которой как бы отразилось неутешное горе матери.

* * *

В первых же строках, подружка моя, хочу выразить свое баркала – спасибо за сочувствие в моем горе. Слишком большое счастье не может быть долгим: очень уж все гладко и сладко и много радости, от которой становишься беспечной... Грянула беда, как горный обвал: осиротела я, сестричка, осиротело маленькое солнышко мое, моя Цуэри... Будь проклят день, когда мы купили эту машину!

Все произошло на свадьбе моего шурина, на второй день, когда Рамазан отвез на своей машине дорогих кунаков и возвращался из Маджалиса. На Железном мосту его сбросил в реку-пропасть встречный колхозный грузовик, шофер которого, говорят, тоже гулял на свадьбе и еще не протрезвел.

Теперь хожу на могилу моего Рамазана и сижу там дни напролет. Это горе сделало несчастными всех вокруг – очень хороший человек был мой Рамазан. И теперь сердцем поняла я необычайные строки нашего поэта Нури Саидова, в которых как будто выражено все мое горе:

Лучше вовсе не родиться,
Чем, родившись, умереть
И при том всю жизнь дымиться:
Не любить и не гореть.
Лучше вовсе не родиться,
Чем страдать в цветенье сил
И однажды убедиться,
Что любовь не сохранил...

Даже не успела познакомить с тобой моего Рамазана. Посылаю фотографию тебе, где я с дочкой. Буду рада, если приедешь хоть на денек, хоть немного развеешь мое горе.

Любящая тебя Исфаги.

Письмо двадцать первое

Конверта нет. Написано корявым, неразборчивым почерком со множеством восклицательных знаков: видимо, писал крайне возмущенный и властный человек. В письме нет обращения, но нетрудно определить: это Абу-Муслим пишет дочери.

* * *

Прочти внимательно: это мое последнее слово! А что скажу, то исполнишь! Если осталась в тебе хоть росинка совести, если греет тебя хоть капля крови моего рода, если хоть искра уважения к родителям, если чувствуешь хоть немного вины перед нами и надеешься когда-нибудь перемолвиться словом со мной!! Все существо мое восстает против этого омерзительного типа, при имени которого сжимаются кулаки! Не хочу его видеть, не хочу, слышала?! Не хочу, чтоб мое имя склоняли рядом с его позорным именем. И мысли не допускаю, чтоб он со мной породнился! Никогда не прощу ему бесчестья и умру с проклятьем, посланным ему. Ты знаешь, о ком говорю! Будь трижды тридцать раз проклят всеми на этой земле.

Пусть зима уже, а не осень, пусть холодно на дворе, но не холоднее, чем в моей истерзанной тобой душе! В эту субботу будет твоя свадьба. Да, твоя свадьба! И ты завтра же приедешь домой, за тобой посылаю машину. Приедешь и будешь готовиться к свадьбе, хотя все уже приготовлено. Барабанщики и зурначи предупреждены, друзьям и кунакам разосланы пригласительные билеты, послезавтра начнут съезжаться люди. Сын моего друга Али-Хаджи, его зовут Булат и ты его знаешь, будет моим зятем и твоим мужем. Я этого хочу. Хочу и все! Баста! Хватит треволнений, и будь я проклят, если вслед не выдам твою вторую сестру. Хочу хоть в старости пожить спокойно!

Родители Булата приедут завтра к вечеру. Булат застенчивый и добрый парень, мне очень понравился, обхо-

дителен, прост и не вижу ничего дурного в том, что он простой рабочий, зато у него честное сердце, крепкие руки и трезвая голова. Жеребец, что надо, он укротит твой необузданный пыл, и родишь ему сыновей. К шайтану дочерей, пусть у меня будут только внуки! Поняла?!

Завтра в десять часов утра моя машина будет ждать тебя возле общежития. Не потерплю и тени отговорок. Никаких поводов-доводов! Сядешь в машину и приедешь. А если машина вернется без тебя, то я сам вынужден буду явиться за тобой, за твоей смертью. Все! Баста!

Жду тебя, и ты приедешь!

Отец твой приказывает!!

Письмо двадцать второе

Никаких нет признаков, что письмо было отправлено адресату. Вероятно, автор просто наедине «беседовал с бумагой».

* * *

Ни звонка от тебя, ни телеграммы, ни доброго слова, ни проклятья. И как раз сейчас, когда ощущаю себя одиноким, покинутым и ничтожным, а ты – моя единственная надежда.

Звонил тебе, звонил всю ночь из гостиницы «Будапешт», каждый раз, чуть не плача, умолял милых московских телефонисток, и они, уступая мольбам, вне очереди звонили в Махачкалу, в общежитие. И всякий раз неудача: то никто не подходит, то занят телефон, то авария на линии, то телефон испорчен... Наконец, говорят: «Сейчас позовем!» В общежитии подошла какая-то девушка. Я был взволнован, не узнал голоса, искаженного расстоянием, решил, что это, наконец, ты, но на тревожные мои вопросы услыхал веселый девичий смех. Получилось вроде удара

ножом! Я в отчаянии, а ей смешно... Она-то и сказала, что тебя нет в общежитии... Нет в три часа ночи?! Не поверил, опять позвонил, снова умолял телефонисток, и, наверное, они взволновались, услыхав отчаяние в моем голосе, позвонили в гостиницу, дежурной, и ко мне постучалась нянька, похожая на мою старуху-мать. Она просидела со мной до утра...

Что ж, могу признаться: у московских телефонисток чуткий слух! Никогда не думал о самоубийстве, но в ту ночь готов был понять стихотворцев, что наложили на себя руки... «Любовная лодка разбилась о быт...»

Велико было мое отчаяние, и спасибо доброй, душевной старушке, что утешила, называя «сынком». Все поведал ей, говорил о тебе и только о тебе, и мы вместе плакали. Утром снова возобновил попытки дозвониться, но тщетно: тебя не было в общежитии. Тогда расплатился за номер, купил билет на самолет, но сказали, что погода нелетная... Кончилось тем, что собрал свои бумаги и сел в поезд...

Думы мои были только о тебе, только о тебе... Неизвестность угнетала, поникла моя гордая голова, какое-то неосознанное страшное предчувствие душило, цепко схватив за горло.

Что же случилось? Что могло случиться?! Неужели несчастье какое с тобой, девочка ты моя шилагинская?

Вот и Кавказ, темные, сливающиеся с беззаветной ночью горы за окном вагона и где-то в долине мерцает тусклый огонек: нет, это не окно светится в доме, а кто-то разжег одинокий костер в зимнюю ночь. Наверное, как и я, одинокий путник...

Письмо двадцать третье

Написано на линованных страницах из общей тетради уже знакомым почерком – с хвостатыми буквами, издали похожими на узор. Многие слова и фразы зачеркнуты, переписаны, поправлены.

* * *

Кто побывал здесь, надолго запомнит живописную, как невесту в праздничном наряде, когда после брачной ночи ведут ее к роднику, долину Конгожи... А я буду помнить этот уголок Дагестана всю жизнь, с ним связаны и великая радость встречи, и печаль потери.

Обыкновенный берег реки, лесистый склон, на вершине, как часовые, как стража, оберегающая долину, две сакли, три тополя и минарет, вонзившийся в небо.

Приближался вечер. Река двумя говорливыми рукавами обтекала замшелые обломки скал и валуны. У подножия горы на опушке колыхались густая трава, стройная яблонька-дичок в красной осенней косынке и молодой орешник с позолоченными листьями, что понемногу, поодиночке срывал прохладный конгожинский ветерок, который здесь нежно называют Цуэри. Недаром родители выбрали тебе такое имя, девочка моя шилагинская!

Ты просила меня приехать сюда. Я приехал. Я стоял в ожидании, охваченный сомнениями: не каприз ли это избалованной девчонки, не шутка ли, неосторожная и жестокая? Но где-то в глубине огоньком светилась надежда.

И ты появилась! Ты бежала с радостным криком по узкой, давно нехоженой тропе меж барбарисовых сережек, бежала в голубом ситцевом платье, царапая о ветви руки и ноги, и не было тебе тогда больно, бедовая ты моя девочка, ветерок мой жаркий... Мы устремились друг к другу, как две капли росы на природном цветке при первых солнечных лучах. Навсегда запечатлелся в памяти моей этот прекрасный миг!

Помнишь ли, девочка ты моя шилагинская, песня моя недопетая, помнишь ли ты этот осенний вечер в ущелье Конгожи – первую из тысяч страстно желанных, бурных наших встреч, которые безотчетно и безрассудно и всегда одержимо нанизывали мы, как сверкающие всеми гранями бриллианты счастья. Да, да, да – просто счастья. Я мог бы сказать «большого счастья», но разве от этого станет оно

еще больше? Да, мы нанизывали алмазы – бусины счастья, блаженства, радости на нить нашей любви, нашей тайны и нашего открытия. Ведь мы открывали в себе дотоле неведомый мир непостижимых красок и настроений, мир поразительный, вечно влекущий...

И при каждой встрече ты дарила мне жизнь в ее первозданных девственно чистых началах. И сегодня из бездны тоски, оглядываясь, восклицаю: – О, сколько жизней ты дала мне и сколько их я уже прожил!

Цуэри, девочка моя шилагинская, на первый взгляд ничем особенным не приметная, только молодостью и водопадом небрежно льющихся на плечи темных волос, а на самом-то деле одаренная необыкновенной душой, чистой, как бьющий из земли родник. Ты вдохнула в меня трепет перед вечной тайной любви, ты вложила мне в руки загадочную книгу жизни, чтоб я, хмельной от любви к тебе, мог листать страницы, одна другой удивительнее, вечные и короткие, как вздох...

Откуда я мог знать, что тогда, в родном ущелье Конгожи, мать-природа гадала о моей незавидной судьбе, подбрасывая невидимой ладонью золотые листья орешника?! А листья падали, падали листья на возбужденные наши тела, наши улыбки, наши ласки, наши объятия.

Играла со мной мать-природа, играла со своим ослепшим от счастья сыном, играла и гадала, гадала и угадывала, что это осеннее золото превратится в горькие слезы... Как был я беспечен в своем счастье, как безрассуден, девочка ты моя шилагинская! Не о горьком похмелье думал я тогда, а был верен завету предков: выходишь на опасную тропу, не думай о том, что может случиться. А тропа любви в горах все еще опасна и, быть может, поэтому так привлекательна.

Суровый край, край необузданных страстей и первозданных древних нравов, склоняю перед тобой свою повинную голову.

Был ли у нас страх, у меня и у тебя, девочка из Шилаги? Не хочу лгать самому себе: был... Беда могла подсте-

речь на каждом шагу, но мы не смотрели по сторонам, нам было некогда, мы глядели друг другу в глаза, мы читали самих себя и других не успевали читать. А ревнители неписаных законов оказались на страже, они не дремали, но и не спешили. Оберегая ветхие нравы пращуров, готовили месть. Мы шептали слова любви и счастья, а они шипели: позор, бесчестье! Нет, как бывало в прошлом, они не обнажали кинжалы: что такое мгновенная смерть для обидчика?! Они готовили изысканно жестокий приговор, желали, чтоб я умирал не один раз, а много-много дней в бессилии и безутешном горе. По-своему, быть может, они и правы: знают, что ты дала мне тысячу жизней, и теперь хотят отнять все сразу.

И вот я снова здесь, в ущелье Конгожи. А какой суровый день нынче! Ведь не весна, не лето, не наша осень, а холодная зима.

Стужа. Снег покрыл все саваном, на яблоньке тот же иней, что на моих висках, что и на друге-орешнике. И речка молчит, скованная льдом...

Сегодня стынет здесь душа, пронзительно свистит и плачет ветер, стонут от стужи деревья, стонет и душа моя, протяжно, тоскливо воет здесь одинокий раненый зверь.

Письмо двадцать четвертое

Конверт с изображением редкого, растущего на известковых скалах высокогорья, красивого цветка – эдельвейса, белой пушистой звезды. Знакомым девичьим почерком написан адрес: Дагестан, Махачкала, Главпочтамт, до востребования, Саидову Нури. А письма в конверте нет...

* * *

Когда прочитаны письма

Ну вот, теперь и вы прочитали эту пачку пестрых, разноголосых писем, то веселых, то гневных, то подлых или тоскливых, словно вой умирающего зверя.

Не знаю, как вы, но не могу я на этом захлопнуть дверь и заняться своими делами: мол, теперь рассудите сами что к чему, куда следует привязать коня и где склонить голову, чтоб утром найти ее в целости и сохранности, как любил говаривать мой дед. Разве можно остаться безразличным к судьбам тех, кто написал письма, кто, пусть невольно, раскрыл перед нами страстные души, полные не пепла без искры, а жаркого и светлого пламени?

Что же было дальше? Где эти люди теперь?

И я попросил лихого лакского парня Имира из аула пехлеванов-канатоходцев, что водит по горным змеям-дорогам мою «Волгу», балансируя над пропастями не хуже настоящего канатоходца, пополнее заправить машину и собраться в дальний путь. Конечно, мы поехали в Эки-Булак.

Надвигалась осень и всюду спешили к зиме заново отстроиться после землетрясения.

Вот и Эки-Булак... Но что это?! Нет ни аула, ни развалин, пустое место, откуда унесли, разобрав руины, все кирпичи, всю черепицу, каждый лист железа... Только старое кладбище в сторонке выглядит прежним. Зашел туда, побродил со стесненным сердцем, вглядываясь в могильные плиты: не нашел знакомых имен тех, кто писал письма, а после заботливо берег их в пыльной нише синей стены. И здесь на погрузившемся наполовину в землю замшелом надгробии увидал старинную, летящую арабскую вязь. Редко теперь сыщется в аулах Дагестана человек, умеющий читать и писать по-арабски. Пришлось скопировать эту узорную вязь и потом показать в Махачкале ученому-арабисту. Вот что, оказывается, было начертано на камне:

«Сия могила и множество лежащих могил укрыли останки погибших в день великого несчастья, землетрясения, случившегося (дальше стоит дата по хиджре – мусульман-

скому летоисчислению, в пересчете получилось что-то около 1832 года). Люди недоумевают: на кого ожесточился всевышний? На тех, кто уже покоится в этих могилах, или на оставшихся в живых без крова и очага, которых некому пожалеть и приютить? Смилуйся, всемогущий, пошли к нам быстро смерть!»

Трагическая надпись! Ледяное дыхание уже далекой беды коснулось нас с Имиром.

Нет, я не нашел знакомых имен на экибулакских могилах. И стало легче на сердце, словно боялся обнаружить имена своих родных...

Возрождающийся Эки-Булак мы с Имиром разыскали уже не в горах, а на равнине у железной дороги Москва – Махачкала, там, где катит пенные волны вечно молодой и страстный наш седой Каспий... Здесь рядом с палаточным городком, где стоят автолавки со всевозможными товарами и в киоске продают свежее пиво из дубовых бочек, кипит, хлопочет и беспокоится большая стройка. На помощь экибулакцам приехали строители Грузии, Азербайджана, Армении, русские, украинцы, кабардинцы... Разноязычная речь звучит вокруг... И пошел я от постройки к постройке, обращаясь с вопросами к горцам... Занятые неотложными делами, экибулакцы отвечали неохотно.

– Ты о какой это сакле? Той, что с краю? – переспросил худощавый небритый горец, прикидывая на глаз, как лучше положить камень в стену, которую строил.

– Да, да, которая была над обрывом... С полосатой крышей которая.

– Нет, я не о той... Думал, спрашиваешь о сакле, что была покрыта оцинкованным железом и на крыше торчали разные дымовики в виде птиц... Это была сакля парторга...

– А я говорю о сакле в северной стороне.

– Не знаю, дорогой! Не мешай. Время катится из-под ног, очень некогда. Ты прости... Эй, Меседу, давай-ка сюда раствор!

– Знаю я ту саклю... Старая была, сразу рухнула, – ог-

лянулся каменщик помоложе, наверное, младший брат моего собеседника.

– Чья это была сакля?

– Там жили Мирзаевы.

– Экибулакцы?

– Самые что ни на есть коренные.

– И большая семья?

– Сейчас скажу... – парень призадумался, хоть старший брат все время ворчал: брось, мол, да займись делом. – У них были бабушка, он, она и еще дочь. Вот и все...

– И у всех фамилия Мирзаевы?

– Да, дочь у них погибла под развалинами...

– А как ее звали?

– Хадижа. Кажется, в четвертом классе училась...

– А где они строятся? Вы не покажете?

– С удовольствием бы... А только их здесь нет. Уехали. Похоронили дочку и уехали...

– Куда?

– Вот этого не знаю. Эй, Абуталиб! – крикнул он, оборачиваясь. – Не знаешь, куда поехали Мирзаевы?

– Не знаю! – односложно откликнулся тот.

– А больше у них никто не жил?

– Ну, чего ты пристал к нам?! – возмутился, наконец, небритый горец. – Не мешай работать. Не видишь разве: строимся. Надоело жить в палатках... Вон там, в конторе, сколько угодно бездельников, ступай туда и спрашивай!

– Простите, где, вы говорите, контора?

– Бывают же назойливые люди! Да вон она, вон – палатка с красным флажком.

Что мне оставалось? Побрел в «контору», а там встретил все того же хмурого председателя сельсовета, который, конечно, меня давно позабыл. Пришлось напомнить.

– О чем ты, дорогой? Какие письма? – удивился председатель. – Какая сакля? Чего ты хочешь? Скажи коротко: в чем дело?

– В ауле есть семья Мирзаевых?

– Да.

– Они остались здесь?

– Нет.

– Уехали?

– Да.

– Куда, не знаете?

– Нет!

– У них дома, кроме Мирзаевых, жил еще кто-нибудь?

– Да.

– Простите, мне очень важно знать: кто?

– Молодая учительница.

– Как ее звали?

– Цуэри.

– Что?!

– Говорю, ее звали ЦУЭРИ.

– Вот о ней-то и нужно мне узнать!

– Что тебе нужно узнать? Как она сбежала в день своей свадьбы?

– Не может быть!

– Что «не может быть»?! Да, сбежала, опозорила жениха на весь свет, скрылась от родных...

– Откуда вы об этом знаете?

– Как откуда? Я обязан знать людей, живущих в моем сельсовете... Да и розыски были объявлены... Оттуда и знаю. Говорят, с кем-то любовь крутила…

– Она одна была?

– Да.

– К ней никто не приезжал?

– Нет. Постой: да, приезжал!

– Кто?!

– Да ее отец Абу-Муслим. Уважаемый человек! И такого отца опозорила! Давить таких еще в люльке...

– А что дальше? Он ее увез?

– Нет.

– Почему?

– Потому что не застал ее здесь. Это моя оплошность, поспешил, вызвал ее, сообщил, что разыскивают... Вот и скрылась.

– И вы больше ничего о них не слышали?

– Да, ты догадлив, парень! Больше о них ничего не слышал. Все. Других вопросов ко мне нет?

– Еще вопрос: вы не слышали о поэте Нури Саидове?

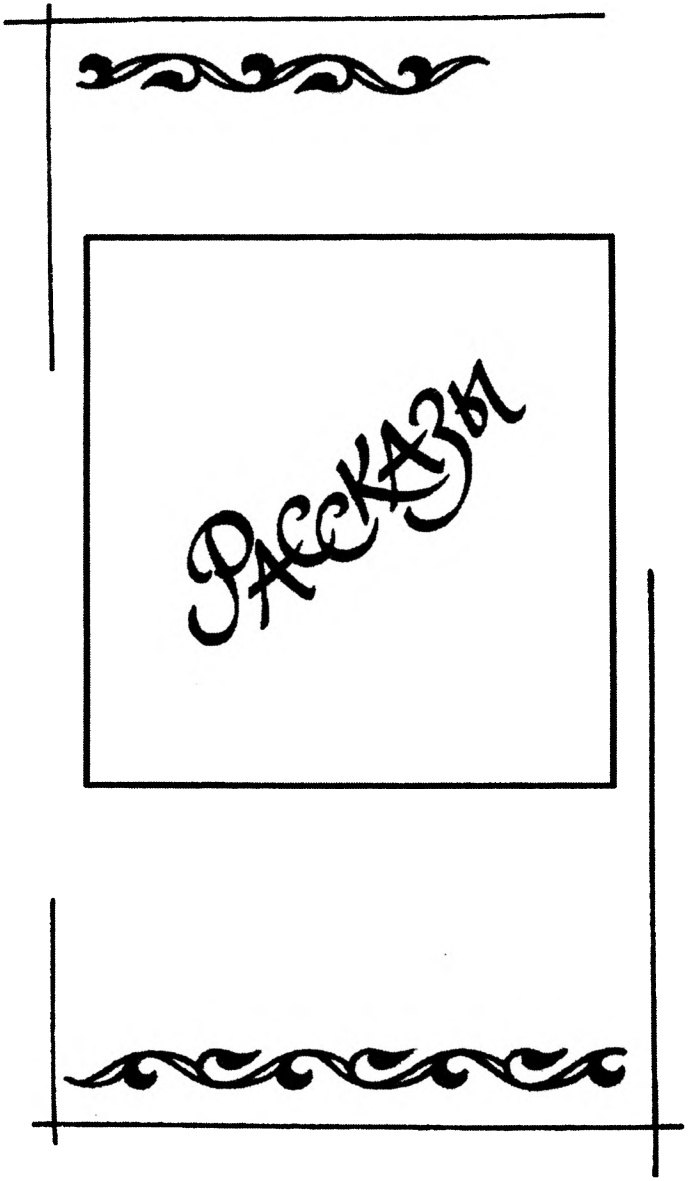
– Нет, такого не знаю. Все?

– Все.

– Ну и добро, прощайте!

– До свидания! – сказал я и вышел. И побрел к своей машине, отчего-то радуясь услышанному... Значит, все же она, Цуэри, девочка моя из Шилаги, нашла в себе силы бросить вызов всем во имя своей любви и свободы! Пожелаем же любящим, кто бы они ни были, счастья! Пусть в их очаге никогда не гаснет огонь любви, пусть тепло этого пламени согреет и тех, кому не пришлось испить чашу счастья. Пусть от их огня светлее станет на земле. Без любви человек – не человек. Как сказал поэт Нури Саидов:

Лучше вовсе не родиться,
Чем, родившись, умереть,
И при том всю жизнь дымиться:
Не любить и не гореть...


РАССКАЗЫ

ДЕВОЧКА И МОРЕ

Рассказ

Девочка Сельбы никогда не видела моря. Она выросла в горном ауле. Высоко-высоко там, где рождаются туманы, а белые облака цепляются за вершины, там, где нарушает тишину глухой шум реки, что течет в ущелье, там, где только орлы летают в бесконечно голубом просторе. Ей скоро исполнится семь лет, и в этом году она пойдет в школу, а моря она никогда не видела. Как-то раз отец пообещал ей показать море. С тех пор Сельбы во сне и наяву грезит морем. Ей очень хочется увидеть его, встретиться с ним. Очень-очень хочется. С тех пор она живет этой мечтой. И при встрече с соседскими детьми только и говорит об этом.

– Я скоро увижу море.

– Подумаешь, море… я видела его много раз, – с каким-то безразличием сказала играющая в куклы девочка.

– Ты видела море и так говоришь? – искренне удивилась Сельбы.

– Да, видела, – обернувшись и странно посмотрев на Сельбы, ответила девочка, играющая в куклы.

– Нет, ты не видела моря, если бы видела его, так бы не говорила. Море... – размечталась Сельбы, лежа на травке и подперев ручонками голову. – Море! Знаешь, что это такое?!

– А откуда ты знаешь, ты же не видела?

– Я про себя думаю о нем, – насупилась Сельбы и повернулась спиной к девочкам. – Море – это моя мечта.

– Нашла о чем мечтать! – возразила девочка с голубыми бантиками.

Дети перешептывались и посмеивались. И Сельбы, раздосадованная тем, что ее не понимают, чуждалась их. А иногда убегала за аул к роднику и долго-долго сидела на камне у ручейка, разговаривала с ним, делилась своей мечтой.

– Ты, светлый ручеек, наверное, слышал о море. Я скоро увижу море и подружусь с ним, если оно примет меня. Оно мне снилось. У моря большие голубые глаза, оно широкое-преширокое, у него добрая-предобрая душа. Правда, ручеек? Хочешь, я от тебя передам ему привет?

И ручеек ответил ей тихим журчанием, поблескивая серебром между камней и листьев лопуха.

Вот и настал долгожданный день.

– Ну что же, доченька, собирайся, завтра мы с тобой полетим к морю, – сказал отец. Сельбы от радости подпрыгнула и захлопала в ладоши. Всю ночь она не сомкнула глаз и все думала, думала о предстоящей встрече с морем. Утром она встала раньше всех. Умылась, перед зеркалом туго заплела косички, одела новую одежду. Сельбы стала нарядной и красивой, ведь она летит на свое первое свидание с морем. Мать спустилась во двор подоить корову, Сельбы подошла к полосатому котенку и серьезно сказала ему:

– Ты, Чита, не скучай без меня. Я сегодня улетаю с папой и сегодня же увижу море. Ты знаешь, что это такое…

Полосатый котенок стал ласкаться к девочке, стараясь обратить на себя внимание, показывая всем видом, что ему очень не хочется разлучаться с ней, как будто говорил: «Останься лучше со мной, не улетай, а может быть, возьмешь с собой меня?»

– Я бы взяла тебя с собой, но папочка не захочет. Ты потерпи, я совсем скоро вернусь, а когда вырасту, сама тебя возьму к морю. Ты же у меня умница. Не смотри на меня так грустно. Папа согласился меня взять, потому что я много раз просила, а теперь перед самым отъездом, если я попрошу и тебя взять, то боюсь, папа рассердится и оставит меня дома. А я так хочу увидеть море... Ты понимаешь меня? Ты же умница, Чита.

Отец пожал мамину руку. Отец суровый, он маму даже

не поцеловал, зато Сельбы обняла маму, за себя и за отца поцеловала, вытерла слезы. Она подумала: мама плачет, но плакала сама Сельбы – это были слезы радости. На окраине села она еще раз простилась с мамой, догнала папу и вложила свою пухленькую, маленькую ручонку в большую мозолистую руку отца.

До сельского аэродрома, где на шесте почему-то торчала одна полосатая штанина, раздуваемая ветром, они шли пешком.

Летчик проверил билеты, и они сели в самолет. Отец ее посадил у круглого окошка. Летчик торопился, потому что в ущелье спускался туман. Вскоре самолет взлетел. Все было ново и интересно для девочки. Она удивлялась, почему это папа ничем не восторгается. Самолет совершил круг над аулом, и Сельбы увидела свою саклю. Как интересно смотреть на все сверху, с неба, на аул, на горы, на вьющиеся ленты шоссейных дорог, которые соединяли аулы, будто бусы, нанизанные на нить.

Через полчаса они прилетели на городской аэродром. Вошли в красивое здание аэропорта, где было много народу, и папа купил ей мороженое. Сам есть мороженое не стал: наверное, взрослые не балуют себя сладостями. На машине они доехали до Каменной черепахи, где стояло несколько приземистых зданий животноводов. Здесь-то и работает брат отца, дядя Сельбы. Дядю не застали дома, он спозаранку поехал косить сено. Тогда отец, показав ей тропинку в высокой траве, сказал:

– Пойдешь по этой тропе, доченька, выйдешь к песчаным барханам, поднимешься на них и оттуда увидишь море. Только, смотри: в воду не лезь... Увижусь с братом – приду. Хорошо?

– Хорошо, папа, – сказала Сельбы, поцеловала его в колючую щеку.

Отец поспешил повидаться с братом, а Сельбы в трепетном волнении углубилась в заросли тамариска. Цветущие фиолетово-алые метелки окружили ее. Ботинки мешали девочке пробираться сквозь плотные, высокие заросли, она

сняла их, завязала шнурки, перекинула через плечо и побежала босиком по влажной земле. Тамариск наконец кончился, и она ступила на горячий песок бархана, вскарабкалась наверх и увидела его. Будто от испуга, а может от неожиданности, прищурила глаза и побежала по отлогому склону мелкого песка, проваливаясь в него по колено. Песок был чистый, мелкий, похожий на кукурузную муку; раскинув в охватившем ее необычном чувстве восторга руки, она спешила обнять море и широко открыла глаза. У ее ног ласково плескались тихие теплые волны, точь-в-точь как ее котенок. Взгляд девочки скользнул по волнам, к бескрайнему простору, где море и небо слились воедино. Огромный огненный диск солнца отражался в морской глади, отчего Сельбы зажмурилась. Девочка была в восторге: море поразило ее своей необъятностью и величием. Сельбы подняла ручку и, прищурясь, стала смотреть сквозь раздвинутые пальчики на это великое чудо природы. Неописуемый восторг овладел девочкой в эти минуты: она то замирала, затаив дыхание, с удивлением разинув ротик, то, широко открыв глаза, большие, бездонные, как море, смотрела вдаль. И в медовых зрачках ее глаз отражалось все море, все это необъятное, большое чудо. Охваченная радостью девочка играла с водой, смеялась, поднимая брызги над головой...

И вдруг ей показалось, что она делает больно морю, и медленно попятилась назад из воды и, ступая на горячий песок, огляделась. На берегу никого не было. Под синим небом с застывшими кое-где редкими белыми облаками она, девочка Сельбы, была одна и с ней одной о чем-то говорило огромное море.

– Здравствуй, море, – тихо прошептали ее губы, маленькое сердце девочки билось в волнении. – Вот я и пришла к тебе. Ты лучше, чем мне снилось, ты доброе и теплое. Здравствуй, здравствуй, море. Ты мне очень нравишься, море. Я люблю тебя! – восторженно крикнула девочка.

Она прислушивалась к нему, желая понять, о чем ей шепчут волны. Шаг за шагом пошла она по мелководью, и наблюдающему издали могло показаться, что она идет по

волнам и стремится к горизонту, туда, где большой диск солнца трепетал, отражаясь в морской глади, будто желая коснуться края неба.

И не слышала она, как звал ее отец с берега. Он бежал за ней, вошел в море, не снимая одежды, догнал ее и схватил за руку.

– Куда ты, доченька?

– Туда, папа, где солнце купается.

– Ты еще маленькая, Сельбы... а там глубоко...

И отец выбрался на берег. Она прижалась к отцу, крепко обняла и сквозь слезы радостно проговорила: «Спасибо, папочка, спасибо, я так рада, так рада... давай немного посидим на берегу, хорошо?» Отец согласился, и они сели на песок. И долго сидела девочка Сельбы, лаская взглядом море, пытаясь запомнить, запечатлеть эту красоту, постичь это величие, этот простор.

– Папа, – вдруг обратилась она к отцу, – ты знаешь, что такое море?

– Море, оно перед тобой, доченька.

– Но вот что это такое?

– Как что? Это вода, просто вода.

– Какая вода?

– Соленая ты хочешь сказать, доченька?

– Нет. Вода – это в стакане вода, в кувшине, в роднике, а эта…

– Эта… не знаю, доченька, не знаю, что ты хочешь сказать?

– Папочка, море – это же вода на свободе, да, да, папочка, видишь, какая здесь свобода для моря.

– Вода на свободе... – повторил отец и удивился. Никогда бы он не додумался сказать такое о море. И посмотрев на море впервые другими глазами, он обнял крепко дочь:

– А знаешь, ты права, Сельбы.

И долго девочка махала рукой, прощаясь с морем, и повторяла в душе: «Я еще приду к тебе, море. До свиданья!».

БЕГЛЕЦ

Рассказ

Сначала он бежал, будто его по пятам преследовали, чтобы четвертовать, хотя если бы на самом деле такое было, вряд ли бы он бежал. Нет, он отдал бы себя с превеликим удовольствием в руки тех, кто хотел его смерти. Что стоит ему теперь его жизнь, когда он потерял все самое дорогое... Вы спросите, а что может быть дороже жизни? Прошу вас, не торопитесь, выслушайте меня и вы поймете, что бывает порой дороже собственной жизни. Затем он замедлил шаг. Он ничего не видел вокруг себя, шел по бездорожью, где уже давно не ступала нога человека. Шел он не ощущая усталости, шел потерянный, осиротевший, спотыкаясь, сердце уже билось на пределе, ноги стали подкашиваться. Соленый пот обильно покрыл его небритое лицо, смешиваясь со слезами отчаяния и безысходности. Задыхаясь, облизывая обветренные губы, шел неизвестно куда и зачем. Какая-то неведомая сила гнала его прочь от тех мест, где, казалось, он обрел прочность на земле, где совсем недавно была у него сакля с железной кровлей, очаг в сакле и огонь в очаге, где были тепло огня и смех любимого сына, ему было пять лет, всего пять лет дорогому малышу Абдул-Азизу, была дома радость и любовь жены, милой и доброй Саидат. И вдруг ничего не стало... как понять, как уместить все это в сознании, за что такое, за какие прегрешения вынесен такой жестокий приговор?

Его одолевали чувства непоправимости происшедшего, беспредельны были муки от сознания того, что он бессилен что-либо сделать, вернуть, восстановить, помочь… Некому

пожаловаться и некого винить, чтоб получить хотя бы мнимое утешение от чувства долга, мести. Невозможно представить, чтобы это было на самом деле, что ничего уже нельзя изменить и никогда больше не вернется к нему его сын и жена. Трудно поверить в это. «Сын мой, Абдул-Азиз, моя надежда, жизнь моя, Абдул-Азиз, где ты, тебя я хочу обнять, хочу услышать твой восторженный смех, хочу взглянуть в твои глаза чистые, ясные, как родник, сын мой»... И ноги его подкосились, и упал он на мокрую траву измученный и изнуренный свалившимся на него горем. И долго лежал он, прижимаясь всем телом к земле, прося ее дать ему избавления от тяжких душевных мук. Гордое сердце горца сдалось, все его мужество и твердость вдруг покинули его. Хотя еще вчера никто подумать не смел бы, что у Али-Булата из рода Шандан может выступить хоть одна слеза. А вот случилась беда, неожиданная и непрошеная…

Слепая, беспощадная подземная сила вдруг, в мгновение разрушила все, все, что долго строилось с надеждой на долгие годы, все его радости, все надежды, все, чем он жил и дышал на этой, казавшейся незыблемой и прочной, земле, уничтожив любимую семью и очаг. О счастье, ты было подвластно мне, тебя взнуздал я и резвился в твоем теле и не всматривался в твое лицо, был беспечен... О, как ясно вижу твой образ теперь, счастье мое, теперь, когда тебя не стало. И когда шел разговор меж людьми, бывало говорил, а кто его видел в лицо – это самое счастье, не верил... а ведь, оказывается, я был счастливым человеком на земле. Был самым счастливым, не ведая о том, а теперь самый несчастный в цепких когтях сознания, которое мучительно терзает мою душу.

Разве легче на душе от того, что беда коснулась не его одного, а многих в тот роковой час, когда содрогнулась земля, будто зверь, которого проткнули кинжалом во сне... И как этот самый Али-Булат из рода Шандан укоряет себя, что не оказался рядом с семьей, когда случилось непоправимое, лучше бы он был погребен в развалинах, чем они: чем сынишка-несмышленыш и покорная жена, лучше бы

вместе с ними погибнуть, коль суждено было им такое. «Суждено» – как это понимать, разве такое бывает суждено человеку? Да такому лучше вовсе не родиться... Картина ужаса представлялась ему наяву, он видел глаза сына, Абдул-Азиза, единственного и любимого сына, глаза его матери, недоумевающие, испуганные, зовущие о помощи... И в объятиях жена и сын были погребены в развалинах дома, который он своими руками строил... О, если бы знал, если бы он мог предвидеть, что строит могилу своей семье собственными руками, разве строил, разве бы выбирал камни побольше и попрочнее, а балки потверже, разве бы.., если бы знал, построил бы его из соломы и камыша, чтоб и царапины на них не было, пухом бы облицевал.., если бы... И что же могли делать в тот роковой миг жена и сын? Саидат, наверняка, готовила добрый ужин, а сын, лежа на ковре, высунув язык, как он обычно делал, усердно рисовал домик с дымоходом на бумаге, чтоб показать потом папе... И в это самое время задрожала земля, и что мог понимать малыш? Он испугался только тогда, когда мать схватила его, чтобы выбежать из дома, но беда настигла их на пороге. Бедные мои, бедные, бедные...

Бросился он в тот роковой миг к своему дому, как и все, по содрогающейся земле, и ему показалось, что он слышит голос сына:

«Папа, любимый, спаси нас, папа, нам с мамой очень плохо, папа!» А он не спас их, не смог спасти, они погибли... они были мертвы когда он извлек их безжизненные тела в объятии из-под развалин дома... Он смотрел в глаза любимого сына, единственного сына, дорогого Абдул-Азиза, в которых отразился весь ужас последних мгновений жизни ребенка. Он сам вырыл им могилу, сам сшил саван, разве мог он предположить, что ему придется собственными руками сшить саван сыну? Сам выкупал их и похоронил... А теперь бежал прочь, бежал, но куда? От кого? Когда горе совсем рядом, с ним бежит и дышит, живет в нем, когда оно у него в сердце... От кого он бежит, от людей, охваченных, как и он, горем? Бежит туда, где некогда су-

ществовали и ныне заброшены горцами овсяные поля, любимое лакомство медведей, туда, где в изобилии земляника, где ореховые раскидистые деревья, плоды которых тоже любят медведи. И упал он на плато, на то самое, которое раскололось, растрескалось, сдвинулось с места... Некому его утешить, и горе сжимает сердце...

И услышал он рядом стон и визг, да, да, это не он стонал, и не он визжал, как ребенок. Он прислушался, его кто-то хватал и тянул за полу плаща. Он обернулся и увидел перед собой зверя; испугавшись, он крикнул: «Прочь, прочь от меня!» и замахал руками, хватая камень, чтобы запустить в него. Никогда он не видел медведя на воле, и вот теперь видит перед собой. Зверь, испугавшись, отошел и стал глядеть на него молящим взором маленьких круглых карих глаз... Это был медвежонок, он будто просил его о чем-то. Медвежонок оборачивался все время куда-то в сторону и вновь бросал взгляд на человека. Он попытался вновь приблизиться к Али-Булату, будто хотел сказать: «Почему ты не понимаешь меня, я прошу тебя, очень прошу, идем со мной, идем со мной, идем». Страх исчез, человек сел, медвежонок подобрался к нему и ткнул мордой в плечо, потянул его... Он тащил его так, как это делает собака, зачем? Глаза медвежонка напомнили ему выразительные глаза сына. Человек встал. Тогда медвежонок побежал в ту сторону, куда все время оглядывался, призывая его, человека, следовать за ним... И человек пошел, пошел потому, что в голову лезли всякие мысли: а вдруг это его сын превратился в медвежонка и зовет его. В таком большом горе человек может стать суеверным, тем более, когда нарушено понятие прочности земли, на которой он стоит. У горцев существует поверье: сыновья не умирают, пока живы отцы, их души превращаются в птиц и зверей. Разве не может человек, охваченный неутешительным горем, допустить такое?

Лохматый, почти бесхвостый медвежонок бежал, смешно подбрасывая задние лапы, бежал, оглядываясь, идет ли за ним человек, бежал, будто просил спешить. И

человек ускорил шаг... Уже бежал Али-Булат, и ему казалось, что он во сне и пытается проснуться, хотел, чтобы все исчезло, хотел проснуться и облегченно вздохнуть. Но это был не сон. Ему стало страшно... Он бежал за зверем и не знал, куда приведет его малыш... Медвежонок бежал точь-в-точь, как и его Абдул-Азиз, когда он на четвереньках бегал по комнате озорничая... Что только не придет в голову в таком отчаянии, в таком горе человеку – разве человек может обернуться в медведя, а что если может и такое происходит с ним, с Али-Булатом, из-за состраданья – ведь велика тоска по привычной жизни, которую уже не вернуть...

Зверек с глазенками-пуговицами привел его к трещине. После землетрясения в скале образовалась впадина, и медвежонок, оглянувшись на человека, спустился в яму. Там в неестественной позе лежала прижатая валуном его мать – медведица. Малыш тихонько издавал жалобные звуки, звал мать, но тщетно. Человек подошел, осмотрел лежавшую медведицу, понял, что она была мертва. Медвежонок ласкался, лизал морду матери, будто хотел сказать: «Вот я привел человека, мама, он поможет тебе...» И медвежонок лизнул руку человека, выражая благодарность и надежду. Но что мог сделать человек? Как он мог ему помочь, и он, будто оправдываясь в своем бессилии, проговорил: «Ну что ты, бедняга, ну что ты, чем я могу тебе помочь, осиротел ты, как и я, не проснется, не отзовется больше она, успокойся, утешься. Я бессилен что-либо сделать... Уйдем отсюда, уйдем!» Человек выбрался из трещины, а медвежонок застонал, как может стонать человек в большом горе, захныкал, заерзал и с досадой посмотрел на человека, на которого у него была вся надежда, и не отошел от матери. Человек увидел в глазах медвежонка слезы, которые выражали немую боль. И показались они Али-Булату печальными и тоскливыми. «Прощай, дружок, прощай, не вини меня, не мог я тебе помочь, и мне никто не поможет. Никто на свете, никто не вернет мне сына и мою Саидат, никто не вернет. Прости меня, дружок, прости...» И человек стал удаляться. Он услышал за собой тоскливый и протяж-

ный рев плачущего медвежонка. Боль великого горя, видимо, одинаково охватила человека и животное. Медвежонок прощался с матерью. Кто видел, как плачет зверь в горе, кто слышал? Это видел и слышал Али-Булат. Что еще суждено увидеть и испытать ему? Он ускорил шаг, шел еще больше удрученный и объятый тоской. То, что он увидел в расщелине, еще больше разворошило в нем боль неутешного горя. Вскоре услышал он за собой сопящие звуки, оглянувшись, увидел: за ним бежал медвежонок. Человек остановился и присел.

Наступали сумерки, солнце, похожее на прищуренный, залитый кровью глаз, глядело с горизонта грустно и печально. Медвежонок подошел к человеку и положил свою голову ему на колено, маленький, ему хотелось ласки, хотелось утешения, и человек погладил его жесткую, грубую шерсть. В горе нашли друг друга, горе объединило их. «Ну что, дружок, трудно тебе, я понимаю, не легко и мне», – вслух проговорил человек. «Вот мы с тобой одни и нашли же друг друга в недобрый час». Человеку показалось, что он рад такому другу, что ему стало легче на душе: – Да, в недобрый час, а будь встреча в иное время, может быть, я тебя и не понял бы… – Медвежонок смотрел ему в лицо, будто слушал и понимал, о чем говорит человек. – А ты смышленый, я даже не думал, что зверь может быть таким... Ну что же, дружок, спасибо тебе, что составил мне компанию, спасибо... Что же мы с тобой будем делать? Одни мы остались с тобой на всем белом свете. Одинокие мы и вряд ли нас поймут люди, у них свои заботы и свои тревоги, да и мне, откровенно сказать, не хочется сеять свое горе повсюду, всходы будут неутешительные... Ну, что молчишь, дружок, вот если бы ты заговорил по-человечьи – не дано тебе, а может быть это и лучше! Ну что же, мы попрощаемся с тобой, или ты пойдешь со мной? А куда мы с тобой пойдем, впереди ночь, куда-нибудь да надо идти, где-нибудь, может, найдем пристанище. Останешься здесь или пойдешь со мной? И вдруг человеку показалось, будто медвежонок согласно кивнул головой и обрадовался: «Странно, ты понимаешь меня! Вот чудо! Ну что

же, пошли». Человек встал и пошел, и медвежонок побрел за ним, будто говоря: «А что, я один, маленький еще, останусь здесь, мне страшно одному, мамы у меня теперь нет, сирота я, возьми меня лучше с собой, возьми, человек, возьми». – «Пошли, дружок, там, где найдется мне место, и тебе хватит, пошли!»

Странное дело: какое-то облегчение вселилось в душу беглеца, часть горя забрал этот зверек, забота и думы о нем, как быть и что с ним делать, наполняли человека. Зачем человеку медвежонок? И человек посмотрел на своего спутника. «Ты что же это думаешь, дружок, разве же я могу заменить тебе кормилицу, я даже не знаю, чем ты питаешься, что ты любишь, вот сын мой ничего не любил, я, кажется, однажды даже прикрикнул на него за то, что он плохо ел, и раздосадовался, что повысил на него голос. Сын мой обидчивый, сразу слезы брызнули из глаз.., а потом что только не делал, чтоб искупить свою вину, чтобы он простил меня, он-то простил, забыл и уже помирился со мной, но вот я не мог успокоиться, упрекал себя, что накричал на него, и сейчас мне больно об этом вспоминать. А знаешь, какая добрая и славная была мать моего сына, моя Саидат? Я ее сглазил, хвалил, понимаешь, не вслух, это не положено, а в душе радовался и гордился ею...» Вдруг все, что связывало его с семьей, всплыло в памяти. «Она у меня врачом работала, институт закончила, и перед ней я был никто, я даже десятилетку не закончил, глупый был, бросил школу и каменщиком заделался. До встречи с ней строил новые сакли в сирагинских аулах, хорошие деньги зарабатывал, не шутка ведь в день пятнадцать рублей, не считая того, что хозяин еще должен был кормить и поить меня, и ночлег предоставить, и если считать ежемесячно, то я получал чуть ли не столько, сколько профессор... Меня уважали потому, что строил на совесть, род наш такой: отец мой был каменщиком и дед, и все предки... Но вот встретил я ее, студентку, в столичном городе училась, приехала на побывку к родителям в аул Киша, что за двурогой скалой. Отец ее был Хаджи-Махмуд, кто его не знает в этих горах!

Он решил перестроить саклю и, хотя не очень охотно я нанимался к нему на работу, сумел все-таки переманить меня к себе, он сыграл на моих слабых струнах: рубль добавил против того, что давал мне предыдущий хозяин. Я понимал, что он знает, на что меня можно купить, денег я хотел немного накопить, а кто их не любит, и я вот поддался.

Я клал уже арочные камни над окном, когда к старому дому хозяина подкатила машина, и вышла она с маленьким чемоданом в руке, легкая, стройная в цветастом платочке – это была Саидат. Она взглянула на меня.., бывает так, дружок, оказывается, бывает, что достаточно одного взгляда, чтобы многое изменить в человеке, и я почему-то сказал себе тогда же, что она будет моей женой. И как бы ни артачился ее отец, мол, не пара ты ей, что она, мол, засватана за другого, мол, скоро он со службы вернется, но нет, Саидат отреклась от всего и вышла за меня. Потом Саидат получила распределение, и мы перебрались сюда, а мне пришлось обрести другую профессию.

Механизатором стал, специальные курсы окончил, это все равно что кузнец, кует сам всякие детали, что делать, запчастей ведь нет, их по блату только можно достать, а какой у меня блат, жизнь какая-то суетная, непонятная... Куда смотрят ответственные, зачем они дают возможность постыдным делом заниматься..? Чтоб получить для колхозной машины мотор, тушу барана погрузили кому-то из сельхозтехники. Куда бы ни шло, если просто кунаку отвезли, а то так, задаром... Если вдуматься, дружок, много еще несправедливого, и виноваты в этом сами люди... Нечего власть-то нашу винить, она в истоках своих честная и справедливая... Вот и ковал я в кузне эти детали, и мне занятие такое нравилось... сына своего хотел этому делу научить, здоровое дело, как-никак с огнем да с металлом, но не стало его, сына моего, не стало и моей Саидат. Осиротел я и вот тебя встретил, такого же горемычного, как и я, хотя горе-то общее у нас, мы ведь разные: у тебя жизнь звериная, а у меня – человечья, как мы будем жить с тобой..? Чего ты скулишь, тяжело тебе, хочешь поведать мне о себе, но что можешь сказать, ты еще

мал, жизни ты не видел, родился, видно, в берлоге, весной на свет божий выбрался и вот несчастье...

Вдалеке раздались перекаты грома, небо мрачнело, как же быть ему ясным, когда на земле такое творится. Видно, будет дождь, и ветер не весенний, холодный. Да, правы видно те, которые утверждают, что землетрясение сопровождается ливнями, ураганами и огнем. Вдали человек приметил огни аула. «Ну что же, дружок, может, найдется там добрая душа и нас приютит? Хотя, может быть, нам лучше расстаться с тобой». – Он остановился и обнял медвежонка, который уткнулся мокрым носом в щеку человеку. «Да ты как-никак дрожишь, дружок, страшно тебе, да и мне не сладко...»

И Али-Булат постучался в ворота крайней сакли, ему открыл огромный человек в одних подштанниках и тапочках, он был изрядно волосат. Человек был угрюмый и очень сильно смахивал на лохматого и неуклюжего медведя.

– Кого еще несет к нам ветер?

– Гостя примите?

– Смотря кого, гости разные бывают. Что-то отец мой не завещал мне перед всяким гостем двери открывать. Откуда?

– Горем гонимый.

– Какое там еще горе, вот у меня горе. Небось и ты с женой поссорился?

– Нет, не с кем мне теперь...

– Счастливый ты человек, а вот меня моя стерва в одних подштанниках выпихнула за дверь... Но ничего, она должна идти на профсоюзное собрание, так я ее тоже запер снаружи, она там, а я здесь...

– Мы вам не помешаем, переночуем и завтра уйдем, – сказал Али-Булат.

– Входи! – и огромный человек пропустил через порог гостя и вдруг заметил радом с ним зверя, удивился: – А это что такое?

– Тоже обездоленный... По дороге встретил, привязался.

– А ты гони его прочь... Пошел вон! – и он пнул зверя ногой, медвежонок спрятался за Али-Булатом.

– Не надо гнать!

– Как не надо, почему не надо, небось бешеный какой...

– Ему некуда идти, сирота...

– Слушай, ружье у меня ржавеет на стене, дай я его застрелю, давно такого удовольствия не получал, а, давай...

– Нет, не дам, хозяин...

– И ты хочешь, чтоб я принял в гости вас обоих?

– Да.

– Смешной человек, ха-ха-ха, может быть, ты попросишь еще, чтоб я ему постель постелил?

– Нет, не попрошу! Прощайте!

– Прощай! Странные люди, или я сумасшедший, или они все с ума посходили. Смотри, не возвращайся, все равно не приму, да и некуда вас принять, сам видишь, жена выставила, как следует поесть не успел, домой не пускает. И зачем я только на ней женился? Да, да, меня пьяного женили на ней... Эй, да разве человек и зверь вместе могут жить, тебя все равно никто не приютит... Слышишь ты…

И человек, быть может впервые, в этих местах не был принят в гости, отошел от ворот, за ним заковылял и косолапый медвежонок. Долго за собой они слышали голос неприветливого хозяина, который будто оправдывался за свой поступок. Человек и медвежонок ушли в ночь...

Недавно в одном ауле было удивительное зрелище: медведь плясал под мелодию четырехструнного чугура, на котором виртуозно играл человек, он и боролся с человеком, соблюдая все правила борьбы, он и подражал разным людям, как великий артист. Скажет человек: «Ну-ка, Дружок, покажи, каким бывает наш председатель, когда он сердитый?» И медведь хватает с кого-нибудь папаху, надвинет на глаза и, подбоченясь, состроит этакую гримасу. Спросит человек, как ходит наш бухгалтер, и медведь, прихрамывая на одну ногу, заковыляет по кругу, или точь-в-точь, очень похоже, продемонстрирует позу сельского

мельника, когда он хватил лишнего. Грохнет стоголосый смех детей, эхом перекатываясь в ущельях. Смеются люди, только не весело ни человеку, ни медведю. И сколько еще аулов придется обойти скитальцам, чтоб радовать и веселить людей, особенно детей, в смехе которых слышит человек отзвук голоса своего сына, единственного сына, дорогого Абдул-Азиза.

У МАВЗОЛЕЯ ГУР-ЭМИР

Рассказ

Жить без обмана и лжи
Учили его отец и мать,
Родные горы, облака,
Вера предков и память...
А за порогом иная жизнь,
Иной уклад, иные страсти,
И жизнь объявила ему,
Как удар в спину: «Мат!»

Цандалай

1

Возвращался он домой, как всегда, привычной тропой, мимо мавзолея Гур-Эмир. Как говорится, закрой глаза – ноги сами понесут домой. Не чутьем, а скорее затылком почувствовал он, что за ним кто-то следит. Предчувствие не обмануло его, он остановился. Не оглядываясь, достал из кармана сигарету и блестящую, плоскую гонконгскую зажигалку. Поймал себя на мысли, что позавчера он закурил именно на этом месте. Тогда он не придал этому значения, и вдруг догадка обожгла его. Выходит, за ним давно следят! «Да, это неспроста», – решил он и не спеша закурил, глубоко затянулся, выпустил с удовольствием дым из ноздрей и побрел дальше. «Надо убедиться и узнать, – подумал Заурбек, сын Алибека, из рода Мисри, – кто за мной следит и что ему нужно, я – не из робкого десятка». Он завернул на безлюдную улицу, где по обе стороны не стояли, а почти лежали приземистые, глинобитные, покосившиеся, с плоскими крышами дома, будто придавленные к земле обычным в этих местах невыносимым зноем. Дойдя до середины улицы, прошмыгнул в покосившуюся подворотню и стал ждать – если кто, в самом деле, преследует его, то непременно пройдет мимо. Ждать пришлось недолго. Вот поползла тень, и тотчас появился мужчина средних лет, плот-

ного телосложения, в тюбетейке, в полосатом халате поверх костюма. Остановился, растерянно огляделся, Заурбек подкрался к нему сзади и положил руку на плечо.

– Вы, товарищ, кого-то ищите? – спросил он.

– Да. Ищу, – растерявшись, сказал незнакомец, будто его уличили в чем-то непристойном, отчего его смуглое лицо потемнело еще больше.

– Не меня ли?

– Вас, – ответил он виновато, вытирая огромным, похожим на полотенце, платком вспотевшее лицо.

– И что же вам нужно от меня, от простого работника комбината бытового обслуживания?

– Лучше бы нам пройтись, у стен, как говорят, есть уши.

– А мне-то что до этих ушей?

– Вам-то ничего, а вот мне... Пройдемте до арыка, к вон тем обрезанным тутовым деревьям...

– Пошли, хотя лучше бы послать тебя ко всем чертям собачьим. Сколько же дней ты следил за мной? – не сдержался Заурбек, невольно перейдя на ты.

– Неделю.

– Зачем?

– Разговор есть.

– Всего лишь разговор?

– Дело и очень щепетильное.

– Кто ты?

Дойдя до тихо журчащего под тутовыми деревьями арыка, незнакомец протянул Заурбеку советский паспорт. Макушки этих шелковиц показались незнакомцу похожими на огромные человеческие кулаки, выброшенные в ярости из-под земли. Заурбек внимательно стал рассматривать документ. Несколько раз перевел взгляд на незнакомца, сверяя схожесть фото и владельца. В паспорте значилось Хамадаров Исай Ирганаевич, по национальности еврей, родился, как было отмечено, после войны в городе Дербенте. Заурбек еще раз окинул его любопытствующим взглядом с головы до ног и вернул документ.

– Выходит, мы земляки? – заметил он.

– Да, родился я в Дербенте, жил около Джума-мечети. Ты думал, я плохой человек?

– Всякое бывает...

– Да, ты прав, всякое в жизни бывает.

– И зачем же я тебе понадобился? – Заурбек не любил, когда кто-то из незнакомых сетовал на жизнь, хотя сам никогда не скрывал своего недовольства ею.

– Понимаешь, земляк, после двух лет мытарства, – глубоко вздохнув, проговорил Исай, – наконец я получил визу на выезд в Израиль.

– Не хочешь ли ты и меня взять с собой? – усмехнулся Заурбек.

– Нет, не хочу.

– Почему?

– Потому что ты, я знаю, не покинешь родных мест.

– Дальше?

– Я знаю, что ты кубачинец.

– Откуда же тебе это известно?

– Был у меня один знакомый из твоего аула.

– А где же он?

– Может, ты слышал? Его арестовали в аэропорту Нукуса, сейчас он в заключении.

– За что же его посадили?

– Из приисков незаконным путем к нему, оказывается, доставляли золотой песок. Он извлекал из него золото и часть оставлял себе.

– Допустим...

– Надо быть очень осторожным, – оглядываясь, загадочно молвил Исай.

– Я такими делами не занимаюсь, – на всякий случай сказал Заурбек. А вдруг у него в кармане подслушивающее устройство?

– Сейчас во всех аэропортах – Ташкента, Шевченко, Нукуса, Баку... владельцы паспортов с отметкой Кубачи находятся под особым контролем.

– Зачем ты мне это говоришь?

– Просто, чтобы ты знал... Зла я тебе не желаю.

– И ради этого ты целую неделю преследовал меня?

– Нет. Твой земляк посоветовал мне обратиться к тебе.

– Именно ко мне?

– Да, он сказал, что только ты сможешь мне помочь.

– И чем же я могу быть тебе полезным? – полюбопытствовал Заурбек. Его все-таки не покидала мысль: «А вдруг это стукач, непорядочный человек?».

– Понимаешь...– замешкался немного Исай и, после некоторой напряженной паузы, с болью добавил: – Я же уезжаю из этой страны насовсем.

– На землю обетованную?

– Может быть. Стремился всей душой получить визу, шел напролом, а вот получил ее и... грустно что-то стало. Продал дом, всю недвижимое имущество, машину, одним словом, все, что у меня было… И за все, что выручил, приобрел пять камней. Ты понимаешь, о чем я говорю?

– Допустим...

– Вот и прошу тебя...

– О чем?

– Разве я не сказал? Ах да, прости! Ум за разум заходит, помоги мне, посоветуй, как их благополучно провести через таможню туда, в Израиль... И тогда один из этих камней величиной с ноготь мизинца будет твоим... понимаешь?

– С ноготь? – Заурбек посмотрел на свой мизинец, сделал вид, что удивился, хорошо понимая, что это такое.

– Да.

– Приятно, но кусается... – Заурбека охватила тревога: а вдруг – провокация. – Ошибка вышла, Исай, тот, кто посоветовал тебе обратиться ко мне, просто идиот.

– Почему? – удивился Исай.

– Ты слышал о такой басне? Пустился, говорят, голодный кот за мышонком, да не смог его поймать. Прыткий оказался мышонок – нырнул в нору. Облизываясь, кот говорит: «Ты смотри, какой ловкий и быстрый, никогда не встречал таких, тебе не долго чемпионом стать... Слушай,

мышонок, меня охватило любопытство, хочу еще раз на тебя посмотреть, сделай одолжение, вылези из норы, чего тебе стоит, и пробеги до другой норы... Знаешь, что я тебе дам за это?» – «Что?» – писклявым голоском спрашивает мышонок. «Я тебе дам целую мерку отборного ячменя». Усмехнулся мышонок и говорит: «Дело пустяковое, а плата чересчур велика, такое без умысла не бывает». Кумекаешь? – обратился Заурбек к Исаю.

– Ты не веришь мне?

– Верю, дорогой, верю... Спасибо тебе за веселую беседу. Такими делами я не занимаюсь. Кроме того, ты просто ошибся, я вовсе не кубачинец.

– Зачем же так? – расстроился Исай.

– Доброго пути тебе. Ты меня не знаешь, я – тебя. Ты мне ничего не говорил, я тебе. Прощай!

Заурбек поспешил удалиться, оставив крайне озадаченного и растерянного еврея. Он заподозрил неладное. Ведь столько развелось махровых осведомителей, стукачей, начетчиков. Сын следит за отцом, отец за братом, брат за соседом. А в аэропорту Нукуса земляк попался из-за своей неосторожности и самонадеянности. Недаром говорят: береженного бог бережет.

2

Заурбек солгал еврею, когда сказал, что он не кубачинец. Он истинный кубачинец, родился в далеком от Самарканда ауле златокузнецов, где издревле жители имеют дело с благородным металлом и драгоценными камнями. Однако, к глубокому сожалению, последние десятилетия в стране повсюду запущены уникальные народные промыслы, перестали у нас ценить бесценное, до революции кубачинцы, как говорят, изгоняли из своей среды тех, кто не имел дела с золотом и серебром. А в наше время Кубачинский комбинат художественных изделий всякие бездарные министерства посадили на мельхиор и рога. Как выразился Алибек, отец Заурбека: «Сколько мы понаделали этих рогов, что хватит и

нашим правнукам, дрянь дело, мы забываем такую технику, как эмаль, филигрань, инкрустация... не говоря уже о резьбе по слоновой кости. А самое страшное то, что мы теряем уважение к себе. Гибнет древнее наше искусство...»

Вы можете спросить, как же мастер Заурбек, сын устара, оказался вдруг в заморском Самарканде? Так же как и многие другие горцы из Дагестана, кому на своей земле осточертело делать то, что не по душе, бездельничать, получать нищенскую зарплату за буйволиный труд. Заурбек давно жаловался: «Не дают человеку нормально жить, показать, на что он способен, никому не нужны ни твой энтузиазм, ни твоя инициатива – все псу под хвост. Нет житья от этих наглых чиновников, так и прет от них хамством, ложь и обман царят повсюду. Слово у них расходится с делом. Веры не стало. Никто ничему не верит. И долго ли будут держать людей в безропотном послушании, не дай бог, чтобы человек стал самостоятельно думать, выражать свои собственные мысли». Не выдержав подобного насилия, – как он говорил, – Заурбек нашел «политическое убежище» в Средней Азии, за Хазарским морем.

Люди в горах рождаются совестливыми, честными, родители их воспитывают и учат быть благородными и добропорядочными, а вот сталкиваясь с окружающей жестокой и несправедливой действительностью, они надламываются, бездушие доводит их до отчаяния.

Вот и с домостроением отца в ауле пришлось претерпеть немало неприятностей. Самое обидное для Алибека было то, что украли его любимую собаку, великолепная породистая была собака, так называемая русская борзая. Долго переживал он эту потерю.

У Алибека, отца Заурбека, было еще семь сыновей. В расчете на них он построил дом, как говорили зубоскалы, «больше, чем здание средней школы». Кто-то из завистников пожаловался, и вершители людских судеб обошлись немилосердно: отняли у многодетного отца дом из пиленого дербентского камня. На вопрос, почему он такой большой дом построил, Алибек отвечал: «В воровстве или в

присвоении социмущества вы меня не уличили, были деньги – построил. У меня семеро сыновей, можете вы это понять? У каждого должна быть семья, а в семье пусть в среднем будет по четыре ребенка. Каждому по комнате надо? Надо. Я же не увезу этом дом за границу. И в могилу его не прихвачу. Кроме того, не стало никакой надежды, что правительство наше обеспечит моих детей квартирами». Нет, не послушали его вершители судеб, обвинили даже в посягательстве на авторитет правительства. Конфисковали и передали дом на баланс кубачинского поселкового совета. А работники поссовета развели руками: «Только этого нам не хватало». Шли годы. Вначале Алибек стал было жаловаться во все инстанции, но безуспешно. Куда бы он ни написал, все письма возвращались «на рассмотрение» к тем самым бездушным чиновникам, на которых он сетовал. После Алибек поостыл, махнул рукой. Говорят, печали и радости чередуются в жизни человека. Дни печали вдруг для Алибека сменились радостными. Летним днем на сенокосе под горой Кайдешь, когда он уставший отдыхал в тени стройного тополя, ткнулся в его лицо мордочкой зверек, открыл он глаза и увидел свою собаку... если бы все богатства мира ему подарили, он бы так не обрадовался. Обнял он собаку, а на ней трехметровая железная цепь... Вырвалась от вора, мошенника и вернулась к хозяину, к доброму человеку... В этот день только и повторял Алибек слово: «Вернулась». А без должного присмотра большой дом его вскоре стал ветшать и рушиться. Содержать такой дом не было средств у поселкового совета, который, в свою очередь, не раз обращался в район с просьбой списать эту обузу с них, просил вернуть хозяину, пусть, мол, достраивает и сам содержит. Наконец, чиновники вынуждены были вызвать Алибека в райцентр:

– Вот постановление...– грубо протянули ему бумажку, будто он перед ними в неоплатном долгу.

– Что за постановление? – безразлично спросил Алибек.

– Мы возвращаем тебе твой дом, – объявил вершитель судеб, будто великое одолжение сделал.

– Зачем?

– Что, не хочешь? – брови чиновника полезли на лоб.

– Не хочу, – заявил в сердцах Алибек.

– Почему? Ты же во все инстанции жаловался.

– Душа остыла, и я распрощался с этим добром.

– Возьми.

– Нет.

– Возьмешь, – пригрозил пальцем начальник. – Не таких уламывали.

– Не возьму.

– Заставим тебя взять обратно свой дом, – рассвирепел вершитель судеб.

– Не заставите, нет такого закона, – заупрямился Алибек.

– Хочешь знать, кто пожаловался на тебя? – ехидно спросил начальник.

– Не хочу, – проговорил Алибек.

– Почему? – все больше спесивым становился чиновник.

– Потому что знаю кто.

– Кто? Скажи.

– Мангуш, мой сосед.

– Смотри, оказывается знаешь. И ты терпишь его.

– А что делать? Убить его? Зачем? Беды не оберешься. Вот что, начальник, отдайте этот дом Мангушу, пусть у него болит голова, что с домом делать.

Так и было сделано. Мангуш взял дом себе. Он был предупрежден, чтобы дом как следует отремонтировал и содержал в полном порядке. И представьте себе, поднатужился Мангуш... пошли скандалы с детьми и женой, с родственниками, вскоре жена потребовала развода. У бедняги Мангуша силенок не хватило, и он на этом деле окончательно разорился, как говорят горцы, на голове папахи не стало. А сельчане как могли потешались над ним, они-то умеют это делать со сладострастием и сарказмом. Вскоре

поползли слухи, что Мангуш руки на себя наложил. «Нет, – говорил образно Алибек, – не дают человеку шкуру обновить. Что за страна такая непонятная? Неужели ей не интересно, чтобы ее гражданин жил нормально и в нормальных условиях. Нельзя же существовать одной идеей, где же это «бытие определяет сознание», неужели непонятно – бедное бытие зиждется на слабом сознании. Уму непостижимо. Страна сама не помогает, а если человек сам становится на ноги, она его – на колени, вместо того, чтобы сказать: «Молодец!» – беспомощно разводил он руками. – Правду говорят, нет пророка в своем отечестве. И смеялся же Алибек с сыновьями, прочитав как-то в газете информацию о том, что английский ученый изобрел метод накладывания на любой металл любого слоя золота, а предки Алибека делали такое еще лет четыреста тому назад. Сидел некогда на годекане удрученный Алибек и задумчиво говорил:

– Да, именно в таком положении, как я сейчас, воскликнул мой друг: «Быть или не быть, вот в чем вопрос!»

– Это же Шекспир, разве он был твоим другом? – удивился сосед.

– Да, и самым близким...

– Вах, что этот человек говорит, ведь Шекспир четыреста лет как умер.

– Не может быть?! – воскликнул Алибек.

– Спроси у людей.

– Сколько лет ты сказал?

– Четыреста.

– Да, как быстро годы летят... – невозмутимо вздохнул Алибек.

Веселый народ кубачинцы, не унывают ни при каких обстоятельствах, говорят же – олимпийское спокойствие. Да, аул Кубачи расположен на расстоянии ста километров от древнего Дербента, на альпийских высотах. По пути в Кубачи есть село Маджалис, районный центр Кайтага. В свое время это селение объединяло три аула – даргинский, еврейский, кумыкский. Алибек дружил с тремя братьями из еврейского магала и звали их Шавадия, Хамадия, Мамадия.

Предприимчивые и гостеприимные люди, часто навещали они своих кунаков в мастеровых аулах, кузнецов-оружейников. Да и ущелье, что за древним трисанчинским караван-сараем по пути в Кубачи, не случайно называется еврейским. Нынче в Маджалисе мало кто остался из евреев, многие уехали в Израиль. Как-то раз попала мне на глаза информация АПН, говорящая о том, что автомат, изобретенный в Израиле, называется «Уцци» (УЗИ), а выпускаемый дочерней фирмой в ЮАР – «Руцци» (Рузи). Случайно эти названия не могли появиться. Это слова даргинские: «уцци» – означает брат, а «руцци» – сестра. И само собой возникает предположение: не выходцы ли из Маджалиса изобрели это оружие?

3

До революции кубачинские мастера имели связи со многими странами, во многих столичных городах, таких как Стамбул, Петербург, Рим, Тегеран, Париж, Багдад, имели свои «туканы» – пункты сбыта кубачинских изделий и приема заказов. С древних времен слава о кубачинцах облетела многие страны и города.

Однажды персидский шах, прослышав о славе златокузнецов Зирехгерана, то бишь Кубачи, собрал придворных ювелиров и повелел им осрамить хваленых кубачинцев. И шахские мастера снарядили к кубачинцам гонца с тончайшей, еле видимой золотой нитью на голубом шелковом платочке и просили передать: «Попробуйте вытянуть такую же нить и пришлите нам: если за жизнь не успеете, то хотя бы нашим внукам».

Много ли, мало ли думали кубачинцы – не знаем, но через две недели послали они своего гонца и вернули шаху ту же самую золотую нить на том же шелковом платочке. Шах, воздев руки к голубому потолку дворца, воскликнул: «О аллах, будь свидетелем! Кто отныне посмеет утверждать, что в мире есть мастера лучше, чем в моем дворце?!».

Торжествовал шах недолго, только до тех пор, пока эта нить не попала в руки главного ювелира, который, к своему удивлению, заметил какое-то изменение в ней. Когда обескураженный шах внимательнее разглядел золотую нить, то, о аллах, он увидел, что она насквозь просверлена, и в нее вложена другая тончайшая нить, на которой узором были вплетены слова: «Достойный шах, из таких нитей мы обычно делаем трубы».

Только вот в годы перестройки настало время кубачинцам возобновить свои старые внешние связи с турками, итальянцами. Ныне по заказу итальянцев выпускают в комбинате художественных изделий украшения из серебра с чернью и позолотой. Поговаривают уже о совместном с американцами предприятии. Кубачинцы считают своим человеком флорентийского мастера-ювелира Бенвенуто Челлини и с гордостью произносят его имя.

У кубачинцев, как и у других жителей гор, бытует обычай: если кунаку понравилась какая-то вещь, то они дарят ее гостю. Как-то в журнале «Огонек» был напечатан иллюстрированный очерк о кубачинских златокузнецах. В нем рассказывалось о большом мастере Алибеке. Крупным планом были сфотографированы его изделия из серебра с чернью и позолотой. Месяца через полтора после выхода журнала Алибек получил письмо от некоего Пьерро Сориано из Италии.

«У меня не хватает слов, чтобы выразить свой восторг, – писал итальянец. – Изделия ваших рук божественны. Великолепно! Прекрасно! Браво, маэстро! Вы истинный преемник Бенвенуто Челлини. Я считал бы себя самым счастливым человеком на земле, если бы имел хоть что-нибудь из ваших изделий. В долгу перед вами не останусь».

Каждое утро Алибек расспрашивал аульского почтальона, нет ли чего из Италии. И, наконец, пришло письмо от Пьерро: «Спасибо, маэстро! Из этого бокала я всю жизнь буду пить за Ваше здоровье!» Разве это не честь?!

4

Известно издревле, у кубачинцев особое чутье на золото. Вот почему некоторые из них потянулись в среднеазиатские города, как узнали о новых золотых приисках в Узбекистане. Ведь поговаривали, что в Кызылкумах просто ветер разносит золотой песок. И Заурбеку не хотелось отставать от соседей, приехал он с семьей не куда-нибудь, а в Самарканд. «Добропорядочно жить не дают, толкают людей на путь обмана и лжи, – роптал Заурбек с тех пор, как стал понимать жизнь. – Все поддаются этому гипнозу, а почему я должен оставаться в стае белой вороной, почему мне не быть похожим на остальных?». Он сразу нашел общий язык с директором комбината бытового обслуживания. Согласился со всеми его условиями. Он будет только подписываться в ведомостях, а деньги будет получать сам директор, все так делают, все так живут. Система такая.

– А план чтоб был, понятно? – заявил директор, закрывая сейф.

– План будет, – сказал, пожав руку шефа, Заурбек, – не беспокойтесь, начальник, не подведу.

– Вот и хорошо, вот и хорошо... – с удовольствием потер ладони шеф.

И Заурбек сдержал слово. Будка его мастерской по ремонту часов находится в центре города, неподалеку от гостиницы. Кубачинцы, понятное дело, – мастера на все руки. Это было еще в горах, однажды чабан из соседнего аула обратился к нему с просьбой починить часы. И, не поверите, достал он из кармана золотые часы с ладонь величиной фирмы «Павел Буре». Он сказал «не играют» и «не ходят». Заурбек вставил в глазницу лупу, открыл одну крышку, вторую и заглянул в застывший механизм. Вот баланс, вот спираль. Но – что такое? Никому бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами, в спирали трепыхался – кто бы вы подумали? – маленький клоп, который через лупу показался неслыханным чудовищем. Ничего не говоря, Заурбек пинцетом извлек клопа, бросил в горящие угли и да-

же услышал, как он лопнул в пламени огня. Часы пошли и заиграли.

– Огромное спасибо, – пожал руку мастера хозяин часов. – Что мне посоветуете?

– Когда будете открывать крышку часов, чтобы заглянуть в механизм, – сказал Заурбек, – то обязательно снимайте папаху.

– Да, да, часы мои достойны поклона, – ответил чабан. Об этом случае Заурбек часто вспоминает в веселом настроении. В Самарканде он снимает дворик у одного узбека неподалеку от мавзолея Гур-Эмир. Трех комнат и веранды хватает для его семьи. Правда, хозяину он платит большие деньги, ничего не поделаешь, хочешь жить, крутись-вертись. Старший сын его – Арсланбек – учится в десятом классе. Давно он увлекался фотографией. Для него отец выделил специально под лабораторию комнату и приобрел необходимые предметы, всевозможные химикаты: проявители, закрепители, буру, селитру, тетраборат натрия – белый порошок, не отличишь от проявителей и закрепителей. Отец купил ему разного формата бумагу, об объективах и фотоаппарате позаботился сам Арсланбек. Несколько его фотографией уже появлялись в местной печати и в Ташкенте, а две фотографии были представлены на телеконкурс «Объектив». У Заурбека добрая, приветливая жена Нина. Пусть такое имя вас не удивляет, дело в том, что в Кубачах это имя – самое распространенное. Встречаются и такие имена, как Сара, Мари. Это потому, что до прихода арабских миссионеров кубачинцы были христианами. Нигде в мусульманском мире вы не встретите женской мечети, а в Кубачах она существует и действует. Нина хорошая хозяйка и заботливая мать, правда, больше других скучает по .родному краю, младшим детям все рассказывает об альпийских высотах, о родниковой чистой воде, о воздухе, наполненном ароматами разноцветия.

При встрече с Исаем Заурбек не признался, что хорошо знал того, кого задержали в аэропорту Нукуса, этот человек был его дальним родственником. Слишком был Хасан са-

моуверен и высокомерен, не раз Заурбек предупреждал его, чтобы был осторожен, но Хасан не внял его словам. И подурацки попался. В аэропорту Нукуса к нему подошел незнакомец, мол, он с приисков и хочет сбыть золотой песок. Жадность подвела Хасана, во время сделки его взяли с поличным. И с того дня работники ОБХСС и КГБ стали подозревать каждого, у кого в паспорте отметка – Кубачи. В их списках числился и Заурбек. Не раз они приходили к нему с обыском, правда, уходили не солоно хлебавши, не такой дурак Заурбек, чтобы попасть в расставленные сети. И сегодня они ничего подозрительного не нашли.

– Все-таки ты связан с ними, чутье подсказывает мне, – белозубо улыбался молодой лейтенант со смуглым лицом, его легко можно было принять за африканца.

– С кем? – добродушно усмехнулся Заурбек.

– Ну с этими, несунами с приисков.

– Ошибаетесь, лейтенант, мне покой семьи дороже, чем этот песок. Чутье вас подводит, – убедительно соврал Заурбек. – Бывает же так.

– Хочешь сказать: не пойман – не вор?

– А хоть бы и так. Прошу вас, ребята, давайте посидим, чайку попьем, – пригласил он их за стол на веранде. – Прошу, я же не виноват перед вами... Жалко мне вас иногда, даже подумываю, не заняться ли мне и в самом деле тем, в чем вы меня подозреваете. Ну, чтобы угодить вам... Садитесь, прошу вас, – приветлив довольный хозяин.

Раньше бывало непрошеные гости отказывались, но на этот раз решили все-таки уважить хозяина, тем более они перед ним и в самом деле чувствовали себя неловко: зря беспокоят «честного» человека. Сели они за большой стол. На столе огромный трехведерный пузатый томпаковый самовар, такие редко теперь увидишь. Нина накрыла на стол. Сварила непривычный для азиатских мест горский ароматный хинкал. Знаете, кубачинцы, уезжая из своего аула в эти края, обязательно берут с собой горский овечий курдюк, говорят, что мясо среднеазиатского барашка не такое ароматное, как наше горское, поэтому хозяйки добавляют

этот жир в еду, улучшая ее вкусовые качества. Заурбек разливал чай из томпакового самовара.

Если бы работники ОБХСС могли знать, что внутри этого самовара творится... А там плавился золотой песок... Но они были далеки от подобной догадки. Когда производили обыск в фотолаборатории сына хозяина, они не обратили никакого внимания на селитру, не смогли отличить ее от проявителя. После хорошего угощения гости тепло попрощались с хозяином. Заурбек проводил их до самого мавзолея Гур-Эмир, как говорится, золотая печать у гостя на спине.

5

После встречи с Исаем Заурбек долго выяснял, правду ли ему говорил еврей. Камень величиной с ноготь мизинца снился ему, но настораживало одно. Как мышь сказала: «Дело пустяковое, плата чересчур велика, и такое не может быть без злого умысла». Заурбек стал тенью Исая, интересовался, куда ходит, с кем встречается, кто его соседи. И как стало известно ему, тот и в самом деле продал дом и все имущество, собираясь уехать в Израиль. Но, главное, надо было убедиться, правда ли, что он получил визу. И вспомнил Заурбек о молодом работнике КГБ, который присутствовал при обыске и с которым пил чай на веранде из большого томпакового самовара. Смело пошел он к нему на работу. Подойдя к зданию КГБ, Заурбек прочел на всех трех дверях слово «Вход» и, про себя усмехнувшись, подумал:

«А есть ли здесь выход?» Нашел он того, кого искал, и пригласил Мухамада, так его звали, на чай. Что может быть лучше, чем кук-чай в знойный день в тени акации в чайхане «Гур-Эмир», где в чайниках преподносят тебе и другие более горячительные напитки к ароматному, из свежей баранины люля-кебаб. После расспросов о житье-бытье, о семье и о радостях жизни, Заурбек обратился к нему:

– Я хотел посоветоваться с тобой.

– О чем? – спросил учтивый и внимательный работник КГБ Мухамад.

– Понимаешь, один мой друг, еврей, уезжает в Израиль.

– Сейчас многие уезжают. Туда ему и дорога.

– Он предложил мне...

– И что он предложил тебе? – заинтересовался Мухамад.

– Понимаешь, он кое-что из вещей продает.

– Все продают.

– А я хочу кое-что из мелочи купить.

– Покупай, раз у тебя есть деньги.

– Понимаешь, жена моя из состоятельной семьи и хочет приобрести что-нибудь из золотых изделий.

– Узнаю кубачинца.

– Что поделаешь, натура у нас такая ...

– Скажи мне правду, и тебя потянули сюда золотые прииски...

– Сказать правду?

– Да.

– Ты же сказал: «Узнаю я кубачинца».

– Покупай, дорогой, что хочешь.

– И не будет это преступлением? Во вред государственной безопасности?

– Не будет, – хлопнул Мухамад его по плечу.

– А если мой друг обманывает меня, и нет у него никакой визы, просто хочет обвести меня лисьим хвостом?

– Ну, это очень просто узнать. Скажи мне его фамилию, имя, отчество...

И Заурбек через два дня имел достоверные данные, что названый им человек получил визу и уезжает. Убедившись окончательно, что подвоха нет, Заурбек решился принять предложение Исая. Он поджидал еврея у мавзолея Гур-Эмир.

– О, сколько лет, сколько зим... – сказал Заурбек, поздоровавшись. – Здравствуй, дорогой, здравствуй, Исай.

– Здравствуй.

– Как дела?

– Ничего.

– Ну что, уговор остается в силе? Когда ты сможешь показать мне свои камни?

– Решился все-таки?

– А почему не помочь хорошему человеку?

– Тогда почему не согласился? Я видел тебя с тем товарищем из КГБ.

– Осторожность никому не помешает, друг мой Исай. А как же, время-то какое... люди увязли во всеобщей подозрительности... Если договор остается в силе... – Заурбек назвал адрес. – Приходи вечером.

– Нет, не приду, – твердо сказал Исай.

– Почему?

– А кто его знает... кто там меня будет поджидать?

– Тоже правильно, – улыбнулся Заурбек, – береженного бог бережет.

– Давай покатаемся на такси.

И долго петляли они на такси по городу. Обошли достопримечательные места Самарканда, пока наконец Исай не остановился у портала мавзолея Шади-Мульк. И достал из кармана бумажник, извлек небольшой узелок из голубого щелка. Развернул. У видавшего виды Заурбека от изумления челюсть отвисла, зрачки расширились от удивления. Засверкали на солнце грани бриллиантов на голубом шелке тысячами бликов, какая величавая игра света! Исай спрятал узелок.

– Один из них твой, – сказал он. – Помоги.

– Да, достойные восхищения камни, – долго не мог прийти в себя Заурбек и, будто очнувшись, спросил: – Открой-ка рот!

– Что? – не понял Исай.

– Рот, говорю, открой... шире... так. Крепкие у тебя зубы. Вот что, тебе, дорогой мой Исай, придется лишиться четырех зубов.

– Как?

– Очень просто, другого способа помочь тебе у меня нет, – сказал Заурбек. – Вставлю золотые коронки...

– Гениально... – воскликнул Исай, – как все простое гениально... Не зря же мне посоветовали обратиться к тебе.

– Месяц я ломал голову, – заключил Заурбек. Заурбек в свое время учился в зубоврачебном техникуме, где кроме техники еще преподавали и литературу, из которой он помнит только несколько строк из басни Крылова «Стрекоза и Муравей». А что касается зубов – он практиковался на горянках далекого аула Мазгар. Медицинской техники у него не было, зато всегда под рукой инструменты кубачинского мастера. Как-то раз, когда Заурбек еще был в ауле Мазгар, гостил я у него, как никак росли вместе, по соседству и делили детские радости и горести. Мечтали даже изобрести вечный двигатель – известное дело, из этой затеи ничего у нас не вышло. Засиделись мы допоздна и вдруг – стук в дверь. Хозяин открыл двери, и в комнату ввалился в бараньей папахе горец, ведя перед собой некое существо, укутанное в шаль и шубу. После приветствия он сказал:

– Это моя жена, кунак, я тебе привез на ишаке дрова... Понимаешь, ни детям.. ни мне она спать не дает, зубами страдает... Умоляю тебя, помоги.

И муж раскутал несчастную женщину. Заурбек посадил ее на табурет, попросил открыть рот и показать больной зуб. Взял он кубачинские плоскогубцы и приказал мужу держать крепко голову жены. Не было у этого горетехника ни обезболивающих средств, ни спирта, ни чистой ваты. Удалил один зуб, а женщина со слезами сказала: «Не этот!», тогда он удалил и второй зуб. Из матраца вытащил кусок ваты, смочил водкой и, пальцами заткнув ее в пустоты, сказал: «Все в ажуре!» Муж пожал нам руки и ушел со своей женой. Утром вышли мы во двор, а там ни ишака, ни дров.

– Вот так, друг, – посетовал Заурбек, – делай после этого людям добро.

Много воды утекло в арыке с тех пор, как уехал Исай в свой Израиль. Однажды Заурбек получил извещение о посылке, откуда бы вы думали? Из Тель-Авива. Чего только там не было: всем детям джинсовые костюмы, ему кожаная куртка, жене модное платье. А в письме Исай писал: «Салам тебе, проклятый кубачинец! Живу хорошо, нашел здесь нормального зубного техника, не то что ты, зубодер несчастный. Расшатал ты мне все зубы. Желаю тебе и твоей семье во всем благополучия. С приветом твой Исай».

И так каждый месяц стал он получать посылки, и каждый месяц стали таскать Заурбека в КГБ.

– Почему он посылает тебе посылки?

– Может быть, потому, что я по незнанию выдернул ему четыре здоровых зуба.

– Брат брату не посылает столько добра. Почему?

– Откуда я знаю? Спросите у него, – бросил Заурбек.

– Мы тебя спрашиваем.

– Скажите ему, пусть не посылает. Я же не прошу.

– А ты сам напиши.

– Зачем? У нас такого товара не достанешь, вам что, жалко? Неужели товары эти представляют какую-то угрозу для государственной безопасности?

Вопрос был резонный. И вскоре оставили Заурбека в покое. В Тель-Авив другу он послал посылку с сушеной дыней и урюком.

Да, чуть было не забыл сказать вам о самом главном. Те четыре камня Заурбек спрятал тогда именно в золотые коронки Исая. И слышал я на днях, что Заурбек собирается навестить своего друга Исая в Тель-Авиве, о чем и хлопочет.

ЧЕРНЫЙ ВОЛК

Рассказ

Железный мастер из Харбука,
Ты выкуй ключ такой в огне,
Чтобы моих познаний мука
Была б отныне в радость мне.

Цандалай

Замечательные эти люди, скажу я вам, почтенные, чабаны. Всю жизнь завидую их простоте и человеческой обыкновенности, неприхотливости и доброте. И не случайно горцы говорят, что один конец рулетки, опоясывающей земной шар, словом, конец ремешка, находится в руках чабанов. Кто, как не чабан, может выдержать почти двенадцать месяцев в горах с овцами и слушать только их блеяние. Или в ногайской степи, ровной, как блин, где некуда глаз приладить.

Слава богу, что теперь отары из племенных овец, да, да, из так называемой дагестанской горной породы. Не с курдюками, как говорят сами чабаны, а с собачьими хвостами. Зато хлопот меньше, и все они на одно лицо, все грязно-белые, круглые, как будто цыплята из инкубатора, и, может быть, поэтому они кроткие и послушные, шерсти и мяса дают больше. А с курдючными овцами бывала одна морока, строптивые они и драчливые, одним словом бараны. А, бывало, некоторые из них страдали, не в силах нести свои пудовые курдюки, приходилось под курдюки приспосабливать маленькие арбы с колесами, чтоб бараны могли двигаться. И не случайно их называли фабриками, вырабатывающими жир. Зато овцы старой местной породы давали много молока, из которого делали брынзу, питательный и целебный сыр, ставший сейчас дефицитом. Человек постепенно отходит от тяжелых работ, а доение овец – это тяжелейший труд, хотя плоды этого труда драгоценны. Вкусна овечья брынза, и хранить можно долго. Из сыра овечьего чабаны лепили игрушки-фигурки, ими украшали в

саклях полочки над каминами. Хорошие получались игрушки, и, главное, при необходимости их можно было съесть. А из шерсти тех овец ковры ткали: плотные, редкостные по цветам красок. Неизвестно еще, почтенные, что ценнее – то, что обрели, или то, что потеряли мы в своем развитии. Поистине ничего не обретешь, не потеряв что-то, и не потеряешь не обретя. Одним словом, нет добра без худа и худа без добра.

Летом благодать для чабанов. Еще бы! Тепло, комары не кусают, кругом цветущие альпийские луга, правда, к глубокому нашему сожалению, оскудевшие за последние два десятилетия. Спросите – почему? Потому что все травят, косят, семени упасть на землю не дают. Откуда быть тому разнотравью и разноцветению? Да мы еще помним, в наше детство какие были здесь травы, а цветы – столько разных и диковинных, где они теперь? Сожрали? Да, сожрали, не овцы, нет, а люди беспечные и беззаботные. «А после нас трын-трава». Спохватились вот, а что делать, не знают. Даже на лесных опушках зачахла трава, всюду собрались косари, дальше уже некуда. Локти кусаем... Говорят же, таких прожорливых людей не рождала земля, как нынче, но буквально все, кроме... Да и нет такого, чтоб было кроме. Да, летом все же меньше забот у чабанов о корме, овца сама найдет, где что пощипать. А ведь самым страшным все-таки в овцеводстве остается бескормица, особенно зимой. Отсюда и все беды: ранний окот, отсутствие утепленных помещений для ягнят, отборного корма, а впоследствии болезни и гибель.

Надо иметь мужество, чтоб идти за отарой с рассвета до заката, и в стужу и в зной. Если вам доведется выехать в горы, где летние пастбища, или черные земли, где обычное зимовье, если увидите пасущихся овец, то поинтересуйтесь, где стоит чабан.

Всегда у дороги, по которой проезжают люди. Чабан питает надежду: если и не удастся обмолвиться словом, то хотя бы усладить взгляд свой, понаблюдать за людьми. Остановитесь – он подойдет к вам и разговорится. Прошу вас,

будьте полюбезней, поговорите с ним. Он попросит сигарету – дайте. И знайте, что он вовсе не курит, а просто после вашего отъезда еще ненадолго у него останется от вас предмет для размышлений. А если окажетесь в хорошем расположении духа, то скажите несколько добрых слов, похвалите его труд, ибо он достоин любых пышных эпитетов, прощаясь, пожелайте ему удачи – и этого ему хватит на целую неделю.

И если им окажется мой знакомый Хасбулат, то он обязательно попросит послушать и расскажет:

– Говорят, животные не обладают сознанием, разумом, а я вот этому не верю. Знаете, почему? – задавать самому себе вопросы и отвечать на них – тоже особенность, вырабатываемая чабаном в своем долгом одиночестве. – Однажды в степи ногайской на мою отару напала голодная стая волков. Порезали несколько овец, истощенных, больных и поспешили убраться... И я увидел среди них абсолютно черного волка, да, да, крупного и мощного, совершенно непохожего на остальных. Он хромал... Вы видели в Египте в залах фараона Тутанхамона забальзамированную собаку на высоких ногах... вот ее напоминал этот зверь, редкий нынче в нашем краю; говорили, что он давно исчез. Но я видел своими глазами... Да дело, простите, не в этом и не о том речь!.. Понимаете, перекочевали в тот год мы на летние пастбища, и однажды на опушке леса я встретился с ним. Да, вот с этим Черным волком. Я был потрясен: ведь летние пастбища от нашего зимовья на расстоянии четырехсот километров. Вот тебе и неразумное существо... Вы спешите? Я рассказ еще не закончил... но раз спешите, доброго вам пути...

А если вы окажетесь более разговорчивым, поделитесь новостями, поведайте о забавном случае, разбавляя шутками-прибаутками... Вроде той байки, хотя бы, как однажды житель степи сел на рассвете отдохнуть, а вокруг, куда ни взглянешь, – ровная степь. И увидел он на горизонте точку, она двигалась в его сторону. К вечеру добирается эта точка, оказавшаяся человеком, к сидящему и подсаживается, го-

воря: «Подвинься, и я сяду!» Ха-ха-ха, слышите, а? Подвинься, и я сяду... Видите ли, во всей степи ему места не нашлось. Этого надолго хватит чабану, и будет он овцам пересказывать забавный случай и смеяться – для него это хороший заряд.

Вы, уважаемые, слышали раньше, чтоб чабан имел не просто образование, а что ни на есть высшее? Да, да, и не только видел чабана с высшим образованием, не только обменялся с ним рукопожатием, но и разделил с ним чабанскую трапезу. Это и был Хасбулат. И знаете, что он окончил? Исторический факультет Даггосуниверситета, отработал положенные два года в школе, и в нем заговорила кровь предков: отец, дед, прадед его – все в свое время были чабанами, да и, кроме того, как говорится, рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. А о том, что чабанам лучше нынче, чем учителям, по-моему, и несмышленыш знает. Хотя историческая наука далека от овечьей отары, но овцы, помяните мое слово, имеют непосредственное отношение к истории. Не будь овец, как сказал мне в минуты откровения Хасбулат, некому было бы писать историю, потому что жизнь разумного существа во всех смыслах поддерживается этим благодушным животным: и одежда от него, и пища. А если хотите знать, не случайно фараоны обожествляли не только корову, но и барана. Сколько их сидит на пьедесталах у входа в знаменитый храм Амона-Ра в Карнаке в Луксоре, этих сфинксов с бараньими головами?! И называется это место аллеей сфинксов. Чабан чабаном, а посмотрите, как одет Хасбулат. Не скажешь, что это чабан колхоза им. Буденного, нет, он более подходит на заблудившегося в степи клубного работника, еще больше на танцора ансамбля «Лезгинка», этакий стройный, легкий, с сучковатой ярлыгой в руке.

– Я же говорю, вот тебе и неразумное существо... – продолжает свой рассказ Хасбулат. – Волк – это вам не шакал с жалобным своим плачем, волк – это достойный зверь, и если воет... Простите, вы когда-нибудь слышали рядом вой волка, вы прислушивались к нему с желанием постичь

все, что выражалось воем? Нет, а жаль... Знаете, волк говорит. Меняя интонацию, протяжность, делая особые паузы; и этот вой наталкивает человека на мысль, не предупреждает ли это о предстоящей беде. За день до того сумасшедшего землетрясения семидесятого года я внимательно прислушивался к голосу, но не думал, что это выл Черный волк... Об этом я позже узнал. А когда я увидел его в стае непохожих на себя волков, я подумал... что он немного этим даже смущен, что смотрит на своих сородичей с каким-то убежденным снисхождением и жалостью. Но в нем я никогда не видел высокомерия и надменности по отношению к ним. Он понимал, что он не обычный среди них, понимал еще и то, что без него они сумеют прожить, а он без них – нет. Простите, так уже получается, что я спешу все рассказать, а у людей времени не хватает... Так вот, разве я мог предположить, что выли у полустанка волки из этой самой стаи... И вдруг осенила меня мысль: мои волки, моя стая, стая волков, принадлежащая моей отаре, где тысяча триста сорок овец. О, если бы вы видели, слышали, как этот черный волк выл, когда отара овец, погрузившись в вагоны, отъезжала от полустанка... За ним вторили и остальные, будто просились на поезд, слышите, смешно ведь; волки с отарой да на поезд... А почему смешно? Да волки санитары, очень точно кто-то сказал... Простите, еще немного. Ах, вы спешите... Конечно, спасибо вам.

Прощается Хасбулат и оглядывает отару, которая разбрелась в разные стороны. Крикнул подпаску, чтоб с левой стороны отара дальше не двигалась... Горластый этот подпасок, которого звать Багадур, не попал в институт, попал вот сюда в помощники к чабану Хасбулату, да и, если правду сказать, не очень-то хотел попасть в институт – это родители настояли, а ему эта учеба как каторга.

– Да выброси ты эту берданку, возьми в руки ярлыгу, – возмущается Хасбулат.

– Это не берданка, ружье охотничье.

– Какой же ты упрямый!

– А почему нельзя пасти там? – показывает Багадур в сторону, куда поползла отара.

– Пусть трава подрастет, нельзя же съесть все сегодня, а завтра голодными сидеть... Через неделю перейдем на левые пастбища и оставим эти, чтоб зелень выросла...

Да, уважаемые: была у Хасбулата однажды большая неприятность. Знаете, не он ввел такой обычай у чабанов, до него все было так, и при нем многие этим же занимались... Правда, было совестно, неловко обманывать, врать... Знаете, в позапрошлом году нагрянула комиссия на зимовье, кажется, было это в марте, а март – самый скверный здесь месяц, недаром же говорят ногайцы: «Март пройдет – горе пройдет». Кого только не было в этой комиссии... Все надо было как на духу поведать. Шестьсот с чем-то ягнят утаило хозяйство, а среди них более ста ягнят нашли у Хасбулата, не нашли, вернее, он сам их показал и сказал:

– Да, все эти не учтены.

– Утаили? Зачем?

– Так всегда делали.

– Но зачем?

– Есть, дорогой, зачем, есть. И тебе расскажу, и тебе, и тебе, мне нечего скрывать...

– Как нечего? Хорошее нечего, сто семнадцать ягнят утаил, а говоришь – нечего скрывать.

– Объясняю. Как у всех, и у нас планы. А вот такой, как в эту пору, ранний окот – самое нежелательное явление. Совершенно нет для ягнят утепленных мест, недостаточно корма... Да и помощники на период окота еще не прибыли. Неизбежны большие потери...

– Ну и что...

– Как «ну и что»! Вот и возмещаем мы погибших теми, которых утаили... и таким образом как-то выходим из положения...

– А по-честному нельзя?

– Нельзя.

– Почему?

– Потому что стыдно... из-за отсутствия условий, кор-

ма, надлежащего ветеринарного присмотра гибнут ягнята... Сказать о таком язык не поворачивается.

Гроза прошла, руководителям по партийной линии влепили выговоры с внесением, и чабаны стали говорить правду, сколько родилось ягнят, сколько не выдержало собачьих условий...

– Эй, дядя Хасбулат, заешь, сколько овец в той отаре? – показывает Багадур на отару, которая пасется поодаль у холма. – А я сосчитал. Триста семьдесят четыре головы. Не веришь, сосчитай, только смотри: козы и собаки не в счет.

– Как отгадываешь?

– Математика, дядя Хасбулат, математика, – говорит Багадур. – Я считаю их ноги и делю затем на четыре.

– И-и, забодай тебя буйвол, – выругался в сердцах Хасбулат и в это самое время заметил: на дороге застряла легковая машина, и из нее вышли озадаченные люди. Что еще надо чабану? Хасбулат поспешил к ним, спросил, надо ли чем помочь, посочувствовал, что спустилось колесо.

Разговорились. За нехитрой трапезой Хасбулат поведал приезжим о Черном волке, начав рассказ словами:

– Нет, вы меня простите, но я не могу быть равнодушным, когда речь идет об этом звере, редчайший экземпляр, неужели последний из могикан? А жаль...

Такой красивый, могучий зверь, самец, а самки не было.

Понимаете, чем больше стал я задумываться над повадками этого зверя, тем больше вспоминаются невероятные вещи. Однажды зимой в страшные морозы отара попала в пургу и могла затеряться в степи и погибнуть. Я был в отчаянии. Гонялся я за ними, гонялся, обессилел, упал и стал замерзать. Очнулся на следующий день, и мне сказали, что и овцы целы, и что меня подобрали, потому что на стоянке к окнам и двери подходила какая-то собака большая, царапалась, визжала... И вы знаете, так во главе стаи этот Черный волк кочевал за отарой с зимовья на летние пастбища, в горы и обратно... И самое удивительное, вдоль железной дороги шли звери... А теперь, знаете, я в газетах вы-

читал, есть предположение, что перевозить овец будут на больших грузовых машинах за один день с места на место. Тогда по железной дороге семь-восемь дней теряли в пути. Вот что тогда волки будут делать, непонятно... Только скажу я вам, каким бы прогрессивным не был этот метод, от болезней уберечь трудно. Ведь овцы не могут сразу перестроиться от альпийской травы к степной, так же и обратно, а при традиционной перекочевке отара двигалась своим ходом и по пути постепенно привыкала к разным травам, всякое, выходит, следует учесть в пробном всяком новшестве, взвесить со всех сторон: а вдруг... Да, да, вы простите, я же о волке... простите, все отвлекаюсь. Знаете, отчего такое происходит? Видимо, от желания, чтобы вы услышали побольше не только о звере этом, но и о нас, обо мне... Но волк, конечно, особенный, просто красавец.

– Дядя Хасбулат, у вас есть мечта?

– Мечта? Вот куплю транзисторный телеприемник, овцы будут пастись, а я буду смотреть передачи. Штуцер буду втыкать в «Жигули». «Жигули» для этого куплю.

– Ха! Чтобы смотреть телепередачи, покупать дорогую машину?!

– А что, я в небо втыкать буду штуцер?

– Эх, дядя, дядя... Вот линия электропередачи, вон по степи столбы, так я на любом столбе пропечатаю розетку, а ты покупай за двести рублей мини-телевизор и, пожалуйста, включай и смотри...

– Это на словах легко... А вот какая у тебя мечта?

– Думаю приспособить овец к будущей космической жизни, в замкнутых условиях.

– Эй, фантазер, бегом, овцы разбрелись! ...

Вот такой же погожий был день, солнце клонилось к закату, а я с моим этим непутевым напарником, – какой он напарник, даже не помощник, все приходится мне самому делать, даже хинкал к обеду готовить, – находился в живописной местности Апраку, неподалеку от знаменитого родника под аркадой Мурмуч. Мы пасли свою отару; благодатные пастбища, леса рядом… родники-ручейки... Знаете,

повадился один волк, не черный, нет, а обычный, через день таскал из отары по одной овце.

– Убью мерзавца... – грозился Багадур.

– Да знаешь хоть ты, с какой стороны ружье-то стреляет?!

– Надоело твое издевательство, дядя Хасбулат, – надулся Багадур.

Тут я увидел на опушке, совсем близко, черного зверя, будто он прислушивался к нашему разговору.

– Я не я, если не убью этого зверя! – все ворчал Багадур. И в это самое время обычный волк бросился в отару, легко схватил овцу за шею и потащил. Багадур выстрелил и попал в овцу. Волк ее бросил и убежал. Из рук Багадура выпало ружье. Черный волк подбежал, схватил ружье за ремень и потащил... Да, уважаемые, я не успел сообразить, что к чему, как вижу, что волк – у самых моих ног, бросил мне под ноги ружье и убрался восвояси, посмотрев прежде мне прямо в глаза. Хотите поверьте, хотите нет, и в это мгновенье будто между нами состоялся такой диалог:

– Куда же ты смотришь? Ты же знаешь, что подпасок непутевый. Так что же ты даешь ему в руки ружье?

– А я и не думал, что он умеет стрелять. Думал, балуется...

– Да, такое баловство дорого обходится.

– Дороже убитых овец?

– Гораздо дороже. Взяв в руки ружье, пользуйтесь им умело.

– Я тебя понял.

– Буду рад убедиться в этом.

Да, да, уважаемые, конечно, поверить в это очень трудно, но я говорю то, что сам испытал, прочувствовал... И пока, пораженный действиями волка, я задумался, пытаясь вникнуть во все это, Багадур, непутевый, схватил ружье, зарядил его и вскинул, желая выстрелить в Черного волка. Тогда только я очнулся и метнулся в сторону подпаска, желая предотвратить убийство. Мне обожгло плечо...

я обернулся – волка не было. Я был ранен, пуля не задела кость, прошла сквозь мягкие ткани.

– Дурак! Чуть меня не убил! – Выхватил я у Багадура ружье и разломал его ударом о пень. Взъерошился стервец, не хватало того, что он чуть меня не убил, так еще и набросился на меня...

– Ты что добро-то портишь? Тебе зверя жалко?

– Да, жалко. Ты видел его глаза?

– Еще чего не хватало, зверю в глаза глядеть!

– Негодяй, он умнее тебя. Негодяй, ты не видишь – я ранен! И кем? Тобой, негодяй, а ты еще огрызаешься, ну-ка перевяжи...

– Сейчас, дядя Хасбулат. Но я уйду от тебя, не останусь.

Багадур ушел. Но вслед за ним старший чабан послал три телеграммы, где писал, что ему никто другой не нужен, пусть возвращается этот подпасок. Да, так оно получилось... Багадур вернулся, и спеси у него поубавилось, потому что в его глазах Хасбулат вырос. Он боялся, что Хасбулат расскажет всем о своей ране, о случившемся. Но никто ничего не узнал. Багадур спросил, почему тот никому не рассказал, Хасбулат ответил:

– Не было удобного случая. Иди, вон, поверни овец от бархана...

А сам Хасбулат поспешил к дороге, туристы там остановились. Разговорились. И поведал Хасбулат им о Черном волке и добавил: «Если хотите увидеть его, наберитесь терпения и подождите здесь... И вы увидите этого последнего из могикан, великолепного зверя. Когда он появляется, собаки поджимают хвосты и не лают, застывают, будто завороженные»...

А куда спешить туристам, тем более пешим. Солнце на закате запуталось в ветвях на горном кряже, похожем на золотого ежика в паутине. И вот он, Черный волк, жив и здоров, выходит на опушку леса и садится на холмик. Могучий зверь, единственный в своем роде, сидит, гордо выпятив мощную грудь, на поросшем альпийским разнотравьем холмике.

Багадур между тем подгонял больную ветрянкой овцу. От такой болезни нет спасенья, в мозгу заводится червь, овца кружится и умирает мучительной смертью. Но в это самое время выбежал серый волк и утащил больную овцу в лес. Увидел это Багадур, призадумался. Подошел к Хасбулату и ничего не сказал, тем более что тот был не один, а увлеченно беседовал с туристами. «Знаете, – говорил он убежденно, – мне кажется, когда-то очень давно овец все-таки пасли волки. Да, волки. Скажете, странно, неправдоподобно? Может быть, я же могу иметь свое мнение».

ПЛОД ЖИЗНИ – ДОБРОЕ ИМЯ

Рассказ

Вы, уважаемые мои, наверняка помните преданье старины о том, как наш славный предок Адам, сорвав в райском саду яблоко, разломил его пополам. Половину оставил себе – как говорится, сначала делай себе добро, потом подумай о других, а тогда других не было, была только неискушенная наивная Ева. «Наивная» возьмем в кавычки, потому что и тогда Ева больше знала, чем Адам, и лукавить умела... Ей-то он и отдал вторую половину. А что из этого вышло, думается, все знают...

Но речь не о том. Возникло сомнение, честным ли был человек по имени Адам?

Если глубоко призадуматься и разобраться, то обнаружим, что даже первый наш предок не был лишен порока, а из всех человеческих пороков самым низким, как известно, является умышленное присвоение чужого, говоря попросту – воровство. Отсюда вопрос: не украл ли Адам это яблоко? У любого сада должен быть хозяин, а сторож тем более. Выходит, Адам усыпил бдительность и сторожа, и хозяина, чтобы завладеть яблоком.

Стыдно мне, уважаемые, ой, как стыдно, глаза бы мои не видели такого позора. Но не думал я, не гадал, что и со мной может такое случиться. Если бы знали, где и перед кем я сейчас сижу, я, Адам, сын Исмаила из Адага, самый что ни на есть добропорядочный человек из благородного рода. Проклятье на мою голову! Сижу я в зале суда, на скамье подсудимых, и отвечать мне приходится за порок Ада-

ма и последующих Адамов, которые без спроса срывают яблоки в чужом саду.

Но Адам своровал яблоко, а я позарился на яблоки, охраняя совхозный сад в благодатной равнине Таркама, в моем родниковом краю! И ведь я не просто сторож, а был садоводом, я сам немало деревьев посадил, и вот нате вам – я вор. Поверьте мне, даже врагу не пожелаю такого, что приходится испытывать мне сейчас. Хоть кричи: «Мама!». Говорят же, когда река понесла старика, и он закричал: «Мама!».

Эх, ослеп, оглох я и потерял рассудок, разве же я был вправе забывать добрый совет предков, сколько раз слышал от старших:

«Абиарн баралли – абикан бикур». Сколько смысла в этих словах:

«Сделаешь то, что тебе несвойственно, получишь то, что тебе крайне нежелательно»...

Что делать? Как быть? Хоть закрой глаза, сделав вид, что тебя никто не видит, как тот лопоухий, что украдкой проник на морковное поле. Но разве они не видят меня, если их взгляды я ощущаю на себе, как удары ножа, если у них я вызываю лишь чувства презрения и сострадания? Нет, не скрыться мне от гневных взглядов, они пронизывают меня насквозь, эти десятки глаз уставившихся на меня односельчан.

Но все взоры ничто по сравнению со взглядом двух чистых, непорочных, ясных, как день, глаз. Они терзают меня больше всего в эти тягостные минуты. Это глаза моего внучонка, моего Эльдарчика, доброго моего, ласкового несмышленыша. Нет, нет, простите меня, я не смею коснуться его чистой, как лист бумаги, души, его любви и привязанности ко мне, его беспредельной веры в своего деда. Зачем только привели его сюда? Внимательно всматривается он в лица, хочет понять происходящее, оглядывается и часто бросает взор удивленных глаз на меня, почему я сижу отдельно от людей и почему эти суровые люди за столом все расспрашивают его деда... И вдруг дошло, видимо, до

его сознания, что судят деда, он всхлипнул и стал утирать слезы кулачками. Его хотели успокоить, но он вскочил... И не выдержал, отвернулся, слезы навернулись на глаза, и я услышал крик внука:

– Нет, нет, это неправда! Деда, дедушка, скажи им, что это неправда, пусть не смеют они думать о тебе плохо. Деда! Идем домой! Деда! Пустите меня, я к дедуле хочу...

И дожил же я до такого позора на старости лет. Крик внука словно молния жгучей стрелой пронзил мое тело. «Внучек мой, родной мой, прости меня... прости, – горькую слезу глотаю я, дышать стало трудно. – Нет, нет, внучек, нет для меня прощения, и ты не прощай... Такое никому не прощается. Только бы ты, внучек, вышел. На дворе такой славный день, поиграй, внучек, очень прошу тебя!» – умоляю я его в душе, не смея поднять голову!

– Прошу удалить детей из зала! – потребовал председательствующий, будто прочел мои мысли.

«Спасибо, спасибо!» – прошептали мои губы. Я благодарил в душе судью за то, что он сжалился надо мной. Благодарю, да, я проявил слабоволие, совершил непоправимое, и мне страшно было бы признаться в присутствии внука, которого я учу быть честным, которого старался вырастить совестливым, не брать чужого, я ведь объяснял ему, что самое худшее из пороков – это воровство, а сам попался на этом. Проклятье на мою голову!

А ведь как все было хорошо.

Чудесный уголок природы – живи и радуйся, горы вокруг, как края глубокого испикского рельефного блюдца, река прорезает долину извилистой нитью, родники, густой ореховый лес и село рядом, утопающее в зелени... Урожай яблок уродился такой, что люди восклицали: «Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!» Машины совхоза не успевали вывозить собранный девичьими руками богатый урожай. Горы плодов возвышались то там, то здесь.

А вечером... подъезжает машина от имени директора совхоза, грузит яблоки и уезжает. Только умчалась эта машина, как подъезжает другая – это уже от имени заместите-

ля директора. Что делать? Не подчиниться не могу. Затем ездок от имени бригадира... Что делается? Воруют! Думал я, думал над этим вопросом долго и ничего путного не придумал, кроме как самому попробовать вывезти одну машину. Для чего, зачем? Я об этом не подумал, так же как и о возможных последствиях. Твердил во мне один голос:

«Все воруют, а почему бы и тебе не последовать их примеру? С ними-то ничего не случается, и с тобой не случится».

Вот так я и договорился с одним шофером не из нашего совхоза, мол, надо отвезти машину яблок к моему дому. Эх, лучше бы он отказался... Он бы отказался, а я все равно нашел бы другого, когда у меня иных мыслей не было, только бы успеть ухватить и для себя то, что все хватают!

Но надо же такому случиться – не успел шофер заехать в село, как перед ним предстает милиция.

– Стоп! Куда везешь, документы есть?!

Какие документы, струсил, конечно, шофер, и все выложил, как на духу. Яблоки выгрузили во дворе консервного завода, а шофера и меня задержали. А один из милиционеров – сын моего дальнего родственника – смотрит на меня и пожимает плечами с таким лицом, будто проглотил кислую баршамайскую сливу. Я тут же повинился и почему-то попросил у него прощения, на что он сказал: «Что же ты натворил? Зачем? Дети и жена голодают? Что тебе не хватало? Эх, дядя, дядя, не ожидал от тебя такого. И помочь тебе не могу, насчет этого у нас строго сейчас!»

Поздно было делать попытку как-нибудь выкрутиться, да и совесть моя, кажется, смирилась, мол, получай за содеянное, «абиран баралли – абикан бикур». Но каюсь в душе: «Почему же ты, дуралей, – говорю я себе, – пошел по кривой дорожке, почему не перегрыз горло тем, кто воровал?» И все же оправдываю себя: «О том, что шофер ворует, я доложил бригадиру, о том, что бригадир ворует, – заместителю, о том, что заместитель, – директору». А дальше я не пошел, да и некуда было идти, потому что директор для меня был самым высоким начальством. И вдобавок дирек-

тор Кара-Хасан назначил меня сторожем. Но вот появился и сам Кара-Хасан, чтоб ему пусто было. Щеки, как всегда, горят, нахальные глаза бегают. И он заговорил, обращая к себе внимание судей: «Да, уважаемые судьи, вышла ошибка, досадное, я скажу, недоразумение, понимаете ли, эти яблоки были вывезены по-моему распоряжению, вот документы, а вот еще и характеристика на нашего сторожа, вернее, на Абдуллу, заслуженного садовода... а яблоки везли в столовую, что в райцентре, там все сказано в документах...» А на вопрос судьи «почему же шофер не сказал тогда об этом?» Кара-Хасан, улыбаясь, изрек: «Парень неискушенный, растерялся, да и не было тогда у него этих документов». А теперь шофер подтвердит все.

Это было для меня совершенной неожиданностью. Я просто обомлел. Документы пошли по рукам, все, кажется, было в порядке. «Я был в отъезде, уважаемые, – объяснил Кара-Хасан, – и потому приношу свои извинения за то, что доставил лишние хлопоты...»

Чувства бушевали во мне. С одной стороны, я был приятно обрадован тем, что наш директор побеспокоился и решил выручить меня из неприятного положения, с другой – протестовала совесть. А тут судья смотрит в мою сторону и спрашивает:

– Так ли это было?

Наступила тягостная пауза. Я поднялся со своего места, смял в руках войлочную шляпу и чуть было не вскрикнул в этой напряженной тишине: «Нет, врет директор, не было никакого уговора!..» Но я молчал. Угнетающую тишину нарушил сам судья.

– А чего же ты здесь молол ерунду, всех ворами представил, мол, все берут и я взял...

Меня оправдали. Если бы люди знали, чего мне все это стоило, как я подавлял в себе голос совести, как я над ней глумился! Люди стали поздравлять меня, все от души радовались, что я «не уронил» себя в их глазах, что просто произошло досадное недоразумение, как сказал Кара-Хасан. Одни восклицали: «Внук твой был прав!»

Эльдар встретил меня с радостью:

– Деда, дорогой мой, обидели они тебя, замучили. Я знал, что они что-то перепутали! Как будто ты не знаешь, что воровать неприлично, некрасиво и очень-очень плохо?

– Плохо, внучек, очень плохо.

– Как же это можно взять чужое и присвоить без спроса?

Слова внука раскаленными угольями жгли мою душу. Мои печальные мысли прервал директор Кара-Хасан, который с порога набросился на меня:

– Я тебя от тюрьмы спасаю, а ты?..

– Лучше бы осудили, – говорю я, пряча глаза.

– Ну, нечего терзаться. Следующий раз, когда понадобятся яблоки, скажи...

– Нет, спасибо. Горьким комом эти яблоки в моем горле. Все, – проговорил я. – Поищите себе другого сторожа.

– А что ты будешь делать?

– Саженцы в питомнике буду выращивать и учить внука, чтоб с ним такого не случилось...

– Ну, ну... Прощай!

– Прощайте...

И Кара-Хасан ушел. И из всего, что случилось, из позора и стыда, из всех моих размышлений я извлек одно: плод всей жизни человека, оказывается, – это его доброе имя.

НЕТ ДИКОГО ЗВЕРЯ

Рассказ

-- Ответь мне, почтенный,
на один вопрос: «Что такое
разум?»
– Это, братья мои, цветок
доброты. Так я думаю!
– А как он возник?
– Очень даже просто, природа
достигла на земле такого
совершенства, что в миг
восхищения собой она породила
разум.

Из разговора у ликующего
простора

1

Почти неделю не было меня в города. По служебным делам ездил я в далекий горный район, где раньше никогда не бывал. Поездка для меня оказалась удачной во всех отношениях, и вернулся я оттуда восторженный этим удивительным краем. Просто чудо, какие там места, такая суровая, но по-своему прекрасная природа, величие каменных исполинов и потрясающие в осеннем наряде ущелья и долины рек. Приехал вчера, побыл часа два дома, но беспокойная душа заставила меня взять удочку и отправиться к морю. Иду, а сам думаю: «Интересно, заметили ли мое отсутствие друзья – любители рыбной ловли?». Откровенно скажу, чудесно было в горах, но и на морском берегу Каспия тоже не дурно. Увидев меня, завсегдатаи заголосили:

– О, кого несет к нам добрый ветер!

– Кого я вижу, ты ли это?

– Здравствуй, пропавший!

– Где отсутствовал столько дней?

– А мы гадали, рядили что с тобой, не заболел ли. Да-

вай сюда, приятель, устраивайся здесь, – предложил мне сосед.

– Как дела, братцы, везет? – спрашиваю я, прилаживая удочку.

– Да что там, одно пустое времяпровождение.

– Разве пустое? Полезное для здоровья дело.

– И то правда! Червей не привез?

– Привез.

– Вот спасибо. А то черви в земле перевелись, не говоря уже о рыбе и море. Чуть ли не весь парк перекопал в поисках червей, вот всего, – сказал сосед, показывая на жестяную баночку из-под кильки в томате, где больше было земли чем червей. – Кругом оскудение, как и в душе нашего директора.

– Не ворчи, старина. Я слышал, у тебя внук родился. Поздравляю! – крепко обнимаю его.

– Спасибо. Седьмой! – не без гордости воскликнул он.

– А ты говоришь – оскудело...

Устроился я рядом с семикратным дедушкой Сергеем Мироновичем. Был он Сиражутдином Магомедовичем, да вот напоследок окрестили его учащиеся техникума, где он работает. Так вроде проще обращаться – Сергей Миронович, да и он привык к этому. Если чем и недоволен, то только неотесанным, грубым своим начальником.

– Дикий он человек... Культура общения с людьми, вильнув хвостом, пробежала мимо него, – ворчит Сергей Миронович. – Ты хоть раз бывал у него? Не бывал, не знаешь... Сидит в приемной с больным ребенком кормящая мать, домой ее не отпустит... Да кто он такой? Профессор к нему по делу, а он ему сесть не предложит... Ни капли уважения к людям... Кто он такой, я тебя спрашиваю, ноль без палочки, пустое место, дырка от бублика. Тоже мне...

– Э, дорогой не выпускай стрелы без цели. Пусть все это на его совести будет, не стоит из-за дурных людей портить настроение себе и окружающим.

– Совесть... Какая там совесть... Знает разве он, что это такое?

– Клюет, клюет! – говорю я, чтоб перевести неприятный разговор, сосед спохватился, вытянул леску с морской травой. Этого хватило, чтобы Сергей Миронович больше не возвращался к разговору о своем начальнике.

Это он, мой добрый сосед, увлек меня этим нехитрым, но полезным занятием, подарив по случаю дня рождения мне удочку с катушкой. Хотя, по правде говоря, я ем рыбу дома, что покупает жена на рынке. А мой, всегда не богатый улов, достается соседским кошкам. А один из них – сиамский кот – настолько привык, что у подъезда дожидается моего возвращения с рыбалки. Ничего удивительного – все к чему-то привыкают, только не к грубости и чванливости. И часто я думаю, не тот ли это кот, о котором со слезами писала одна бабушка в «Дагестанской неделе», где печатаются разные объявления. «Умоляю, за любую цену верните мне моего Сиама, без него кошка не ест и не пьет вот уже третий день». И фотография была опубликована этой супружеской пары.

В этом году раньше обычного стало прохладно на берегу Каспия. Обильные, больше всякой нормы, прошли осенние ливни. И совсем некстати для виноградарей, потому что совпали они с уборкой. Если вы заметили, почтенные, часто люди и газеты стали повторять слова: «Несмотря на неблагоприятные природные условия...» Оскомина набилась от этих слов. Разве бывает так, чтобы во всем и всегда благоприятствовали эти природные условия? Нет же.... То, что неблагоприятно для уборки винограда, благоприятно для пастбищ... Мне думается, что мы просто свою беспечность – мол, авось сойдет – прикрываем погодными условиями; говорят же, когда невеста не смогла подоить корову, она сказала, что двор кривой. Так-то вот, почтенные...

Вода в море все еще теплая, и солнце, как выглянет из-за туч или из-за белых громадин облаков, приятно греет. А как согреется день, так людей на берегу становится больше. Купание в нашем море, скажем теми же словами, «если благоприятствуют погодные условия», продолжается иногда до конца октября. А сейчас еще сентябрь... На пляже

скопилось много людей. Кто не добрал за лето загара, кто привык и не может обходиться без морских ванн, кто насыщает организм ионизированным воздухом, а кто просто отдыхает, получая удовольствие созерцанием морской стихии. Да, на берегу моря человек отвлекается от забот и волнений. И тысячи белопенных барашек, что гонит над морем чабан-ветерок, и крутые волны, не похожие одна на другую, которые катятся, расплескиваясь на прибрежном золотом песке, или разбиваясь на тысячи брызг, ударившись о скалы, и эти сумасшедшие чайки, которые бесстыдно, позабыв о чести своей и достоинстве, копошатся на городских свалках, тогда как вороны летают над морем и зачем-то охотятся – все это располагает человека к размышлениям отвлеченным, если хотите, даже в некотором смысле возвышенным. Может быть, поэтому на нашем берегу любителей ловли рыбы с удочкой становится все больше. И в самом деле, лучшего не может быть ни плача детей, ни ворчания жены, ни однообразных дел на работе с задерганными сослуживцами. Здесь все просто потому, что собираются люди разные, разных профессий, и разговоры ведутся интересные. Каждый открывает для себя что-то новое. Близится так называемое равноденствие, когда день равен ночи, не по часам и не по календарю, а по движению звезд и солнца, хотя говорят, что дни равноденствия на земле, к сожалению, давно прошли. Видимо, это говорится в смысле нарушения взаимоотношений человека и природы.

– Эй, клюет! – кричит сосед соседу.

– Тише, рыбу распугаешь! – Мустафа берет удочку и начинает крутить катушку. Из воды показались три мелких рыбешки, это так называемые бычки: невзрачная рыбка с палец величиной и чуть больше – одна костлявая голова и хвост, как говорится, тюленья еда. – Вот твой крик что наделал, – проворчал недовольный Мустафа, обращаясь к соседу, но того уже рядом не было. Рыболовы не любят, когда прохожие ротозеи задевают их.

– Везет тебе... – сказал сосед, подходя к Мустафе.

– И ты надо мной смеешься, Хабиб!

– Не смеюсь, ты же видишь, у меня совсем не клюет.

– Завидуешь, возьми, отдам с потрохами, – бросает Мустафа.

– Не дури, на, выпей! – передает Хабиб ему только что раскупоренную бутылку портвейна «Кавказ».

– Ты пей.

– Хочу, чтоб ты начал.

– Спасибо, сейчас заброшу удочку! – У Мустафы даже голос изменился от предвкушения удовольствия.

А мы с Сергеем Мироновичем искоса поглядывали на них, мол, пьют самое что ни есть дешевое вино, по наклейке видно. Куда ни глянь, сожалеть только приходится. А ведь были и прекрасные вина, и портвейны разные, десятки дубовых бочек в подвалах стояли с медными, как золото, кранами, выбирай, хочешь «Кагор», «Мускат», «Дагестанское белое», «Дагестанское красное», «Кумторкалинское», «Девичьи глаза», «Черные глаза» и терпкое, полусладкое «Белый инжир». Если пить, так приятное, вкусное, пить, зная меру и за доброй, хорошей трапезой, пить за здоровье друзей и не во вред себе.

2

Стоят, сидят, лежат на берегу рыболовы, а десятки бамбуковых удочек воткнуты в песок, а то просто опираются на камни. Если вдоль берега посмотреть, будто целые заросли бамбука.

Все странно спокойно, ни возмущения, ни возгласа радости, все тихо и обыденно. Именно это и насторожило меня, я подумал, что должно произойти нечто необыкновенное, ведь «тишина» всегда наступает перед грозой. Не прошло и минуты, моя догадка оправдалась. Люди неожиданно пришли в движение, вокруг началось нечто невообразимое, все кричали и показывали в сторону моря. А там, совсем близко от берега, среди волн чернело какое-то тело. Все, конечно, сразу подумали об утопленнике, но эта догадка вскоре рассеялась. Существо было живое, волны его

будто подталкивали к берегу, а оно сопротивлялось, вернее пыталось сопротивляться, но, видно, выбилось из сил в схватке с упрямыми волнами.

– Тюлень! Тюлень!

– Смотрите, это тюлень!

– Умирающий тюлень!

– Да, это тюлень, – спокойно подтвердил Сергей Миронович, – какая-то беда с ним случилась. Смотри, какие у него вялые движения, а ведь этот зверек прыткий, подвижный, быстрый и ловкий.

И пока люди гадали, что с этим зверем, волны его вытолкнули на берег, и он оказался прямо у наших ног. Каспийский тюлень – очень милый, мордастый, умный зверек с живыми, удивительными, как у любопытного мальца, глазами.

– Бедняга весь в мазуте...

– Какой толстый слой на нем, даже когтистые ласты будто срослись, сплошная пленка...

– Как-то помочь ему надо, – засуетился Сергей Миронович.

– Люди добрые, вы только посмотрите на его глаза, в них мольба о помощи, за ней он к людям пришел.

– А как поможешь?

– Надо соскоблить с него эту дрянь.

– А как?

– Смыть бы.

– Чем? Морской водой? Если бы смывалось...

Зверек не страшился людей, он был беспомощен, казалось, он уже покорился судьбе и лежал на песке, не смея пошевелить даже ластами, а с усов его стекал мазут... Зверь будто жаловался: «Вот видите, люди добрые, что со мной случилось, пожалуйста, помогите мне... вы же добрые, очень добрые, по глазам вашим вижу. Не бойтесь, я ведь не кусаюсь, моя еда – мелкая рыбешка, те самые бычки, что вы ловите. Это мое лакомство. Помогите...» Несколько человек щепками стали соскабливать с него густой налипший слой мазута. Сергей Миронович послал ребятишек за керо-

сином в дома, что стоят на берегу за железной дорогой. У портового сторожа нашелся керосин. Кто-то принес и стиральный порошок. Не было вокруг человека безучастного к этому зверьку, попавшему в беду.

– Наверное, у бедняги все тело горит от этого мазута, проклятие, найти бы этого капитана, что выбрасывает в море такую нечисть...

Спустя некоторое время зверька было не узнать. Тюлень был не черным, как показалось вначале, когда на нем переливалась радугой пленка мазута. Перед нами предстал тюлень во всей своей красе.

Желто-коричневый с темными пятнами, с короткой блестящей шерсткой и с седоватыми усами, лоснящимися после стирального порошка. Дали ему несколько рыбешек, чтоб он подкрепился.

– Похож на леопарда.

– Леопард, настоящий леопард.

– Какой мех, хорошую шапку можно сшить...– сказал какой-то ротозей в джинсах, залатанных в разных местах кожей.

Все обернулись на него и посмотрели как на дикаря, который только что вышел из дремучего леса, тот поспешил удалиться, потому что взгляды людей не предвещали ничего доброго, а могли прибавить заплат на его джинсах.

– Давайте подтащим его к воде. Так, так, поверните... И когда повернули зверька к морю, он сам подпрыгнул, отталкиваясь ластами и выпячивая грудь. Море для него было домом. Нырнул, вынырнул, фыркнул несколько раз, высунув из воды гладкую симпатичную головку, посмотрел уже довольными глазами на людей и нырнул снова. Люди долго смотрели ему вслед, а он не раз поднимал голову из воды и смотрел на берег.

Обратил внимание на то, что все собравшиеся преобразились, стали какими-то совершенно иными, добрыми волшебниками, смущенными и стеснительными, освещенными будто изнутри каким-то непостижимым светом. Лица их стали открытыми, без напряжения, и подумалось, будто

кровь в жилах стала чище и беспрепятственнее в своем движении.

– Красивый зверь, – заметил добродушно кто-то... – Леопард!

– Да, – произнес многозначительно другой, соглашаясь с ним. – Какая шерсть!

– Не шерсть, а щетина.

– А вы видели, видели, как он улыбнулся? – не мог сдержать себя сгорбленный старик с палкой. – Такое умиление!

– Еще бы... вон глядите, сколько цивилизованной грязи с него соскоблили, вон на берегу еще радужные круги ходят...

Нет, не осветило, а пронзило нечто темное, глубинное в людях, куда, быть может, раньше не проникал свет. Вышел вдруг из моря зверь, да, да, я так думаю, не волны его выбросили, а он сам выбросился на берег, потому что другого ему ничего не оставалось. Какая-то надежда, надежда хоть и небольшая... была, и он пошел к людям. И люди, как ни странно, не забросали его камнями, не стали пинать и издеваться, не зарезали кинжалом, не проткнули шомполом, нет, они помогли... Всего-то... да, да, всего-то соскоблили мазут, почистили и выпустили в воду, вернули в свою стихию... Зверь ушел. Казалось бы, все... Что может измениться, не мир же перевернули? Но нет, люди почему-то не успокаивались, что-то произошло, что-то изменилось в глубине души каждого, кто был причастен или наблюдал за всем этим. Все говорили и говорили о тюлене и ни о чем другом... А ведь зверь этот ничего им не сделал, не принес ничего, не золотая же рыбка, что исполняет желания... В чем же тогда дело? Зверь ничего не сделал, зато сделали люди, помогли ему! И люди же взволнованы вдруг случившимся. Почему? Потому что они как бы прикоснулись к тому самому, что в сказках сказывается, волшебному светящемуся камню, от прикосновения к которому светящимся становишься сам. А что это за волшебный камень, если вы спросите, то ответ самый простой, – это ничто иное как

добро. Замечено, что во стократ счастливее тот, кто сделал добро, нежели тот, кому это добро адресовано. Горцы говорят, творить добро – долго жить, а живет он долго потому, что долго хранит живое тепло доброты. Появился недавно термин «естественные люди», вот и сегодня вдруг на берегу люди стали естественными, самими собой, без скуки и раздражения, без тревог и волнений, охваченные одними добрыми побуждениями.

Сел рядом с нами рыболов, мы знали его давно, правда, имени его не спрашивали никогда. Он приходил на рыбалку всегда со своей табуреткой, удочкой в чехле и саквояжем. Мы представились, и он назвал себя Фридоном.

– Да, да, Фридон, для вас странное имя, а я привык к нему, как лошадь к седлу.

– Мы ничего не имеем против, – сказал ему Сергей Миронович, – мы не сказали, что у тебя имя странное.

– Вы не сказали, но я почувствовал, что вы хотели это сказать. Понимаете... вы, может быть, не поверите, но я могу поклясться самым святым, что дельфин и человек были братьями-близнецами.

– Откуда это ты взял? – вмешался в разговор задира Мустафа.

– Сон мне странный приснился.

– Бывает, бывает, товарищ, такое после неудачной рыбалки, – усмехнулся Мустафа.

– А я вовсе не рыбачил вчера.

– Ты не сердись, я шучу, – не унимался Мустафа, никто его не тянул за язык, а ему как будто до всего есть дело.

– Ты шутишь, а я серьезно говорю. Понимаете, жили в океане братья-близнецы...

– Дельфины хочешь сказать?

– Да, дельфины. И как-то раз они выбрались на берег. Один из них углубился в лес, второй остался на берегу и звал его обратно... но тот не возвращался. Долго ждал он на берегу своего брата, пора бы ему вернуться, но его не было... И вдруг лес загорелся, пламя огня стало подступать к берегу, и, не дождавшись брата, дельфин нырнул в море...

– А другой сгорел в лесу. Хи-хи... – ехидно заметил Мустафа.

– С тобой серьезно, а ты... – нахмурился Фридон.

– Слушай, отстань, пожалуйста, дай человеку сказать... – дружелюбно попросил Сергей Миронович, – говорят же, болтуна нельзя брать на рыбную ловлю.

– Подумаешь... – отвернулся Мустафа.

– И вот с тех пор, по-моему, в каждом человеке дельфин видит своего брата и старается помочь. Потому он так привязан к людям.

– Ищет среди людей своего брата, да, может быть...

– Может быть. Но что удивительно, во сне дельфин заговорил со мной человеческим языком...

– И что же он тебе сказал? – повернулся к ним вновь назойливый Мустафа.

– Как что? Вот эту историю, как потерял своего брата и что он ищет его повсюду... И что самое удивительное, поздний телефонный звонок перебил мой сон...

– Хи-хи, ну и люди, выдумывают всякую чепуху, сколько лет живу на свете, ни одного сна не помню... – замечает Мустафа.

– Да не обращай на него внимания, рассказывай, – попросил Фридона Сергей Миронович.

– Междугородный был звонок, понимаете, брат мой на службе в армии, это он звонил. Поговорил я с ним, лег, заснул и увидел продолжение сна. Мы говорили с дельфином.

– Ты хоть видел в жизни живого дельфина?

– Не раз, я плавал в море с ним.

– С кем?

– С дельфином.

– Где? Во сне?

– Нет, я в Батуми в океанариуме работал.

– Так бы и говорил... а то во сне... – разочарованно проворчал тот, кто молча слушал рассказ, и поднялся. – Эй, ребята, – обратился он к Мустафе и Хабибу, – смотрите, клюет, чего доброго удочки унесет в море.

Посмотрел я на свою леску, она не была натянута, свободно висела, уходя концом в синее течение, на берегу метров двадцать вода была зеленая, вообще, как я наблюдал, море нынче редко бывает синим, оно больше зеленое.

3

Соседи наши вытянули лески с мелкими рыбешками и с кучей морской травы. Мустафа подсел к нам и затеял разговор.

– Что, дорогой, твой дельфин или леопард по сравнению с той рыбой, что я выловил на Тереке.

– А что за рыба? – поинтересовался Фридон.

– Тихо, – огляделся он и шепнул, – осетр... это тебе не бычок. Вы бывали в мае месяце на дельте Терека? Не бывали, тогда вы ни черта не знаете...

– Я бывал в тех местах, Мустафа прав, весной в мае месяце из моря, на пресноводные течения выбираются рыбины из осетровых на нерест, зрелище, скажу, почтенные, потрясающее... Несколько раз подряд ездил туда подивиться этим таинственным явлением природы. Представляете, бывает, что реки не видно от пилообразных спин этих рыб, которых гонит инстинкт. Это что-то невообразимое, такое надо видеть своими глазами. Огромные рыбины спешат вверх по течению, бьются хвостами, перепрыгивают через себе подобных. Одни спинки, спинки и спинки... река становится вдвое шире. Какая стихия... Это и есть великий инстинкт сохранения потомства, ведь, отдав дань природе, рыба истощается и умирает, унося с собой надежду, что из миллионов икринок хоть несколько продолжат ее жизнь.

– Я был неопытный, – продолжал свой рассказ Мустафа.

– Но ты поймал рыбу или не поймал?

– Еще какую, килограммов на сто, не меньше...

– Вот это да! Не может быть... Иголку выдает за дубинку.

– А что, врать что ли стану, зачем?

– А на что ловят?

– Хи-хи, не на леску, конечно, на канате толщиной вот с твой бычок, а на конце якорь, так называемая «кошка»! – рассказывал неудачный браконьер, показывая ладонь с согнутыми пальцами, – вот такой с острыми зубцами... Бросишь с обрыва такую удочку в реку, так или за хвост или за жабры непременно зацепишь осетра, их там не счесть... и тяни.

– И ты вытянул?

– С трудом, чуть меня не сорвало с обрыва, силища...

– И тебя не поймали?

– Поймали.

– До того, как поймал рыбу, или после?

– Хи-хи, наивный ты человек, да что я говорю, и я тогда был наивным, по глупости, испугался, ужас, чуть в штаны... Думаешь, инспектора сразу набрасываются, нет... Прячет инспектор в кустах свой желто-синий с коляской мотоцикл, а сам ждет, что ты будешь делать. Ему же надо с поличным... Поймал, он тут как тут и тебя цап-царап. Я ему говорю: «Отпустите меня, товарищ капитан», – хотя видел, что инспектор еще до сержанта не дорос. «Дело следует составить», – сказал он с таким спокойствием, что колени у меня задрожали.

– Зачем дело, дорогой, прошу вас, у меня ведь дети, – говорю я, клянусь, ребенка в эту минуту почему-то вспомнил.

– Сколько?

– Что?

– Сколько, спрашиваю?

– Деньги имеете в виду, штраф, да?

– Сколько детей?

– Один, два годика... – показываю ему на пальцах.

– А этого сколько? – говорит он мне, я его не понял.

– Чего?

– Ну этого... О чем ты в первый раз подумал.

– С собой у меня... – порылся я в кармане, – вот только десятка, товарищ майор...

– Акт надо будет составить, карандаш есть?

– Что?

– Карандаш?

– Нет, откуда у меня, ничего нет...

– Первый раз?

– Клянусь женой, которая ждет не дождется меня, а ребенок плачет, конечно же, плачет, с отцом такое, как же ему не плакать...

– Телепатия?

– Что? Да, да... жаль ведь отца. Так горько плачет малыш.

– Эй, что ты в мой карман лезешь? – возмутившись, заерзал инспектор, это я ему десятку сую в карман.

– Прости, дорогой, мы же люди, должны понимать друг друга.

– Анекдот знаешь? – спрашивает он меня. Представляете, веселый, видно, человек.

– Что?

– Анекдот, говорю.

– Их столько, что все не запомнишь.

– Ну этот случай с инспектором ГАИ и владельцем «Жигулей», который рано утром возвращался со свадьбы во хмелю, и его останавливают... «Дыхни!» – говорит ему инспектор... Водитель ему в карман десятку, а инспектор ему: «Дыхни еще раз!»; у водителя кроме пятерки больше в кармане денег нет, а когда он протянул пятерку, то инспектор угрюмо сказал ему: «Дыхни как в первый раз!» Понял?

– Конечно, я же понятливый, шибко люблю жизнь... Клянусь, больше нет.

– Не будешь больше?

– Первый и последний раз.

– То-то же... можешь убираться! Рыбу оставь и икру, что ты выпотрошил в это синее ведро... И инструмент... Сам изготовил?

– Нет, сосед кузнец.

– Пешком пришел?

– А как же...

– А «Запорожец» этот в кустах? Не машина?

– Какая же это машина, тяни-толкай. На «Жигули» хотел... неудачно, товарищ сержант.

– Документов, конечно, нет?

– Откуда, нет нужды их таскать с собой.

– Звать, конечно, Магомед?

– А как же! В Дагестане, товарищ сержант, столько же Магомедов, сколько в России Иванов и во Франции Жанов.

– Отчество Магомедович и фамилия Магомедов?

– Как и положено... Знаете, говорят, в самый разгар спектакля кто-то открыл заднюю дверь и сказал: «Магомед, выходи!» – ползала вышло...

– Веселый ты человек. Так что, товарищ Магомедов, пусть это станет вам горьким уроком... – стал наставлять инспектор, как же иначе, на его месте и я бы стал перевоспитывать.

– Очень горьким, товарищ сержант. Разрешите удалиться? – попросил я его, потому что далее задерживаться не было смысла.

– Разрешаю, удалитесь! – сказал он, и я удалился. – Вот так, братцы.

– А машину твою он не проверил? – вдруг спросил Сергей Миронович.

– Не догадался, ха-ха-ха! – такого довольного смеха я давно не слышал.

– Нехороший ты человек! – сказал мой сосед, обращаясь к нему. – Да, большие неприятности рождаются от мелких причин. Ты молодой, а язык... Язык нужно держать в узде.

– Понятия эти, старик, относительные, так же как и все на свете.

– Это выдумано глупыми людьми для утешения.

– Не твое дело, и не лезь, не с вами говорю!

– Больно громко... Черт с тобой, из яиц, снесенных на языке, яичницу не изжаришь.

– Ты жарь, жарь свою яичницу, а в чужие дела не лезь!

– Вы только посмотрите, люди добрые, что он говорит...

Попросил я Сергея Мироновича не связываться с ни-

ми, и он послушался меня. Не было настроения ни у меня, ни у других из-за плохого лова – рыбка не клевала.

– Да, извелась рыбка, – посетовал один из них.

– Неужели совсем не стало?! – поинтересовался случайный прохожий, видимо командировочный или из дикарей, что летом приезжают сюда.

– Кое-что бывает. Например, тюленя поймали на удочку, – всерьез как-то сказал Сергей Миронович.

– Смеетесь? – поморщился прохожий.

– Зачем смеяться, добрый человек? Вот людей спроси.

– А какой был тюлень?.. И что вы с ним сделали?

– Отпустили, жалко стало, такой смышленый, умный...

– Хи-хи, он уже и ум у него взвесил, – хихикнул Мустафа.

– По глазам его я понял. Ты разве не видел, он спасибо нам говорил.

– И на удочку поймали?

– Малость соврали, добрый человек, малость прощается... как и охотникам.

И вдруг у того, кто рассказывал о своем браконьерстве, чуть удочку не утащила рыба в море, он кинулся за ней, успел-таки схватить ее в воде, так же и его сосед. Они сразу преобразились и стали быстро крутить свои катушки.

– Не спеши, сорвется!

– А что если осетр, а... – огляделся, нет ли инспектора, – вот будет закуска...

Все обратили на них внимание и перевели взгляд на море, обе лески зацепились, но большая серебристая рыба билась на чьей-то леске... Они радостно кричали.

– На моей жирный червь был!

– Сам ты червь! – зло бросил Мустафа и кинулся в воду. Он схватил обеими руками бьющуюся рыбу и выбросил на берег, она сорвалась с крючка и шлепнулась на песок. Это был толстолобик с полметра длиной...

– Сейчас проверим, кому повезло... И стали они искать, где зацепились лески. Видно, сильная рыбка, пыталась освободиться, в море рвалась так, что на лесках образовался

узел и такой тугой, что нельзя было разобраться... тем более, когда Мустафа выбросил рыбку на берег, она сорвалась с крючка. Но никто из них не хотел уступать.

– Моя рыбка! – твердо сказал Мустафа.

– Нет, моя! – возразил Хабиб.

– Заткнись, не то...

– Мерзавец! И не стыдно тебе... – возмутился Хабиб.

– Ты что сказал, ну-ка повтори!..

И они не на шутку схватились, стали друг друга угощать тумаками, видно, выпитый портвейн был тому виной. Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы Сергей Миронович не пристыдил их и не разнял.

Мустафа схватил свою удочку, сорвал леску, в сумку запихнул еще пытающуюся спастись рыбу вниз головой и поспешил удалиться. А друг, который делился с ним портвейном, остался стоять, ошарашенный поступком собутыльника.

– Негодяй, люди добрые, да вы поглядите, вот же моя леска, вот крючок, с которого рыба сорвалась, вот живое мясо на нем... Проклятье! Так хотел похвастаться дома... – схватившись за голову, сел на песок, как тот чабан, который шел по берегу моря в папахе, а в ней были зашиты семьсот рублей денег... Вдруг подул ветер, сорвал папаху и покатил к берегу, волны подхватили ее и понесли... вошел чабан в воду, тянулся за папахой, но она уплывала дальше. Залез он в воду по горло, а дальше идти не мог, плавать не умел. Так вот, выбрался он и удрученный сел на песок.

Прошло еще некоторое время. Мы с Сергеем Мироновичем и еще одним соседом постелили клеенку, разложили еду, что прихватили с собой, не нести же обратно домой сухой паек. И вдруг наш удрученный сосед Хабиб заплясал с возгласом «Асса!». Он вытащил куда еще большую рыбину, чем унес Мустафа. Конечно, мы порадовались за него. Он благодарил всех, будто мы ему помогли, показывая гордо большую рыбу. Это был не толстолобик, а какая-то другая рыба: то ли кутум, то ли судак. Да, да, водится теперь в Каспии черноморский судак, правда, рыбаки, слы-

шал я, не довольны, так как эта рыба пожирает кильку и мальков других рыб. Не успела улечься радость по этому поводу, как другой рыболов воскликнул:

– Ура! Глядите, что я поймал!

– Вот это рыба!

– И у меня клюет! – поспешил вытащить леску третий, и повезло же ему, представляете: три больших толстолобика...

– Вот это улов, – сказал Сергей Миронович и быстро глянул на свою удочку, на туго натянутую леску, вскочил и стал крутить катушку. За ним и я и наш сотрапезник.

Скажу откровенно, почтенные, бывают удачи у рыболовов, но то, что случилось сейчас, – было невероятным. По две, по три большие рыбины вытаскивал каждый, только успевай закидывать удочку. Нас смущало одно: придем домой с таким уловом, не поверят, скажут, по пути на рынке купили, ни за что не поверят. Радость у рыбаков была необыкновенная, все позабыли о тюлене, о драке, обо всем на свете.

– Я так и подумал, – сказал вдруг многозначительно Сергей Миронович.

– О чем?

– Ты посмотри, туда посмотри... – и показал на море, – Это он...

– Кто?

– Тюлень, наш милый леопард.

– Не может быть, где?

– Погоди, сейчас вынырнет.

И представляете, вынырнул, поднял этак голову над водой, вот, мол, я. Юркнул и поплыл, изгибая лоснящуюся, гладкую желто-коричневую с темными пятнами спину.

– Наш тюлень, наш леопард...

– Молодец, молодец!..

– Это же он погнал в нашу сторону рыбку...

– Как? – чуть ли не поперхнулся я, не веря тому, что услышал.

– Сергей Миронович, вы о чем?

– Как о чем? Ведь он нас благодарит. Косяк рыбы погнал к нам, вот мы и обрадовались...

– Это же здорово!

– Расскажешь, не поверят.

– Ни за что.

– Ну молодец, смотрите, а как играет, радуется... чувствует, что мы на него смотрим...

Да, почтенные, все мы были довольны этим днем, что провели на берегу, доброта – это волшебное качество, от доброты становятся лучше все: и звери, и птицы, и люди. Становится легко на душе, потому что она очищается от всякой дури. Пчелиная семья гибнет, если она попадает в руки человека, который лжет. Персик сохнет, если он окажется во дворе злого человека. Зверь выбирает из отары больную овцу и бросается на пройдоху и наглеца, фиалка вянет от взгляда жадного и честолюбивца. Сделал добро, говорят горцы, не хвастай этим, а сделали тебе добро... не забудь об этом поведать людям. Вот и я поведал вам, почтенные, о том, что случилось на нашем берегу в сентябрьский день. Не только в тот день, но и на следующий день появился тюлень, наш милый леопард, и в последующие дни... И при виде его люди восклицали: «Наш тюлень!».


СКАЗКА

ЖИВЫЕ ЗЕРНА

Сказка

1

В белых облаках скрылись причудливые макушки горных вершин. В узком скалистом ущелье серебрится речка. Всплеск, и рыбка белым хвостом вильнула, разбросав круги вокруг себя. Журчит и струится чистая, прозрачная вода. Пробегая по желобу из ореха, быстро вращает колесо водяной мельницы. Крутятся толстые каменные жернова. Стучит колотило, из ковша золотая кукуруза, зерно за зерном, падает в отверстие бегуна. Как в загадке говорится: «Два брата схватились между собой, разнять некому, третий зазывает людей на помощь, а тех, кто отозвался, дерущиеся братья в порошок стирают».

Дверь в мельницу распахнута. На небольшом участке земли перед мельницей, за которой виднеется горный аул, работают двое: отец в заплатанном бешмете и сын, один пашет, другой сеет. Устало плетутся волы. Соха еле пробивает каменистую почву. Изможденный старик снимает папаху, похожую на маленький стог сена, и вытирает обильный пот – это Усман.

Затем, пожалев, освобождает из-под ярма волов, схватившись за сердце, медленно опускается на скамеечку под деревом. Здесь в тени тутовника хорошо ему, он с трудом расстегивает ворот косоворотки. А Сабур, его сын, все сеет, ровно ложатся в землю кукурузные зерна.

Обычный аул на крутом склоне, где тополя смотрят в небо и минарет с полумесяцем. Тесно прижались друг к другу сакли с застекленными верандами. Над некоторыми крышами вьется сизый дымок. По узкой улочке села бредет

ослик, неся на спине двух детишек в плетеных корзинках. Горянка в черном подгоняет ослика, за ней идет с охапкой хвороста молодая девушка в красном. Поровнявшись со стариком, она кланяется ему и наливает из кувшина воду в протянутую чашку.

– На здоровье, дедушка, – говорит Сельбы и украдкой поглядывает на младшего сына мельника, на Сабура. Сабур смотрит на девушку, и взгляды их встречаются. Девушка, смутившись, краем платка прикрывает лицо и убегает.

– Спасибо, доченька, дай-то бог тебе счастья! – благодарит ее мельник, поглаживая седые усы.

Сабур подошел к отцу. Старик задумчиво глядел вдаль, в бирюзовый треугольник неба. Сын почувствовал, что отца что-то тревожит.

– Я рядом, отец.

– Спасибо.

– Нужно что?

– Да, сынок, пригласи и братьев своих, я хочу поговорить с вами.

– Хорошо, отец.

Сабур, готовый исполнить любое желание отца, ушел. За аулом, на сельской площади в разгаре состязание борцов. Зрелище захватывающее, и много зрителей – стар и млад. Звучит мелодия зурны и барабана, неистово стучат палочки, раздуваются как меха щеки зурнача. Один из борцов – это средний сын мельника Махад. Бой идет с переменным успехом. Детвора, удобно устроившись на дереве, восторженно наблюдает за боем. Сидят почтенные старики, и один из них сказал:

– Кто бы ни победил – победитель наш!

– Махад, отец зовет! – крикнул Сабур.

Махад отвлекся, и в это время его положили на обе лопатки – возгласы, шум. Махад не в обиде, пожав руку победителя, поспешил за младшим братом.

– Что случилось с отцом?

– Он неважно себя чувствует. А где теперь искать Алмаса?

– Он был на охоте. Да вот он, возвращается... – показав в сторону скачущего всадника, сказал Махад.

Это Алмас возвращался с охоты. Через заднюю луку седла были переброшены пара зайцев и три куропатки.

– Что за печаль, братья? – спросил их Алмас.

– Отец нас зовет.

2

И вот все в сборе. За нехитрой трапезой сидят сыновья рядом с отцом... Отец откладывает четки в сторону, берет лепешку и делит на четыре части – каждый берет по куску и начинает есть.

– Ты звал нас, отец? – спрашивает старший, запивая хлеб ягуртом.

– Да, дети мои.

– Мы слушаем тебя, отец.

– Ешьте спокойно, не спешите. Да, дети мои, чувствую я, что настало время собираться мне в дальнюю дорогу.

– Что ты, отец, не говори такое... – с тревогой смотрит на отца младший.

– Да, да, дети мои, это каждому суждено... – и старик Усман достает книгу с блестящими медными застежками, протирает кожаную обложку полой бешмета. – Отец ваш не богат, отец ваш – пахарь, сеятель, жнец и мельник... Но у меня вот одно сокровище – книга земли. Начали ее писать ваши предки, и будет писаться она и дальше... дополняясь мудростью и нераскрытыми таинствами. Книга, как видите, дети мои, одна, а вас трое. И достанется она тому из вас, кто совершит самое доброе дело на земле. Пора, дети мои, оседлать вам коней и пуститься в странствие, людей повидать и себя показать. Три года вам сроку, и в такую же весну я буду ждать вашего возвращения. Да сохранит меня Аллах до тех пор.

– Пора так пора, отец! Воля твоя для нас закон!

Поблагодарив отца, поклонившись ему, стали собираться в дорогу сыновья. Старший сын Алмас оделся в доспехи. На лице отца мелькнула тень недовольства.

– Зачем же оружие, сынок, я же тебя не воевать посылаю. Оставь, чтоб взять в нужный момент...

– Нужный, говоришь, а ты укажи мне, отец, этот момент, я с удовольствием оставлю...

– Да, это предугадать очень трудно, – согласился отец.

Средний сын Махад нарядил коня и сам оделся в праздничную одежду.

– Дорога дальняя впереди, сын мой, а ты как на праздник оделся.

– Душа радуется, отец, хочу миру себя показать, – восторженно сказал Махад.

– Покажись, сынок, покажись, – приговаривает Усман и, перебирая в руке четки, обратился к младшему. У Сабура ни наряда нет, ни коня. Взял он горсть кукурузного зерна, что осталось после посева, насыпал в мешочек, завязал и положил в свой пустой хурджин. Отец молча сунул в его хурджин две лепешки и кусок брынзы.

– Ты знаешь, о чем я печалюсь, сын мой, – обратился старик к младшему сыну.

– Да, отец. Можешь не говорить.

– Да будет удача...

– Не такой уж я невезучий, отец, в дальних странствиях, может, мне улыбнется судьба.

– Будь счастлив, да смилостивится над тобой небо.

Старик проводил своих сыновей до самой окраины аула, до того места, где развилка трех дорог, где стоит камень на трех гранях, на которых добрые пожелания путнику. Три дороги устремились в разные стороны, будто тройка мчится вдаль, а ремни от тройки держит этот странный трехгранный камень.

– Если совершите добро, о вас земля сама заговорит, дети мои, – напутствует отец, – а если кому из вас не пове-

зет и он свернет с верной дороги... то пусть силы не покинут его и он вернется в отчий дом. Я всех вас люблю и желаю вам удачи.

– Спасибо, отец!

– Мы не подведем тебя, отец!

– Оправдаем твои надежды.

– Будем достойными имени твоего.

– Плод жизни, дети мои, доброе имя.

– Береги себя, отец.

Старший сын, подойдя к своему коню, вдруг повернулся к отцу и сказал:

– Право же, отец, мне неловко, что младший брат без коня. Если хочет, я с удовольствием готов уступить ему скакуна.

– Что ты, брат, – смутился Сабур, – спасибо тебе. Ты старший из нас, ты заслужил такой почет... – и младший брат, выражая признательность, приложил руку к сердцу.

– Может, ты возьмешь моего коня? – спросил добродушно средний брат Махад и протянул брату уздечку своего скакуна.

– Что вы, братья, не надо! Ваше великодушие да сбережет меня и вас в пути. В добрый час, желаю вам удачи, братья!

– И тебе, брат наш, да будет сопутствовать удача!

Ускакали лихо два брата на быстрых конях, оставляя после себя тучи пыли, в этой пыли и затерялся младший брат. Пыль, медленно рассеиваясь, осела. Один старик остался стоять на развилке трех дорог. Стоит Усман и всматривается вдаль.

3

Течет речка серебристая, играя разноцветными камушками, лежащими на дне. В воде отражаются красные серьги барбариса, молодой клен сбрасывает золотой лист, и речка

несет его, как малый кораблик. На берегу осеннее многоцветие – дубрава, опушка леса, стог сена.

Старик Усман собрал добрый урожай кукурузы. Приехав домой, он был приятно удивлен. В его отсутствие кто-то наводил порядок в доме и на мельнице.

– Эй, кто здесь, отзовись! – спросил Усман. – Поблагодарить тебя хочу...

Но никто не отозвался. Снял с арбы старик косички, сплетенные из початков кукурузы нового урожая, и сложил их у двери мельницы. Потом сел на арбу и уехал в поле. Половину урожая он привез домой, а половину еще надо убрать. И стал Усман собирать початки и сплетать из них длинные косички. Старик радуется богатому урожаю. Закончив работу, он довольный возвращается домой. Подъехав к мельнице, видит, что горка косичек, что он оставил у двери мельницы, аккуратно висит под навесом на балке. Старик оглянулся...

– Большое спасибо тебе, кто бы ты ни был! – сказал Усман. Потом сел под дерево и достал книгу земли, открыл ее и записал гусиным пером:

– Все, что ты доверяешь земле, – писал он, приговаривая, – возвращается к тебе приумноженным. И сегодня я понял одну истину: «Добро ветвями к солнцу тянется». Да, вот еще, дивное случилось... Пока я собирал урожай в поле, здесь – в мельнице и дома – все прибрано, кругом такая чистота, какой я не видел давно...

Украдкой из-за угла показалась Сельбы. Она положила на табуретку перед стариком крынку с ягуртом и кукурузную лепешку, еще пять грецких орехов. А когда старик отложил книгу, чтоб не обнаружить себя и остаться незамеченной, девушка быстро скрылась. Мельник приятно удивился, улыбнулся, догадавшись чьих рук дело, и принялся за еду.

– Дай-то бог тебе счастья, доченька! – произнес он. Сельбы, украдкой наблюдая за ним, не могла слышать его слов. Но ей стало приятно, что угодила старику.

Старик с удовольствием съел лепешку, макая ее в миску с ягуртом. На край глиняной миски сел жаворонок и стал выводить свою трель, будто хотел заслужить угощение.

– Ешь, ешь, голосистый... ты заслужил, – обращаясь к птице, сказал старик. – А скажи, пожалуйста, не ты ли случаем, когда меня нет, уборкой занимаешься…

Задрав клюв к небу, запела птица, выражая восторг и радость.

– Понял, понял, не ты... А не видал ли ты моих сыновей? Не видал...

А время мчится как лихой джигит, сменяя черную бурку ночи на белый бешмет дня. Скачет оно, не зная ни сна, ни устали…

Встал старик и, заложив за спину руки, перебирая четки, спустился к речке. Вот одно зерно четки соскользнуло по нити, второе, третье... и так далее.

4

Из-за леса неба почти не видно, не лес, а джунгли. С трудом пробирается через этот лес Сабур. Обезьяны, перепрыгивая с дерева на дерево, передразнивают заблудившегося парня. И вдруг все живое с визгом и криком разбегается в разные стороны, обезьян будто ветром сдуло. Послышался крик могучего зверя, похожий на стон. Раздвинув заросли, Сабур увидел, что тигру зажало переднюю лапу в щели упавшего дерева... Тигр стонал, желая высвободиться, но ему не удавалось.

Сабур сжалился над могучим зверем и помог освободиться ему, раздвинув треснувший ствол. Зверь, получив свободу, благодарно посмотрев на своего спасителя, поспешил уйти.

Обезьяны стали бросать в Сабура плоды, выражая тем самым свое недовольство по поводу спасения от неминуемой гибели их жестокого врага.

Сабур, выбравшись из леса, вышел к древним каменным изваяниям. За ними он увидел город с высокими минаретами, дворцами. Сабур остановился на окраине города у бедной хижины под финиковой пальмой. Юноша помог бедняку полить небольшое кукурузное поле. В благодарность за это хозяин угостил гостя свежими финиками.

– Ешь, сынок, да прибавится здоровье. Ешь, это от чистого сердца.

– Спасибо, отец. Что слышно здесь у вас, какие новости?

– А что все новости на белом свете, сынок, по сравнению с той новостью, что у нас передается из уст в уста.

– И о чем же эта новость?

– У нашего шаха, сынок, была луноликая дочь, которую не видела ни одна живая душа.

– А как же узнали, что она луноликая?

– Твоя правда, сынок. Отец и мать, конечно, видели ее, и они, видимо, назвали ее такой. И как только ей исполнилось шестнадцать лет, издан был указ, да это было неделю тому назад, что будет казнен тот, кто осмелится взглянуть на нее.

– А кто же женится, не взглянув на нее?

– Твоя правда, сынок. Но не повезло одному чужестранцу, очень не повезло. Он на коне перескочил высокий забор и оказался во дворе дворца у бассейна, где купалась принцесса.

– И что же будет с ним?

– Говорят, его тотчас схватили и посадили в зиндан. А сегодня вон... вон уже там-тамы гремят... – вскакивает феллах, – его везут на площадь, где бросят в клетку с тигром. Пойдем, сынок, поглядим...

– Каков он из себя?

– Говорят, красивый, в добром наряде.

И Сабур последовал за любопытствующим феллахом. Чем ближе к площади, тем сильнее слышны были там-тамы. Вдруг все стихло, и донесся голос глашатая. Он го-

ворил то же, что и бедняк. Только добавил, что приговоренный к жестокой казни чужестранец может быть освобожден, если появится из здешней среды человек, который пожертвует собой вместо него! Слушайте и внимайте. И много раз глашатай повторил это.

– Скажите, отец, что значит «если появится из нашей среды»?

– Ну, значит нашей воды человек. Понятно?

– Да, отец.

– Вот везут его!

И все повернулись в сторону процессии. Впереди шла подвода, запряженная четырьмя парами буйволов, на подводе стоял столб, и к нему был привязан приговоренный. А за этой подводой ехала большая клетка на восьми колесах, в которой разъяренный тигр бросался во все стороны. Сабур вздрогнул, когда в приговоренном он узнал своего брата Махада.

– Его надо освободить! – чуть ли не вскрикнул Сабур.

– Как? – удивился феллах.

– Глашатай же объявил, что приговоренный может быть освобожден...

– Да, но ты же чужестранец... Что же делать? Погоди, погоди... Я назову тебя моим сыном!

– Спасибо, отец!

– Кто он тебе?

– Это мой брат!

– Боже мой. Конечно, надо спасти. Как? Но что я говорю, ведь тогда вместо него казнят тебя!

Когда процессия остановилась, на террасу вышел со своей свитой шах. Сабур бросился к нему и, став на колени, приложив руку к груди, обратился:

– О великий и милосердный, ясный и светлейший, прошу освободить этого человека.

– Как? Имеешь ли ты на это право? Нашей ли воды ты человек? – спросил шах.

– Да, великий… – говорит из толпы бедняк, – это мой сын.

Люди расступились, и шах увидел бедняка. Все бедняки кивают головами, мол, да, он наш, мы его знаем. Только один бедняк усомнился и спросил соседа: «А разве у него мог быть такой взрослый сын?», а сосед махнул рукой, мол, на свете все может быть.

– И тебе не жаль свою молодость?

– Не жаль.

– И что же побуждает тебя пойти на такое безумие?

– Спасти невинного.

– Ты что, раз ты его считаешь невинным, то по-твоему я виновен? Освободите осужденного, я дарую ему жизнь, я выдам свою дочь за него. А этого... Повелеваю в клетку!

Стражники освободили Махада, его переодели и привели к шаху: Махад сел на почетное место и посмотрел на брата.

Сабура подвели к клетке, где рычал тигр. Все ждали, затаив дыхание, что же будет. Бедняк-феллах кусал пальцы и шептал: «Сынок, сынок, что же ты, за кого ты пожертвовал собою... Откажись, прошу тебя». Вдруг он громко крикнул: «Сынок, откажись!» Все обернулись в его сторону. И вот по знаку всемогущего повелителя Сабура бросили в клетку, все подумали, что он будет растерзан разъяренным зверем. Но тигр не тронул юношу, он, напротив, стал ласкаться к нему. Все изумились. Разве можно поверить в такое!

5

Сабур вышел из клетки, ведя за собой тигра, от страха люди разбежались, улицы опустели. Стража испугалась, увидев человека, идущего со страшным зверем. Сабур все гладил тигра и успокаивал его. Они вышли за ворота города и подошли к пальмовой роще, за которой бамбуковые за-

росли, а вдали горы. Дойдя до зарослей, человек и тигр простились. Тигр убежал в камыши, где его ждала тигрица. И он сказал ей, указав в сторону удаляющегося Сабура, что этот человек – самый верный и добрый, вот уже второй раз спасает его от беды.

Поднявшись на холм, Сабур присоединился к большому каравану. Добрый арбакеш посадил его на свою арбу с большими колесами.

– Садись, вижу, устал.

– Спасибо, отец. Что нового в ваших краях?

– Что все новости на белом свете по сравнению с тем, что произошло у нас...

– Случилось что?

– Лучше бы не случилось... Объявился чужестранец, который пообещал нашему Белому Радже одержать победу над его соседом Черным Раджой, и пошел войной...

– И победил?

– В том то и дело, что чужестранец в плен попал.

– Вот беда...

– Еще какая беда... Ведь Черный Раджа не на войну звал, а сразиться в шахматы. И Алмас...

– Какой Алмас?

– Да этот самый чужестранец.., так звать его, перепутал игру в шахматы с войной... А какой от этого позор нашему Белому Радже! И он выкупил за большие богатства у Черного Раджи пленника...

– Зачем?

– Как зачем, чтоб смыть с себя позор. Казнить обманувшего его чужака. Вот мы это богатство и везем Черному Радже...

– Остановите караван! Я могу сразиться в шахматы с Черным Раджой.

Караван остановился у ворот дворца господина. На балкон вышел Черный Раджа.

– Кто звал меня?!

– Это я звал Вас, Ваша светлость, – сказал Сабур.

– Я слушаю тебя.

– Хочу сразиться с Вами в шахматы!

– Если только ты человек Белого Раджи!

– Да, он мой сын, – заявил арбакеш. – Звать его Сабур.

– Хорошо, твои условия?

– Караван не войдет во дворец, пока мы не сыграем, а в случае моей победы Вы освободите пленника.

– А если я выиграю?

– Тогда шея моя, сабля Ваша и все богатство Ваше.

– Согласен.

Из дворца вышел Алмас. Братья обнялись.

6

На широкой веранде у фонтана Сабур сел играть в шахматы с Черный Раджой. Гонцы сообщили Белому Радже о происходящем.

– Если он проиграет, то плохи же будут наши дела, – расхаживает по балкону Белый Раджа, в волнении ломая себе пальцы рук.

А между тем, расставив на доске фигуры, Черный Раджа взял разномастные две пешки, отвел руки назад, затем протянул сжатые кулаки вперед, мол, выбирай. Сабур выбрал правый кулак Черного Раджи. Тот разжал кулак и в нем черная пешка.

– Хорошее начало! – обрадовался Черный Раджа.

7

А на мельнице старика Усмана стучит монотонно колотило. Зерно из бункера падает в отверстие жернова, и с каждым кругом жернов сыплет муку в деревянную емкость. Старик доволен, наблюдая за работой мельницы. Затем он

выходит, перебирая в руках четки, и лицом к лицу сталкивается с Сельбы... Девушка пускается наутек.

– Не убегай, доченька, знаю, что чудеса здесь творили твои руки.

Девушка остановилась, опустив голову, вернулась.

– Ой, вы узнали?

– Конечно, сразу догадался. Иди, посиди со мной.

– Ой, так неловко... – смущается Сельбы, – как бы дурное обо мне не подумали.

– Кто дурное подумает, пусть околеет, доченька, иди сюда.

– Я вот пироги горячие принесла.

– Спасибо, доченька, дай-то бог тебе самого яркого счастья на земле.

– А от сыновей нет еще вестей?

– Что-то они задерживаются, доченька. Я им сказал три года. Это время давно прошло. И, может быть, я бы не дожил до этих дней...

– Надежда вас поддерживает.

– И надежда, и твои заботы, доченька.

– Что там... я ничего...

– Пошли на перевал, поглядим – не идут ли.

И вот перевал – развилка трех дорог. Старик приставил ко лбу козырьком руку, всматривается вдаль.

Да, быстро мчится время, летит время, сменяя черную бурку ночи на белый бешмет дня...

8

В зале у фонтана продолжалась игра. Шут Черного Раджи всячески пытался помешать Сабуру во время игры в шахматы, но юноша старался не отвлекаться. Он был весь в игре. Чувствуя близость своей победы, Черный Раджа торжествующе потирал руки. Сабур был на миг озадачен.

В тревоге расхаживал на балконе своего дворца Белый Раджа, все спрашивал у свиты, которая наблюдала за игрой в подзорную трубу:

– Что видно?

– Пока что ничего, светлый принц!

– Смотрите в оба! Они должны вывесить флаг, если флаг черный, то мы проиграли все, а если же...

– Поднимают флаг!

– Какой?

– Черный ....

– Не может быть!

– Нет, светлый принц, флаг белый!

– Ура! – торжествует Белый Раджа и чуть не срывается с балкона. – Этому молодцу половину своего богатства отдам!

9

В зале у фонтана Сабур ставит мат Черному Радже. Игра закончена. Черный Раджа нехотя выполнил условия договора. Над дворцом белый флаг. Брата Сабура Алмаса с объятиями встречает Белый Раджа, и караван с богатством въезжает во дворец. А Сабур со своими пустыми хурджинами идет по дороге все дальше и дальше от дворцов. И попадает он в голодающее село в горах. Дети и взрослые с надеждой взирали на него, некоторые протягивали к нему руки за милостыней... И он достал из хурджина те кукурузные зерна, что взял с собой... затем вспахал поле, засеял его кукурузными зернами. И вот зерна стали прорастать на глазах у всех. Созрел урожай на поле Сабура, и люди собрали его, часть урожая повезли на мельницу, оставшуюся часть приберегли для следующего сева. Радуются взрослые и дети – им не придется больше голодать.

10

Занемог старик мельник и слег. Лежит он под навесом у мельницы и что-то усердно записывает в свою книгу. За ним ухаживает Сельбы, подает ему чай, поправляет одеяло.

– Спасибо тебе, столько ласки не испытал я за свою жизнь.

– Что вы... Я ведь ничего такого не делаю. Я только молюсь...

– О чем, доченька?

– Чтоб вы были здоровы, чтоб дети ваши вернулись...

– Спасибо. Недаром говорят, доченька, что самый лучший наряд девушки – скромность. Кого ты, доченька, больше всех ждешь?

– Вы меня смущаете, отец... – зардевшись, говорит Сельбы, – я сбегаю к речке.

Оставшись один, старик задумчиво смотрит вдаль, в бирюзовый треугольник неба.

11

...Во дворце наряжают богатый караван. Это провожают с дарами старшего брата Алмаса. Звенят колокольчики на шее верблюдов. А сам Алмас как караван-баши…

...Провожают царедворцы Махада с принцессой в дорогой карете...

...Сабура провожают люди в заплатанной одежде, они прощаются с ним, жмут ему руку, а потом долго машут вслед.

С разных сторон, по разным дорогам сыновья спешат к отцу: Алмас с богатым караваном, Махад с принцессой, а Сабур все с тем же хурджином на плече. Сельбы от удивления выронила кувшин из рук, который разбился на мелкие черепки. Перед ней стоит Сабур. Они оба немного смутились. Сабур, опустившись на колени, помог девушке со-

брать черепки, после чего Сельбы тихо поприветствовала джигита.

– С приездом, Сабур.

– Здравствуй, Сельбы.

Сабур поклонился ей, приложив руку к сердцу, а потом побежал в сторону мельницы, Сельбы проводила его взглядом.

Радостная весть о возвращении сыновей мельника быстро разнеслась по всему аулу. Старший брат прибыл с дорогим караваном, на дорогом верблюде, средний – в карете с красавицей женой в окружении свиты, а младший сын Сабур – со своим хурджином на плече.

12

Сыновья помогли отцу выйти на террасу, где светило солнце и было тепло. Обнял сыновей старик, радостно посмотрев на них. Старшие сыновья с жалостью посмотрели на Сабура, мол, не повезло тебе, брат.

– Вот мы исполнили, отец, твое желание... – кланяется Алмас.

– Спасибо и на том, что обратно вернулись. Я очень боялся того, что кто-то из вас позабудет дорогу в родные края...

– Нет, отец... Это было бы черной неблагодарностью.

Старик достал из-под тахты книгу с медными застежками, положил на колени. Вокруг сакли собралось много народу. И среди них Сельбы, которая не спускала глаз с Сабура.

– Я слушаю вас, сыновья мои, чем вы обрадуете меня? – обратился отец к сыновьям.

Старший сын Алмас начал первый:

– Я, отец, попал в такую страну, где не знали, что такое золото и драгоценности. И я нашел им их, нашел несметное количество алмазов, рубинов и изумрудов.

– Лучше бы ты не находил их, сын мой, – сказал отец, удивив присутствующих и сына.

– Почему, отец? – удивился Алмас.

– Почему говоришь? Давай посмотрим, что там делается, в той стране, где ты нашел несметные богатства... – сказал старик и раскрыл книгу.

И, как на экране, можно было видеть убивающих друг друга людей, ножи и кинжалы, пушки и мушкеты. Река покраснела от людской крови. Старик захлопнул книгу, говоря:

– Лучше бы не видеть мне это!

Смутившись, Алмас отошел и удалился со своим караваном. Средний сын Махад поведал свою историю:

– Я, отец, был в стране, где вечное лето и нет зимы. Однажды я в джунглях спас от неминуемой гибели девушку, она оказалась принцессой. Вот она, отец! – и вывел Махад из кареты девушку необыкновенной красоты. Принцесса поклонилась старику. – Ее отец, правитель той страны, в благодарность обвенчал нас...

– Да, сын мой, и я благословляю вас, но ты, сын мой, не останешься жить со мной... – раскрыл книгу старик, и показала она белокаменный дворец и правителя той страны, которой смотрел в подзорную трубу в ожидании зятя и дочери. Закрыл старик книгу и с надеждой посмотрел на младшего сына.

– Прости меня, отец, ни клада не нашел, ни несметного богатства, ни принцессы... я в своих странствиях, отец, попал в такую нищую и голодную страну, народу которой грозила гибель, они съели все: семена, все зерно... ели корни трав... и кору деревьев...

Все с удивлением слушали его рассказ.

– И вот то, что я взял с собой, горсть зерна, посеял я в той стране... вырос урожай, а от того урожая еще урожай и ... себе вот взял столько же, отец, сколько я отсюда с собой забрал. – И Сабур достал из хурджина маленький мешочек и высыпал на ладонь кукурузные зерна.

Отец раскрыл книгу мудрости и увидел довольных и счастливых людей в соломенных шляпах, где одни сеют зерно, другие пропалывают, а третьи собирают кукурузные початки. Малыш радостно ест чурек и смотрит на свою довольную мать.

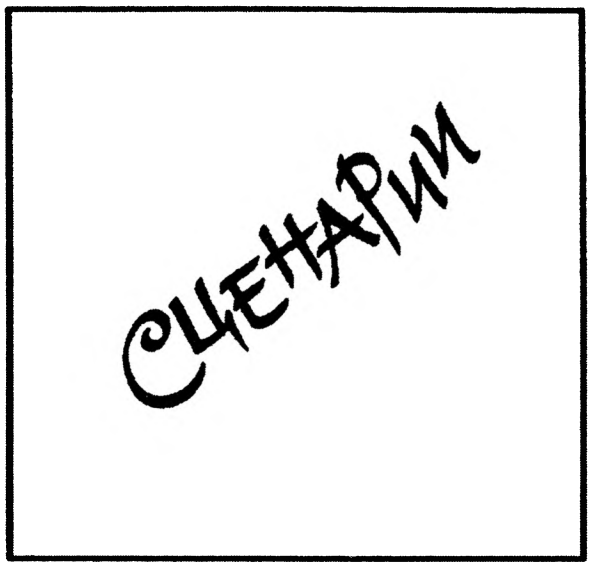
Старик поднялся, закрыл книгу и у всех на виду поклонился своему младшему сыну:

– Вы согласны со мной, люди добрые, что книга мудрости должна достаться моему младшему. Его дело самое доброе, самое важное и дороже всего на земле, он народ от гибели спас. – И старик передал книгу в руки сына. Потом он подозвал к себе Сельбы. Она немного смутилась, но подошла. – Иди, доченька, дождалась ты своего счастья.

– Из-за него я кувшин у родника разбила, – не зная, что сказать, тихо проговорила Сельбы.

– Слепится семья и найдется другой кувшин, – доволен старик, – мир вашему дому, дети мои.

Синее небо, белые облака. Стая птиц. И ручей сверкает серебром, спешит в ущелье, и дороги в горах вьются серпантином.


СЦЕНАРИИ

ЛЕЗВИЕ НА ШЕЕ

Сценарий

1

От самого моря с двух сторон к Джалганскому хребту тянется мощная крепостная стена Дербента, соединяется она на горке со знаменитой цитаделью Нарын-кала. Здесь ведутся реставрационные работы. Слышится дробный стук молотков, резкий скрежет камнереза. Два мастера-реставратора, постарше – Сурхай с бородкой, помоложе – Алхилав, заняты восстановлением фриза с рельефом, изображающим битву людей с барсами. Небо лазурное с редкими слоистыми облаками, море синее, нет, скорее – зеленое, ведь называется оно на Востоке Хазарским.

– Берегись! – раздался отчаянный крик за дверью эмирского дворца. – Берегись! Сорвалась!

В сторону, где устроились за работой мастера, катится огромная глыба ракушечника. Мастера в испуге шарахаются в стороны.

– Клянусь, убьет он нас когда-нибудь, – возмущается Сурхай. – Что за подлые шутки!

– Какие там шутки? Простите, дядя Сурхай, – из-за массивной двери выглядывает Идрис, их помощник. – Я хотел ее, проклятую, подкатить в ту сторону. Вот так у меня всегда, простите, гены во мне ущемленные, хочу доброе сделать, получается...

– Башка у тебя есть?

– Вроде мать мне все говорила беречь то, что у меня на плечах, – улыбается благодушный Идрис.

– И зря!

– Э, нет, маэстро, в этой башке кипят мудрые мысли, не пренебрегайте!

Идрис в потертых джинсах, в очках, интеллигентного вида человек с добродушным с хитринкой лицом. На него косится недовольный Алхилав, присаживаясь на белый камень. Алхилав берет в руки зубило и молоток, перед ним фриз, на котором очищена уже половина рельефа.

– Не смотрите на меня так косо, я искуплю свою вину, – спохватившись, говорит Идрис, выносит из-за двери плетеную корзину. Стелит на каменную плиту цветастую скатерть, достает из корзины сочные помидоры, огурцы, лук, сыр, делит на четыре части румяный чурек. – Прошу вас, маэстро. Чем, скажите, не натюрморт? Секунду, выключу я этот камнерез, будто кости пилит, – Идрис скрывается за массивной дверью.

Недоуменно смотрят Сурхай и Алхилав.

– Чокнутый... – ворчит Сурхай.

– Мы же не камнетесы, мы – скульпторы, живописцы, – удрученно говорит Алхилав. – Псу под хвост такая работа.

– Ты прав, а что делать, жить-то надо, картины свои не могу продать, – грустно показывает на мольберт. – Радости творчества не стало...

– Вот именно...

– Угощайтесь и благодарите меня, – высокомерно заявляет Идрис, ставит на скатерть вспотевший кувшин и присаживается.

– Кругом паутина равнодушия, – продолжает Сурхай. – Чем объяснить?

– Бездуховностью.

– Да не углубляйтесь вы в эти дремучие дебри, ешьте, пейте. Живите легче, все перемелется, помяните мое слово. Преклоняюсь я перед талантами, просто стелиться перед вами готов. И главное, сами того не ведая, вы возвышаете меня.

Идриса весело толкают с обеих сторон Сурхай и Алхилав, льется солнечный напиток в стаканы.

2

С высоты цитадели видно, как внизу раскинулся старый город с голубым куполом Джума-мечети, зажатый в крепостные стены. По обе стороны могучих стен расположился новый город. На южной стороне от цитадели далеко тянется кладбище – музей под открытым небом. То там, то здесь торчат журавли кранов, город строится. У ломящегося всевозможными фруктами и овощами южного базара встречаются две молодые женщины – пышногрудая Бурлият с золотым лезвием на шее и Меседу, стройная, смуглая, с голубыми глазами и ямочками на щеках.

– Ой, подруженька, поздравляю, наконец-то! – обнимает Бурлият свою подругу, когда Меседу показала ей ключи от квартиры. – Однокомнатная?

– Да, но зато есть большая лоджия, из нее выйдет отличная комната, – радуется Меседу. – Спешу Алхилава порадовать. Ой, какое красивое украшение, – она замечает лезвие на цепочке на шее Бурлият.

Прохожий красавец подмигивает в сторону Бурлият. Она смеется.

– Сейчас это модно.

– А не опасно – лезвие на шее?

– Оно же золотое. Две комнаты было бы лучше, – весело заметила Бурлият. – Муж ведь твой – художник какникак. Я слышала – и ему скоро должны комнату выделить?

– Да, но наши строители раньше времени сдали.

– А знаешь, одна моя знакомая оказалась в подобной ситуации, но получила двухкомнатную, – осторожно шепнула Бурлият.

– Как?

– Очень просто, устроили фиктивный развод, оба получили по однокомнатной, затем обменяли...

– Нам и это хватит.

– Подумай, подумай, когда Алхилаву мастерскую дадут, еще не известно. До свидания, милая Меседу.

– До свидания, Бурлият.

Они прощаются. Меседу по многоступенчатой лестнице направляется в сторону цитадели, где за трапезой сидят Сурхай, Алхилав, Идрис.

– Бежит к тебе твоя половинка, и, бьюсь об заклад, у нее ключ от квартиры, Алхилав, – загадочно говорит Сурхай.

– Скоро и ты получишь, мастер!

– Дай-то бог, – обращается к небу.

Алхилав бежит по крутой лестнице навстречу жене. Она показывает ключи. Бегут навстречу друг к другу, обнимаются. Он поднимает ее на руки и кружит на дворцовой площади, где раньше эмиры Дербента принимали высоких гостей.

3

На самом берегу моря стоит белокаменный дом. У людей новоселье. Суета у подъездов. С волнением входят в свою квартиру Алхилав и Меседу. Она все кружится вокруг мужа, тянет его в комнату, то на кухню, то на лоджию.

– Смотри, муж мой, какой вид отсюда, – показывает она на морской простор. – Ты нарисуешь мне море...

– А на первом плане тебя, славная ты моя жена, – Алхилав горячо целует ее. – Даже не верится... какое счастье.

– А знаешь почему? – игриво спрашивает она, обняв его за шею.

– Почему?

– Потому что я очень и очень люблю тебя. Тьфу, тьфу, чтоб не сглазить, я такая счастливая.

– Только мне немного неловко, – вздыхает Алхилав, ставя жену на ноги.

– Что ты... что ты, мечтать только о таком.

– Квартира ведь твоя. Что скажут люди...

– А что скажут?

– У жены живет... нехорошо это.

– Пусть никогда в жизни у тебя не будет большей пе-

чали, муж мой. А хочешь, и ты получишь квартиру, тогда у нас будут две комнаты...

– Что ты говоришь? А как?

– Это я знаю... в одной мы мастерскую сделали бы...

– Кто сделает несвойственное, получит нежелательное, – замечает Алхилав.

– Как скажешь, муж мой.

– И кухня просторная, смотри, отсюда вид на цитадель крепости, – показывает Алхилав, открыв окно. – Брат твой не вернулся?

– Нет еще, что-то долго его нет, я немного беспокоюсь. Правда же, Магомед очень любит меня.

– Как же не любить сестру, которая замужем за скульптором?! – гордо заявляет Алхилав, берет жену за руки и кружит ее посреди комнаты.

4

К цитадели тянутся автобусы с туристами, впереди милицейские «Жигули». Алхилав тащит на себе толстый корень дерева, из «Жигулей» выходит полковник Джафаров, из автобусов у арки цитадели выходит множество туристов.

– Эй, Алхилав! – зовет его полковник.

Алхилав сбрасывает с себя корень, здоровается с полковником.

– Поздравляю с новой квартирой.

– Спасибо, товарищ полковник. Что за гости?

– Почетные, иностранцы. Как поживает моя племянница, небось рада?

– Очень рада, товарищ полковник.

– Что ты заладил, товарищ полковник, товарищ полковник, у меня имя есть, а ты никак родственник, зови по имени.

– Хорошо, товарищ полковник.

– Что это ты тащишь?

– Да вот нашел за крепостью кизиловый корень. Подумал, можно вытесать из него какую-нибудь голову...

– Вот что, Алхилав, ты со своим мастером зайди ко мне на работу...

– Что, есть заказ?

– Хочу, чтоб вы оформили парадный подъезд нашего отдела.

– С удовольствием, товарищ полковник.

– Неисправим ты, – замечает полковник и помогает ему поднять тяжелый корень. – Не забудь на новоселье пригласить...

5

В квартире стоит уже кое-какая мебель. Тихий стук в дверь. Меседу на цыпочках подходит к двери, открывает. Украдкой входит Алхилав.

– Никто не видел? – тихо спрашивает Меседу, обнимая мужа.

– Кажется, нет.

– Муж мой, я так соскучилась, – обнимает его за шею.

– Как вор какой крадусь к себе... Не надо было этого делать, – грустно говорит Алхилав.

– Что ты, муж мой...

– Какой я тебе теперь муж... Эх, не послушался я совета: «Сделаешь несвойственное, получишь нежелательное». Какой же я легковерный, какой негодяй, – стоит перед зеркалом, гримасничает. – Подлец!

– Ну что ты ворчишь... Разве плохо, если у нас будут две комнаты?

– Нечестно и не по-людски это, стыдно, краснею на каждом шагу, – бьет себя по челюсти и бьет так, что кажется, и в самом деле его бьет другой человек.

– Садись, я поесть тебе приготовила... Такая хорошая плита здесь... – суетится Меседу, угощая мужа, хочет развеять его печаль. – Как интересно...

– Что?

– Ты мне не муж, а я тебя обнимаю, целую.

– И не стыдно тебе?

– А знаешь, стыдно и странно, вот видишь даже краснею. Какое-то странное, сладостное чувство...

– А я глаза отворачиваю, когда люди на меня смотрят, мне кажется, все они догадываются.

– Глупости, ты не обращай внимания.

– А совесть...

– Пошли... – говорит ему она.

Алхилав поднимается, берет ее на руки и несет к дивану.

– И у меня странное чувство, будто я тайком от тебя у любовницы... – признается он.

– Не смей, не смей такое даже говорить!

Они, обнявшись, ложатся на диван, и в это самое время раздается стук в дверь.

– Спрячься! – вскакивает Меседу и, поправляя волосы, идет к двери.

– Куда мне спрятаться? – спрашивает Алхилав, подбежав к ней.

– Хотя бы в ванную.

– Кто это может быть? Ты ждешь кого? – Чувство ревности охватывает его.

– Что ты говоришь? Никого я не жду...

– Смотри у меня, если что...

Алхилав прячется в ванную. Меседу открывает дверь. У порога стоят их новые соседи: полноватый с холеным лицом в спортивных брюках, майке, средних лет мужчина Хамзат и его дородная краснощекая жена Айша. На площадке стоит внушительного вида большой старинный шифоньер.

– Будем знакомы, соседка, меня зовут Хамзат, зовите дядя Хамзат, вы так молоды и прекрасны, а это моя жена Айша, зовите ее тетя Айша. От души поздравляем с новосельем...

– Очень рада, добрые соседи, Меседу.

– Красивое имя, современное, звучит, как Мерседес, –

весел и возбужден Хамзат. – Понимаете, доченька, захватили мы с собой этот старый, нет, старинный шифоньер, он в наши двери не влезает... А что если к вам?

– Разве двери у нас неодинаковые? – недоумевает Меседу.

– Кажется, ваша выше и шире.

– Хи-хи, соседская курица гусем кажется... – сладко смеется Айша. – Вы нас простите, доченька.

– Не выбрасывать же его...

– Пожалуйста, если влезет... – соглашается Меседу.

– Помогите-ка, доченька... Так, так... – командует, надувшись как индюк, Хамзат.

– И зачем надо было его тащить... – с досадой замечает Меседу, глядя на упавшую штукатурку.

– Что ты, соседушка, да ты погляди – это же ценная вещь. Что нынче выпускают? Отбросы, опилки, гвоздя не держат. Так, так... А это же из цельного дерева, дуб, доченька, дуб, – все хвалит Хамзат, – ты на ножки посмотри, львиные лапы... Ну-ка еще немного.

– Осторожно, что вы делаете? – огорчена Меседу. – Вы же дверь снесете вместе с коробкой.

– Ничего, доченька, поднажмем еще немного... вот, идет, идет...

Шифоньер падает вместе с дверью в прихожую, посыпалась штукатурка. Меседу в отчаянии разводит руками, мол, что вы сделали.

– Я же говорил, что ваша дверь шире, – как ни в чем не бывало замечает Хамзат.

– Где же шире... – Меседу удрученно смотрит на выбитую с коробкой дверь.

– Это ничего, все равно ведь ремонт надо делать.

– У нас все было в порядке, – с огорчением говорит Меседу.

– Ничего, доченька, редко бывает, чтобы все было в порядке. Не оставлять же шифоньер в прихожей, давайте внесем в комнату…

Они вносят его в комнату, ставят к стене и любуются. Садятся на стулья.

– Вы нас простите, соседушка, – говорит Айша. – У вас, я слышала, неприятности?

– У нас? – непонимающе уставилась на Айшу Меседу.

– Неужели на суде не попытались вас помирить? Вы такая душечка, муж, наверное, попался черствый, бездушный...

– Да, изверг... Я его очень любила.

– И он бросил вас?

– Нет, это я его бросила.

– Но вы же сказали...

– Сейчас мы коробку с дверью поднимем и поставим на место, – встает Хамзат, гладит шифоньер. – Хорошо стоит...

И в это время в ванной чихает Алхилав, Хамзат оборачивается.

– Будьте здоровы!

Меседу нарочно чихает, берет совок и убирает с паркета осыпавшуюся штукатурку, Хамзат, закрепив коробку с дверью, уходит к себе вместе с Айшой. Выходит Алхилав.

– Зачем ты это сделала?

– Я что ли? – сердито огрызается Меседу.

– Зачем разрешила внести эту рухлядь?!

– А что мне было делать, рта не дали раскрыть.

– Голова у тебя есть на плечах?!

– Не ори, и так тошно.

– Дура ты, дура. Не выйдет из тебя ничего путного! – подходит к двери, не успел прикоснуться, как она падает на него. – Проклятье! – Ему больно. – Что, так и будем без дверей?

– Тебе-то что?

– Смеешься?

– Да ты же здесь не живешь! – невольно вырвалось у Меседу, и, испугавшись своих слов, она обращается к мужу: – Прости, прости меня!

– Дурья моя голова... И как это я согласился на этот

развод. А может быть, ты все это делаешь с каким-то умыслом?

– Что ты говоришь... Убирайся! – кричит Меседу сама не своя.

Алхилав в комнате, Меседу в прихожей. Она в порыве кидается к двери, чтобы распахнуть ее и выгнать мужа. Дверь шатается и падает на пол. Меседу успевает отскочить. Открывается соседская дверь, выходит Айша со множеством зимней одежды в руках, даже головы ее не видно.

– Прячься, соседка идет... – тихо шипит на мужа Меседу. Он мечется по комнате, не зная куда спрятаться, выбраться из комнаты нельзя, соседка может увидеть, прячется в шифоньер. Появляется Хамзат на лестничной площадке и весело говорит:

– Что, не держится? Сейчас заколотим... – берет большие гвозди и начинает заколачивать. – Я же говорил, душечка, гвозди не держат...

– Что вы делаете? – возмущается Меседу. – Как я двери буду открывать?!

– Ах да, простите... Я не с той стороны... Терпение, и все будет сделано!

Айша проталкивается и бесцеремонно идет в комнату к шифоньеру.

– Повешу эти вещи в шифоньер.

– Не надо, прошу вас.

– Как не надо? Это же наш шифоньер.

– Положите, пожалуйста, на диван, вон туда... я сама... – преграждает ей путь Меседу, вырывает одежду и бросает на диван.

– Что с вами, соседушка?

– Да почините же сначала двери, – умоляет Меседу. Алхилав чихает в шифоньере.

– Будьте здоровы! – весело кричит Хамзат. – Вы, соседушка, видно простудились...

– Да, да, грипп какой-то импортный... – вытирает фартуком нос Меседу, – я неважно себя чувствую.

Недоумевающая Айша смотрит пристально на Меседу, затем на шифоньер и уходит быстро к себе, перешагнув через ноги мужа, который возится с дверью. Хамзат встает и радостно восклицает:

– Ура! Держится. Спокойной Вам ночи! – говорит он, кланяясь Меседу, и, довольный, уходит к себе, напевая: «Ой, мамина травинка, любовь моя и боль...»

6

Закрыв за ними дверь, Меседу, прислонившись к двери, облегченно вздыхает. Чихая, кашляя и чертыхаясь, выбирается из шифоньера Алхилав, стряхивает с себя пыль.

– Проклятье! Я же мог задохнуться. Что за напасть такая... Не соседи, а чума какая-то...

Стук в дверь. Алхилав на этот раз прячется в туалете. Меседу открывает дверь, видит своего брата Магомеда и радостно кладет голову на его грудь.

– Ой, брат... Родной мой, с приездом. Так я переживала за тебя... Столько ждала... Как же это ты...

– Здравствуй, сестричка.

– Чего стоишь, заходи... Как я рада.

Магомед довольный, потирая руки, осматривает квартиру, кухню, ванную, дергает дверь в туалет, выходит на лоджию.

– А что, прекрасная квартира, поздравляю... Можно сказать повезло, как в спортлото. И без взятки?

– Да, брат...

– Ну, сестренка, привалило тебе счастье! Считай, что с неба упало.

– Не с неба, а за труды мои... Пять лет ждала... Сядь, сядь, брат мой, так было одиноко без тебя...

– Погоди, погоди, что это у тебя с Алхилавом произошло? Я не мог поверить, – он крайне взволнован. – Это серьезно?

– Да, брат. Вот и получилось, выпало счастье, да с не-

счастьем вместе, – с видом глубокого разочарования говорит Меседу.

– Не ожидал от него такого, порядочный вроде бы человек, творческий...

– Еще хвастался, что вылепит мой бюст... Несносный стал, знаешь, что он заявил?

– Что?

– Говорит, не вынесу такого позора.

– Какого?

– Не к лицу, говорит, носящему папаху жить в квартире жены...

– И это передовой человек. Гордый какой. Нет, не думал, что он такое выкинет, – горько вздыхает Магомед.

– Ошиблись мы с тобой, брат, – как бы глубоко сожалея, говорит Меседу.

– Эх, Алхилав, Алхилав, я-то думал о нем, как об остатке нашей совести и чести. Нет, сестра, не мог этот человек обмануть, не мог. Ты должна была все стерпеть, сохранить его. Я же верил ему... Надеялся, что он мне поможет... стать человеком. Неужели ты не могла стерпеть, извиниться, уговорить, попросить прощения, в крайнем случае заплакать, ведь женские слезы действуют на мужчин безотказно. Скажи, ты хоть одну слезу проронила на суде?

– Нет.

– Как нет?

– Он запретил.

– Он запретил тебе плакать?

– Да.

– Нет, ты еще пожалеешь, такого человека потерять, это музейный экспонат, безгрешно честный... Ты была в Махачкале в музее?

– Я здесь не была, а что там?

– Заходишь, и прямо на тебя смотрит с портрета холеная женщина, это, конечно, не Мадонна, а нарисовал все-таки не кто-нибудь...

– Кто?

– Сам Глазунов.

– А кто она?

– Дочь директора музея.

– Не может быть!

– А ты полюбуйся, сходи. Алхилав, Алхилав, как же ты мог, хоть бы со мной поговорил. А почему ты не сказала ему, чтобы он дождался меня?

– Это так спешно, все за три дня.

– А что, у него появилась кто? Это же художники, к ним липнут всякие...

– Что ты, что ты, брат мой, нет у него никого, не может быть.

– Ты веришь в то, что говоришь?

– Верю.

– Не могу понять, я отцу своему не верил, а ему верил, так хотелось, чтобы сбылась его мечта... чтобы совесть была на высоте, ведь памятник совести хотел воздвигнуть на стене крепости... Все пропало, такого друга, родственника потерять. Ты еще пожалеешь, сестренка.

– Пусть он жалеет, зачем я должна думать об этом?

– Да ты понимаешь, что ты говоришь, дура, дура ты, я так хотел обновить кровь честными генами, а ты... – закрывает лицо руками. – Глупо, очень глупо все это... Нет, я чувствую, ты во всем виновата!

– А он святой, да?

– Да, он святой, гены у него нормальные... – возражает Магомед.

– А что, у нас они испорченные что ли?

– Дальше некуда. А что это за шифоньер старомодный? – замечает Магомед, открывает и морщится. – Нафталин. Откуда у молодых, современных этот запах?

– Это соседей.

– Куда бежать, что делать, где ты, друг мой Алхилав, приверженец святости и чести?

– Я ни в чем не виновата.

– А он?

– Он тоже не виноват, – горячо признается Меседу.

– Так в чем же дело? Ты, сестренка, не хитри, я чувст-

вую, что здесь вина твоя, а не его. Эх, из слов плова не сваришь... – встает, складывает пиджак, снимает галстук. – Вот что, сестренка, дай-ка мне что-нибудь поесть... голодный я... – подходит к двери туалета, дергает, но она не открывается. Магомед недоуменно оглядывается. – Эй, Меседу, что это двери не открываются? Заклинило или краска... Дай что-нибудь: нож, топорик...

– Не надо, оставь... – тревожно звучит голос Меседу.

– Как оставь, что ты говоришь, я руки хочу помыть и... Постой, а может быть... – его охватывает страшная догадка, от его взгляда не ускользает замешательство сестры. – Кто там?

– Никого нет, нет там никого...

– Что? Ну-ка, посмотри мне в глаза, – поднимает он поникшую голову сестры. – Что я вижу?! Ты, ты, моя сестра, позволяешь себе такое? Проклятье!.. Ты...

– Замолчи! Что ты себе вообразил...

– Не буду молчать, какой позор, какой ужас! – хватается за голову.

– Я чиста перед тобой, брат мой.

– Так и знал, что ты навлечешь на меня беду... – рассвирепевший Магомед больно хватает за руку сестру. – Говори, кто там?! Эй, подлец, выходи оттуда. Кто там, я тебя спрашиваю?

– Не тот, о ком ты думаешь... – всхлипывает сестра.

– Говори! Где топор? Где он?

Меседу с плачем подходит к двери и говорит:

– Что ты там молчишь?! Выходи уж...

Щелкает крючок, и оттуда выходит Алхилав. Удивлению и недоумению Магомеда нет конца. Стоит будто оглушенный, слова не может вымолвить.

– Ты?

– Да, это я, Магомед.

– Постой, погоди, ничего не понимаю. Ты?! Почему ты прячешься? Постой, что я говорю? А что ты вообще здесь делаешь? Да, да, здесь у незамужней моей сестры?! – Ма-

гомед разгневан и удручен, он хватает Алхилава за грудь. – Я тебя спрашиваю, скульптор несчастный?!

– Отпусти и успокойся... – говорит Алхилав, пытается вырваться из цепких рук Магомеда.

– Что? Ты кто ей? Муж?

– Нет.

– Вы развелись, вас развел суд?

– Да.

– А что ты здесь делаешь, я спрашиваю?! – орет Магомед нечеловеческим голосом.

– Чего ты орешь? Двери пришел починить, – Алхилав в свое оправдание не находит ничего иного.

– Ты еще смеешься? Ну-ка убирайся, чтоб духа твоего здесь не было!

– Брат, что ты говоришь, ты не спеши... – рыдая, заступается за мужа Меседу. – Брат, оставь его в покое. Посиди, выслушай...

– Ничего не хочу слышать, эй ты, забудь навсегда порог этого дома! Убирайся!

– И уберусь, надоело все, будьте неладны, прощайте, непонятные вы люди, по-человечески жить не умеете!

– Постой, куда ты... – Меседу хочет удержать мужа. Оттолкнув ее от себя, Алхилав уходит, хлопнув дверью. Дверь с коробкой падает. Меседу в истерике падает на диван, все ее тело вздрагивает. Срывается с места, хочет бежать за мужем: «Алхилав, Алхилав!»

– Пусть убирается! – кричит Магомед, который пытается приладить дверь, хочет вбить гвоздь, но попадает по пальцам, с криком пускается в дикий пляс, дует на пальцы. Меседу смотрит на него, плачет и смеется, смеется и плачет. – Не плачь!

– Я не плачу, я смеюсь... – говорит Меседу.

– Не смейся, ничего смешного не вижу!

– Не думала я, брат мой, что ты так дурно мог обо мне подумать.

– Ой, вай-вай-вай, – все дует на пальцы Магомед. – А что я еще мог подумать?

– Это же мы, чтоб никто не знал.

– Что не знал?

– Мы же брак расторгли фиктивно.

– Зачем? Что сказала? Ах, да, ой дурак я. Так бы и сказали, что от меня-то таить?

– Ты же не дал по-человечески объяснить. Дура я, дура, так все было спокойно, затеяла черт знает что, и вот... Он ушел и не вернется. Ты не знаешь, какой он обидчивый и упрямый...

– Не реви! Проклятая дверь... Гвоздя не держит, – он с трудом приделывает дверь. – Ах да, чуть не забыл... – подходит к сестре. – Ну-ка наклони голову...

– Зачем?

– Наклонись, говорю. В Баку случайно на руках купил... – достает из кармана и вешает на шею сестре золотое лезвие на цепочке.

Меседу с застывшими на щеках слезами смотрит в зеркало – она довольна.

– Ну как?

– Это мне?

– А кому же? Носи, сестричка, на радость, – Магомед вытирает ей слезы.

– Я у Бурлият увидела и позавидовала...

– Ты дашь мне что-нибудь поесть?

– Сейчас приготовлю.

– Вот что, ты готовь, а я побегу за Алхилавом. Ты должна на него молиться. Где он может быть?

– Откуда я знаю, может быть в мастерской Сурхая, а может быть в цитадели крепости или просто на берегу моря с мольбертом. Найди его, брат.

– Жди, приготовь нам что-нибудь вкусненькое.

– Только чтоб люди его не видели, заподозрят.

– Ничего, я же с ним буду. Скажешь, брат помирить хотел.

Магомед уходит. Меседу все глядит в зеркало. На ее шее сверкает золотое лезвие.

7

На оживленной улице, где ювелирный ряд, Магомед сталкивается с элегантно одетым Идрисом, у него в руках завернутая в бумагу картина в золоченой раме.

– Тебя не узнать! – восклицает Магомед, оглядывая Идриса с ног до головы. – Прямо представитель ОБХСС, никак не ниже.

– Выше, друг, выше... Во мне, знаешь, кто пропадает?

– Кто?

– Следователь прокуратуры, ни больше, ни меньше, – самодовольно заявляет Идрис.

– И не скажешь, что ты просто камнерез.

– Давно тебя не видно было, Магомед.

– Слушай, ты Алхилава случайно не видал?

– Случайно видел.

– Где?

– Он со своим другом.

– Каким?

– Он по-моему настоящим другом считает только Сурхая. А Сурхай достоин этого.

– А что это за полотно?

– Картина Сурхая, клянусь, большой художник, – Идрис разворачивает бумагу и показывает картину, на которой пейзаж с цитаделью и на первом плане девушка в глубоком раздумье.

Собираются ротозеи, с любопытством рассматривают картину.

– Продается? – спрашивает один из прохожих.

– Вот народ, месяц висела картина в комиссионном, никто не интересовался, – восклицает Идрис. – Слушай, Магомед, ты не говори, что видел меня с его картиной. Понимаешь, я все его произведения скупаю.

– Зачем? Надеешься на бум в будущем?

– И то и... Просто он бедствует, а я вот таким образом его поддерживаю.

– Молодец! А ты, конечно, «богат и славен, Кочубей»!

– Это уже тайна фирмы!

Они прощаются и расходятся в разные стороны.

8

За углом старинного купеческого дома Идрис заглядывает в контору пищеторга. В приемной начальника сидит Бурлият. Идрис весело здоровается с ней, передает ей коробку конфет.

– Опять птичье молоко? – голосисто смеется Бурлият.

– В следующий раз будет молоко пантеры, – говорит Идрис. – Прошу принять без намека. А где шеф? Как обычно на объектах?

– Вы же все знаете... – мило улыбается Бурлият, берет конфету двумя пальчиками и откусывает.

– Моя обязанность – все знать, милочка.

– Мы уже встречаемся второй раз, а...

– Э, нет. Третий.

– Тем более... а я вот не знаю Вашего имени.

– Я человек без имени.

– Так не бывает.

– А я исключение. Родители забыли дать мне имя.

– Такой большой и без имени. А где Вы работаете?

– Разве человек без имени может где-то работать?

– Да, и в самом деле. А где вы живете?

– То там, то здесь.

– Фигаро там, Фигаро здесь.

– Вот Вы и угадали.

– Звать Вас Фигаро.

– Прямо в десятку…

– Шутник!

– Шеф, конечно, пиджак оставил в кабинете? Как обычно?

– Много будете знать – скоро состаритесь, – Бурлият протягивает ему руку.

Идрис целует руку и обращает внимание на золотое лезвие на шее. И мгновенно исчезает. Когда Бурлият обер-

нулась, его и след простыл. Она в недоумении поднимает глаза к потолку.

9

В подвальном помещении мастерская Сурхая. На стенах висят картины, к стенам прислонены незавершенные портреты, пейзажи, стоят скульптуры, мольберт... На полу шкура снежного барса, на стене – оленьи и сайгачьи рога. Горят большие лампы. Алхилав острым топориком очищает толстый корень кизилового дерева. Неподатлив он и тверд как камень... Топорик зазубрился, Алхилав ищет другой топорик, берет пилу... все без толку. Отбрасывает работу, он не в духе.

– Ах, вот ты где... – восклицает появившийся в дверях Магомед, – весь город обшарил. Эй, ты что, не слышишь меня? Ну что ты надулся? Не мог, как родственнику, объяснить, что вы затеяли?

– Я ничего не затевал, это все сестра твоя.

– Значит, она умнее нас обоих. Пойми, она хочет, чтоб было тебе же лучше.

– Нечестно это!

– Отсталый ты человек. Честность, друг мой, нынче понимается совершенно иначе, чем, допустим...

– Неправда это, таким образом можно вознести дьявола в ранг ангела.

– Эти соседи расстроили тебя.

– Причем здесь соседи?

– Пойдем.

– Куда?

– Эх ты, разве спрашивают «куда?», когда зовет друг? Ты друг мне или нет?

– Никуда я не пойду.

– Пойдешь... – Магомед берет за руку Алхилава.

Врывается в мастерскую сияющий Сурхай, не замечая Магомеда, восклицает:

– Алхилав, друг, повезло нам! Удивительное дело, та-

кого никогда не было, стоит мне выставить картину, как кто-то... Ты что, не рад, смотри... – показывает три сотенных банкнота. – Живем, братец, живем!

10

Меседу рада, что вернулся Алхилав, суетится, накрывая стол. Алхилав мрачен и неразговорчив, сидит, уставившись в одну точку Он кажется чужим здесь. Стук в дверь, все настораживаются. Из кухни кричит Меседу:

– Прячься!

Алхилав вскакивает, но вновь опускается на свое место.

– Не буду прятаться!

Входят соседи – Хамзат и Айша – с подносами, полными яств. Чего только нет на подносе, даже фазан.

– Угощайтесь, дорогие соседи! – восклицает Хамзат, здоровается. – Говорят, чем далекий брат, близкий сосед...

– Ой, что вы, куда нам столько, у нас еще и хинкал, – приятно удивившись, говорит Меседу.

– Хинкал – дело приятное, но это на час, – весело говорит Хамзат. – Мы вот решили искупить свою вину. Прочь, друзья, всякие огорчения! Жизнь человеку дана для чего? Для радости... Сам живи и другим дай жить. Да, да, друзья, зачем мешать друг другу? Ты мне – я тебе, как в старину бывало, во время развитого застоя.

– Очень рад, уважаемый Хамзат, что вы – сосед моей сестры. Много лестного слышал о вас, – все кланяется ему Магомед. Хамзат польщен и смотрит на Магомеда.

– Я где-то вас видел, – замечает он.

– Дорогой вы наш Хамзат, я же работаю в вашей системе.

– Не может быть, какой номер? – спрашивает Хамзат, покосившись на неодобрительно глядящего Алхилава.

– Что?

– Какой номер, спрашиваю? Ах, да, простите, запамятовал, как имя? – спохватившись, спрашивает Хамзат.

– Знаете, почтенный Хамзат, однажды, говорят, в разгар спектакля в нашем театре дверь скрипнула, и кто-то шепотом сказал: «Магомед, выходи!» Знаете, что случилось? Ползала вышло.

– Ха-ха-ха, значит вас звать Магомед.

– Вы очень догадливы, – с иронией замечает Магомед.

– А в том, что вы поведали, есть смысл. Наверное, спектакль был никудышным.

– А вы что такой грустный? – поворачивается Хамзат к Алхилаву.

– Из-за своей же глупости, – за Алхилава отвечает Магомед. – Я отсутствовал, а они возьми да и ... Хочу помириться.

– Правильно. Надо жить в мире и радости. Вот меня родители учили жить честно, и я теперь это же наставляю своим детям. Надо, надо помириться. Зачем, сынок, разрушать начатое дело, мужчине это не к лицу.

Айша и Меседу все ухаживают за мужчинами и тихо переговариваются между собой, улыбаются, кивая друг другу. Хамзат привычно открывает шампанское.

– Вы нас, думаю, простите, я уже заказал и вам и нам двери, не простые, а дубовые...

– А сколько у вас комнат?

– Три, хотелось бы побольше, многодетные мы...

– А сколько?

– Что?

– Сколько у вас детей?

– Молодой человек, разве детей считают? Сколько есть, дорогой, все наши, дай бог им здоровья. Скажу только, что имена я их путаю. А вот жена моя... Знаете, я вам один секрет открою. Жена моя на днях вернулась из Хасавюрта, у нее отличный нюх на промтовары.

– И я оттуда, ничего путного не нашел, – с сожалением говорит Магомед.

– Самое удивительное, – таинственно сообщает Хамзат, – говорят, платки есть от головной боли.

– А вы не смейтесь, это правда, – робко замечает Айша.

– Целебные что ли? – интересуется Магомед.

– Ну да. А кофты, чтоб плечи не ломились... Юбки, оберегающие от ревматизма. – Хамзат склоняется к Магомеду и шепчет на ухо: – Даже есть шаровары для бездетных!

– Вот это да! – искренне удивляется Магомед. – Это же целый арсенал целебных товаров. Надо съездить...

– И я сначала не верила, – со всей серьезностью говорит Айша, – и всегда страдала от головной боли, пока не стала носить этот платок...

– А как называется платок?

– Гульменды.

– Гульменды? Есть такая равнина в Иране, где растут дикие арбузы... – замечает Магомед.

– Ой, Айша, милая, возьмите и меня в следующий раз, – сложив руки на груди, просит Меседу.

– Вот-вот, тебя там не хватало... – ворчит Алхилав. – Хотя не мешало бы носить тебе платок от дури на голове, – бьет себя по лбу.

– Ну что ты, муж мой.

– Какой я тебе муж, отстаньте от меня, – вскакивает Алхилав и покидает компанию.

Все недоуменно переглядываются. Меседу бежит за ним следом, но его уже нет в квартире.

– Да, тяжелый человек, – замечает Хамзат.

Стук в дверь. Думая, что это Алхилав вернулся, Меседу подбегает к двери и открывает ее. На пороге стоит незнакомец – это Навруз, знакомый Хамзата и Айши по Хасавюрту. Навруз застывает, пораженный красотой Меседу. Не может вымолвить слово.

– Вам кого? – смущенно спрашивает Меседу.

– Чудо какое! – шепчут губы Навруза.

– Что вы сказали?

– Ой, простите, тысяча извинений... Вы так прекрасны, что...

– Кого вы ищете?

– Всю жизнь искал вас, ой, простите, – взяв себя в руки, говорит Навруз, – мне сказали, что ваш сосед Хамзат у вас.

– Я здесь, кто меня спрашивает? – Хамзат выходит в прихожую и направляется к гостю. – Эй, Айша, это Навруз из Хасавюрта, легок на помине. Айша, идем домой, к нам дорогой гость приехал. О волке разговор, а хасавюртовский волк тут как тут. Пойдем, пойдем...

Навруз все смотрит на Меседу, не отрываясь. Она все больше смущается, опускает голову. «Какой нахал!» – звучат чьи-то слова. Соседи с гостем уходят.

11

Море. Горы. Небо чистое, бирюзовое, на нем белые полосы – след от реактивных самолетов. Мчится машина по аллее пирамидальных тополей. За старинным купеческим домом останавливается «Волга». Хамзат выходит из машины и направляется в свою контору. На нем блестящая кожанка со множеством карманов.

В приемной сидит Бурлият, с широкой улыбкой встречает она начальника пищеторга.

– Доброе утро, милочка.

– Здравствуйте. Как вы спали, что вам снилось, Хамзат Кахруманович?

– Что снилось? Золотое лезвие, милочка, на белой лебяжьей шее. Идет, идет тебе это украшенье... – Хамзат подпевает свое любимое четверостишие:

Ох, мамина травинка,
Любовь моя и боль,
Ты вишня из Голотля,
Тиндинская фасоль.

– Идет...

– Все так говорят, – сияет Бурлият.

– Это лезвие подчеркивает, знаешь, что...

– Что?

– Независимость. Бурлият-Бурлиятушка, с огнем играем...

Хамзат уходит к себе в кабинет, зажигает свет, аккуратно снимает кожанку, вешает в шкаф. Зачесывает волосы перед зеркалом. На книжной полке «Азбука». Кладет на чистый стол лист бумаги, пододвигает стаканчик с карандашами. Не потушив свет, выходит.

– Вот что, милочка, – бросает он в сторону Бурлият, которая занята вязанием. – Я на объектах.

– Ясно.

– Посетителей, сама знаешь, из наших впускай в кабинет и по одному. Пусть каждый оставит на бумаге, что на столе, свое факсимиле. Ясно?

– Как день ясный.

– Славная ты у меня, – смотрит на ее пышную грудь.

– С огнем играем... – улыбается Бурлият, еще больше привлекая его внимание.

– Что же это ты вяжешь?

– Это? Ни за что не догадаетесь.

– Варежки на зиму?

– Нет. Это чехол для вашей телефонной трубки, чтобы зимой ухо не застудить.

– Умница ты, Бурлиятушка. Спасибо, – Хамзат целует ее и выходит, польщенный таким вниманием.

12

С шофером «Волги» разговаривает Идрис, прикуривает. И наблюдает за окном, где сидит Бурлият. Хамзат выходит на улицу, увидев его, Идрис убирается восвояси, как бы не желая с ним столкнуться. Хамзат хотел сесть в машину, к нему подбегает Магомед.

– Добрый день, уважаемый Хамзат.

– День добрый, Магомед, ты ко мне?

– Да, хотел по одному вопросу посоветоваться.

– Я на объектах. А ты заходи, обратись к секретарше.

– Хорошо. Удачи вам.

– Спасибо.

Хамзат садится на заднее сиденье. Машина отъезжает. Бурлият пропускает Магомеда в кабинет, тот что-то кладет в карман кожанки Хамзата, наклонившись над столом, пишет цифру «пять». Уходит. Идрис украдкой следит за его действиями.

13

Алхилав в канцелярии исполкома. Председатель – солидный человек с густыми усами. Он встречает посетителя у двери, жестом показывает ему куда сесть. И сам садится не за свой массивный стол, а рядом с Алхилавом.

– Как реставрационные работы, молодой человек? – обращается Мирза, пробегая глазами бумажку.

– Работа идет, правда медленно... Камнерезов не хватает...

– Гм-да... Ты же недавно женился, и жена твоя получила квартиру.

– Не сложилась семья... Что я говорю, подлец, сволочь, мерзавец, унижайся, унижайся, прячь свою совесть подальше! – взрывается Алхилав и бьет себя. – На, получай, что заслужил! Негодяй!

Мирза растерянно смотрит на него. Гримаса искажает лицо Алхилава.

– Простите, прошу Вас, такое со мной бывает. Да и вообще, Мирза Даудович, какой горец, носящий папаху, перебирается жить к жене? Это же все равно, что быть под каблуком... Да разве это папаха, – он бросает на пол кепку и неистово топчет ее.

– Разошлись, значит? Эх, молодежь, молодежь... Как легко вы сходитесь и расходитесь... Что с вами происходит? В мое время развод считался чрезвычайным событием, общество вмешивалось...

– Да, а теперь никому ни до кого дела нет.

– И такое говорит художник?

– Жизнь такая проклятая...

Звонит телефон. Мирза встает, подходит к телефону, берет трубку.

– Алло! Да, это я... Что? Уже готов? Молодцы. Хорошо, еду! – кладет трубку. – Вот что, товарищ художник. Меня вызывают по срочному делу... – показывает пальцем на потолок. – Вы у нас первым были на очереди, мы подумаем. Хамзат мне говорил о вас.

Мирза прощается, Алхилав смущенно пожимает его руку и, согнувшись, будто под тяжестью на плечах, уходит, у дверей оборачивается, хватает кепку, хотел что-то сказать, но, увидев могучую спину председателя, удаляется.

14

Над осенним лесом в живописном месте высоко поднимается сизый дымок. Там, где подлесок подступает к горной реке, стоит терем-теремок, где обычно отдыхает начальство. Перед этим дощатым домом у мангала суетятся люди, среди которых выделяется своим важным видом Хамзат и гость из Хасавюрта –Навруз, довольный таким щедрым приемом. Поодаль на столе стоят всевозможные напитки, начиная от фанты и кончая изумрудно-зеленым тархуном.

– Дядя Хамзат, – обращается один из обслуживающих в белом халате, – разве там не знают, что человек не может прожить со своей семьей на сто двадцать рублей.

– Все понимают, все знают и все неплохо живут.

– Потому что где-то, что-то, как-то, да?

– Нет, братцы, я должен вам сказать – честно, открыто надо жить, так учил меня мой отец, так учу и я своих детей. Вот наш дорогой кунак Навруз прекрасно знает об этом. Честно заработанный рубль знаете сколько стоит? То-то, он равен десяти рублям.

– Правильно, дядя Хамзат, – уважительно одобряет его Навруз, – мудрый ты человек и добрый. Когда добр человек

к тебе, и ты к нему обязан быть внимательным. А она, скажу я вам, просто восхитительна, – у Навруза в голове Меседу.

– Именно, друг, именно.

– Правда она свободна?

– Я же говорю – честно и открыто надо жить, – все о своем толкует Хамзат. – На душе будет спокойно.

– Она прекрасна.

– Вот и наш Мирза, – Хамзат замечает машину, что петляет по серпантину дороги, и издали машет рукой. – Чудесный человек Мирза и верный, если он скажет, что у соседа моего есть хвост, то я готов подписаться и приложить печать. Он и моего сына взял к себе на работу, таких людей надо на руках носить, сам вот убедишься.

– А она очаровательна, дядя Хамзат, а вы не смогли бы замолвить слово?

– О чем ты, друг мой?

– О соседке, о Меседу... Я, кажется, попал в ее сети, я не смогу без нее... – твердит о своем Навруз.

– Ничего, скоро она приедет с моей женой в Хасавюрт, там и потолкуй с ней.

– Это правда? – сияет, потирая руки, Навруз. – Чудо она, необыкновенная.

– Все они необыкновенные, друг мой.

Подъезжает машина, вылезает Мирза, его подобострастно окружают присутствующие, чтоб пожать его руку. А Мирза здоровается, водит по воздуху носом, приговаривая:

– Аромат-то какой... Как здесь чудесно! Спасибо, что вызвали меня из душной конторы на лоно природы.

– Разве же можно маяться в четырех стенах в такой-то день, дорогой Мирза? – кружится все вокруг него Хамзат.

– Надеюсь, ягненок был черным? – Мирза замечает снятую шкуру барана.

– Да, да, с лезгинских эйлагов.

– Осенью ведь полагается шашлык именно из черного барана.

– Сначала попробуйте печеночку, дорогой Мирза, эх, жаль, что моя мать не была женой твоего отца, мы были бы с тобой родными братьями.

Мирза пробует кусок горячей парной печенки.

– Чудесно, во рту тает...

– Давайте, друзья, пообщаемся с природой. Ведь еда – таинство вселенной.

Все садятся на расстеленный ковер, подложив подушки. Вьется сизый дымок над лесом, поднимаясь выше макушки высоких деревьев. На веранде жарится шашлык, нанизанный вперемежку с помидорами и перцем.

15

В кабинете Хамзата посетитель, он подозрительно шарит в кармане кожанки, что в шкафу. Прикрыв дверь шкафа, он, довольный исполненным долгом, подходит к столу, склоняется над листом бумаги, на котором уже стоят пять цифр: 3, 10, 5, 12, 9, и он пишет свой номер – 13. Целует карандаш, сует себе в карман и уходит, прощаясь с Бурлият, мило улыбается.

– Мы ананасы получили.

– В консервах?

– Да.

– На мою долю оставь с десяток, хорошо?

– Будет сделано, – посетитель выскальзывает за дверь.

16

Во дворе детская площадка, здесь резвятся дети, одни играют на песке, другие катаются на качелях. Здесь же и собачки с ошейниками. С балконов переговариваются хозяйки. У подъезда дома Айша встречается с Меседу, у которой в руках тяжелые сумки с продуктами. Айша смотрит на округлившийся живот соседки и говорит:

– Тебе же тяжело, доченька.

– Что делать...

– Нет, так нельзя, я скажу мужу, чтоб он и Вам подвозил продукты. Это ему ничего не стоит.

– Вы так добры, спасибо вам.

– На той неделе мы собираемся в Хасавюрт, поедешь с нами, душечка?

– Хотелось бы.

– В чем же дело?

– Что-то не могу решиться.

– Ну что ты, лишняя тысяча дома не помешает.

– Конечно, тем более мебели у нас никакой.

– Поедем, поедем. А муж твой, этот несносный, знает об этом? – Айша бросает взгляд на ее животик. – Пошли, дай помогу... – Она берет у Меседу одну сумку.

17

Меседу застает Алхилава дома; бросив сумку на стол в кухне, она обнимает его, ласкается.

– Родной мой, муж мой, ты знаешь, нам телефон поставили.

– Странно все это.

– Прошу тебя, не надо... Я так соскучилась по тебе...

– Сколько я могу притворяться, я ненавижу самого себя. Я унизил себя перед недостойными людьми. Хочу быть самим собой, неужели тебе все равно, что твой муж становится негодяем... Прошу тебя, родная моя, давай прекратим все это, нам ведь ничего не надо...

– И вправду... думаешь, мне это не надоело, все украдкой да тайком.

– Давай поживем просто, по-человечески, без дураков... Это такое счастье.

– Хорошо, муж мой. Я согласна с тобой, – обнимает его, целует.

– Славная моя. Как легко стало на душе! Будто тяжесть огромную сбросил с плеч. Я вылеплю твой бюст, жена моя, любовь моя...

Алхилав поднимает ее на руки и несет в комнату. Раздается телефонный звонок. Алхилав огорчен и раздосадован. Меседу подходит к телефону, берет трубку.

– Алло! Да, это я... Он здесь не проживает. Что? Не знаю. А в чем дело? Что сообщить? Ему выделили квартиру? Чтоб он явился за ордером... Хорошо, – кладет трубку, смотрит в лицо растерянного мужа, бросается ему на шею. – Вот и все, вот и все, любимый мой, дорогой мой...

Мелодичный звонок в дверь. Алхилав прячется в ванной. Меседу открывает дверь, на лестничной клетке Айша с Наврузом со взрослыми детьми и большой сундук на ножках, похожих на те, что у шифоньера.

– Простите, Меседу, пусть постоит он у вас пока вместе с шифоньером.

– Как же так, и сундук... – Меседу в недоумении.

– Они у нас неразлучные – шифоньер и сундук.

– Что же это такое... с дверью осторожно, – просит, умоляет Меседу.

– Мы боком, боком втиснем, помогите, пожалуйста, ой, простите, я, кажется, на вашу ногу наступил... – говорит Навруз, – вот так, вот и все... Знаешь, о чем я подумал, несравненная, знаешь о чем?

– О чем?

– Лучше бы меня вот внесли сюда вместо сундука.

– Что вы говорите, зачем...

– Неужели вы не видите...

– Не понимаю, что я должна видеть?

– Мои страдания...

Вносят они сундук, ставят рядом с шифоньером. Айша любуется, вынимает ключ из сундука и, поблагодарив Меседу, уходит. Меседу стоит растерянная, к ней подходит Алхилав.

– С ума сошли?!

– А что я могла сделать? – виновато разводит руками жена.

– Совесть у них есть?

– Не сердись, муж мой, иди получай, родной ты мой, ордер. Все скоро закончится.

Алхилав одевается, жена провожает его, выглянув на лестничную площадку. У соседнего порога стоит Навруз.

18

Алхилав поднимается к цитадели, встречается с Идрисом, который возится с камнерезом.

– Эй, Идрис!

– Что тебе?

– Сурхая случайно не видел?

– Случайно видел, он ушел к себе, картину новую решил закончить. Слушай, Алхилав, друг мой, подойди, постой...

– Что тебе?

– Прошу, послушай, я написал, понимаешь, стихи. Ты послушай, скажи, годятся или...

– Какие стихи, о чем ты?

– Понимаешь, душа заговорила... Прошу тебя...

– Странный ты человек... давай, давай...

– Гроза! И молнии взрезают небо,
То наискось, то вдоль, то поперек,
И с треском небо рушится от гнева,
Как грешникам на темя – потолок.
Как этот гнев понятен мне и близок,
И я разлил бы молнией подряд:
Хамье, хамелеонов-блюдолизов,
Сутяг – зачинщиков всех дрязг и передряг.
И тех, кто совестью торгует для наживы,
Деньгой богаты, а душой бедны,
И тех, чьи речи приторны, но лживы,
Тех, чьи дела притворны и вредны.
И хочется мне верить: только стихнет
Гроза, лишь грозовые облака
Рассеются – и в людях совесть вспыхнет,
Как радуга, светла и высока.

– Ну как?

– В этой скорлупе здоровое ядро... Чьи стихи?

– Что, не верится?

– Поздравляю! – пожимает руку Алхилав, берет листок со стихами и легко сбегает с лестницы под впечатлением только что слышанного, останавливается, перечитывает стихи, оглянувшись назад. Идриса не видно.

19

Сурхай в своей мастерской в свете мощных ламп работает над картиной, а Алхилав отесывает корень кизилового дерева, по форме он теперь напоминает человеческую голову с шеей.

– Вот здесь подправь, сучок этот убери, – советует Сурхай. – Какая фигура, а цвет корня прямо бордовый...

– Ты что, Сурхай, сегодня не в духе? – замечает Алхилав. – Опять на кисти жалуешься?

– Да нет... Я же тебе говорил, меня вызвали, порадовали, что выпишут ордер... А сегодня отказали, – с сожалением объясняет Сурхай, качая запорошенной сединой головой.

– А в чем дело?

– Помешал какой-то негодяй, наверное взятку дал. У жены его, говорят, квартира, теперь и он получает. Нечестные пошли, друг, люди.

Алхилав бросает работу и тянет Сурхая к двери.

– Куда ты тянешь меня?

– Сними фартук и пошли.

– Куда?

– Надо проучить негодяя.

– Не надо, друг, скандалов, я не люблю, да и не добьешься ничего. Разве негодяй скажет, что он негодяй?

– Скажет.

– Наивный ты человек, Алхилав, не было еще такого. Люди перестали называть вещи своими именами.

– Так будет... Этот негодяй перед тобой, – Алхилав бьет себя. – Но и подлец же я.

Сурхай недоуменно глядит на него. Разгоряченный Алхилав тянет его за собой, и тот, сорвав с себя фартук, невольно следует за ним.

20

На стене часы. Ровно пять часов. К концу рабочего дня возвращается к себе в контору Хамзат. Бурлият поглядывает на часы, переводит взгляд на свои наручные часы. Улыбается Хамзату, он целует ее в щечки, вздыхает.

– Никакого порядка, милочка моя.

– Здесь что ли? – в голосе Бурлият тревога.

– Да нет, на объектах говорю... Там недовес, тут – излишки, в третьем – растрата. Ну что с ними делать?

– С кем?

– Да с завмагами и продавцами... Меня спрашивали?

– Да, шестеро.

– Наши?

– Да.

– Чужих не было?

– Да один все околачивался… Подозрительный тип.

– Он заходил в кабинет?

– Нет. По-моему он или журналист, или следователь.

– Так, так, милочка, в следующий раз задержи его, надо познакомиться. Ничего не просил?

– Нет.

– Странно, очень странно. Вы свободны, милочка. Нет, нет, погоди немного... – Хамзат входит в кабинет.

Садится за стол, берет бумажку, всматривается в цифры... сверяет их с записями в записной книжке.

– Правильно, все как надо... – он потирает руки, берет кожанку из шкафа, надевает, ощупав сверху карманы. Выходит и передает секретарше бумажку, где напротив цифр уже стоят фамилии. – Вот этих пригласи, милочка, завтра.

– На беседы?

– Умница ты, Бурлиятушка.

21

Садясь в машину, Хамзат бросает шоферу:

– Сделаем почетный круг.

– Большой или малый? – спрашивает водитель.

– Малый, за гору, к лесу... На природу, дружище, на природу...

Машина, выехав из города, мчится по горной дороге, легко преодолевая крутые повороты, то исчезает в тенистом коридоре могучих деревьев, то появляется там, где нет леса. И вот «Волга» останавливается у живописного родника. Выйдя из машины, он с ладони пьет воду, вытирает платочком руки и губы. Затем распевает песню:

Ой, мамина травинка,
Любовь моя и боль.
Ты вишня из Голотля
Тиндинская фасоль...

Углубляется в лес. Оглядывается вокруг и, не заметив ничего подозрительного, ложится на травку на лужайке. Его уже мы видим через окуляры бинокля. Бинокль в руках Идриса. Подложив под голову руки, на миг застывает, глядя в небо. Сует руку в карман, достает десятки, из другого кармана – пачку пятирублевых, из третьего – двадцатипятирублевки и так далее... из всех шести карманов.

– Хорошо! Мало еще ценят, мало...

Поднимается, отряхивается и, бормоча под нос назойливую песню, идет к машине.

22

Алхилав продрог в одной рубашке, ходит, крадется около нового дома, хочет войти к себе в квартиру, но от каждого шороха, скрипа двери шарахается, бежит, все побаивается и не решается. Подходит к двери с ключом, слышит скрип соседской двери, взбегает по лестнице вверх и украдкой смотрит на приоткрывшуюся соседскую дверь,

откуда выходит котенок, за ним склоняется соседская девочка, подбирает котенка, прикрывает дверь, но не захлопывает. Алхилав открывает свою дверь... В это самое время соседский котенок снова выходит за дверь, а за ним выглядывает девочка и видит, что котенок побежал в сторону соседской двери, которая тихо закрывается. Схватив котенка, девочка уходит к себе.

23

Хамзат в новом спортивном костюме лежит на диване, смотрит телевизор. Идет передача «Человек и закон». Подходит к нему девочка и передает котенка.

– Папочка, а ты не отпускай его... Он все бежит к двери.

– А ты захлопни дверь.

– Я захлопнула. Папочка, а разве соседка наша, тетя Меседу, не уехала с мамой?

– О чем ты, отстань, дай посмотреть передачу, – Хамзат, положив на грудь, гладит котенка. – Видишь, какие бывают мошенники на свете?

– Папочка, а кто такие мошенники?

– Это аферисты.

– А кто такие аферисты?

– Люди, которые не могут жить честно и открыто.

– Это плохие люди?

– Хуже не бывает.

– Папочка, наверное и тот, кто залез в соседскую квартиру, хуже не бывает.

– Кто залез? К кому? – вскакивает Хамзат.

– Говорю же, к соседке Меседу, она же одна живет, разошлась...

– Кто мог залезть? Неужели вор, там же наш сундук, шифоньер... а вещи наши меховые. Ты видела?

– Да, я за котенком выбежала, а у них дверь тихо прикрылась.

– Что делать? Надо бы позвонить... хотя не хочется беспокоить милицию.

Хамзат, крадучись, подходит к телефону, призадумывается, протянул было руку к трубке, тут же отдергивает ее, будто обжегся.

24

С сиреной подъезжает к дому милицейская машина. Лейтенант и сержант поднимаются на лестничную площадку, где их встречает встревоженный Хамзат с котенком в руках.

– Это вы звонили?

– Да, – кивает Хамзат на соседские двери. – Хозяйка квартиры уехала, она одна здесь живет... А моя дочь, которая выбежала за котенком, увидела, как эта дверь медленно за кем-то прикрылась.

– Одна, говорите, живет?

– Да. Недавно с мужем разошлась.

– Что, будем взламывать? – спрашивает сержант у лейтенанта.

– Сначала позвони... Звонок же существует для чего-то, а может быть родственник какой.

Звонят. Никто не отзывается. Стучатся. Ничего не слышно, прислушиваются, приложив ухо к двери.

25

Алхилав в трусах вскакивает с постели, быстро начинает одеваться. Выходит на лоджию. В кухне срывает с веревок простыни, разрывает их на несколько частей, завязывает. Привязывает один конец к железной решетке, спускается, прыгает, падает и, хромая, убегает. Шофер милицейской машины, выскочив из кабины кричит, неловко хватается за кобуру:

– Стой! Стой, говорю, стрелять буду! – спотыкается, лежа стреляет в воздух.

Тень человека теряется в зарослях парка.

26

От стука никакого толка. Сержант отходит подальше и с разбега, подставив плечо, выбивает дверь. Дверь легко отлетает, и сержант катится кубарем по дорожке в прихожей. Квартира пуста. И в это время он слышит выстрел и быстро спускается к своему товарищу, который хромает на одну ногу.

– Упустил.

– Поздно заметил, товарищ лейтенант. Да и споткнулся о камень.

27

Другой город, другой пейзаж. И небо кажется другим. Это Хасавюрт. Из полуподвального склада на базе с мешками выбираются Айша, Магомед и Меседу. За ними и Навруз. Он вешает огромный замок на дверь склада и тихо говорит:

– К воротам не ходите. Идите за мной, – и Навруз ведет их по тропе за складскими помещениями, что прилегают к железной дороге.

Заметно нервничает Навруз, его состояние передается и следующим за ним, которые крадутся как воры. Навруз ищет в заборе доску, отодвигает ее, пропускает Айшу и Магомеда, быстро отпустив доски, пытается обнять и поцеловать Меседу. Она отталкивает его.

– Как я рад, что ты приехала.

– Не надо, прошу Вас.

– Я все сделаю для тебя. Все, что в моем складе, – все твое. Я люблю тебя, я не могу без тебя.

– Что вы делаете, отпустите меня.

– Меседу, умоляю тебя.

– Что Вы, не уподобляйтесь Аршин-мал-алану.

Меседу проскальзывает через доски в заборе, мешок застревает... она бежит, оставив мешок. Магомед возвращается и забирает мешок. И втроем спешат убраться с этой подозрительной и опасной территории.

28

На площади автостанции шумно и многолюдно. У летних касс столпотворение, скамейки заняты людьми и багажом. Поодаль под раскидистой акацией, где меньше всего людей, скидывают мешки Айша, Магомед, Меседу.

– Страшно, – говорит Меседу, – как хочется поскорее домой.

– И домой доберемся, душечка, – переведя дух, говорит Айша, она довольна, – все обошлось, родная. Что за удача нам выпала! Такой товар мы достали, по двойной цене с руками оторвут... Чего стоят эти шаровары...

– Тетя Айша, – замечает Магомед, вытирая пот со лба, – не шаровары, а бананы...

– Бананы-ананасы... какая разница, только жалею, что не взяла десяток еще синих...

– Что будем делать с билетами? – озадачен Магомед.

– Сестра твоя, Магомед, такая красавица, ей молодые запросто уступят очередь, – мило улыбается Айша. – Пойдем, доченька, а Магомед здесь покараулит. Что с тобой, милочка, – Айша обращает внимание на ее беспокойство и растерянность...

– Страшно мне... Я предчувствую беду... бежать бы нам, бежать...

– Вот возьмем билеты и первым же автобусом убежим; пошли, успокойся...

Айша уходит, уводя за собой Меседу. Магомед ломает в руках орехи и поглядывает по сторонам. Его взгляд останавливается на укрывшихся рядом с ним за газетным киоском женщин, они подозрительно шепчутся... Одна хочет

спрятаться за другую. За спиной их появляется молодой милиционер, он достает из кармана фотографию, вглядывается, кладет вновь в карман и, подойдя, у спрятавшейся гражданки спрашивает документы, та хочет убежать, но подкатывает милицейская машина, выскочивший из машины лейтенант предстает перед ней и просит сесть в машину, подталкивает ее...

– А чьи это мешки? – спрашивает, обернувшись, лейтенант.

– Это мои мешки, – оборачивается Магомед, но тревога выдает его. Лейтенант подходит к нему, интуитивно заподозрив что-то.

– А что в мешках?

– А зачем вам?

– Вы простите нас, гражданин, мы только что арестовали аферистку. Что в мешках?

– Всякие вещи.

– Пройдемте, гражданин. Там разберемся.

– Да оставьте меня в покое!

– Пройдемте, если Вы не связаны с ней, мы вас отпустим. Пройдемте!

И в это самое время из здания автостанции выбираются довольные Айша и Меседу. Им удалось легко достать билеты.

– Перед Вами, милочка, любые двери нараспашку, – говорит Айша. – В твои годы и я была – ничего...

– Тетя Айша, он такой нахальный...

– Кто, начальник что ли?

– Да нет, я говорю о Наврузе.

– Что поделаешь, доченька, влюбился он в тебя, просто без ума..

– Какая любовь, второй раз вижу...

– Бывает и с первого взгляда... И парень в самом соку, – смотрит на часы. – Через час и в дорогу...

– Что там происходит... беда, беда, – Меседу замечает, как милиция впихнула Магомеда с его мешками в машину.

Айша и Меседу бледные переглядываются. Бегут, но не успевают, машина отъезжает.

29

На площади в цитадели устроили ярмарочные павильоны. Все выглядит сегодня празднично, народу много, и все люди нарядны – осеннее торжество, праздник изобилия. Склон к подступам цитадели сплошь устлан коврами, рядом гончарный ряд примыкает к ряду деревоотделочников, у которых утварь с выжженным узором, люльки, табуретки. Златокузнец за работой, над ним склонились девушки. Одна из них передает мастеру золотое лезвие с порванной цепочкой.

– Можете это починить?

Мастер берет и чинит.

– Сколько? – спрашивает девушка.

– Мне вашей улыбки достаточно! – заявляет молодой мастер, это тот самый, который подмигивал Бурлият.

– Спасибо.

– Носите на радость.

На своем месте заняты привычной работой Сурхай и Алхилав, реставрируют рельефный узор на камне. Стоят в ряд камни карниза – они пронумерованы, Идрис краской чертит на них номера. «Все!» – говорит он и сбрасывает фартук. Из толпы проскальзывает в сторону Алхилава встревоженный Хамзат. Его замечает Идрис.

– Дайте пройти, что вы толкаетесь...

– Тихо, дядя, здесь тихое место, – смеется парень в потертых джинсах и в безрукавке с кармашками и погонами.

Идрис пристально и заинтересованно следит за Хамзатом. Хамзат подходит к Алхилаву.

– Идем, разговор есть, – настороженно оглядываясь вокруг, просит он.

– А мне не о чем с Вами говорить, – резко заявляет Алхилав, немало смутив самоуверенного Хамзата.

– Послушай...

– И слушать не хочу.

– Из Хасавюрта тебе не звонили?

– Нет.

– Понимаешь, там с братом твоей жены что-то случилось.

– Пусть сам и расхлебывает. И знаете, лучше уходите, не раздражайте меня, я не в духе и могу наговорить всякое.

– Пожалеете еще.

– Вы угрожаете? Да как Вы смеете... Вы, разносчик заразы... – Алхилав вскакивает, начинает бить себя, между ними встает Идрис.

– С ума спятил, – бросает Хамзат и убирается восвояси.

Алхилав бросает взгляд на телефон-автомат, роется в кармане, ищет монету. Идрис кладет на его ладонь две монеты. Алхилав звонит, длинные гудки.

30

У здания отдела внутренних дел с тревогой ждут Айша и Меседу. То подъезжают, то отъезжают милиционеры на машинах, на мотоциклах. У входа толпятся люди.

– Я чувствовала, чувствовала, что случится беда, – все причитает крайне убитая Меседу, – сама виновата, дура я, дура, не послушалась я моего мужа, моего любимого Алхилава, – слезы отчаяния выступили у нее на глазах.

Не менее ее расстроена Айша, она бледна, то и дело кусает пальцы, поглядывает на двери отдела внутренних дел.

– Ой, беда, беда, зачем, зачем мне эти бананы-ананасы... Сидела бы дома, радовала мужа. Он был прав: «Сделаешь несвойственное, получишь нежелательное».

– Замолчи, без твоих причитаний тошно, – бросает Айша.

– Ты, ты еще мне такое говоришь?

– Говорю, замолчишь ты или нет? – кричит Айша. – Связалась...

Меседу стоит перед ней как оглушенная, глядит на эту женщину, будто видит ее в первый раз. Айша бежит навстречу появившемуся из дверей Наврузу. Не весел Навруз, озабочен. Ему навстречу, как к единственной надежде, тянется и Меседу.

– Дело – дрянь, скажу я вам... – нервничая, говорит Навруз, – влип он, я даже боюсь, что и меня заденут... Правда, он не говорил обо мне, все взял на себя. Сказал, не знаю, чьи они, не мои мешки...

– Неужели так серьезно? – убита Айша.

– Серьезнее не бывает.

– Пожалуйста, возьмите что угодно, у меня еще остались деньги... – умоляет Айша.

– Что вы, что вы... взятку? Нет. Это здесь невозможно. Можно вас на минутку... – Навруз отводит Айшу в сторону.

Меседу стоит сама не своя, просто ошеломленная случившимся, такая несчастная и беспомощная. Айша возвращается к ней и тихо говорит:

– Иди к нему, будь любезна.

– Зачем я должна быть с ним любезна? У меня муж есть.

– Какой муж? Вы же разошлись. Неужели допустишь, чтоб брата посадили? Это надо делать сейчас, потом будет поздно.

– Что делать, брат мой родной? – с плачем Меседу идет к Наврузу. – Неужели ничего нельзя сделать, это же брат мой...

– Не плачьте, прошу Вас... у меня от жалости сердце сжимается. Я бы мог помочь.

– Скажите, что для этого надо сделать? Я все сделаю.

– Все-все?

– Да.

– Выходи за меня замуж, – выдавливает из себя Навруз, – я же люблю тебя...

– Что? Вы сошли с ума!

– Распишемся хоть сегодня же, не думай, что я какой-нибудь там... я люблю тебя, Меседу.

– Нет. Замолчите. Никогда, никогда этого не будет.

– Через дядю я бы мог помочь...

– Вы подлец, вы негодяй...

-- Я не заслужил этих слов... Ну что же... надеюсь, одумаешься.

Огорченный Навруз уходит. Подъезжает на машине Хамзат. Медленно вылезает из машины, к нему подбегает Айша. Меседу стоит, окончательно убитая горем, невольно рвет билеты, что оказались в руке.

31

Возбуждена веселая хохотунья Бурлият, идет по улице с элегантным как всегда Идрисом. Он несет большую картину, завернутую в полотно.

– Вы что, открываете у себя картинную галерею? – кокетливо осведомляется Бурлият.

– Представьте себе, да... Достал по дешевке...

– Сколько же заплатили?

– Две сотни... Но пройдет время, эти картины будут стоить в тысячи раз дороже.

– Вы в это верите?

– Да, верю так же, как в то, что носить на шее лезвие небезопасно.

– Это же золотое.

– Тем более.

– Смешной вы и странный человек...

Заметив идущего навстречу Алхилава, Идрис ловко скрывается в чайхане и выбирается с другой стороны. Происходит это мгновенно, так что удивленная Бурлият, поглазев по сторонам, поднимает голову к небу.

– Бурлият, здравствуй, что-то случилось?

– Да, здравствуй, Алхилав. Человек-невидимка, Фигаро только что здесь был со мной, шутил и ...

– Кто?

– Ты его не знаешь, да и я его не знаю, может быть, никто его не знает, скрытный такой... Меседу не вернулась?

– Звоню, не отвечает.

– Что-то долго они там...

– Ну, как твои дела?

– Мои что, мои – маленькие дела, а вот под моего шефа кто-то копает... я это душой чувствую.

– А кто твой шеф?

– Хамзат.

– Ах, этот разносчик заразы... давно пора.

– Типун тебе на язык. Что ты говоришь, он такой добрый, хороший... Да ну тебя, – машет рукой Бурлият. – Несерьезный ты человек.

– А Меседу обо мне другого мнения, – весело бросает ей вслед Алхилав и легко сбегает с лестницы.

32

На свидании с Магомедом Айша и Меседу. Внимательно наблюдает за ними надзиратель. Меседу не может сдержать слезы.

– Что делать будем, брат?

– Перестань реветь... Навруз ничего не может сделать? – в голосе Магомеда боль, разочарование и тревога. – Он же обещал, его же знают здесь. Отдай ему все...

– Что все?

– Деньги, добро, это золотое лезвие.

– Не этого он хочет, – плачет Меседу.

– А что он хочет?

– Говорит, я люблю тебя, выходи за меня...

– Что? – вскакивает, как ужаленный, Магомед. – Подлец, мерзавец. Это он заманил нас в ловушку.

– Прошу не выражаться... – велит надзиратель.

– Ты, Магомед, не горячись... сдержи гнев, разве Навруз не достоин в зятья? – вкрадчиво говорит Айша. – Он же не просто так, он по-настоящему, как порядочный... Хоть сегодня, говорит, распишусь.

– Что? Уходите, убирайтесь! Уведите меня отсюда!

Конвоир уводит его, провожаемый горьким воплем любящей сестры.

33

Алхилав в гостях у Сурхая в честь получения им квартиры. Не дождавшись гостей, они вдвоем садятся за стол.

– Не пришли и не придут, Алхилав, – огорченно говорит Сурхай. – Даже Идрис... Скажу тебе, Алхилав, он добрый малый.

– Да, Сурхай, не нужны мы никому. Только теперь мне становится понятен восторг того, кто некогда встретился с эмиром...

– Какой восторг? – спрашивает Сурхай, подкладывая еду в тарелку Алхилава.

– Хвастался он, что с эмиром встретился, а когда его спросили: «А что он тебе сказал?», ответил: «Собакой обозвал».

– Да, Алхилав... что-то оскудели люди на доброту, тепла ощутимого нет... Равнодушное, холодное пожатие рук... «Как дела?» – «Ничего!» – вот и вся встреча. Что-то важное, ценное ускользнуло от людей... Ни коллектива, ни человека...

– Ну, черт с ними, не пришли и не надо. Будь здоров, Сурхай, желаю, чтоб жена твоя поскорее выздоровела...

– Ты знаешь, когда услышала, что квартиру получил, рвалась домой, еле уговорил... Так обрадовалась... – восторженно говорит Сурхай.

И в это время врывается Идрис, найдя двери открытыми, преподносит какую-то коробку...

– Знаю, вы обо мне не лестного мнения, поносили небось... Простите, исправлюсь, знаете, наставлял одного увязшего в болоте бездуховности. Представляете, иду, гляжу: в болоте чертыхается человек. Не долго думая, решил помочь, с неимоверным трудом подбираюсь поближе к нему... – жестикулируя руками, загадочно говорит Идрис, – протягиваю в его сторону жердь и кричу «Хватайся!»

– И он схватился? – смеется Алхилав.

– Не тут-то было, – морщит лицо Идрис, – знаете, что он мне сказал... «Чего орешь?! Не видишь, я здесь живу!» Вот так... Вот люди... – хлопает себя по бокам руками.

– А что у тебя в коробке, – хлопает его по плечу Алхилав. – Не болотный ли человек?

– Нет, камнерезной машины не нашел в магазине. Это электрическая мясорубка для Сурхая, великолепный инструмент в хозяйстве, особенно для любителей, как я, пельменей с чабрецом и пряностями... Голоден как сто чертей... – жадно ест Идрис, уплетая за обе щеки.

– Тебе налить? – спрашивает Сурхай.

– Минеральную, пожалуйста, а эту гадость не пью. И никогда не пил.

Сурхай наливает ему в фужер воду.

34

Мчится по трассе «Волга» – машина Хамзата. У так называемой Каменной Черепахи то сбавляет скорость, то вновь мчится. Заглядываем вовнутрь. Магомед кричит шоферу:

– Останови машину!

– Не дури, парень, сиди и успокойся! – удерживает его Хамзат. – Она тебя от тюрьмы спасла, дурья твоя голова, она твоя сестра.

– Нет, она мне не сестра! Останови!

– Брат родной, брат мой! – хватается за него Меседу.

– Будь ты проклята! Потаскуха! Остановите машину, мне душно, мне тошно с вами.

Шофер останавливает машину. Магомед выбирается на обочину и, глядя в лицо Хамзату, бросает:

– Да поразит вас гром с молнией!

Меседу хочет выскочить, но Айша ее удерживает. Машина отъезжает. Магомед удрученно опускается на землю, бьет себя руками по голове, неистово бьет... Все лицо его в слезах.

35

Врывается в приемную Хамзата взбешенный Магомед, открывает дверь в кабинет, не обратив внимания на Бурлият, которая спрятала улыбку, увидев ужас на его лице. Не найдя того, кого искал в кабинете, Магомед оборачивается к испуганной секретарше.

– Где он?! Где эта сволочь?!

– Как обычно, на объектах.

– Знаю я эти объекты... – выбегает Магомед.

Растерянная, крайне испуганная Бурлият бежит за ним, зовет его. Ломается каблук, она падает, встает, бросает туфли и бежит за ним босиком.

36

Алхилав выходит из мастерской с матерчатой сумкой, в которой лежит что-то нелегкое и круглое. Идет угрюмый и задумчивый по тенистой улице. Видит идущих навстречу Бурлият и Магомеда, не хочется ему встречаться с ними, но избежать этого не удается. Магомед кидается к нему, жмет его руку и, чуть ли не задыхаясь, говорит:

– Прости меня, прости... Что это ты несешь?!

– Голову твоей сестры и моей жены! – хмуро бросает Алхилав.

– Что?! – не поняв сначала, Магомед переспрашивает: – Что ты сказал?

– Говорю, голову твоей сестры.

– Ой, люди, что он говорит, – всплескивая руками, визжит Бурлият. – Ой, проклятье на ваши головы! Беда, беда, люди, ой беда... – хлопая себя по бедрам, как несушка крыльями, убегает она в сторону тополиной аллеи.

– Что же ты наделал? – ужас на лице Магомеда, нагнувшись, он ощупывает сумку.

– Сделал то, что обещал сделать, – в полном серьезе говорит Алхилав, желая больнее уколоть его.

– Какой же ты мерзавец!

– Ну-ну, осторожней на поворотах!

– И куда же ты, несчастный?

– Как куда? В милицию.

– Как ты мог... Ты меня спросил?!

– Еще чего не хватало...

– Знал, знал я, что ты плохо кончишь!

– Это мы еще посмотрим, у кого какой будет конец!

– Прочь, прочь, убийца! – и Магомед удаляется в ту сторону, куда убежала Бурлият.

Алхилаву невдомек, что у них на уме.

37

Хамзат является на работу, не находит Бурлият на месте. Как обычно вешает пиджак в шкаф. Кладет чистый лист на стол, пододвигает стаканчик с аккуратно наточенными разноцветными карандашами. Выходит из кабинета, пишет секретарше записку: «Я на объектах!» Вскоре от конторы отъезжает машина с Хамзатом.

38

Алхилав по дороге входит в павильон с прохладительными напитками. Здесь его встречает Идрис с друзьями и уводит его в отдельную кабину, рядом с кабиной молодой продавец, ему одному слышно, о чем говорят в кабине посетители. Там весело и оживленно. Продавец приносит и ставит перед ними большие кружки игристого напитка.

– Сегодня жарко, хорошо освежиться, – говорит Алхилав, вешая на спинку стульчика свою сумку.

– Что у тебя в сумке? – спрашивает один из веселых друзей.

– Голова моей жены! – отвечает самым серьезнейшим образом Алхилав.

– Ха-ха-ха, – смеется сосед. – И, конечно, ты направляешься в милицию?

– А ты откуда знаешь? – удивился Алхилав.

– С головой жены куда же еще?

– Да, ты прав.

– Не может быть! Ты что, серьезно? – в крайнем смятении сосед справа. Продавец все слушает их, у него волосы дыбом, он заинтригован.

– Не веришь? Показать? – вскакивает с готовностью Алхилав.

– Нет-нет, что ты... – все вдруг становятся серьезными, кроме Идриса, который поглядывает на Алхилава с видом, мол, «ври, ври, я тебя знаю!»

– Слушай, – хлопает сосед Алхилава по плечу, – тебе теперь все равно, сделай то же самое и с моей женой. Прошу тебя.

– Не могу, – отрицательно качает головой Алхилав.

– Почему?

– Времени у меня нет, понимаешь, заказов много. А то бы с удовольствием, – чистосердечно признается Алхилав.

Продавец прохладительных напитков не на шутку встревожен. Глаза его то и дело натыкаются то на сумку, что на стуле в углу, то на телефон на полочке. Растерянные, крайне недоумевающие друзья тихо встают и уходят, следом и Алхилав. Продавец заглядывает в кабину и видит сумку на стуле. Он перепуган, ощупав сверху сумку, он спешит к телефону.

39

Сизый дымок над осенним лесом. Терем-Теремок в живописном месте. Суетятся у мангала те же самые люди, готовые угодить Хамзату. Но Хамзат не ест и не пьет, тревожно вглядывается вдаль, где вьется дорога. Туман поднимается из ущелья.

– Неужели не приедет? – как бы самого себя спрашивает он.

– Кого мы ждем?

– Мирза что-то не едет.

– Да и не приедет он, его куда-то срочно вызвали, – говорит шофер.

– А ты откуда знаешь?

– Его шофер мне сказал.

– А куда его вызвали?

– Сказал, что к большому начальнику.

Хамзат удручен, наливает бокал водки, пьет и с ожесточением закусывает, не глядя ни на кого. Хамзат ежится будто от прохлады.

40

Алхилав, который позабыл свою сумку, возвращается к павильону. А здесь уже стоит милицейская машина. Двое из оперативной группы стараются вложить черную сумку Алхилава в большой целлофановый пакет.

– Осторожно! – говорит молодой лейтенант, который расспрашивал продавца о подробностях, записывая в блокнот. – Осторожно, там могут быть отпечатки пальцев.

Подойдя к лейтенанту, продавец говорит ему на ухо:

– Это он.

– Кто? – оборачивается лейтенант.

– Убийца.

Алхилав пытается вырвать у сержанта свою сумку.

– Отдайте, это моя сумка!

– Это Ваша сумка? – Подходит к нему лейтенант.

– Да, моя.

– Значит, Вы признаете, что это Ваша сумка?

– А что мне не признаться?

– А что в сумке?

– Голова моей жены.

– Гражданин, Вы арестованы! – заявляет лейтенант, довольный тем, что так легко ему удалось раскрыть преступление.

– За что?

– Прошу следовать. Сопротивление бесполезно!

– И куда вы хотите доставить меня?

– В отделение.

– Мне нужно к полковнику Джафарову.

– Это нам лучше знать, куда Вам надо! – и лейтенант чуть ли не вталкивает Алхилава в машину.

41

Едет Хамзат к лесу на своей машине. Машина останавливается у родника. Он углубляется в лес на привычное место. Оглядывается. Сует руку в карман, достает вчетверо сложенную бумажку. Недоумевает, не найдя денег. Разворачивает бумажку, а на ней нарисован увесистый кукиш. Сует руку в другой карман – то же самое, и в третьем, четвертом, пятом... а вот на последней бумажке написано: «Оглянись назад!»

Хамзат застывает в оцепенении. Лежат перед ним на чахлых, желтых осенних листьях бумажки и на всех разноцветные кукиши. У пораженного в самое сердце Хамзата кружится голова и в его обостренном воображении предстают перед ним в гримасе усмешек его же работники и на первом плане Бурлият, как в зеркале в комнате смеха. Как гром звучат рядом слова:

– Оглянись, оглянись!

Хамзат оглядывается и видит перед особой незнакомца. Это Идрис с большой картиной в золотом багете.

– Будем знакомы. Это я экспроприировал то, что было у Вас в карманах. Клянусь, эта картина, – он раскрывает ее, – стоит намного дороже... И я слышал, что Вы получили новую квартиру... она украсит Вашу гостиную. Тем более тема благородная... Честь имею!

Раскланявшись, удаляется Идрис в глубь леса. И оттуда доносится до ошарашенного Хамзата его голос:

– Таким образом я превращу Вашу квартиру в картинную галерею!

В сопровождении лейтенанта и сержанта Алхилав входит в кабинет полковника Джафарова.

– Здравствуйте, Алхилав, что же вы, товарищ, опаздываете...

– Да вот... – Алхилав виновато жмет плечами, показывая на сопровождающих.

– В чем дело?

– Товарищ полковник, – лихо щелкнув каблуками, лейтенант отдает честь, затем показывает на пакет в руке сержанта. – Здесь вещественное доказательство.

– Что он натворил?

– Перед вами убийца, товарищ полковник.

– Что? Кого же он убил?

– Свою жену, товарищ полковник.

– Откройте, что там?

Лейтенант и сержант переглядываются в нерешительности.

– Давайте, я сам, – говорит Алхилав, понимая их растерянность. – Здесь, товарищ полковник, голова моей жены.

– Что? – теряется полковник.

– Да, голова моей жены и вашей родственницы, полковник. – Алхилав развязывает верх черной сумки, достает оттуда вырезанную из твердого, как металл, красного корня кизилового дерева голову горянки с необыкновенно добрыми чертами лица. Нетрудно в ней угадать Меседу.

Пораженные таким исходом дела лейтенант и сержант пятятся задом к двери и выскакивают, как ошпаренные. Довольный полковник любуется этим произведением.

– Гм, да, удачно, черт побери, поздравляю! Такого ты еще не творил.

– То ли еще будет! – заключает, улыбаясь, Алхилав.

Алхилав, не боясь никого, поднимается по лестнице и врывается в свою квартиру, ставит сумку в прихожую... спешит к растерянно стоящей Меседу, обнимает ее, но ответной ласки, радости не испытывает.

– Что с тобой, жена моя?

– Ничего...

– Ты что, не узнаешь меня? Это же я, Алхилав, твой муж... Что случилось...

– Ничего.

– Ничего – это пустое место, жена моя! – восклицает Алхилав и достает из сумки голову. – Смотри, смотри, жена моя! Как обещал, так и сделал. Всем нравится, сразу узнают в ней тебя. Ты что... – ставит голову на горку. – Ты не радуешься. Похожа? Еще как похожа. Ай да молодец, Пушкин, причем здесь Пушкин? Ай да молодец, Алхилав! – Алхилав указательным пальцем бьет себя по носу…

Звонок в дверь. Меседу вздрагивает.

– Опять, начинается! – недовольно ворчит Алхилав.

– Не открывай, не надо...

– Я ничего и никого не боюсь, жена моя, – подбегает он к двери, смело хотел открыть, но дверь срывается с петель и падает.

– Черт возьми! – он трогает шишку на лбу.

На пороге стоит Навруз и видит в прихожей Меседу.

– Вам кого? – спрашивает Алхилав.

– Жену мою, – робко произносит Навруз.

– Нет, дорогой, нет, ищите в другом месте, здесь вашей жены нет.

– Как нет? Вот же она.

– Простите, это моя жена.

– Нет, моя.

– Дорогой, я еще не сошел с ума, чтоб не отличить свою жену от чужой.

– Вы не спешите. У меня есть вот, есть у меня, – говорит Навруз, передавая в руки Алхилава золотое лезвие на

цепочке и паспорт. – Вот, пожалуйста, паспорт... Здесь белым по черному, да-да.. Мы поженились...

Меседу скрывается в комнате. Ничего не подозревающий Алхилав берет в руки паспорт, разворачивает и глядит, не веря своим глазам.

44

У здания, над которым написано «Слава КПСС», в состоянии напряженного беспокойства и тревоги в ожидании переминаются с ноги на ногу Сурхай и Идрис.

– Думаешь, исключат? – в лицо озадаченного Сурхая вглядывается Идрис.

– Кто его знает, по доброму делу сюда не вызывают, – вздыхая, отвечает Сурхай.

– За что же его? За фиктивный развод?

– А черт его знает, две квартиры...

– Какие две? Ни одной... Сосед Хамзат занял ее квартиру. И развод уже не фиктивный.

– Чего ты ко мне пристал? Иди им докажи, объясни им! – нервно отстраняется Сурхай.

– А ты чего возмущаешься, что я такого сделал, чтоб ты возмущался?

– А ты не приставай со своими дурацкими вопросами.

– Удивительный народ. Чуть что, старшие учат – «если в чем сомневаешься – спрашивай». А спросишь вот так – «Не приставай!»

– Идет!

Оба друга с немым вопросом на лице «Ну что?» бегут навстречу Алхилаву и удивляются спокойствию и даже радушию на лице друга.

– А что ты такой веселый? Мы здесь места себе не находим, переживаем, а ты зубы скалишь... – упрекает его Сурхай.

– Не знаю, поймете ли вы...

– Ну конечно, такого мудреца мы понять не в состоянии...

– Мне показалось, что впервые я ощутил себя, что я существую, что меня заметили. Даже с гордостью подумал, вот бы отец слышал, что в этих высоких стенах склоняют имя его сына. Знаете, один даже соизволил спросить: «Над чем Вы сейчас работаете, товарищ художник?»

– И ты, конечно, сказал: «Над головой жены»...

– А второй побагровел от возмущения: «Какое Вы имели право рубить, изувечить произведение искусства, что Вы сделали с головой жены, еще называете себя художником?! Вы что, забыли, что талант принадлежит народу, обществу, а не Вам лично!» У меня волосы дыбом...

– И от того...

– Именно, от этого внимания мне стало легко, как говорится, с эмиром встретился... и что он тебе сказал? «Собакой обозвал».

Алхилав идет по площади в сопровождении недоумевающих друзей. Сурхай и Идрис переглядываются и, пожимая плечами, следуют за ним.

Над ними яркое небо. Волны моря бьются о стены крепости. Горы, склон, на котором могущественная твердыня – цитадель крепости. Бьются о скалы море и волны, рассыпаются на тысячи брызг, рождая в себе радугу.

ВОЛЧИЦА

Сценарий

У подножия отвесных гор и скал – лесная чаща. Подлесок в цвету. Белым запорошены абрикос и слива, желтым – кизил. Умиротворение и тишина вокруг, нарушаемая только глухим шумом горной речки и самозабвенной трелью жаворонка. Сколько таинства во всей окружающей природе! Муравей тащит соломинку, пчела жужжит в цветке, бабочка дрожит на стебельке. И вдруг душераздирающий девичий крик будто ножом прорезает все вокруг, умолкает жаворонок, с ветки кизила взлетает сорока. Будто от внезапного дуновения ветки сливы стряхивают с себя белые, а кизила – желтые лепестки. В крике – горе и отчаяние:

– Будь ты проклят, проклят! Зверь! Зверь, зверь!

Рыдания девушки прерывает шум мотора. За кустами кизила – белые «Жигули». На заднее сидение протискивается человек в потертом джинсовом костюме и широкополой шляпе. Он все оглядывается, утирая платочком расцарапанное лицо. А его товарищ, что за рулем, крайне обеспокоен и бросает на Мустафу недовольный взгляд невольного соучастника преступления. Через мутное заднее стекло Мустафа видит съежившуюся, будто от стужи, обесчещенную им девушку – Шахризат.

Шахризат утирает слезы, подбирает с травы раскрытую сумочку, встает, поправляет одежду и бредет по лесу, как шальная. Замечает на ноге тоненькую струйку крови, сорвав пучок травы, вытирает. Бежит к речке, опускается на землю, ухватившись за стройный, тонкий

ствол дикой яблони. Ее крупное тело содрогается от всхлипываний. Сумерки сгущаются, доносится визг шакалов и вой волчицы.

1

Улица города, сбегающая со склона Тарки-Тау в сторону морского берега. Из главного корпуса института высыпают студенты и студентки. Шумными группами они расходятся в разные стороны. Прекрасны девушки в летних роскошных нарядах, сколько в них неотразимой прелести! Среди трех веселых девушек, что перебегают улицу, одна – Шахризат. Она немного пополнела, округлилась. Фигурка у нее литая, упругая. А какое чистое милое у нее личико! Глаза большие, ясные, сколько жизни в них! Тепло и солнечно. Подруги, остановившись на автобусной остановке, шепчутся о чем-то, смеются. Проезжает мимо битком набитый автобус, с подножки свисают люди. Шахризат прощается с девушками и взбирается на ступеньку подъехавшего следующего автобуса. Одна из девушек кричит вслед: «Смотри, не опаздывай на сбор!» Протискивается с трудом. Из окна автобуса Шахризат, помахав рукой подругам, отворачивается. Сразу меняется в лице – делается грустной и глубоко озадаченной. Ничего-то она не замечает вокруг, пассажиры толкаются, ничего не слышит... невидящими глазами смотрит в сторону кабины водителя, где начертаны слова: «Лучший контролер – совесть». Прочитав это, она, опомнившись, заглядывает в сумку и на первой же остановке сходит с автобуса.

2

Она стоит на тротуаре и украдкой глядит на противоположную сторону, где за завесой пирамидальных тополей находится приземистое здание с вывеской «Управление гортопа». Подъезжает к этому зданию черная «Волга». Из

нее выбирается начальник гортопа – мужчина средних лет, серьезный и сосредоточенный. В руке у него «дипломат». Наклонившись к водителю, он говорит что-то. Тот, в свою очередь, обращает внимание своего шефа на девушку.

– Я ее вижу уже несколько дней... здесь...

– Ту девушку? Ты о ней говоришь?

– Да.

– Смазливая... и я приметил, – бросил, улыбнувшись, Аспарух и пристально посмотрел на девушку. Шахризат в некотором замешательстве отвернулась, сделала вид, что стоит в очереди за мороженым.

– Я где-то видел ее, – замечает Аспарух и уходит к себе.

Машина отъехала. Шахризат вошла в кабину телефона-автомата.

И я зашел в это управление. Надо же знать, что делается в твоем городе, нас учили почаще общаться с людьми разных профессий, это всегда пригодится в работе.

Аспарух принимал обычных своих утренних посетителей – шоферов, грузчиков. Кутерьма. Суетливый рабочий день. Взглянув на того, кто подавал ему бумагу, подписывал их. Вот протянул ему путевку и водитель самосвала Сурхай. Сурхая в нашем театре знают, он помогал во время ремонта и вообще чаще остальных посещает театр.

– Этой путевки я не подпишу, – бросает начальник в его сторону, измерив взглядом рослого мужчину с заячьей губой.

– Почему? – возмутился Сурхай. – Другим можно, а мне нельзя? Что это за порядки? Где равноправие?

– Ты хочешь в свой аул поехать. А мы работаем в городе. Кто мы? Гортоп, понятно. «Гор-р-р-топ»! А не аултоп! – отрезал Аспарух, уставившись на Сурхая, будто он его видит впервые.

– На свадьбу сына я не могу поехать на своем самосвале? – возмутился Сурхай и стал настаивать на своем.

– Самосвал не твой, да и возить невесту на самосвале непорядочно. Почему бы свадьбу сына не сыграть в горо-

де? Меня не хочешь приглашать? Вот что, Сурхай, оставь самосвал, я дам тебе свою машину.

– Что? – приятно удивлен Сурхай. – Спасибо, Аспарух Алиевич. Угощу тебя свадебным медом! – восклицает он.

– Обещать вы мастера, – с укором бросает начальник. – Иди, скажи моему шоферу, что я велел.

Сурхай довольный и признательный уходит, потирая затылок. Раздается телефонный звонок. Аспарух берет трубку.

– Алло! Алло!! Я слушаю... Алло?! – бросает трубку. – Что за чертовщина... Звонят и молчат, – в недоумении разводит руками, глядя на пышные прелести секретарши.

3

Площадь города. У входа Совета Министров Аспарух сталкивается со старым другом – чабаном Магомедом – и с радостным волнением обращается к небу.

– Магомед, ты ли это?

– О, кого я вижу, Аспарух, – Магомед жмет обеими руками его руку. – Слушай, и тебя вызвали?

– Да, вот...

– Ты же хороший человек, – улыбается, поглаживая усы, Магомед.

– Думаешь, хороших не вызывают? – смеется Аспарух.

– Давно же тебя не видел. Как ты, ну-ка, рассказывай, как твоя милая Хадижа?

– Хадижа? – лицо его делается печальным. – Умерла, друг, умерла.

– Ах, да, прости, запамятовал, в газете соболезнование читал, прими и мою боль. Пусть прибавятся живым в вашем роду годы, которых не пришлось прожить ей. Совсем молодая, цветущая была, как же это так...

– Да, при родах сердце не выдержало... Три года уже... Поздравляю тебя, читал, читал... Орден получил.

– Спасибо, друг.

– Ты все с отарами?

– Да, вот хотят в Агропром меня забрать, в город.

– Ты же прославленный чабан.

– А я не хочу, не смогу... Слушай, случаем ты не женился?..

– Нет. Как-то все некогда.

– Хорошо, ах, да что я говорю... Жениться, говоришь, некогда, и то правда, крутимся, вертимся, о жизни позабыли. Слушай, Аспарух, через час... – смотрит Магомед на часы, – я буду ждать тебя здесь. Хорошо?

– Что будем делать?

– Поедем к ущелью, на природу. Вспомним молодые годы. Ты что, против?

– Нет, я с удовольствием.

– Вот и хорошо. А то без собеседника здесь мне неуютно... Не прощаюсь, через час!

И они расходятся, обменявшись рукопожатием.

4

В кабинете после ухода посетителей Аспарух остается один. Отпивая чай, он деловито углубляется в чтение бумаг. В кабинет тихо входит Шахризат. Аспарух обращается к ней, не поднимая головы:

– Садитесь, пожалуйста. Я вас слушаю, вкратце, пожалуйста, понимаете, времени в обрез, эх, время-времечко... Порой так не ценим мы его, транжирим попусту, а потом сетуем, что его-то нам и не хватает...

Девушка переминается с ноги на ногу, она смущается, стоит, опустив голову. Аспарух смотрит на нее и приятно удивлен ее красотой.

– Вы ко мне? – спрашивает он, неловко поднимаясь с места и спеша пододвинуть к ней стул.

– Да, – она очаровательно морщит носик.

– Прошу вас, садитесь, рад буду оказаться полезным столь очаровательной девушке, – искренне звучат его слова. Заметив в ее руке лист бумаги, он спрашивает: – Что у вас, заявление?

– Нет. Письмо, – тихо говорит она, не поднимая головы.

– Кому?

– Вам, – отвечает она, взглянув исподлобья, взгляд – напряженно ожидающий.

– От кого?

– Простите меня, пожалуйста, и не судите сурово несчастную, постарайтесь понять, – говорит она, протянув ему вчетверо сложенный лист.

– Садитесь, пожалуйста, прошу вас. Кто вы и откуда?

– Я из аула...

– Я не о том....

– Учусь я здесь в институте...

– Понятно... – замечает он на ее груди значок.

Аспарух разворачивает письмо и начинает с интересом читать. Она стыдливо отворачивается. По ходу чтения выражение лица Аспаруха меняется, любопытство возрастает и он часто поглядывает на девушку, что сидит, понуря голову.

– Кого вы просите меня найти? Врага? – вдруг спрашивает он.

– Что? – в недоумении бросает она на него взгляд своих больших глаз.

– Врага говорю. У вас, девушка, так написано... – показывает он на несколько раз переправленное слово.

– Не врага.., а врача, – тихо поправляет она, боязливо озираясь, будто опасность подкрадывается к ней.

– Врача? Ах да... это в каком смысле? Ах, да... понимаю. – Он поглаживает свой лоб.

– Мне так неловко, так стыдно...

После напряженной паузы Аспарух спрашивает:

– А почему вы ко мне решили обратиться? Простите, что любопытствую... – интересуется он.

– Я слышала, что вы добрый человек... Вы мою сестру устроили на работу. Помогите мне, пожалуйста, умоляю вас... спасите меня от позора. Братья меня не простят, а мать вовсе изведется, – всхлипывает девушка, закрывает

лицо руками. – Я же написала, как со мной все случилось... К кому же мне идти, я ведь никого не знаю в городе...

– Гм, да, – тянет Аспарух, все пристальнее вглядываясь в несчастную девушку. – Не плачьте, прошу вас, успокойтесь... у меня есть друг, врач...

– Нет, нет, прошу вас, только женщину-врача. – Она поднимает встревоженное лицо.

– Женщину?.. Погодите, погодите... – И тут его осеняет, он хитро, довольный собой, улыбается, берет трубку и набирает номер. – Вам, можно сказать, повезло. Это Аида? Здравствуйте, сколько лет, сколько зим, да, давно мы не встречались... Милая, дорогая Аидочка, надо помочь одной милой и славной девушке... Она к тебе обратится, хорошо... прямо сейчас. Спасибо. Вот и хорошо... – Он кладет трубку, встает, поднимает с сочувствием девушку, заглядывает ей в глаза... – Ну, ну, не надо слез... – Он пишет адрес, передает листок. – Вот по этому адресу сходите, скажете от меня, она добрая женщина.

– Спасибо, вы так добры, спасибо, – она с кроткой улыбкой и в благодарность за снисхождение пылко целует ему руки, он отдергивает их, будто коснулся огня.

– Постойте, погодите... – Аспарух подходит к сейфу, достает деньги и, самодовольно взглянув, передает ей.

– Зачем? – Глаза у нее оживились вдруг, выражая удивление.

– По пути сходите в магазин и купите врачу Аиде от моего имени что-нибудь такое, понимаете, я не был у нее на дне рождения.

– Я никогда не забуду вашей доброты, – смущаясь, говорит девушка и выскальзывает из кабинета...

– Не надо смущаться. Вы позвоните мне! – бросает ей вдогонку Аспарух. Он взволнован, подбегает к окну, и лицо его озаряется надеждой.

Невольно в задумчивости мнет он в пальцах сигарету и с удовольствием закуривает, глубоко и сладостно вдыхая дым. Просит разрешения войти новый посетитель.

5

Загородная зона отдыха, жарко. Солнце печет... Река, берег моря. Деревянный двухэтажный домик с широкими балконами, похожий на теремок. Высоко в небо поднимается дымок от мангала в палисаднике, у мангала суетятся шоферы. Искупавшись в море, выбираются на берег Аспарух и его друг Абдулла.

– Так сама тебе и сказала? – спрашивает Абдулла, с удовольствием утираясь полотенцем.

– Нет, она написала. Что ты, Абдулла, как могла девушка сказать о таком? – живо оборачивается Аспарух.

– И хорошенькая? – интересуется Абдулла, улыбнувшись, но затем делает серьезное лицо.

– Слов нет, кровь с молоком, что ты... и такая несчастная.

– Ты что, – Абдулла всматривается в задумчивое лицо друга, – не влюбился случайно?

– Не знаю, исчезла она... – вздыхает Аспарух, досадно покачивая головой. – Взбудоражила мое воображение и исчезла.

– Как исчезла?

– Думал, появится или позвонит, но нет. Звонят, хватаю трубку, думая, что она... Неужели она окажется такой неблагодарной?

– Что я слышу от тебя! С каких пор ты стал таким корыстным, неужели без задних мыслей ты не помог бы попавшей в беду девушке?

– Да, ты прав, ну, а что если она заворожила меня? Когда я подошел к ней, от нее повеяло чем-то родственным, близким...

– Ты к Аиде ее послал?

– Да. Она сказала, у девушки точеная фигура. Она ей руки целовала...

– Да, в нашем возрасте нетрудно попасть в девичьи сети... Берегись, забыл, что со мной было?

– Сравнил, тебе попалась маленькая волчица, причем бешеная...

– Как ты сказал? Волчица? Меткое сравнение.

– Вот что странно, она же безмерно любила тебя, бегала за тобой как телка, привязанная к арбе.

– Ослабил я внимание, занятый своей диссертацией. А ведь, Аспарух дорогой, ради нее все старался, ради нашей любви... – с болью в душе признается Абдулла.

– Ты же ее на ноги поставил, радость жизни ей вернул. Что ей еще надо было?

– Врагу не пожелаю таких мук... Неужели женскому стыду, целомудрию пришел конец? Как я сейчас понимаю суровые нравственные устои наших предков...

– Жизнь не стоит на месте, друг. О каких устоях можно говорить, когда в наших автобусах, троллейбусах давка-свалка парней и девушек, если раньше считалось оскорблением подойти к женщине ближе чем на три шага ... В каждом доме телевизор, а что показывают – срам... Деды наши умирали, не увидев обнаженными ни разу своих жен...

– Проклятье! – восклицает запальчиво Абдулла. – У них что, в комсомоле больше не обсуждаются вопросы на тему морали? – На лице его боль досады и упрека.

– А зачем? Ради фарисейских нравоучений тех, кто больше погряз?

– Но должна же быть какая-то преграда распущенности и легкомыслию. Неужели они сотканы из лжи и притворства?

– Ты сгущаешь краски, друг, а помнишь ту смешную историю... Жалобу одной комсомолки к тебе на меня. Ты же был тогда секретарем. Как она написала? Он меня провожал вечером до дома, взял под ручку, прощаясь, пытался поцеловать, поэтому он должен на мне жениться... каково, а?.. И ты чуть меня не женил на ней... требовал, настаивал.

– Да, друг, чище были люди, говорили правду, не лгали... Не было обмана в любви, все было искренне...

– Однако, друг, не надо отчаиваться. Не гляди так мрачно на жизнь, – подбадривает друга Аспарух. – Ты лучше пой песню: «Я люблю тебя, жизнь!».

– Конечно, боль соседа можно терпеть и три года, – досадливо вздыхает Абдулла.

– Ты разочарован изменой и поэтому тебя одолевает недоверие. Ты же говорил, неосуществленные желания подтачивают организм. Если бы ты знал, как она чиста, без тени притворства и фальши, будто не женщина с тобой говорит, а сам ангел...

– И ты в это веришь?

– Да, да, да. Друг, есть и хранится еще в горах, – она ведь с гор, – и стыд, и целомудрие, и чистота нравов! – восклицает Аспарух.

– Вижу, ты не можешь ее забыть.

– Забыть? О чем ты? Не могу, не могу не думать о ней ежеминутно... Как она могла?.. Подумать страшно... Мне кажется, встреча с ней была не наяву...

Абдулла импульсивно шарит в карманах пиджака, что брошен на спинку скамейки, и достает пузырек.

– Знаешь, что это?

– Что?

– Яд, друг мой, яд, думал – отравлю ее и себя и покончу с этой бешеной любовью, все беды мои от нее... Семью потерял, в должности понижен, защиту отложили. К тому же, друг мой, скажу тебе – ее поклонник, или вернее любовник, чуть не искалечил меня. Ты не поверишь... Когда тот жестоко избивал меня ногами, она стояла, не шелохнувшись, – перед глазами Абдуллы живо всплывает та жуткая картина, как он корчился от боли, его бросили на дороге и убежали... Абдулла встряхивает голову, освобождаясь от обуявшего его тогда ужаса, и, будто очнувшись, говорит Аспаруху: – А я знаю, она вскоре будет терзать себя раскаяниями...

Аспарух хватает из рук Абдуллы флакон, рассматривает. Вдруг размахивается и делает вид, что бросает в заросли камыша, а сам прячет в свой карман.

– Что ты делаешь? Ты что, в своем уме... – вскрикивает Абдулла.

– Брось! Ты что, как можно ходить, вернее жить, с ядом в кармане. Что это тебе, конфетка, леденец...

– Это же, это же... – стремглав бросается Абдулла в заросли и неистово ищет.

– Ишь, что придумал. Ты друг мне? Друг. Я не хочу терять друга! Понятно?! Итак у меня настоящих друзей раздва и обчелся.

– Не могу найти, куда ты выбросил?

– И не найдешь... Брось! – Аспарух тянет Абдуллу в сторону теремка. – Пошли, пошли, шашлыки уже готовы... Эх, друг мой, знаешь, о чем я жалею?

– О чем?

– Что моя мать не была женой твоего отца, мы были бы братьями.

– А что, брат бывает лучше чем друг?

– И то правда, иногда и брат брату может оказаться недругом. Пошли, ребята зовут.

И они, схватившись за руки, бегут в сторону, где дымит мангал.

6

Аспарух в своем кабинете. Он озадачен и крайне рассеян. Кивает головой, со всеми соглашается. Двое спорят между собой, и каждый из них жалуется начальнику.

– Да, заготовка дров на местах – это тоже в нашей компетенции. Так что ты прав, – говорит Аспарух.

– А как же охрана окружающей среды? Мы оголяем горы, итак скудные лесами. Вокруг аула нет ни кустарника.

– И ты прав! – говорит Аспарух.

Веселый смех. Один из присутствующих говорит:

– Аспарух Алиевич, так же не бывает: и тот прав, и этот.

– И ты прав... – говорит Аспарух, и на лице его гримаса улыбки.

Растолкав посетителей, склоняется к начальнику его заместитель, седовласый Эльдар Мамедович.

– Не знаю что делать, Аспарух Алиевич, – с тревогой обращается он.

– Что случилось?

– Опять семь вагонов угля не выгрузили, товарищ начальник, штрафы громадные, – с неподдельной тревогой и беспокойством заявляет он.

– Так платите, не из своего же кармана!

– Нет больше лимита.

– Потом, потом, Эльдар Мамедович, сейчас главное – развезти уголь школам и больницам.

Телефонный звонок, Аспарух хватает трубку.

– Алло! Алло! Говорите, я вас слушаю, я жду вашего звонка. Что вы молчите? Положили... – с досадой и болью произносит он, медленно опуская трубку, и вдруг взрывается. – Ну, что вы пристали ко мне? Что вы хотите от меня? Я же тоже человек… живой... Неужели нельзя оставить меня в покое хотя бы на час... – от возмущения у него краснеют глаза. – Эльдар Мамедович, уведите всех, разберитесь, прошу вас...

Посетители в недоумении, растерянные и разочарованные, они уходят вслед за Эльдаром Мамедовичем. Аспарух, оставшись один, удрученно смотрит на телефон. Ходит по кабинету, ломая пальцы рук. Раздался звонок, он бросается к телефону, телефон падает со стола.

– Алло! Алло! Я слушаю, скажите слово... Я слышу ваше дыхание. Это вы? Где вы? Я сейчас подъеду, не исчезайте, прошу вас... Умоляю. Хорошо. Я еду!

Аспарух кладет телефонный аппарат на место, весь преображается, приводит себя в порядок, поправляет волосы перед зеркалом и вылетает из кабинета.

Мчится по улице города черная «Волга», поднимается по серпантину горной дороги на склон Тарки-Тау, вот дачный уголок с лесом. Машина останавливается, из нее выходит взволнованный Аспарух и оглядывается по сторонам. Девушки он не видит. Шахризат стоит за выступом скалы и из-за кизилового куста наблюдает за ним, но не решается выйти из укрытия. Она в напряженном раздумье...

Аспарух в своем кабинете. Он во всем новом, радушен и весел. Встречает в объятья своего друга Абдуллу.

– Что, у тебя новая секретарша? – спрашивает Абдулла, опускаясь в кресло.

– Да, Абдулла, – сияет Аспарух. – Как она тебе? Правда, очаровательна?

– У каждого свой вкус... восторга такого нет, – слегка остуживает его.

– Что ты? Не заметил что ли, какой у нее открытый, чистый взгляд, какая приветливая улыбка, будто радуга над родником.

– Ты, я вижу, поэтом стал.

– Ты знаешь – кто она?

– Кто?

– Это же она. Окончила институт.

– С высшим образованием – и секретаршей?

– Пока, временно...

– А дальше что будет?

– Не знаю, друг, но знаю, я люблю ее... – довольный садится в кресло, в глазах затаенная грусть.

– Вот так дела...

– Ты удивляешься?

– Слушай, Аспарух, не сходи с ума... не могу поверить, что ты всерьез... Знаешь, как это называется? Слепому волку удача выпала. Да ты же в отцы ей годишься, этой пигалице.

– Э, не говори глупости... Ей двадцать три, а мне с гаком, чепуха... Раньше о таком и не вспоминали. Когда она

рядом, мне становится невыразимо приятно, до щекочущей нежной радости в сердце... Такого чувства я никогда не испытывал в своей жизни... Не знаю, что со мной...

Входит Шахризат, улыбается, обнажая красивые зубы. Она и в самом деле нежна, очаровательна. Ставит на столик поднос, на котором два стакана чая, в тарелке разрезанный лимон, конфеты. Кланяется без жеманства и уходит.

– Не девушка, друг Абдулла, а чудо... – он весь светится в восторге, – Это судьба... Если бы я ее не встретил, жизнь бы не имела смысла.

– И ты женишься на ней? – с участием спрашивает Абдулла.

– Не знаю, но я не могу без нее. Ты завидуешь мне, Абдулла? – заглядывает он в глаза друга и, расплывшись в улыбке, грозит указательным пальцем. – Э, знаю я тебя.

– Нет, друг, сочувствую, глубоко сочувствую...

– Пей, пей чай. Она великолепно готовит.

– И ты, конечно, как и я, сразу открылся во всем перед ней?

– О чем ты? Если бы ты знал, как она нежна, как ласкова. Да я перед ней всю душу распахнул... всю. И жизни не жаль ради не нее. Пей, пей, друг... – и с удовольствием вдруг стал декламировать:

Я ждал твоего появления,
Считая часы, как года,
Наверное, со дня сотворения
Не ждал так никто никогда.
О, если постигнуть бы разом,
Причину разлуки с тобой!
Не вынесет, думал я, разум
Борьбы с беспощадной судьбой.
Но если ты вправду не любишь,
Я с болью взываю: солги!
Меня ты, любимая, губишь,
Во мраке не вижу ни зги!
Но вот ты пришла на рассвете,
Как пери из жаркого сна.
И разве удержишь в секрете,
Как солнечна ты и нежна?!

И рухнули мук моих стены,
Распались оковы тоски.
И вышел к тебе, как из плена,
Но как побелели виски!

– Я вижу, ты сошел с ума... – Абдулла пьет чай. – Аспарух удалой, слушай, ты тогда поступил скверно...

– О чем ты?

– Я дважды с тех пор ездил на берег.

– Зачем?

– Как зачем, ты что... шутишь, пузырек с ядом в камыши. Днем и ночью я покоя не нахожу...

– Чепуха.

– Как чепуха, ты что... А если кто найдет?

– Успокойся, никто не найдет...

– А если найдет, кто знает, чем все это кончится... – Абдулла не на шутку озадачен. – Слушай, поедем, поищем... Боюсь, как бы чего не вышло... Вчера оттуда привезли в больницу рыбака с тяжелым отравлением... у меня душа в пятки, но слава богу обошлось, откачали, отравился красной рыбой. Поедем! А может быть, ты не выбросил?

– Да не суетись ты, брось об этом думать, – Аспарух хлопает его дружески по плечу. – Ты лучше скажи мне: подвезли в твою больницу топливо?..

– Нет.

– Как нет? – Аспарух хватает трубку.

– Не надо звонить, я не знаю, может быть и подвезли, – поправляет себя Абдулла.

– Я приказал в первую очередь. Какие же мы друзья, если не можем в этом даже помочь... Знаешь, Абдулла, она еще не была у меня, хочу сегодня пригласить ее, давай поедем вместе?

– К тебе?

– Да.

– Зачем я нужен, в этом деле третий...

– Посидим, поговорим, потом уйдешь... Понимаешь, я немею перед ней... – признается Аспарух. – При ней чувст-

вую себя как-то неловко Она такая смущенная всегда, простодушно доверчивая, будто сама откровенность, чистота...

– Друг мой, не заблуждаешься ли ты? Я слышал о ней...

– Что? Ты интересовался ею?

– Нет, просто случайно услышал, как с ехидцей склоняли ее имя.

– Нет, не говори, не надо, замолчи...

– Стерва она...

– Нет, нет... У нее что на душе, то и на лице, бесхитростна она и добра.

– Боюсь, что ошибаешься...

– Ну что, давай поедем ко мне.

– Нет, нет, на меня не рассчитывай, – допив чай и откусив лимон, Абдулла прощается. – У меня вечерний обход.

8

Кинжал вонзается в освежеванную тушу барана, что висит на суку одинокого дерева поодаль стоянки чабанов – куша. Собаки снуют в ожидании, когда расщедрится живодер Мустафа.

– Вижу, не отучился ты в городе разделывать барашку, – подходит к Мустафе знакомый уже нам старший чабан Магомед.

– Как видите, – бросает Мустафа под ноги чабану свежую шкуру, – ни одного пореза, царапины, – сияет он.

– Это ты молодцом, но вот что жену бросил – это не достойно носящему папаху.

– И ты туда же... Ну что вы лезете в мою душу, оставьте меня в покое, – огрызается Мустафа.

Он отходит в сторону, и вдруг глаза его останавливаются на кинжале. Хватает его и втыкает рукоятью в землю. И над торчащим из земли лезвием кинжала, став спиной, делает мостик, медленно сгибая спину. Все, недоумевая, поворачиваются в его сторону.

– Дурацкая затея, прекратите! – кричит Магомед.

– Для любителей острых ощущений, бедовый парень! – отворачивается в страхе один из чабанов, крутя пальцем возле виска.

Альпийское высокогорье. То там, то здесь на склонах, рассеявшись, пасутся отары овец. На стоянке две большие желтые палатки. Горит чабанский костер, на треножнике висит большой котел. Суетятся чабаны, готовясь к обеду, далеко разносится собачий лай и перекличка пастухов. Вдруг одна отара странно повела себя, мечется, кружится, будто в водовороте, в страхе овцы пытаются спрятаться в кустах рододендрона...

– Эгей! Эге-гей! – раздается с горки зычный голос чабана. – В отаре волки!

Мустафа вскакивает, вбегает в палатку и тут же появляется с двустволкой, заряжая ее на ходу.

– Где?

– Не стрелять! – Магомед отнимает у него ружье. – Не стрелять! Это черный волк – последний из могикан.

– Не волк, а волчица...

– Все равно.

Взвалив на спину слабую овцу, волчица уходит в сторону расщелины скал. Мустафа разочарован. И вдруг он видит зайца, оборачивается, хочет вырвать у Магомеда ружье.

– Дай! Или у вас и в зайца нельзя стрелять?!

– Зачем же на зайца тратить патрон. На зайца иначе надо охотиться, – усмехается в усы Магомед.

– Как иначе? – удивляется Мустафа.

– Проще... – улыбается чабан, оглядывая недоуменно уставившихся на него чабанов. – Вы что, не знаете этого способа? Эх, вы, хазары неразумные. Ну-ка, кто из вас курит? Ты, ты и ты... Наверное, в ваших карманах остались пылинки от табака... Давайте-ка аккуратно выверните карманы и все крошки соберите... так, у тебя, у тебя... – он собирает в ладони пылинки.

– Хочет зайцу дать закурить... – смеется один из чабанов.

– Заяц, ребята, как известно, очень любопытный, он, я чувствую, и сейчас наблюдает за нами... – говорит старший чабан, который под любопытными взорами направляется в ту сторону, куда ушел заяц, ближе к зарослям рододендрона. Находит он торчащий из земли острием вверх камень и сыплет на острие табачный порошок... И возвращается на стоянку.

Чабаны садятся обедать, будто позабыв совершенно о зайце. Один, играя на чунгуре, самозабвенно поет песню: «Будь садовницей в саду». Мустафа бесцеремонно выхватывает из его рук инструмент, прерывая песню.

– Как там твой дядя, Мустафа? Не сладилось у тебя с ним? – спрашивает старший.

– Когда я ем, я глух и нем! – бросает Мустафа, с удовольствием обгладывая кость. – Ты лучше скажи, где твой заяц?

– Там, – говорит старший, – где же ему быть? Иди, принеси, возьми себе на дорогу. Иди, иди...

Мустафа нехотя слушается его и идет... Все смотрят на него. И в самом деле Мустафа возвращается, держа за уши зайца.

– Вот это да!

– Да ты величайший охотник.

– Как это у тебя получается?

– Я же сказал, заяц любопытный... когда я сыпал на острые камни табачный порошок, он наблюдал за мной... когда же я отошел, он подошел, понюхал табак и так чихнул, что ударился мордочкой об острые камни и вот готов... – с хохотом валится на бок Магомед, смеется до спазмов.

– Что с тобой? – недоумевают ребята.

– Клянусь, сам не поверил, – хохочет он, держась за живот и катаясь по земле. Вслед раздается раскат хохота.

А Мустафа довольный бросает зайца в багажник белых «Жигулей». Не успевает захлопнуть, как очнувшийся заяц вскакивает и улепетывает. Чабаны катаются со смеху, Мус-

тафа разгневан. Садится в машину и отъезжает, не попрощавшись. На лицах у чабанов недовольное выражение. Один из них бросает:

– Настоящий дикарь... клянусь, не нашей воды он человек!

9

Здание министерства топпрома в строительных лесах. Идут внешние ремонтные работы, за окнами две девушки на лесах, у одной из них ветер поднял край легкого платья. Она визжит и показывает язык тому, кто стоит за окном, заложив руки за спину, и глядит на улицу. Это министр. Ему становится неловко, спешит отвернуться. В кабинете посетитель – это Аспарух. Он виновато озирается, чувствует, что министр холоден к нему.

– Негодяй он, товарищ министр, доставил вам столько огорчений... – тихо говорит Аспарух, не без желания угодить начальству.

– Ты о чем?

– Да о племяннике моем и о вашей дочери, родство наше порвал сукин сын.

– Дело молодое, сами разберутся, – отмахивается министр.

– Да как он посмел... – возмущается Аспарух.

– Бросьте... Не о том речь! – сухо отрезает министр. – Вы меня поняли? Надо выдвигать молодых. Знаете, что не хватает в нашем деле?

– Топлива... – по-своему понимает его Аспарух.

– Это само собой, – снисходительно улыбается министр. – Не хватает, дружище, молодого задора, энергии...

– Вот-вот, я и говорю, что энергию надо экономить, экономия должна быть экономной, – неловко поправляет себя Аспарух.

– Я просмотрел дела по отделу кадров вашего управления и, знаете... ужаснулся, почти все переросли пенсионный возраст. Да, может быть, они – хорошие работники,

однако... Терпеть такое далее невозможно, – мрачно хмурит густые брови министр.

– Вы знаете, товарищ министр, очень трудно кому-то приказать... Вот мы отправили одного... на заслуженный... Полтора года я мучился, и Москва опротестовала наше решение.

– Почему?

– Он оказался ветераном войны...

– А вы этого не знали?

– Не знал, что их нельзя трогать.

– Будьте предельно вежливы и внимательны. Вопрос деликатный, и к каждому надо иметь подход. Вы меня поняли? Вот и хорошо. Я больше вас не задерживаю, – холодно говорит министр.

Аспарух прощается и озадаченный уходит.

10

Аспарух у себя в богато обставленном, ярко освещенном особняке с радостным волнением расхаживает по ковру, то и дело поглядывая на накрытый всевозможными яствами большой обеденный стол. Айша – дородная женщина – хлопочет за столом, расставляя тарелки с закусками, судки с соусами. Завершив накрывать стол, домработница обращается к хозяину:

– Ну, кажется все... Горячее в духовке, остальное на столе...

– Спасибо, соседушка, – хозяин достает из бумажника деньги, передает Айше.

– Жениться вам надо, Аспарух, – говорит она, играя бедрами перед ним.

– Ваша правда, Айша.

– Только не на красавице.

– Почему? – на лице Аспаруха то ли улыбка, то ли ухмылка.

– Жениться на красавице – все равно, что накинуть на себя петлю. Нужно еще что-нибудь?

– Нет, нет, спасибо. Вы свободны... – он поспешно выпроваживает ее.

– На здоровье. Пусть из твоего дома не уйдет никогда достаток.

– Я очень признателен, Айша, спасибо.

Айша у дверей чуть не сталкивается с племянником Аспаруха Мустафой.

– Вот дуралей, летит как угорелый, – сердится Айша. – Вернулся непутевый... Небось еще что-нибудь натворил.

– Простите, тетя Айша. Не смогла еще стреножить моего дядю? Где твои чары? Здравствуйте, дядя, – подходит Мустафа к дяде и пожимает руку. – Вот и я, дядя Аспарух. – Бросает он жадный, кошачий взгляд на обильный стол. – Неужели это в честь меня?

– Не в честь тебя, – бросает дядя, смерив его ледяным взглядом.

– Ты не рад моему появлению?

– Что делает здесь пройдоха?

– Пройдоха решил проведать дядю.

– А я-то думал, что у тебя хватит гордости не появляться больше у меня.

– Выходит, не хватило.

– Не стало у молодежи ни чести, ни совести.

– Не чеши всех одной гребенкой; может, я один такой...

– Не верю, чтобы стрекоза орлиные яйца носила. Я жду гостей... Говори, что тебе надо... – Аспарух раздосадован, смотрит на часы.

– Недружелюбно это, дядя, ты даже не поздравишь меня с защитой диссертации...

– Таких прохвостов давить надо, а не поздравлять, мать в могилу загнал, с такой женой расстался, – раздраженно мнет в пальцах сигарету.

– Конечно, дочь министра, престижно, но для кого? Ты, дядя, больше заботился о своей карьере, чем о моей судьбе.

– Хоть бы и так... – презрительно щурит глаза.

– А я ее не любил, а на любимой жениться не дали. Так что терпи, дядя, – огрызается он, – тем более она бесплодна, как засохшее дерево, сколько ни орошай, все без толку – чертополох.

– Циник ты несусветный... и тебя еще носит земля! С такой семьей породнились... – продолжает возмущаться Аспарух. – Такая опора, стена бетонная!

– Да брось... Теперь эти бетонные стены рушатся, как саманные... – Мустафа наливает коньяк в рюмки, одну передает дяде. – А с защитой меня все-таки поздравь.

– Забыл, сукин сын. А банкет кто давал?

– Все-таки молитва от повторения не портится, дядя, будь здоров, – желая смягчить гнев дяди, говорит он угодливо и торопливо начинает уплетать за обе щеки.

Они чокаются, пьют. Мустафа протягивает руку, Аспарух достает бумажник и на его ладонь ворчливо бросает две десятки. Лишь бы тот ушел.

– В последний раз. Научись сам зарабатывать.

– Вот устроюсь на работу, тогда...

– Да кому ты нужен?

– Хотя бы твоему министру.

– Мерзавец, он же тебя в приемную не пустит.

– Ошибаешься, дядя, ему тоже дорого кресло, – оглядывается Мустафа. – Хороший дворец у тебя, дядя, одному столько....

– На чужое зариться – самое подлое дело, учти.

– Разве это чужое... дядино. – усмехается племянник.

– Убирайся, оставь меня в покое, – машет рукой Аспарух, зло перекатив желваками. – Дядино, но ты не рассчитывай... Все, все, катись.

– Как знать, дядя, жизнь так закручена... Ты, дядя, все время думаешь – чем я хуже других, а надо думать – чем я лучше других, – мудрено говорит племянник. – До свидания!

Мустафа у дверей оглядывается на дядю с загадочной улыбкой. Уходит. Аспарух отворачивается, подходит к окну, отодвигает занавеску и смотрит на сумеречную улицу.

Моросит. Туман лезет в форточку. Вспышка молнии высвечивает улицу. Заметив силуэт девушки с зонтиком, перебегающую улицу, быстро отходит от окна, накидывает пиджак и спешит навстречу. Легко сбегает с лестницы, и в это самое время открываются входные двери, и появляется Шахризат.

– Вот и я, – простодушно говорит она, лицо ее светится, застенчиво улыбается.

11

К Аспаруху в кабинет робко входит Эльдар Мамедович. Начальник стоит у окна спиной к нему, в задумчивости смотрит невидящим взором куда-то вдаль. На кашель посетителя он оборачивается, измерив изучающе с ног до головы своего заместителя.

– Вы меня вызывали, Аспарух Алиевич?

– Да, да, Эльдар Мамедович. Садитесь, пожалуйста. Вы позавчера не были на работе.

– Да, понимаете, приболел... – виновато мнется.

– И вчера... Постарели...

– Да, старость – не радость. Знаете, шел сегодня на работу, поникнув головой... вдруг юная девица обращается ко мне: «Дедушка, дедушка, вам помочь, вы что-то потеряли?»

– И что же вы ей ответили? – собираясь с мыслями, задает вопрос начальник.

– Говорю ей: «Спасибо, юное создание, никто мне не поможет, я потерял свою молодость».

Входит Шахризат, кладет на стол начальника папку. Манящим взглядом горят ее большие красивые глаза, на что с удовольствием обращает внимание Аспарух. Восхищенно разглядывает ее. И в ответ ей одобрительно улыбнувшись, садится за стол и перелистывает дело, приняв серьезный и деловой вид.

– Да, Эльдар Мамедович, вот смотрю... вам давно пора на заслуженный отдых...

– Что? – тот видно больше всего боялся этого. – Я бы еще поработал, товарищ... – тихо шепчет он, растерянно сжимая кепку в руке.

– Понимаете, кадры надо пополнять молодыми, этого требует время, но что мне делать? В командировку вас я не могу послать... часто болеете, а дело...

– Разве кто жаловался, я же все делаю, я два часа порой лишних... – говорит, как бы оправдываясь, заместитель.

– Жалобы тут не причем, хотя... Сегодня тебя, а завтра меня могут попросить, не вечные мы с тобой, Эльдар Мамедович.

– Как скажете, – медленно отходит назад Эльдар Мамедович и, не дойдя до двери, падает, жадно глотая воздух. – Вот и все... все...

Начальник бросается к нему, зовет людей, Шахризат вызывает скорую помощь. Засуетились люди, «Эльдару Мамедовичу дурно стало...» – передается из уст в уста.

12

В коридоре конторы в траурном обрамлении портрет Эльдара Мамедовича. Внизу на табуретке живые цветы. Коридор длинный, светлый.

– Не выдержало сердце старика, – замечает печальным голосом, проходя мимо, Аспарух. – Настоящий был работник, – слова его обращены к следующему за ним человеку, – это Мустафа.

– Это его место вы предлагаете мне? – обращается к нему молодой элегантный мужчина в очках – Мустафа.

– А что тебя смущает? – оглядывается дядя.

– Не хотелось бы на место умершего... – как бы глубоко сожалея, говорит Мустафа.

– Суеверным стал? Раньше я в тебе такого не замечал.

– Жить и работать все время с мыслью, что тебя когда-нибудь вынесут отсюда, – незавидная перспектива, дядя, незавидная.

– Такой молодой – уже о смерти думаешь... Глупо, ес-

ли не сказать смешно... – толкает его в плечо Аспарух. – Освоишься, поймешь, работа, как говорится, не бей лежачего, тем более у дяди как у Христа за пазухой.

Аспарух приводит его в свой кабинет. И в приемной два взгляда кинжально скрещиваются. Увидев здесь Шахризат, Мустафа вздрагивает от неожиданности, но берет себя в руки, а она приходит в замешательство, каменеет, из рук ее выпадает телефонная трубка. Ей делается дурно.., сидящий в приемной наливает ей воду в стакан. Она жадно пьет. В глазах ее ужас. Схватив свою сумку, она выбегает из приемной.

13

Аспарух деловито говорит с кем-то по телефону, он в хорошем настроении, доволен собой...

– Да, да. Однажды верблюда спросили: «Что тебе нравится больше – подъем или спуск?» А знаешь, что он ответил? «Есть еще и третья мерзость – грязь». Да, ты прав, вот и я так думаю, если бы каждый занимался своим делом честно, с должной ответственностью... да, друг, этой инертности и в помине не было бы. Хорошо, друг, до встречи. – Кладет трубку, задумывается, выражение лица меняется, нажимает кнопку, появляется Шахризат.

– Где ты? Зову тебя, а тебя нет...

– Что, не можешь без меня? – замечает она.

– Не могу, ты же знаешь... И ничего не могу с собой поделать.

– Ты лучше скажи, зачем он приходил сюда? – недовольно, как зверек покосившись, спрашивает она.

– Кто? – теряется вдруг Аспарух.

– Этот человек? – сердито говорит она. – Если можно назвать его человеком!

– Не казни себя напрасно! Что за тон? – удивляется быстрой перемене в Шахризат.

– Зачем? – запальчиво спрашивает она.

– Он будет моим заместителем.

– Кто? Этот? Который только что ушел отсюда? Не может этого быть! Я не верю, – она приходит в еще большее замешательство.

– Да, милая. Что, не нравится он тебе? – встает Аспарух и подходит к ней, останавливается в двух шагах.

– Тогда считайте, что я вынуждена вас покинуть, – твердо заявляет Шахризат.

– Что ты, милая? Какая муха тебя укусила? Ты была кроткой, смотри, когти выпускаешь, не рано ли…

– Или он, или я. Он принесет несчастье, – ее жесты становятся судорожными.

– Кому?

– Тебе, мне, но в первую очередь тебе. Это ужасный человек, – ее большие глаза полны страха.

– Что ты говоришь, душечка, он же мой племянник.

– Кто? – девушка ошарашена, с ужасом уставилась на него.

– Племянник.

– Тем хуже для вас. Прошу вас, умоляю, только не его, – падает на колени, воздев руки к нему.

– Что ты, что ты, поднимайся, разве так можно, – он поднимает ее. – Да ты дрожишь вся. Что с тобой?

– Только не его, прошу тебя, если хоть капельку уважаешь меня.

– Ты же знаешь, я не волен выбирать, его назначили сверху. Я уже подписал приказ, – не без досады говорит Аспарух.

Шахризат глубоко разочарована, на губах ее злая насмешка, резко мотнув головой, состроив нагловатую гримасу, уходит, ввергнув в крайнее смятение Аспаруха. Еще бы, такое выражение на ее лице он видел впервые. Он в тревоге вскакивает, подбегает к окну в надежде увидеть ее как обычно садящуюся в его машину, но нет... она проходит мимо, не удостоив даже взглядом его транспорт, перебегает улицу и исчезает за углом многоэтажного дома. Аспарух спешит накинуть пиджак и покидает кабинет.

На тенистой тополиной аллее Шахризат встречается с двумя подругами, с теми самыми, которые прощались с ней у института. Подруги шумно выражают свою радость. Две подруги, а с ними трое парней. Подруги знакомят Шахризат с третьим – это высокий худощавый парень в кожанке. Звать его Наби. Они знакомятся, Наби живо проявляет к ней интерес, да и она не равнодушна к нему, одаривает его ослепительной улыбкой. И все они веселой гурьбой направляются в ресторан. Играет оркестр, певица в ярком наряде с блестками исполняет песню «Тайна тайн». По тому, как слушают ее, видно, что песня любима здесь. Песня и в самом деле прекрасна. Стоя у дверей, слушает песню и Аспарух, изредка бросая взгляд на Шахризат.

За все, что дорого навеки,
Если надо, сердце выну,
Но у сердца человека
Есть еще и сердцевина.
В самой сердцевине сердца,
В самом скрытом уголке
Потаенная есть дверца,
И хранится в тайнике
Средь сокровищ сокровенных,
Перламутрово чиста,
Главная во всей вселенной
Тайна тайн...
Я надеюсь, ты простила
Мне торжественность речей,
Я хотел, чтоб ты постигла
Глубину любви моей.

И вот начинаются танцы, бешеные какие-то, не лезгинка, нет, а такие, что под этот ритм люди, как эпилептики, такие выделывают кренделя... Аспарух ужасается, глядя на Шахризат, которая танцует с Наби. Сосед его, пожилой горец, глубоко вздохнув, говорит:

– Как рыба на раскаленной сковороде, – затем вдруг улыбается и толкает его локтем. – Ты знаешь, что сказала

одна рыба другой: «Послушай, подвинься маленько!», а другая в ответ: «Куда двигаться, мы обе на одной сковороде!»

Аспарух срывается с места, хватает Шахризат за руку и выводит из ресторана.

15

На углу улицы, около кафе «Тюльпан» в ожидании кого-то расхаживает Мустафа, и вдруг он замечает Шахризат. Чувствуется, что она расстроена и глубоко озадачена. Она заходит в кафе, садится за столик, просит у официанта стакан минеральной воды. За ней следует Мустафа, подсаживается к ней, она вскакивает, но он цепко хватает ее.

– Отпустите! Отпустите меня! – хочет вырваться она.

– Не так резво, моя серна. Сиди, сиди, Шахризат, я заказал кое-что сладкое, ты же сладкоежка. – говорит он и щелкает пальцем в сторону официанта.

– Не хочу я ничего, – возмущается Шахризат. – Знала бы, что ты здесь, – ни за что не заглянула бы сюда. Проклятье! – но перед грубой силой смиренно замирает.

– Надо поговорить, присядь... Ты что, забыла обо всем?

– О чем? Не о чем нам говорить, все сказано!

– Нет, не все сказано... Где твой живот?

– Зверь ты, зверь... Зачем, зачем ты здесь?

– Это я у тебя хотел спросить! Крепко втюрилась в него. Тебе нравится он?

– Кто?

– Мой дядя, название-то какое – гортоп, топ, болото, небось уже показывал тебе свой особняк, богатую мебель, машину новую во дворе?

– Зачем они мне? – насмешливо кривит губы.

– Э, милая, не смеши, я ведь знаю, муха на мед летит, на тот мед, что она не собирала... А знаешь, он между прочим холост. Ты, конечно, все знаешь... – самоуверен и циничен Мустафа.

– А ты женился, говорят, поздравляю, – со зла бросает она.

– Нет, уже холост. Я не любил ее. Не криви лицо. Я любил и люблю только тебя, Шахризат. А за то прости, я был ослеплен, страх потерять тебя одолел меня....

– Подлец ты, – она хочет вскочить, но он удерживает ее.

– Вот и официант, я же знаю, что ты голодна. Немного шампанского за нашу встречу... А я искал тебя, я знаю, что с тобой случилось.., но не знал, что ты у моего дяди... Это он тебя? Знаешь, я возмущался, места себе не находил, решил застать вас, убить вас обоих, но вот узнаю, что этот второй – мой дядя...

– И что же тебя удерживает? Ты же храбрец, мужчина! – язвит она. – Убей!

– Зачем убивать? Я рад, что это ты с моим дядей, хотя он и скупердяй... хорошо, что он с тобой встретился.

– А если бы не он? – спрашивает она с блуждающей иронической улыбкой на лице.

– О, тогда бы я остался с носом. Я бы потерял многое в жизни...

– Не понимаю, о чем ты.

– Понимаешь, не такая уж ты наивная, даже полагаю, не он тебя, а ты его нашла... Что, он хочет жениться на тебе?

– А тебе-то что? – презрительно улыбается она, но ей интересно выслушать его до конца.

– Будь ласкова с ним, пусть переведет на твое имя все: особняк, книжки в сберкассе... Я знаю его, он слаб на слабый пол, – вглядываясь в бокал шампанского, наставляет ее.

– Знаете, меня все это абсолютно не трогает. Мне ничего не надо. Прощайте. – Шахризат импульсивно вскакивает и уходит прочь, он не пытается удержать ее, только вдогонку, отпивая вино, бросает:

– До свиданья, Шахризат! Я рад. Мы теперь будем часто встречаться.

16

Проезжая по незнакомой улице, Аспарух вдруг просит своего шофера остановить машину. Не вылезая, наблюдает за Шахризат, что стоит на углу улицы и любезно переговаривается с молодым человеком. Она не замечает машины, достает что-то из сумки и передает парню. Это тот самый, который танцевал с ней. Тот безмерно рад и шепчет ей что-то... А она бесстыдно пожирает его глазами. Аспаруха это задевает до глубины сердца, он мрачнеет, но усилием воли сдерживает себя, чтобы не выскочить из машины. Отъезжает…

Он в своем кабинете, волнуется, чувствуя предстоящий неприятный разговор. Нажимает кнопку. Заходит, сияя ослепительной улыбкой, Шахризат и целует его в губы.

– Ты давно мне так лучезарно не улыбалась, как ему, хоть завтра под венец, – замечает он не без иронии.

– Кому? – искренне удивляется Шахризат, брови взметнулись вверх, глаза широко раскрылись.

– С кем сегодня на улице встретилась. В кожанке. Кто это был? – нахмурив лицо, спрашивает Аспарух.

– Ой, что ты говоришь... – конфузится она. – Я что не человек, мне нельзя на улице со встречным поговорить?

– И так любезно? Глаза бы мои не глядели на тебя, – подозрительно косится на нее. – Душещипательная, скажу, сцена...

– Да это же мальчишка, – заливается она краской.

– Ах, да, мальчишка, а я-то думал... на углу тебя ждал, – язвит он.

– Ой, что ты! Вот не думала. Ты следишь за мной?

– А за кем же мне следить?!

– Ой, папочка, папулечка, что ты говоришь... Спасибо, а я-то думала, ты ко мне равнодушен.

– А что, у вас в комсомоле вопросы морали уже не обсуждают?!

– Ой, я забыла тебе сказать, наш секретарь – любовница директора мясокомбината.

– Стыда в тебе нет. А этот наверняка его сын был.

– Не сердись...

– А что ты ему передавала, любовную записку?

– Ой, у него же больное сердце, он попросил купить ему валериановые капли.

– Ах да... валериановые капли. Как это я забыл, ты же такая сердобольная. Кошачьи, скажу, у тебя повадки, надо же такое придумать... валериана... Не о такой ли, как ты, все воробьи чирикают на улице. Неужели ты такая стерва?

– Ты что, ты мне не веришь?.. – чисто и невинно излучают свет ее глаза. – Ну, что ты, родной мой, любимый, я чиста перед тобой, поверь мне. Хочешь, чем угодно поклянусь – отцом с матерью, на Коране поклянусь... – глаза ее становятся влажными, она обнимает его, целует... – Ты не терзай себя подозрениями, я ничего дурного не позволю себе, знай это, ну что ты насупился... Ну-ка, улыбнись, улыбнись, вот так... папулечка.

У него отлегло от сердца, он тает и доверчиво улыбается ей в ответ. Она целует его и выходит из кабинета, вильнув, как лиса, хвостом. Он умиротворенно смотрит ей вслед.

17

На вокзале сотрудники и друзья провожают Аспаруха и его молодую жену. Среди провожающих Мустафа, Сурхай, Магомед, Абдулла, Айша.

– Я такой счастливый, Абдулла, – сияет весь Аспарух, – даже не верится, что это я ...

– Медовый месяц таким и должен быть, друг, – подбадривает его Абдулла и напутствует: – Береги себя, ты не в тех годах. Ты же сам говорил, что энергию надо экономно расходовать.

– Право же, она прекрасна... – пропускает мимо ушей замечание друга.

– Не надо слишком восторгаться, чего доброго сам

сглазишь, – замечает Сурхай. – Свой глаз, говорят, страшнее...

Взгляд Абдуллы случайно останавливается на Шахризат с Мустафой. Во взглядах их столько загадочного, что трудно не заподозрить о неловко скрытых чувствах. Шахризат смотрит на Мустафу лучистыми глазами.

– Будь ласкова с ним. Береги моего дядю! – громко говорит Мустафа, желая, чтоб все слышали. – Сердцем он слабый... – цинично добавляет он.

Шахризат дольше чем следует жмет его руку и прощается с остальными. Мустафа, все не сводя глаз с Шахризат, подходит к дяде и жмет его руку:

– Желаю хорошо провести время на солнечном берегу, дядя, – восклицает племянник.

– Счастья вам, состариться вам на одной подушке, – желает женатым соседка Айша.

– Спасибо, спасибо, друзья, – машет Аспарух.

Они садятся в вагон. Поезд медленно отъезжает. Шахризат тайком улыбается Мустафе на прощанье.

18

Живописны берега Черного моря со своими песчаными пляжами у бамбуковых зарослей, сосновых рощ. А там вдали пики гор. Много народу на берегу... солнце щедро отдает свое тепло отдыхающим.

– Чудесно, правда? – обращается атлет к Аспаруху, бросая недвусмысленный взгляд в сторону Шахризат, будто ощупывая глазами все ее прелести.

– Да, да, прекрасно, – отвечает, утираясь полотенцем, Аспарух и поворачивается к Шахризат. – Иди, окунись еще раз, скоро обед.

Шахризат оглядывает несуразную, угловатую фигуру мужа, будто мысленно сравнивая ее с атлетическими телами молодых. «Красавица, глаз не оторвешь», – шепчутся молодые. Лукаво взглянув на атлета, она грозит пальцем и, резвясь, убегает к морю, с наслаждением предается волнам,

рядом с ней веселятся парни, немало растревожив душу Аспаруха.

– Красивая у вас дочь, – замечает вдруг атлет. – Говорят, у вас девушки красивые. Еще бы, смешалась кровь стольких племен и народностей.

– Да, Дагестан богат.

– Завтра поездка на озеро Рицца, поедете? – как бы между прочим спрашивает атлет.

– Вряд ли, – бросает Аспарух, которому надоела назойливость собеседника.

– А позволите дочери вашей поехать со мной?

– Зачем? – Аспарух с презрением смотрит на него.

– Не беспокойтесь, вернется в целости и сохранности, папаша, – улыбается атлет. – Эх, папаша, папаша...

– Как вы разговариваете со мной, дьявол вам папаша! Пошли отсюда! – схватив вещи, рассердившийся Аспарух зовет жену. – Грубиян!

– Кто? – смеется Шахризат с лукавинкой в глазах.

– Да этот... – он бросает косой взгляд на атлета. – Липнут они к тебе...

– Что ты, очень даже милый парень. Завтра мы поедем на озеро Рицца?

– Что? Никуда не поедем, – в сердцах бросает Аспарух.

– Здесь так скучно, – капризничает она.

– Я говорю, никуда не поедем! – чуть ли не орет Аспарух.

– Хорошо, пожалуйста, зачем кричать? – поводит плечами Шахризат, все оглядываясь назад и помахивая кому-то рукой.

– Ты куда оглядываешься? – нервничает он.

– Я? – она смотрит с наигранным удивлением.

– Не я же, – тревожно глядит он на жену. – Тебе соврать, что воду глотнуть, неужели ты вся соткана из лжи и притворства?

– А что, волосы нельзя поправить? – ловко вывернулась она.

– С такой изворотливостью тебе бы в цирке работать! –

обрывает он ее. – Меня удивляет твое искусное притворство, оно выбивает из меня всякое благоразумие.

Аспарух понимает, что недостойно так вести себя, вскоре берет под руку жену. Подойдя к ней, заглядывает в ее насупившееся лицо. Тормошит ее ладонью. Ему становится неловко за свою грубость.

– Ты прости меня, жена моя. Нервы ни к черту не годятся.

– А нервы надо лечить. Если ты не хочешь, то отпусти меня на Риццу...

– Что? С этими? Нахальные рожи.

– Причем тут они? Ты отдохнешь, а я посмотрю еще один дивный уголок. Ты же обещал открыть передо мной весь мир. Не сердись, пожалуйста.

19

Лунная ночь над курортом. Спит самшитовый лес. Только прокричит где-то ночная птица. Аспарух будто слышит вой волчицы. Слева горы со снежными пиками, справа море – море, шум которого доносится до балкона шестого этажа умиротворяюще. В плетеном кресле задумчиво сидит Аспарух и курит, взгляд его рассеянно блуждает по уличным фонарям. В комнате горит свет. Из ванной выходит в прозрачной ночной рубашке Шахризат, видна ее ладная, стройная фигура и пышные груди. Она и в самом деле как волшебная фея.

– Ты что не ложишься спать? – весело говорит она.

– Ну что, смыла с себя грязь? – не оглядываясь, раздраженно бросает он. – Сижу вот и думаю, стоило ли тебя из грязи вытаскивать, спасать... Сказано же: никакое добро не останется без наказания.

– Что? Что ты сказал? Да как вы смеете такое говорить! Да ни дня не останусь я здесь. Что за напасть такая... – делает обиженный вид, суетится, укладывая свои вещи. Аспарух не на шутку встревожен, резко вскакивает:

– Водой можно все смыть, кроме совести.

– Ни дня, ни минуты... Оставьте меня в покое! – с обидой говорит она, бросая вызов. Она сделала обиженное лицо – в этом Аспарух, к своему огорчению, улавливает проявление ею своей самостоятельности и надменности, это коробит его.

– Но будет, будет... – обнимает он ее и нежно целует.

– Страшный ты стал, несносный... Что я тебе плохого делаю? – по-мальчишески огрызается она.

– Все вернулись, а тебя нет и нет.

– Так я же сказала тебе, где я была... пригласили...

– Прости меня, прости...

– Знаешь что... мне кажется, нам лучше расстаться. Если ты жалеешь о том, что ты на меня потратил... то знай, немало удовольствий и я доставила тебе.

– Что ты говоришь... Замолчи, замолчи! Не впускай змею в сердце.

– Так, по-моему, будет лучше и вам и мне, я уеду... – настаивает она на своем, хорошо зная его характер.

– Что, уеду? А как же я? Нет, ты не бросишь меня здесь. Прости, хочешь, я на колени перед тобой стану, прости. Ласковая моя, нежная...

– Ну что ты со мной делаешь?

– Прости... – осыпает ее поцелуями. – Я люблю тебя и видно слишком... Люблю так, как никогда не любил... Я же тебе говорил – я однолюб. Я не какой-нибудь там, которому...

– Ты не ценишь мою любовь. – Она с плачем ложится в постель и прячет лицо в подушку, всхлипывает...

– Ну что ты, что ты, ласковая моя. Не надо, прошу тебя, будь проклят мой характер, подними голову, посмотри на меня, радость моя, без тебя и жизнь мне не мила. Посмотри... – утирает ей слезы.

Она кладет голову на его грудь.

– Это все от того, что я страшно люблю тебя, – шепчет он, гладя ее голову.

– Почему страшно, а ты люби меня нормально.

– Не могу.

– Ты же не африканец, не Отелло...

– Прохладно, ложись в постель, я укрою тебя... Понимаешь, все спрашивают: «Это ваша дочь?» Я им отвечаю: «Да».

– Вот и глупо, – говорит она, глядя в глаза мужа.

– Почему, радость моя?

– Тебе что, стыдно сказать, что я твоя жена?

– Почему стыдно?..

– Так-то ты меня любишь? То-то все бесцеремонно стараются за мной ухаживать. А потом ты возмущаешься... – как бы набивая себе цену, строит обиженный вид.

– Я не подумал... А ты права, душечка моя, – раздевается Аспарух и ложится рядом. – Как же это я...

– А ты говори, что я – твоя жена. Нечего тебе скрывать, и, вообще, брось думать, что ты стар... Я тебя ни на кого не променяю.

– Буду говорить, чудо мое, сладкая моя. Зачем скрывать... Правда же? – одаривает ее благодарной улыбкой, не сомневаясь в ее искренности, не допуская и тени сомнения, что она притворяется.

– Придвинься ко мне, я же люблю тебя, очень и очень... – обнимает она его. – Прижми меня крепко к себе и не отпускай никуда... любимый мой, – шепчет она. – Милый, дорогой, такое тело у тебя, без единой морщинки, неужели ты не чувствуешь, что все я делаю с удовольствием.

– Спасибо, спасибо тебе, жена моя. Лучше мы уедем отсюда.

– И половину срока не пробыли, разве здесь плохо? Но если ты так желаешь...

– Да, радость моя, лучше уедем. – И он загорелся страстью.

20

На базе гортопа начальник. Его приветствуют работники базы. Он отвечает им легким кивком головы. Снисходительно улыбается.

– Вы помолодели, Аспарух Алиевич, поздравляем.

– Цвет лица у вас иной. Хорошо было на Черном берегу? – подходит к нему и пожимает руку человеку со шрамом.

– Вы знаете, мне наш берег больше нравится. Не зря говорят – все познается в сравнении, – отвечает начальник, подчеркивая как бы свое превосходство.

– Как молодая жена? – пожимает его руку пышная женщина.

– Спасибо, хорошо. – Аспарух смотрит на часы.

– Она уже не работает в конторе?

– Нет, как я могу жену держать в приемной? Семейственность разводить не по мне... – У конторы столпотворение, галдеж и перебранка. – Почему очередь? Неужели нельзя без этого? – укоризненно качает он головой, придав своему лицу суровость.

– Транспорта у нас мало, Аспарух, – тусклым голосом говорит завбазой.

– А мы со своим транспортом сколько здесь стоим... – возмущенно обращается один из толпы, жестикулируя руками, показывая на грузовые машины, стоящие поодаль, и добавляет не без угрозы: – Управы на вас нет. Ничего, завтра же найду я корреспондента... и разберемся в ваших махинациях.

– Вы простите, пожалуйста, – извиняется Аспарух, поворачивается к своим: – Немедленно отпустить топливо тем, кто с машиной! – приказывает он, выкатив глаза.

– Но, Аспарух Алиевич...

– Вы слышали, что я сказал?! Вы знаете: я дважды слова не повторяю! – решительно заявляет он не терпящим возражений тоном.

– Давайте уж, подводите машины к бункеру, – примирительно говорит заведующий базой.

– Безобразие! Мы, товарищ, разберемся во всем у себя в управлении. Не обессудьте. Они получат свое, – обращается Аспарух к столпившимся вокруг людям. Толпа расходится.

Садится Аспарух в свою «Волгу» и отъезжает. На вопрос водителя не отвечает.

21

В особняке в спальне Шахризат и Мустафа в постели. Шахризат обвивает его шею, неистово целует. С улицы доносится вой.

– Это не собака воет, – замечает Мустафа.

– Нет, не собака.

– А что это?

– Дядя твой сказал, что сосед завел себе волчицу.

– Волчицу?

– Да. А что ты удивляешься, сейчас от людей всего можно ожидать... одни львов держат дома, другие – волков, – объясняет она, расплывшись в сладкой улыбке.

– Волчица... – шепчут губы Мустафы, Шахризат целует его, блаженно жмурит глаза в сладком томлении.

Вдруг она настораживается – с улицы доносится шум машины.

– Машина подъехала, – трепыхается она как зверек, вскакивает и в тревоге шепчет: – Одевайся, быстрей же...

– Опять через окно? – морщится Мустафа, с трудом натягивая брюки.

– Чего он так рано? А где твоя машина? – сжимая руки на груди, торопит она его.

– За переулком. Жди во вторник.

– Хорошо, милый, смотри ноги не поломай, хотя ты же у меня спортсмен. – подталкивает она его к окну.

Мустафа целует ее и выпрыгивает из окна. Оправившись, Шахризат идет навстречу мужу. Он тяжело поднимается по лестнице, ему помогает шофер.

– Что случилось?

– Ему в кабинете стало плохо.

– Что с тобой, муж мой? – наклонив голову, она заглядывает ему в лицо.

– Да вот сердце схватило, – откашлявшись, говорит Аспарух, с трудом облизывая губы.

– Сейчас я постель приготовлю. Врача, пожалуйста, вызовите... – обращается она к шоферу, суетясь.

– Мы позвонили Абдулле, скоро будет, – говорит шофер. Его укладывают в постель. Она снимает с него одежду, приговаривая:

– Ты, папочка мой, папулечка, не бережешь себя.

– Как ты сказала?

– Папочка, папулечка. Тебе не нравится?

– Нравится.

– Можно я всегда буду обращаться так к тебе? Ты же мой папулечка, а я твоя дочурочка.

22

У постели больного Аспаруха его друг Абдулла – врач.

– Да, друг, сердце не бережешь... – вздыхает Абдулла. – И все это от нервов.

– Никогда не бывало такого со мной. Стал совершенно нервозным...

– Годы идут, время делает свое. Да и мы неразумную ведем жизнь.

– Ты так думаешь?

– Эх, друг, я уже не думаю, я убежден. Предупреждал я тебя. Хотя сам я подвержен тем же слабостям.

– Я слышал, она нашла тебя. Ты простил ей все?..

– Да, что поделаешь. Люблю я ее...

– А я не смогу простить такое... Нет, нет, – качает головой Аспарух.

– Как твоя?

– Очень заботлива и внимательна ко мне, порой даже неловко перед ней за слабость. Столько хлопот ей доставляю... Страсть ослепляет меня, боюсь я, боюсь, что натворю страшное в своей безумной страсти...

– За такие дары, друг...

– О чем ты? – поворачивается Аспарух к Абдулле в недоумении.

– Это правда, что особняк и сберкнижки ты переписал на ее имя?

– Да, после моей смерти все останется ей. А что, ты думал, я этому мерзавцу-племяннику оставлю... Все мои дела попортил негодяй! Ты бы видел, как министр переменился... Еще бы, дочь его оскорблена!

– А не поспешил ли ты с ней...

– Нет, друг, было бы у меня что, все готов ей отдать, только ей одной. С пустым сердцем стали рождаться люди, Абдулла, – у моего племянника пустое сердце. Нет в нем ни совести, ни стыда... В пустом сердце дьявол, чудовище, лишенное добродетели и милосердия, многоликое...

– Не узнаю я тебя, ты так в нервном потрясении. Нельзя так волноваться, береги свое сердце... – советует Абдулла. – Что, у тебя неприятности на работе?

– У кого их нет! Как у нас бывает: устроился на работу, считай, ты до самой смерти... у меня почти все старики... А мне говорят – пошли их на пенсию... Одному намекнул, так он в моем же кабинете богу душу отдал. За горло меня взяли, что я могу сделать?

– Ты все близко к сердцу принимаешь!

– Только с ней, с Шахризат одна услада. Безумцем делаюсь.

– Не узнаю тебя. Ты что, заподозрил ее в чем-то?

– Не знаю, подумаю – страшно делается. Не могу без нее ни минуты. Неужели можно допустить такое, чтоб она с кем-то? Неужели всех их преследует эротическая мания? Нет, нет! Это ужасно!

– Успокойся. Кто его знает, может, они не такие плохие, как мы думаем...

– Хочешь сказать, и не такие хорошие, как они о себе думают? А как же любовь, добродетель? Что, эти качества уже собаке под хвост? Неужели нелюбимой ты, глядя в глаза, можешь сказать: «Я люблю тебя»? Сможешь?

– Нет, не смогу... Да и невозможно такое без злого умысла.

– Вот именно, друг, именно...

Заходит Шахризат. Подкатывает чай, выпивку, закуски. Она мило улыбается врачу.

– Ну, мне пора, – встает Абдулла. – Полный покой, постарайтесь, чтоб посетители не утомили его, – говорит он Шахризат.

– Ой, а я угощения принесла. Так старалась. А вы уходить собрались... – с искренним сожалением говорит Шахризат.

– Простите, время подгоняет, меня ждут.

Расстаются, обменявшись рукопожатием.

23

Аспарух из дома звонит на работу своему заместителю – Мустафе. Шахризат, наклонившись к столу, невольно слушает этот разговор, недовольно морщится, настораживается, как зверек, почуяв близкую опасность.

– Алло. Мустафа, это я, – слушает в трубку, - кто звонит? По какому вопросу? Ах, по статье в газете? Откуда говоришь? Сверху? В телефоне шум, ты зайди ко мне... – он кладет трубку.

– Ты его зовешь сюда? – резко отворачивается она.

– А что такое? – недоумевает муж.

– Я не хочу, чтоб его нога ступала к нам, не хочу видеть его!

– Ты лучше не вмешивайся, у нас деловой разговор. Да и вообще, за что ты возненавидела его?

– Неужели ты не видишь, что он копает под тебя?

– Не говори глупости.

– Ах глупости? Ничего, сейчас ты не хочешь понять меня, поймешь, но тогда будет поздно!

– Замолчи. Что ты говоришь?

– Пошляк он, каких не рождала земля. Он же метит на твое место.

– Замолчи! Это мой племянник, моя кровь! Не смей о нем плохо говорить. Я лучше знаю, чего он стоит, чтоб ему пусто было.

– Да он же ненавидит тебя. Какой же он племянник, если увивается вокруг меня, пытается ухаживать... – она готова разрыдаться.

– А ты небось рада, виляешь хвостом, – косится он на нее.

– Я его оттолкнула. Ненавижу! – она снимает пылинку с его пиджака.

– Я тебе не верю. Предупреждаю, оставь его! Не навлекай беду, неужели моей любви недостаточно?! – усилием воли сдерживает он себя, досадуя на себя за излишнюю придирчивость.

– Он мне не нужен, – осыпает его поцелуями, ластится к нему как котенок.

– Переоделась, переобулась, согрелась, теперь хочешь скандала, ты толкаешь меня на глупости... – в приступе отвращения чуть не отталкивает он ее, передумав, целует, отходит, мечется.

– Да пойми ты, он ждет твоей смерти.

– Не смей, не смей! – Аспарух бросает в нее тапочкой.

– Псих! – надменно бросает она и выходит из комнаты.

24

Аспарух на работе беспокойно шагает. Раздается тревожный звонок. Он вздрагивает, берет трубку, слушая кого-то, невольно поднимается, почесывая затылок, потеет. Его срочно вызывают в министерство. Он кладет трубку, растерян, расслабляет ворот, будто становится душно. Набрасывает плащ и выбирается на улицу. Машины нет на месте.

Шагает по улице. Вскоре предстает перед министром в небольшом кабинете. Стоит он перед ним заискивающе, заглядывая ему в глаза.

– Наконец-то явился, неуловимый. Трижды мы переносили ваш вопрос, что с вами?

– Я был болен, – виновато говорит Аспарух.

– Болен? А справка у вас есть?

– Что?

– Справка, говорю, от врача?

– Нет. Раньше такого не спрашивали, – Аспарух через силу пытается улыбнуться.

– Раньше, вы что, газеты не читаете? Нельзя жить как раньше. Требуется строгий порядок и дисциплина на каждом месте. Вот что, Аспарух Алиевич, разговор будет нелицеприятный, не говоря о тех штрафах, что вы платите железной дороге... Кого бы вы могли порекомендовать на свое место?

– На мое место? – растерян от неожиданности Аспарух.

– Что? Вам кажется странным этот вопрос? Позабыли мы восточную мудрость: «Мастер без подмастерья, без ученика, что бесплодная женщина».

– Это так неожиданно... – бормочет Аспарух; поднимаясь, он пошатнулся, но берет себя в руки. – Я не готов к этому разговору.

– А вы подготовьтесь и доложите в трехдневный срок, свыклись с мыслью о незаменимости... У вас молодой заместитель...

– Да, – с ужасом смотрит Аспарух на министра.

– О нем и шла речь. Сказали, что перспективный, деловой... Что вы об этом думаете? Тем более он ваш родственник, сдайте ему дела, – предлагает он. – Я больше вас не задерживаю, – министр хмуро отворачивается и идет к окну. У него хорошая осанка.

Крайне удрученный и расстроенный Аспарух, не вымолвив более слова, выходит. С трудом добирается до машины и бросает: «Домой».

Нежатся в спальне в постели Мустафа и Шахризат. Ее одолевает приятная истома. Мустафа вскакивает и переворачивает портрет дяди на стене.

– Жестокий ты, мой любимый... – шепчет Шахризат, крепко обнимая его. – Не смогу жить без тебя. Люблю, люблю без памяти, мерзавец ты мой, – ерошит ему волосы.

– И я всегда тебя любил, всегда... хотел забыть, но не мог.

– Нет, ты не способен любить так, как я, – она играет бровями, застенчиво улыбается.

– С тобой можно жить, умница ты моя. Я бы до этого не додумался, ты ему сказала правду? Молодчина, – заглядывает он ей в глаза. – Ну и хитрющие же у тебя глаза.

– А зачем скрывать, я сказала, что пристаешь ко мне, пытаешься ухаживать. Проклинала тебя. Сказала, что ты на его место метишь!

– Ах ты умница моя, ведь так и получается. Я сам не ожидал... – подмигивает он ей.

– Ты будешь меня любить, правда? Я все для тебя сделаю, все-все...

– Это мы еще поглядим, как ты себя поведешь, – тихо отзывается он. – Вот станешь полностью моей...

Они, распаленные, сливаются в жарком поцелуе, она обнимает его жадно и безрассудно, извивается как змея... утолив страсть, затихает, на лице покой и блаженство.

– Такое ты выделываешь при живом-то муже! Он же твой дядя, – с нарочитой откровенностью заявляет она.

– Дядя... При моей любви отца не пожалею. Таким уродился, – усмехается он, повернувшись в ее сторону.

– А если позабуду тебя и заведу себе человека сильнее тебя? – бьет она его кулачками в волосатую грудь.

– Не смей, убью! Ты меня знаешь, – вскакивает он, сверкнув глазами.

– Не убивай, лучше люби меня, люби, родной, дорогой... – тянется она к нему.

Голоса их слышит за дверью Аспарух. Заподозрив неладное, он заглядывает в замочную скважину, ничего не видит. Отходит от двери, бросается плечом, но дверь оказывается крепкой, он вновь отходит для разбега.

Мустафа вскакивает, быстро одевается и спешно выпрыгивает в окно.

– Негодяй, подлец, не будет, не будет этого! – притворно вопит Шахризат во все горло. – Убирайся! У меня есть муж, я его люблю! Прочь! Прочь! Люди, помогите!

С дверью вместе влетает Аспарух, падает, оказывается на полу, с трудом поднимается.

– Где он? Где этот мерзавец? – до смешного неловко вскакивает он, прихрамывая. Хватает ее за плечи и трясет.

– Убежал через окно, – она предстает перед ним в виде неотразимой амазонки с притаившимися греховно стыдливыми глазами зверька.

– Кто это был? Кто?! – отпускает он ее, упав на колени, воздевает руки. – О небо, где, где совесть, стыд... куда они подевались?!

– Я тебе говорила, не пускай его на порог. Ты не верил, не верил мне, – закрыв руками лицо, плачет Шахризат.

– Ты врешь! Врешь! – преисполненный страшного негодования он наотмашь бьет ее по лицу. – Потаскуха!

– Как ты смеешь бить меня, ты не достоин этого... Я тебе говорила, ты не верил. Это же насильник, – голос ее вздрагивает от возмущения. – Ничего, я смогла противостоять! Какой мерзавец, негодяй какой, он думал, что ему все дозволено, – с обидой говорит она и рыдает.

Аспарух смотрит на перевернутый на стене портрет. Скрежещет зубами, поправляет портрет и уходит к себе в кабинет, испытывая обморочное состояние.

26

К дяде является Мустафа. Аспарух в домашней спортивной форме расхаживает, заложив руки за спину. Мрачен он, гнев душит его.

– Здравствуй, дядя.

– Ах, это ты, пошляк... – гневно сверлит он его глазами. – Когда бог раздавал мозги, тебе достались ослиные.

– Зачем же так грубо, дядя, не знаю, поверишь ли ты, но в том, что случилось в министерстве, нет моей вины... – заявляет Мустафа.

– А в том, что случилось в моей постели?! – бьет его по щекам.

– Одумайтесь, если я размахнусь, хуже будет, – с угрозой в боксерскую позу становится Мустафа.

– Хуже никогда не будет, убийца, – негодует дядя.

– Еще надо разобраться, кто из нас убийца, дядя! Не размахивай руками, а то ударю, и костей не соберешь.

– Я никого в жизни не убивал! Не убивал! – кричит в ярости Аспарух.

– Никого? – зло усмехается Мустафа. – Ошибаешься, дядя. На твоей совести две жизни...

– Убирайся, подлец, нет, нам не жить обоим на этой земле, нет... Убью! – грозит сжатым кулаком.

– Убьешь меня, будут на твоей совести три смерти, дядя, – презрительно бросает он.

– Кого я убил, кого? – Аспарух дышит прямо в лицо племяннику, мечет взглядом молнии.

– О моем предшественнике, о твоем заместителе Эльдаре я и не говорю. Но ты, дядя, убил моего сына... – бросает в лицо Мустафа.

– Что? – ужас искажает лицо Аспаруха.

– Ты убил моего сына! Да, да, ты... – тычет он его в грудь.

– Твоего сына? А был он у тебя?! – лицо его перекашивает гримаса.

– Мог быть, но ты через свою потаскуху Аиду...

– Замолчи, замолчи! – Аспарух хватается за сердце, но, очнувшись, со всего размаха бьет племянника.

Мустафа взбешен, хочет ударить дядю, но в это время с криком на его руке повисает Шахризат, она подталкивает Мустафу к двери.

– Не смей! Убирайся! Прочь! Прочь! – кричит она, вступаясь за мужа.

Мустафа ворчливо удаляется.

Шахризат отводит мужа в спальню.

– Оставьте меня в покое! Погибло все, все потеряно, ни работы нет, ни добра, ни любви... померкла жизнь. Да, беда одна не приходит. Как жить после всего этого?! – мечется он в отчаянии, морщится от презрения и чуть ли не стонет от тоски: любовь безмерная и ненависть лютая скрещиваются в нем.

– На, выпей... успокойся, папуля, папулечка, – со слезами на глазах Шахризат протягивает стакан воды. – Пей, это валериановые капли. Прошу тебя, не убивай себя... Не калечь нашу жизнь... Ты и себя мучаешь, и меня.

– Оставь меня! – с горечью просит он.

– Папулечка, я же люблю тебя, люблю, буду слушаться тебя, делать только то, что ты скажешь. Прости меня, прости, прошу тебя, – говорит она, по привычке веря в то, что обещает, падает на пол, обнимает его ноги. Он отстраняет ее.

27

Аспарух в своем кабинете на втором этаже сидит за письменным столом, кажется, безжизненно откинувшись в кресле с высокой спинкой; лицо его не бледное, а посиневшее. Но он открывает глаза, очнувшись от глубокой задумчивости, берет со стола записку. В ней написано:

«Радость моя, Шахризат. Никогда и никто в жизни мне не делал так больно, как ты, я все думал, верил, что ты безмерно, как и я тебя, любишь меня, как ты в этом убеждала меня и клялась. Но я вижу, что ты любишь другого. Я был очень счастлив с тобой все это время нашей совместной жизни, ты была моей женой, больше чем женой, от этого сознания даже теперь я считаю себя самым счастливым. Но боль настолько велика, что лучше не жить более мне, чтоб

не мешать твоему счастью. Не горюй по мне, будь счастлива. Прошу в моей смерти не винить никого. Прощайте».

Аспарух открывает ящик стола, достает оттуда знакомый уже пузырек с ядом, что утаил некогда от врача Абдуллы, глядит на него. Задумался и в воображении своем представляет себе в газете некролог о своей смерти, подпись «Группа товарищей».

И живо в обостренном его воображении пробегает, как в мультфильме, сцена: медведь, лиса, волк бегут за зайцем, ловят и убивают. Затем, сидя на опушке, призадумываются, решают написать некролог и внизу подписаться: «Группа товарищей». Аспаруха хватает нервная дрожь, он быстро прячет флакон в ящик. Входит Шахризат, обнимает его, ласкается к нему.

28

В кабинете Аспарух сдает дела, принимает Мустафа. Атмосфера крайне напряженная. Они зло косятся друг на друга, избегая смотреть в глаза.

– А здесь что? – спрашивает Мустафа.

– Есть глаза, читай, мерзавец! – бросает Аспарух. – Ты еще считаешь себя мужчиной?!

– Прошу тебя, дядя, не надо. Сколько не маши рукой, пальцы не отпадут. Мы все-таки родственники.

– Лучше шакала сделать родственником... Вот что, один из нас должен уйти, нам двоим не жить на этом свете, нет, не жить.

– Живи и здравствуй, дядя. Я тебе мешать не буду.

– После того, что случилось? Нет, не будь трусом, – обдумывает он свое дерзкое решение.

– Я никогда не был им.

– Тем более.

– Что ты надумал, старик?

– Честно решим – кому из нас жить. Бросим жребий. Прежде напишем письма, чтоб после смерти одного оставшегося в живых не беспокоили. Вот так-то, племянничек...

– Подумаешь, напугал, – надменно бросает Мустафа.

– Мне-то терять нечего. Я прожил хорошую жизнь. А вот тебе… ты красив, ты молод, в расцвете лет... Скажешь, не жаль тебе жизни?

– Скажу, да, да, скажу! Я не хочу, чтоб люди считали меня последним мерзавцем, который отбивает у дяди жену, хотя, что я говорю, – хватается за голову, – это ты отбил ее у меня... И поэтому я принимаю ваш вызов, дядя, пусть судьба сама решит...

– Судьба всегда сама решает.

– Только бы найти быстродействующий яд.

– Не беспокойся, об этом позаботится дядя. На сегодня хватит, я устал! Это мои личные бумаги.

– До свиданья!

– Чтоб тебе околеть! – бросает, захлопывая за собой дверь, Аспарух.

29

Шахризат встречает мужа, она взволнована, целует его.

– Чуть с ума не сошла от ожидания и неизвестности, милый мой, дорогой папулечка. Так долго, страшно мне. Что мне сделать, чтоб ты поверил... Папулечка!

– Ничего не надо делать... – Аспарух старается быть спокойным. – Все само собой уладится.

Шахризат, маленькая, хрупкая, нежная, подходит к нему... ласкает, целует его.

– Мне так страшно. Я боюсь, папулечка.

– А чего ты боишься?

– Как же... я думала, это в шутку.

– Нет, милая, шуткам пришел конец.

– Что, жребий брошен?

– Да.

– И что, вы в самом деле решились, и он?

– И он. Вот прочти, что я написал. – Передает свою записку.

Шахризат читает, лицо ее преображается по ходу чтения. Она радостно сияет, и глаза ее наполняются слезами, что при виде их любого может охватить трепет.

– О муж мой, папулечка, дорогой ты мой, это сверх того, что я ожидала, ты так добр ко мне. Даже после того, как я дурно с тобой поступила. – Изумление ее преисполнено надежды, робкое смирение во всем ее существе.

– Что поделаешь, родная, ты встретила человека своего возраста и полюбила его, – притворно тихим голосом говорит он, будто подкрадываясь.

– Неправда, я люблю только тебя, только тебя. К нему у меня, прости меня, гадкое, низменное влечение, ничего похожего на любовь. Тобой, муж мой, от твоей доброты и великодушия я была ослеплена. И только сейчас, когда я представила себе, что могу потерять тебя, я поняла, как сильно люблю тебя, я не могу без тебя, родной, ты не должен умереть, нет, нет, тогда и я умру. Я не переживу тебя. – Сверкают невинным взглядом ее глаза.

– Любимая, родная, дочурка моя... – он обнимает ее. – Если ты так думаешь, – доволен Аспарух, на душе у него становится светло, – то умирать никому не нужно. Давай соберемся и уедем куда глаза глядят.

– Ой, как здорово, я согласна. – Подпрыгивая, кружится она вокруг него. – Бросим все и уедем...

– Давай уедем. Мир велик, и нам найдется место.

– Да, но возможно ли это... – вдруг призадумывается она, поглаживая ладонями горящие щеки.

– А почему нельзя?

– Подумай хорошенько... Ты представляешь, что он для меня. Это не любовь, нет, нет, не любовь, но я испытываю к нему неудержимое влечение. Я пыталась порвать с ним, но... Ужасно говорить о таких вещах, когда, даже если просто он смотрит, меня бросает в жар. Есть у меня от тебя тайна, папулечка...

– Какая тайна? – заглядывает он ей в глаза.

– Я думала позабуду, я клялась... но пока он жив и добивается меня, я ничего не могу с собой поделать. Страшно... это он. Он совершил надо мной насилие...

– А я знаю...

– Ты знаешь? Это он тебе сказал? Ненавижу, ненавижу его!

– Да, доченька... Это с моей помощью ты убила его дитя?

– Да, да, мальчика. Аида мне сказала, что это был мальчик. Ненавижу его самой лютой ненавистью. Пожалуйста, родной, прошу тебя, давай устроим так, чтоб умер он.

– Что? – будто ослышался он. – Не говори так, все в руках судьбы.

– Мы не должны этого допустить. Ты первым возьмешь рюмку, а ему придется выпить другую, – она достает из горки коньячный набор. – Ты знаешь, что я сделаю? – лицо ее будто зажглось вдохновением решимости. – Я налью тебе в эту рюмку с немного отбитым краем... А яд будет вот в этой рюмке, она и цветом немного отличается...

– Да, нетрудно запомнить. Ну а если он заподозрит?

– Нет, никогда, он верит мне, а я горю желанием отомстить ему, и жестоко отомстить... И тогда, о дорогой! Тогда все будет еще лучше, чем прежде, – она целует его, он доверчиво сияет. – Пойду приготовлю тебе кофе с молоком.

– Да, родная моя. – Аспарух ошеломлен столь необычным поворотом событий, не возникает в нем и тени сомнения, еще бы, так искренна, так душевна она.

Как только Шахризат уходит на кухню, он со сладостно щемящим сердцем тихо, сладострастно приговаривает:

– Она любит меня. Любит, любит, любит.

Вид у него при этом наивно доверчивый, как у ребенка.

Шахризат обнимает мужа, прижимается к нему. Она необыкновенно ластится к нему и в тревоге думает, как бы сама себе задает вопрос:

– Неужели все должно случиться завтра? – она смотрит на мужа, глаза ее лихорадочно блестят.

– Да, завтра, – вздыхает он.

– У нас, папулечка, целая ночь впереди. Ты представляешь, целая ночь! Давай не будем спать.

– Разве заснешь... – обнимает он ее. – Знаешь, родная ты моя, столько чудесных мгновений ты подарила мне, и каждое из них стоит жизни. Да, да, тысячи мгновений... Тысячи жизней. Что одна жизнь по сравнению с этим, – на его лицо падает горячая слеза. – Ты что, ты плачешь?

– Как же не плакать, – всхлипывает она, – ты такой добрый, милый, родной. Ведь с тобой я стала понимать жизнь, стала чувствовать себя человеком. А что я до тебя видела? Скудная бедная студенческая жизнь, скитания по частным квартирам, обман, насилие... Это ты сделал из меня человека. Ты спас меня от невеселой участи. Спасибо, родной... Может быть, от этого во мне такая перемена, самоуверенность, граничащая с надменностью, порой бывает я сама себя не узнаю.

– Я и не заметил, как ты повзрослела, поумнела, цветочница моя.

– Почему цветочница? – взлетают у нее брови.

– Есть пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион», где аристократ-лингвист подбирает на улице бедную девушку и растит из нее аристократку, затем сам же в нее влюбляется. А я в тебя сразу влюбился.

– А помнишь, какая я была, когда впервые у тебя появилась? Замухрышка такая...

– Печальная была, расстроенная, и все-таки очаровательная.

– Любимый мой, то, что ты сделал для меня, даже родители не смогли сделать. Обними меня крепче, родной,

любимый... – жарким шепотом говорит она, обнимает его крепко, улыбаясь сквозь слезы. – Вот посмотришь, все у нас сладится, родной...

31

Аспарух нервничает, в ожидании Мустафы он меряет шагами ковер в зале особняка. И все смотрит на часы. Взволнована не меньше его и Шахризат.

– Проклятый, лучше бы он умер по дороге, лучше бы его труп внесли сюда, – причитает она, ломая пальцы.

– Успокойся, родная. Все сегодня решится.

– Близится время, это ужасно, – она кладет голову на грудь мужа. – Боюсь, боюсь, а вдруг... – слезы у нее на глазах.

Раздается звонок. Шахризат выбегает, Аспарух тревожно ходит по ковру. На горке стоят графин с коньяком и рюмки. Он озирается вокруг гостиной. Смотрит на свой портрет на стене, он отворачивает его к стене.

Заходит Шахризат, несет почту.

– Не он? – спрашивает Аспарух.

– Нет, почтальонша. Его нет, может, околел он, проклятый.

– Неужели струсил? И он называет себя мужчиной... – нервничает хозяин.

– Хвастун он несчастный... Ты только не нервничай... Ты будь спокоен, все будет по-нашему. Я оставила калитку открытой, на случай, если он... Видеть его не хочу...

– Подлец струсил… Неужели не придет? – вторит ей в мучительном ожидании Аспарух.

32

И вот входит Мустафа, бледный чем обычно. Он взволнован, хотя держится с достоинством.

– Простите, по дороге попал в аварию и опоздал, машину бросил на полдороге, к чему она теперь...

– А где твое «здравствуйте»?

– Не будем церемониться, дядя. Не будем терять время. Тем более я чуть не погиб, столкнувшись с автобусом.

– Ты написал письмо?

– Да, вот оно. – Передает незапечатанный конверт, на котором надпись: «Тому, кто будет иметь отношение к этому делу».

Аспарух берет, извлекает вчетверо сложенную бумажку и читает вслух: «Женщина, которую я люблю, не любит меня, а я жить без нее не могу и потому решил принять яд. В моей смерти прошу никого не винить. Прощайте. Мустафа». А Мустафа в это время в свою очередь читает письмо Аспаруха.

– Ну что?

– Сойдет, – отвечает Аспарух.

– Будем считать, что с этим делом мы покончили.

– Шахризат! – зовет жену...

– Я здесь...

– Приступим.

Они оба передают письма в руки Шахризат. Она с явной ненавистью глядит на Мустафу.

– Ты одна из нас, которая без сомнения должна остаться жива.

– Я себе тоже налью.

– И вот что, – задумчиво говорит Аспарух, – когда все это кончится, кто останется из нас, из двоих, должен уничтожить свое письмо.

– Яд у вас, надеюсь, есть? – спрашивает Мустафа.

– Вот... – показывает Шахризат пузырек.

– Ты еще не передумал, не струсил? – язвительно обращается Аспарух к племяннику.

– Замолчите, старик! Хватит! – истерично кричит Мустафа.

– Раздражен ты, братец, значит боишься.

– По-моему, это ты дрожишь, как хвост зайца, – старается задеть его словом.

– Да признаюсь, страшновато.

– Давайте покончим с этим, – заявляет Мустафа. – Зачем тянем?

– Итак, милая Шахризат, как мы отвернемся, вылей содержимое пузырька в одну из рюмок и добавь коньяка. В рюмках должно быть одинаковое количество жидкости. Затем рюмки поставь на поднос и принеси его сюда на мой стол. – Она понимающе кивает головой.

– А свою рюмку не смешивай с нашими. Выпьем, Шахризат, за твое здоровье. – Смотрит Аспарух пристально на нее, желая угадать по выражению ее лица, лгала она ему или нет. Но лицо ее непроницаемо.

Мужчины отворачиваются, Шахризат наливает яд в одну из трех рюмок, доливает коньяком и ставит эту рюмку отдельно на горку. Затем в две рюмки на подносе наливает коньяк, и поднос ставит туда, куда указал муж. У зрителя должна возникнуть мысль – или она не хочет ничьей из них смерти, или она сама предпочитает выпить яд и тем самым избавить их от страданий.

33

Взяв в руки свою рюмку с горки, Шахризат подходит к мужу и смотрит на него долгим, полным обещаний взглядом, затем переводит ненавистный взгляд на Мустафу.

– О, сколько ненависти... А глаза, глаза-то так и мечут молнии, – косится на нее Мустафа. – Пора кончать! – взрывается он в ярости.

Мустафа подходит к столу, берет поднос, что заставляет Аспаруха насторожиться, но тот протягивает дяде и говорит:

– Ну, дядя, выбирай! Жизнь или смерть!

Аспарух рад такому предложению, но делает вид, что колеблется. Смотрит, видит ту рюмку с отбитым немного хрусталем. Берет решительно эту рюмку. Нюхает, морщит

лицо... Мустафа берет другую рюмку, поднимает ее и сквозь рюмку смотрит на Аспаруха, затем переводит взгляд на Шахризат, что стоит, держа рюмку с ядом.

– За женщину, которую я люблю! – говорит Мустафа.

– Ненавижу! – бросает Шахризат.

– За Шахризат, которой верю! – произносит Аспарух, будто не понимая или не желая понимать всю серьезность происходящего. Взгляды мужчин скрещиваются, как два лезвия кинжала.

Мужчины подносят рюмки к губам и выпивают содержимое одним глотком. Оба смотрят друг на друга, страшные, бледные, в ожидании безнадежности. И вдруг вскрикивает Мустафа, выпятив глаза:

– Страшно, нутро мое в огне! – голос его переходит в хрип. Из рук выпадает рюмка и катится под стол. Одной рукой он сжимает горло и, широко открыв рот, будто не хватает ему воздуха, опускается на колени, падает, ноги конвульсивно подтянулись, затем выпрямились, скорчился.

– Помогите, помогите, прошу Вас, – умоляет он тихо, голос его срывается и затихает, пальцы рук на ковре вздрагивают и застывают.

Аспарух поражен случившимся, он в отчаянии наклоняется к нему. Поставив на поднос рюмку с ядом, Шахризат спешит поднять его.

– Он умер... – говорит Аспарух в оцепенении. На лице его неописуемый ужас.

– Ну вот и все. Ты же так хотел. Все кончено, – говорит Шахризат.

– Что ты наделала, зверь, страшный зверь, волчица! Волчица! Будь ты проклята! – показывая на нее пальцем, как безумный, Аспарух пятится к стене.

– Что ты, что ты, муж мой, возьми себя в руки. Надо привести все в порядок, пока люди объявятся, – наступает на него Шахризат. – Очнись ты, дело сделано.

– Волчица! Волчица! – кричит, задыхаясь от гнева.

– Не сходи с ума. Очнись же... не будь тряпкой. Это он

глумился над твоей женой... да, да, он лежал в твоей постели...

– Да, да, это судьба... – произносит Аспарух, с трудом открывая челюсти, не может унять стучащие зубы. Зрачки глаз расширены – взгляд безумца.

Шахризат берет поднос со своей рюмкой, подходит к мужу, протягивает:

– Тебе надо взбодриться, любимый, на, выпей. Не теряй присутствия духа.

Ничего не подозревающий Аспарух, будто загипнотизированный, берет рюмку. Выпивает одним духом и с болью улыбается жене, как бы желая ее подбодрить. Улыбка похожа на гримасу. Вдруг испугался, заглянув в глаза Шахризат. Он видит в ее взгляде такое, от чего цепенеет, холодеет.

Шахризат толкает носком туфли притворно лежащего Мустафу и бросает:

– Поднимайся, он выпил его!

Ноги Аспаруха подгибаются, колени дрожат, кружится голова, руки ощупью ищут обо что бы опереться. Умирающий Аспарух видит, как поднимается с пола Мустафа, как он подходит к Шахризат и целует ее... и падает как подкошенный. Она бросается на шею Мустафы со словами: «Он выпил...» и на полуслове осекается, глянув в сторону двери, лицо ее искажается в гримасе внезапного страха.

У дверей стоит Абдулла с молодой женщиной. Абдулла бросается к лежащему, наклоняется, смотрит в лицо, слушает его сердце...

– Он выпил яд... – говорит срывающимся голосом Шахризат.

– Какой яд? – резко озирается Абдулла и замечает пузырек на горке, берет в руки, тот самый, что принадлежал ему. – Этот?

– Да, – дрожит Шахризат.

– Чепуха, валериановая настойка, – облегченно говорит Абдулла, возвращаясь к лежащему.

– Что? – Шахризат в оцепенении, губы ее в нервном

тике вздрагивают. Она сломлена, вмиг потухает, и на лице ее уже нет ни тени притворства, только отчаяние, смешанное с раскаянием и глубоким разочарованием.

– Боже мой, как глупо... – глаза ее, как у зверька в сумерках, блестят. Повернувшись, дает она с размаху пощечину Мустафе. – Ты рожден приносить мне горе! Лучше бы я убила тебя!

Она стремглав выбегает из комнаты, за ней спешит не сумевший унять бивший его озноб растерянный Мустафа.

– Безобидное лекарство, – говорит Абдулла, смотрит на свою подругу. – Позвони, пожалуйста, вызови скорую... Скажи, с сердцем плохо.

Абдулла перетаскивает Аспаруха на диван, открывает ворот сорочки, расслабляет узел галстука... Аспарух стонет, открывает глаза.

– Лежи, лежи, тебе нельзя двигаться...

– Это ты, Абдулла, друг мой Абдулла, как хорошо, что ты здесь... Как ты оказался здесь?

– Твоего соседа, директора мясокомбината, волчица укусила, кололи от бешенства, и вот дай, думаю, проведаю...

– Волчица говоришь... – Аспарух судорожно хватает его. – Ты не бросай меня, ты спаси меня, прошу тебя...

– Успокойся, успокойся...

– Где она?

– Кто?

– Она... Не верю, не верю... Ненавижу все, все на свете ненавижу! Смерть только избавит меня от этих мук, только смерть. Не хочу жить... – Аспарух, как безумный, в истерике рвет все на себе. – Смерти хочу!

Раздается выстрел. Перепуганный Абдулла смотрит на друга, затем бросает взгляд на свою подругу. Ошалело вскакивает, подбегает к окну и смотрит в соседний двор.

– Что это? Кто стрелял? – хочет приподняться Аспарух.

– Лежи, ничего страшного, сосед твой убил волчицу.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Анида 7
Отелло из Баршамая 112
Герей из Таркама 235
- Герей из Таркама 235
- Зурум из Эрзерума 241
- Кичи-Калайчи 251
- Ли Шанчи из Дома слез 258
- Битва в каменных джунглях 267
- Сирхан из Валанджавиласам 274
- Земля 289
- Абдулла из Кабула 296
- Чурек на семерых 304

Барбарисовые сережки 308

РАССКАЗЫ

Девочка и море 377
Беглец 382
У мавзолея Гур-Эмир 393
Черный волк 412
Плод жизни – доброе имя 423
Нет дикого зверя 429

СКАЗКА

Живые зерна 449

СЦЕНАРИИ

Лезвие на шее 469
Волчица 524

Ахмедхан Абу-Бакар

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Редактор *Н. Раджабова*
Художник *А. Шарипов*
Художественный редактор *М. Левченко*
Корректоры *Д. Багдасарова, В. Полюля*
Технический редактор *В. Гаджиева*

Лицензия ИД 05334 от 10.07.2001 г.

Сдано в набор 29.10.2001. Подписано в печать 03.12.2001.
Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,7. Уч.-изд. л. 28,7.
Тираж 500. Заказ № 206. Цена свободная.

ГУП «Дагестанское книжное издательство»
Министерства по национальной политике, информации
и внешним связям РД
367025, Махачкала, ул. Пушкина, 6

Типография Дагестанского научного центра РАН
367015, Махачкала, 5-й жилгородок, корпус 10